

Вадим Кожевников

8

Scan Kreyder - 08.03.2018 - STERLITAMAK

ВВадим
КОЖЕВНИКОВ

Собрание сочинений

К Вадим Кожевников

Собрание
сочинений
в девяти
томах



Москва
«Художественная
литература»
1987

К Вадим ОЖЕВНИКОВ

Собрание
сочинений
Том
ВОСЬМОЙ

В полдень
на солнечной
стороне

Роман



Москва
«Художественная
литература»
1987

ББК 84Р7
К58

Оформление художника
Ю. Б о я р с к о г о

К $\frac{4702610200-332}{028(01)-87}$ подписное

© «В полдень на солнечной стороне». Роман. Воениздат. 1973 г.
Оформление. Издательство «Художественная литература», 1987 г.

В полдень
на солнечной
стороне

Директор мебельной фабрики фирмы «Заря» Григорий Саввич Петухов начал свою карьеру с должности заведующего кустарной ремонтной мастерской, а теперь возглавляет предприятие, оборудованное самоновейшей техникой, не уступающей по своей сложности машиностроительной.

Когда Петухова спросили, есть ли особые, личные причины, по которым он избрал профессию мебельщика, Григорий Саввич ответил:

— А как же, есть. Война не только жилой фонд, но и мебель ломала. Кто-то же обязан был ее производить.

— Выходит, вы по призванию краснодеревщик?

— Никак нет. Специальность имел только армейскую.

— А до войны?

— Так ведь сразу после школы — на фронт. Чему в боевой обстановке выучился, после войны пригодилось.

— Это в мирных условиях?

— Почему же в мирных? — удивился Петухов. — Они только теперь кажутся мирными. Если всюду, во всем была нехватка, без активных наступательных действий кубометр теса достать — проблема. — Сообщил доверительно, вполголоса: — У себя же в тылу, можно сказать, партизанил. Разбирают разрушенное здание, а я тут как тут. Все, что для мебельного производства сойдет, — на тележку и в мастерскую. Материал сухой, выдержанный.

— Но вы, кажется, сначала в авиационный институт поступили?

— Не кажется, а точно. Потом, в связи с мастерской, на заочный машиностроительный подался. Жена посоветовала. Ты, говорит, воевал в пехоте, так нечего в небо лезть. Нужно на земле людям нормальную обстановку наладить. — Упомянув о жене, Петухов застенчиво улыбнулся,

обнажив двойной ряд зубов из сизой нержавеющей стали; поймав сочувственный взгляд, сказал добродушно: — Это мне на фронте вышибло. Спрашивал Соню: желаешь, золотые вставлю или фальшивые белые? Не захотела, чтобы я боль терпел из-за красоты. — Добавил внушительно: — А так, вообще, она по линии эстетики сильно требовательная.

— Женщины в создании домашнего уюта понимают!

— Нет, по дому она непривередливая. Для нее главный комфорт то, что войны нет. Вот когда мы с матрасов на табуретных ножках и кухонных столов на гарнитуры переключились, тут она ликовала почти как в Берлине у стен рейхстага в день капитуляции фашистов. Думала, что с новых гарнитуров начнется новая эпоха в нашем мебельном производстве. А мы в ту пору в монументальность ударились. Что ни спецзаказ, то сырая подделка под старинные образцы.

Она меня просит: «Гриша! Посмотри, пожалуйста, в календаре, какой у нас сейчас век, а то после вашей мебели не верится, будто мы живем в двадцатом». Укусила! Не возражаю. Правильно! Иду в управление и официально отказываюсь подобные предметы минувшего века производить. Так и заявил: «Я вам не реставратор мебельного феодализма». Освободили от должности. Но мы с Соней не за мою должность боролись в инстанциях, а за современный стиль. Восстановили. Даже посоветовали: «Систематизируйте все ваши предложения, расширьте, дополните и можете даже кандидатскую защитить».

Я им: «Продукцией — пожалуйста! Бумажное производство — не моя специальность». — «Но вы же писали?!» — «Не я, Соня, супруга. Я ей только экономическое обоснование подсказывал. Она вдохновитель!»

Хотя Петухова и считали руководителем весьма перспективным, но его манера ссылаться в деловых разговорах на мнение супруги многих корбила.

— Что это вы, уважаемый Григорий Саввич, как молодой, все Соня да Соня? У нас серьезное производственное совещание, а вы на мнение жены опираетесь.

— Так ведь я с ней советуюсь. Если б не она, я бы в мебельное дело не пошел. Она мне его человеческое назначение раскрыла. Это же я ее высказывание цитировал в своем докладе: «Стиль должен быть такой, чтобы мебель человеку служила, а не человек — мебели». Сами этим словам аплодировали. А они не мои, а ее!

— Мы вас, Григорий Саввич, очень ценим, — деликатно и примирительно сказал замначальника, — особо за создание автоматических линий, за налаживание системы поточного производства с широким применением новых экономических материалов.

— Подумаешь! — усмехнулся Петухов. — Теперь даже в деревне внедряются индустриальные методы сельскохозяйственного производства. — Сообщил значительно: — А вот жена мной недовольна, говорит: «Мебельная индустрия должна подчиняться не только законам механики, но и законам красоты». А что такое красота? Это сила радости! Сила воспитания человека на положительных, качественных образцах новых, перспективных моделей.

— Она у вас философ.

— Правильно мыслит — верно!

— Мы все тоже не холостяки, — с некоторой скорбью произнес замначальника. — Но зачем вам подобное обстоятельство так усиленно подчеркивать? На банкет не пришли. Почему?

— А зачем без жен?!

— Приглашение персональное.

— Для меня вне службы главная персона — жена.

— Выходит, только вы свою уважаете, а мы своих — нет?

— У меня принцип, — строго объявил Петухов. — Жена не только товарищ, друг и приятель, а вроде как я сам, но только в особом обличье. С годами я себя к такой мысли приучил и будто сам над собой от этого вырос. Понятно?

Но не всем подобное мировоззрение понятно. Зачем, скажем, Петухов столь настойчиво пропагандирует свое устойчивое семейное положение? Для самовнушения, что ли? Может, жена у него ошеломляюще красива и он, оробев от ее красоты, так почтительно ее превозносит? Но ведь у всех других тоже жены нормальной внешности. Нехорошо свою супругу так превозносить, нехорошо...

После долгих и безуспешных экспериментов Петухову удалось наконец напрочно впрессовать в древесноволокнистые плиты полимерное покрытие «под орех» и «под птичий глаз».

Как только ленты конвейера понесли этот древесный зеркально-лаковый поток, как бы источающий теплый свет, глянцево сверкание, Григорий Саввич немедля вызвал на фабрику жену.

Он вел ее торжественно по цеху, держа под руку и заискивающе заглядывая в лицо, спрашивал с тревогой и робостью:

— Ну как, Соня? Ничего? Сойдет под натуральное? Заметь, это вовсе не подделка, а как бы усовершенствованная сама природа материала. — Попросил оживленно: — Я на минутку! — Вернулся с кипящим электрическим чайником, объявил с дерзким выражением лица: — Внимание! — И стал поливать сверкающие плиты крутым кипятком из чайника. Произнес высокомерно и самоуверенно: — Прошу взглянуть! Даже не тускнеют! — Поспешно стал хвастать: — Это же сюрприз потребителю: красота и стойкость!

Наклонился к жене, признался, как в чем-то сокровенном:

— Вхожу с предложением — всю эту массовую серию выпускать со знаком качества. Мечтаю угодить потребителю, его потребностям и вкусу. Шкафы сборные, несколько вариантов параметров, путем сборки, и, замечать, все предметы выглядят как изваянные из драгоценных тяжеловесных пород редчайшего дерева. Внушают приятное доверие служащей, неброской красотой...

Представляя производственникам свою жену, Петухов говорил, сияя:

— Вот, пожалуйста! Ей нравится. Значит, достигли!

Ликуя, потирая руки, пояснил:

— Я ей об этой нашей исторической эпопее со всеми драматическими обстоятельствами все рассказывал. Даже если не получалось, когда покрытие коробилось. Она верила! Верила и внушала мне — верить!

Те из производственников, которые в первый раз видели жену директора, но слышали от других, что директору нравится свою жену возвеличивать, были, надо прямо сказать, удивлены.

Думали — хоть красавица.

А по цеху осторожно ходила уже немолодая женщина, коротко стриженная, в вязаной серой кофте, подпоясанной кожаным ремешком, ходила с робкой улыбкой на повядшем лице, и ко всему еще хромая.

Кое у кого даже возникло подозрение: возможно, Петухов некогда допустил аморалку и настолько сильно за это потерпел, что теперь вынужден энергично афишировать к супруге привязанность, скрепленную, очевидно, выговором в личной карточке.

Другие предпочитали думать, что Петухов просто жалеет свою супругу-хромоножку и только поэтому не столько другим, сколько себе старается внушить, будто она для него самый главный человек на свете.

Но, пожалуй, следует лучше обратиться к истории жизни четы Петуховых, чтобы избежать поспешных о них суждений и непроверенных домыслов...

2

Когда Григорий Петухов после демобилизации, застенчиво усмехаясь, переоделся во все штатское и по внешности стал похож на всех прочих обыкновенных тыловых граждан, может, неловко в таком признаться, он испытывал чувство щемящей утраты того, что всегда точно, вещно, ясно, без слов свидетельствовало, кто он такой есть в армии, Григорий Петухов.

Сняв обмундирование, он как бы обезличил себя. Конечно, Григорий Петухов и на пиджаке мог носить все свои гордые боевые ордена и медали, золотые и красные нашивки за тяжелые и легкие ранения, но они свидетельствовали бы только о его фронтовом героизме, но не о том, кто он сейчас в мирной жизни, Григорий Петухов.

И он испытывал такое чувство, какое переживает солдат, попав после госпиталя не в свою родную часть, а в другую, незнакомую, где ему суждено себя заново показывать, какой он есть боец.

Кроме того, Григорий Петухов страдал тревожным беспокойством, опасаясь, как бы его нынешняя малопривлекательная штатская наружность не стерла из душевной памяти бывшей связистки Сони, а теперь вроде как бы его жены, былой его армейский облик отважного командира роты, которого Соня полюбила на фронте столь самозабвенно и решительно.

Одно дело — в бою отвечать за жизнь каждого своего солдата, совсем другое дело — взять на себя полную ответственность за жизнеустройство сержанта-связистки, которая получила новое официальное высокое звание — «жена». И хотя Петухов тоже приобрел официальное звание «муж», звание «жена» ему казалось значительнее, тем более когда его носит не кто-нибудь, а сама Соня, лучшая радистка в его дивизии.

В годы войны Петухов не без основания полагал, что он может в любой день и час, как выражались тогда фронтовики, «накрыться». Поэтому, предусмотрительно и гуманно заботясь о том, чтобы связистка Соня в случае чего не так сильно переживала его гибель, Петухов совершал разведывательные попытки внушить ей, будто он вовсе не такой исключительно хороший, как она о нем думает.

— Для проявления личной храбрости, — рассуждал Петухов, — мне благоприятствует отсутствие крючков, как и других обязывают к персональному самосохранению.

— Что это за крючки? — осведомилась Соня.

Петухов посмотрел внимательно себе на сапоги, чтобы не смущаться чистого озерного цвета вопрошающих глаз Сони, пробормотал:

— Ну там у кого жена, дети и прочее...

— А я тебе кто? — страдальчески воскликнула Соня.

— Боевая подруга, — внушительно произнес Петухов и, поперхнувшись, разъяснил: — Которой положено сознательно реагировать на любые потери в личном составе подразделения.

— Ну вот что! Если тебя не станет, обвешусь гранатами и сразу под их танк, — твердо объявила Соня.

Петухов зябко поежился, подбородок у него дрогнул, губы похолодели, но он мужественно овладел собой и стал так старательно сворачивать сигарку, что пальцы у него при этом не вздрагивали. Прикурил от трофейной зажигалки, спросил сипло:

— Ты спектакль «Ромео и Джульетта» когда-нибудь глядела?

— Смотрела и плакала навзрыд. Даже перед публикой было совестно.

— Ну тогда заявляю! Я лично такое осуждаю.

— За что? Там же только про любовь!

— Неправильная мысль. Будто среди всего тамошнего населения не было достойных, которые могли бы, так сказать, вызвать обратное чувство у него или у нее в случае выбытия из жизни кого-нибудь из них двоих. Получается неверие в человека.

— Почему неверие? — возразила Соня. — Это же радость, что на свете может быть такая высокая любовь.

— Хороша радость, когда по недоразумению да еще

самовольно дезертируют из строя жизни,— иронически обронил Петухов.

— Значит, так сильно любили, что решились!

— А я считаю подобную любовь слабосильной, если она не поможет перешагнуть через горе для дальнейшего правильного прохождения жизни.

— Ох и ограниченный ты человек,— скорбно вздохнула Соня.— Даже слушать противно. Еще не хватало, чтобы ты ко всему добавил, будто незаменимых людей нет.

— Именно, в точку! — фальшиво обрадовался Петухов. Но тут же спохватился, побагровел, сконфуженно попытался оправдаться: — Ну, не в узком, конечно, смысле, а в принципиальном.— И, рассердившись, что так неловко оправдывается, объявил: — Они вот уверили друг друга, что он исключительно самый лучший, она единственная, самая наилучшая на свете. Это, если хочешь знать, самообман, зазнайство!

— Ничего ты в человеческих чувствах не понимаешь! — оскорбилась Соня и гордо произнесла: — Во всяком случае, теперь я из-за тебя под ихний танк в отчаянии, что тебя нет, не кинусь.

— Вывод нормальный,— ненатурально одобрил Петухов. И, горько сожалея об этих своих словах, с едкой усмешкой добавил: — Тем более когда мы теперь полностью обеспечены соответствующими разнообразными противотанковыми средствами.

— Я тебя сейчас даже ненавижу,— сквозь слезы произнесла Соня.

— Ну что ж, реагируешь по существу,— похвалил Петухов и вдруг попросил мягко и задушевно: — Только ты этот наш разговор все же припомни, если крайний случай, для облегчения переживаний.

— Ничего я не буду запоминать! — яростно сказала Соня.— И ты моими чувствами не командуй. Чего хочу, то буду помнить, а чего не хочу, сразу из памяти навсегда вышибу. Теперь мне все понятно!

— Поняла,— значит, порядок,— с облегчением улыбнулся Петухов.

— Только я то поняла, что тебе самому непонятно,— сурово сказала Соня,— и сбить тебе меня не удалось. Я твой маневр сразу разгадала. Трус ты. Вот и все!

Петухов встал в повелительную позу, словно при команде «Смирно», вздернул подбородок, вытянул руки по швам.

Но Соня злорадно повторяла, не обращая внимания на его позу:

— Трус и даже трусяга, трусович. Перепугался, что его любят без памяти... И еще толкал, чтобы отступила на заранее подготовленные им позиции. Хорош! Но я не из таких, чтобы отступить. Я от тебя не отступлюсь. Понял? Не отступлюсь, и все! Раз полюбила, — значит, точка. Хоть в другую часть отчислят, все равно и оттуда буду любить, хоть живого, хоть мертвого, хоть какого...

Произнесла сквозь зубы, с презрением:

— И не потому, что ты какой-то особенно хороший. Есть и получше тебя среди комсостава и рядовых. Но я тебя люблю не за что-нибудь, а вообще. Люблю, и точка.

Склонив бессильно голову, Соня разрыдалась.

Если учесть, что фронт есть фронт, и ближе всего к противнику ротное подразделение, и промежутки между боями на переднем крае заполняют методической пристрелкой, мертвенным сиянием осветительных ракет и профилактическими пулеметными очередями, редкими, но смертоносными снайперскими выстрелами, то нужно прямо сказать — передний край не лучшее место на земле для свиданий. Тем более заметив однажды, что, когда Соня пришла к нему в дот, солдаты деликатно покинули надежное помещение и, скорчившись, долго сидели в неглубоком ходе сообщения, пригнув головы от звонкого посвиста трассирующих пуль и вытряхивая землю из-за воротников шинелей после разрыва мин, Петухов стал назначать встречи с Соней под открытым небом, в могильной тесноте неполного профиля окопа, стенки которого сотрясались и оползали от взрывов падающих где-то невдалеке снарядов и с бревенчатого бруствера щелчками пуль срывалась острая щепка.

Провожать Соню он не ходил, а ползал, временами повелительно накрывая ее затылок ладонью, вжимая лицо ее в землю, когда чуял тугое трепетное колыхание воздуха от летящей мины или снаряда.

Ни она, ни он никогда до войны не ходили на свидания, поэтому такая обстановка казалась им вполне подходящей, как послевоенному поколению свидания у памятников, возле городских часов, у входа в метро или у будки телефона-автомата.

То, что Петухов командовал людьми иногда вдвое старше его по возрасту, и каждый раз после боя испытывал животную радость оттого, что он пока еще живой, и к смерти относился только обидчиво, досадливо, как к потере «активного штыка», отчего другим, живым, будет труднее сохранять жизнь, раз их становится меньше, — все это он считал вполне нормальным и естественным.

Научившись подавлять в себе проявление страха (чего он больше всего боялся, так только того, что этому великому солдатскому умению не научиться!), он обрел то властное спокойствие и сдержанность, которые и внушают солдатам при таком командире уверенность в бою.

На войне он был почти доволен собой и горд товарищами.

Война стала его жизнью. И только когда вошла в его жизнь Соня, он был ошеломлен счастьем, пугался счастья, как чего-то совсем незаслуженного, непрочного, как вообще человеческая жизнь на войне.

Соня пожаловалась Петухову:

— У вас в роте, словно в коммунальной квартире, всё про всех знают. Я еще до расположения не дошла, а в пункте боепитания нахально советуют: «Овражком иди, потом слева ход сообщения, дальше траншея в полный профиль, потом свернешь снова — по левую руку ход сообщения — прямо до огневой позиции станкового. Там лейтенант Петухов за противником лично наблюдает...»

— Почему же нахально указывают? — обиделся за своих солдат Петухов. — Маршрут указали вежливо, правильно.

— Может, я не к тебе шла, а к кому-нибудь другому! — возмущенно сказала Соня.

— Они о тебе наилучшего мнения. Подобных плохих мыслей не допускают, — упрекнул Петухов.

— Откуда они знают, что я только ради тебя на передовую бегаю?

— Бдительность солдата должна быть на высоте, — уклончиво пояснил Петухов. — Солдат не только за чужим передним краем наблюдает, но и вообще. — И деловито похвалился: — Я ребят-саперов, которые нам тут позиции оборудовали, попросил о любезности: вон за тем бункером, прямо в той красивой рощице — видела? — хотя бы несколько хороших могил впрок изготовить.

— Какие еще могилы? — изумилась Соня.

— Ну нам для себя. А то после боя люди измученные, лопата из рук валится, на три штыка выкопают, и все.

— Гриша, ты о чем со мной говоришь? — возмутилась Соня.

— В бою, знаешь, нечаянно даже убивают, приходится соображать о последствиях.

— Ну зачем ты так? — скорбно сказала Соня.

— Для того, чтобы ты на передовую не ходила, не отважничала. Я человек выдержанный. Отнесем на плащ-палатке. Салют из личного оружия, и закопаем.

— И тебе меня не жалко?

— Потому и говорю грубо — не ходи.

— А как же встречаться?

— Может, сразу после боя? Или на марше?

— Глупый ты, по расписанию не любят.

— Ну смотри, я тоже не железный. Не станет тебя, у меня тогда ничего существенного на всю жизнь, — пригрозил Петухов.

— Гриша, а у тебя в довоенной жизни какой самый-самый счастливый день?

Петухов задумался, потом сообщил:

— Сестренка у соседа стекло мячом вышибла, а я признался, будто это я. Он меня прутом, а мне смешно — обманул.

— Ну зачем ты себя, хорошего, так уродуешь? — упрекнула Соня. — Всегда от меня защищаешься грубостью.

— Это верно — защищаюсь, — буркнул Петухов. — Я ведь и смотреть на тебя пристально не могу, такая ты вся складная, светлая.

— Блондинка, — подсказала Соня.

— Не люблю я этого слова — блондинка, — поморщился Петухов. — Его почему-то с подмигиванием произносят. Даже в морду хочется дать, как услышу.

— Вот видишь, какой ты нервный стал.

— Будешь нервным, когда в полнокомплектной дивизии живой силы — десять тысяч штыков, а вашего брата сотни не наберется.

— Значит, гордись, что я тебя из десяти тысяч выбрала, — торжественно сказала Соня.

— То есть как «выбрала»? — вскипел Петухов.

— А так, — улыбнулась Соня, — целилась, целилась и пиф-паф — прямое попадание в твое так называемое сердце.

Петухов взял ладони Сони в свои, прижал к своему лицу, потом стал целовать ее руки между пальцами. Соня тяжело задышала, лицо ее побледнело.

Немецкий снайпер, наблюдая через оптический прицел, был по насыпи окопа, в котором находились Петухов и Соня. На выстрелы вражеского снайпера ответил наш. Забил немецкий станковый, по нему ударили из ротного миномета. Соня, держа за шею Петухова, шептала ему в губы:

— Ну и пусть, пусть стреляют, а нам хорошо, а мы с тобой бессмертные...

4

Ночью Петухов с группой бойцов работал на заминированной полосе, готовя проходы для танков, и он поймал себя на том, что было так несвойственно ему.

При извлечении самых сложных взрывных устройств у него потела не только спина, но и руки, и пальцы его не были, как прежде, уверенными, самостоятельными, когда он вывинчивал взрыватели.

Все это Петухов оценил как последствие столь взволновавшего его признания Сони, от которого он и стал чрезмерно дорожить своей жизнью, хотя раньше никогда за сохранность своей жизни столь недозволительно не опасался.

Потом он хмуро пожаловался Соне:

— Если по-человечески, так я изо всех, может, самый счастливый. Потому, что такая, как ты, вся при мне. Даже при личном твоём отсутствии, а вся при мне. Я думал, такого не бывает. А вот получается... бывает. Но все-таки мое соображение по поводу этого самого — тоже правильное. Пока война, личное счастье не содействует правильному поведению в боевой обстановке, а отвлекает от поставленной задачи. На минном поле работал и из-за тебя так собой дорожил, аж пальцы деревенели на взрывателях, а такое их поведение может вызвать даже нежелательный эффект.

Глаза Сони мгновенно осветились радостью, но тут же озабоченно погасли, она поспешно произнесла шепотом:

— Я вам, товарищ лейтенант (Петухов тогда еще был только младшим лейтенантом), даже клянусь чем хотите, больше ни словечка о нас с вами, ну только самый обыкновенный разговор, будто мы только сегодня познакомились,

а как насчет завтра — мы вовсе не интересуемся. Так согласны?

— Не получится. Слова, они сами по себе полезут, от души. Да и без слов все теперь ясно, — сокрушенно признался Петухов.

— Так как же быть? — тревожно спросила Соня. — Может, временно попроситься в чужую часть?

— Еще хуже, пожалуй, получится, — вяло промямлил Петухов. — Я себя по этой линии еще не знаю, не испытывал, но, возможно, вдруг полного доверия у меня к тебе не обнаружится?

— Ревновать станешь! — радостно рассмеялась Соня. — Так это мне просто приятно!

— Тебе! А мне — как ржавый взрыватель.

— Ревность — доказательство любви, — наставительно сказала Соня.

— От такого доказательства люди страдают хуже, чем от слепого ранения, — хмуро обронил Петухов.

За Петуховым в части установилась прочная репутация устойчивого в бою и вдумчивого к подчиненным офицера. Среди старшего командного состава были еще живы те, кто помнил Петухова совсем иным, старательным, безбоязненным солдатом.

Тогда в бою он вел себя как школьник на уроке. Распластавшись по-пластунски, подползал к отделенному и, подняв руку, просил:

— Разрешите обратиться?

— Чего тебе?

— Можно, гранату брошу?

— Куда?

— В их окоп.

— До него еще ехать и ехать на брюхе.

— А я бегом добегу.

— Лежи, пока из тебя покойника не сделали! — свирепел отделенный.

— Значит, жалко?

— Похоронную команду тобой затруднять жалко!

Спустя некоторое время Петухов добыл у противника ручной пулемет. Но никому об этом не доложил. Вычистил, изучил, как с ним обращаться, и в первом же бою сам занял себе огневую позицию со своим пулеметом. Потом он стоял перед командиром взвода потупившись, а тот его отчитывал за самовольство.

— Ты же меня в заблуждение ввел, — упрекал взводный. — Слышу, немецкий ручной на фланге стучит. Ну, значит, немедля огнем накрыть — по логике. Значит, он вклинился, а выходит, это ты самовольничаешь. — Пояснил строго: — Бой — это прежде всего строгая организация огневых средств, дисциплина, порядок. Культурный боец должен понимать. — Приказал: — Трофейное оружие сдать!

— Но он мой, — скорбно сказал Петухов, — я же его в бою сам достал.

— Нехорошо, товарищ Петухов! Такое собственничество в себе подавлять надо.

— Я же просился в пулеметчики, а вы отказали.

— Значит, сам себя обеспечил и назначил? Некрасиво, товарищ Петухов, очень некрасиво!

Но по солдатской цепочке о Петухове распространилось уважительное суждение как об инициативном бойце, соображающем.

Поскольку солдатская биография Петухова складывалась на глазах всего подразделения, бойцы гордились его офицерским званием, словно они сами присудили ему это звание, и высшей похвалой звучало: «Такой командир подразделения не подведет, потому что он в подразделении же и воспитанный».

Поэтому бойцы с доброжелательным тактом относились к связистке Соне, когда она зачастила в их расположение.

Любовь Сони к командиру их взвода бойцы считали вполне заслуженной его наградой и даже гордились, что Соня выбрала именно их командира, а не из соседних подразделений, хотя там тоже были офицеры храбрые, и тоже молодые, и даже по наружности более видные.

Рост у Петухова средний, глаза узкие, скулы углами, усы никак не получились из редкого рыжеватого волоса. Отращивал их только для солидности вида.

Но душевная сила его была в уважении к людям.

Приказание в бою он отдавал не крикливо, а задушевно, задевая бойца за самое потаенное, главное. Не забывал в пылу боя к тем, кто старше по возрасту, обращаться на «вы», величал по имени-отчеству. Вот это самое простое, а трогало сильнее самого сильного боевого лозунга.

И в бою он умел радоваться успеху бойца и под огнем подползал, чтобы отметить его своей радостью.

А если кто начинал колебаться в бою, дорожить своей жизнью больше, чем жизнями товарищей, Петухов такого

не обличал сразу при всех, а только потом интимно беседовал — огорченный, расстроенный.

— Как же так? — спрашивал. — Бой — дело коллективное. Один за всех, а все за одного. Сегодня ты товарища огнем не прикрыл, а завтра он тебя за это не прикроет. Это же самому тебе невыгодно. Самое верное в бою — жизнь себе сберечь, когда твердо знаешь, другие за тебя беспокоятся, а если ты за них не беспокоишься, почему они должны за тебя тревожиться? Так что не советую больше индивидуально самосохраняться, самый ненадежный способ.

Соня, как и многие девушки-фронтовички, оборонялась от чрезмерного внимания со стороны мужского состава вызывающей дерзостью на грани оскорбительной грубости. И так прочно освоила эту защитную манеру, что на узле связи даже подруги считали ее недовоспитанной.

— Тебе майор — цветы, а ты хамишь, словно он не цветы, а гадюку в спирту всучил.

— Если б его жене в тылу кто букет преподнес и она за это вся рассиялась, как бы он, узнав, реагировал? — пожимала плечами Соня.

— Но он же одинокий, мы в штабе у кадровика проверили — холостяк.

— А я одиночеством не страдаю!

Усмехнувшись, Соня пояснила:

— Вначале они все становятся томные, тихие, вроде как тяжелораненые, на душевность вызывают, а чуть бдительность утратишь — они в атаку. Знаю их шаблонные методы. Схамишь заранее — сразу дистанция, порядок.

5

Петухов получил приказание сопроводить штабную радистку в тыл противника для связи с партизанским отрядом, которому было дано указание — как только дивизия начнет наступать, о чем им сообщает сигналом по радиции, подорвать мосты на коммуникациях противника. Радицию Петухов пристегнул себе на спину плечевыми ремнями, запасное питание радиции несла сама радистка в вещмешке. Они вылетели в ночь на Р-5.

Радистка попросила Петухова:

— Ты на меня не оглядывайся, в воздухе меня всегда тошнит. Я себя знаю.

— Не нашли кого покрепче,— недовольно буркнул Петухов.

— Не нашли,— согласилась радистка.

Над ними светилось, сверкало звездное небо. И с высоты линия фронта, так же как и небо, искрилась только огнями боя.

— Смотри — красиво! — порекомендовал Петухов.

— Наверху или внизу? — иронически осведомилась радистка. — Я не ангел, чтобы любоваться небом.

— Верно, ангелов не тошнит,— пошутил Петухов. — Они народ облетанный.

— Ты, пехота, лучше молчи,— приказала радистка.

Потом на них напал «мессер». Их мотало в воздухе, словно на бешеных качелях, до полного умопомрачения. И когда самолет, задевая вершины деревьев, тяжело плюхнулся в болото, наступила мертвая тишина.

Петухов, очнувшись, понял, что жив, и, как всегда, обрадовался, что он жив, но потом стал тревожно соображать, есть у него повреждение или нет. Спихватился, стал ощупывать лицо радистки: веки ее сомкнуты, голова свисла. Он пытался отстегнуть привязные ремни, освободить радистку. Но она вдруг произнесла сонным слабым голосом:

— Убери руки, не лапай.

— Нужна ты очень! — рассердился Петухов. Вылез из кабины и переполз к летчику. Тот упирался рассеченным лбом в щиток приборной доски, ручка управления пронзила грудь, оттопырив на спине комбинезон.

Забравшись обратно в кабину, Петухов сообщил:

— Все! Выходит, до последнего старался нас сбересть, а мог бы и на парашюте выкинуться.

— Ты бы на его месте выкинулся, а он нет,— сказала безразлично радистка.

— Молчи уж! — Петухов похлопал ногой по полу полузатопленной кабины, заявил: — Видишь, тонем.— Приказал: — Раздевайся, до берега порядочно. В обмундировании не доплыть.

— Чтобы я перед тобой, да еще нагишом!

— Не соображаешь — оставь то, что вы там под верхним носите.

— Отвернись,— жалобно попросила радистка.

Петухов, заворачивая свое и радисткино обмундирование в плащ-палатку, пояснил:

— Буду за собой узел волочить, а если сил не хватит, тогда, извиняюсь, брошу.

— А рация? — сердито спросила радистка. — Я без рации спастись не буду.

Петухов нахмурился, смолк, потом объявил:

— Без нашей тяжести самолет еще на плаву побудет. На берегу сыщу бревно какое-нибудь, на нем за ней сплавлю. Ну, пошли, — и сбросил узел с обмундированием, завернутым в плащ-палатку, за борт в воду.

В воде, отплеываясь, радистка сказала:

— Я только по-собачьи умею, сильно ногами брызгаю, значит, не плыви рядом, чтобы ты от меня не захлебнулся.

— Не захлебнусь, — сказал Петухов и поплыл, загребая одной рукой, толкая впереди себя узел с обмундированием.

Но когда вдруг перестал слышать за собой пыхтение и барахтанье радистки, он оставил узел и бросился к ней.

Она лежала на спине с закрытыми глазами и тяжело, судорожно дышала.

— Устала? — тревожно спросил Петухов.

— Отдыхаю, на небо гляжу, любуюсь, — сказала радистка и подавилась водой.

— Ты что, по морде захотела? — спросил Петухов. — Плыви! И если еще посмеешь так слабеть, буду за все хватать, поняла — за все!

— Ты сволочь! — поперхнулась водой радистка. — Только попробуй! — И из последних сил стала бить по воде ногами, толчками, как бы карабкаясь в черной гнилой воде.

Он волочил ее в густой, вязкой ледяной тине и, вытащив на берег, сам лег без сил рядом с ней, черный, вонючий, склизкий, как и она, с головы до ног в тине. Отдышавшись, пошел бродить вдоль берега, нашел полугнилой салик — плот из полусгнивших трех бревен — и уплыл к нему, к самолету. Вернувшись, он сначала сволок на берег труп летчика, потом принес рацию, сказал:

— Вот, пожалуйста, тебе твой аккордеон.

— Развяжи узел, дай обмундирование. Не видишь, я совсем голая, — попросила радистка.

— Не вижу, — сказал Петухов, — и видеть не желаю. — Посоветовал: — Сначала отмойся в бочаге, а потом одевайся. Нельзя же так в чистое грязной лезть.

— Не могу, меня от воды теперь тошнит.

Петухов снял с себя бязевую мокрую рубашку и стал молча вытирать радистку и, когда она пыталась вырваться,

сильной рукой удерживал ее, пока всю не вытер. И только после этого выдал ей обмундирование.

— Меня всю трясет, не могу в рукав гимнастерки попасть, — жалобно сказала она.

Петухов так же молча помог ей одеться, при этом он властно снял с нее нижнее мокрое, выжал и повесил на ветви кустарника.

— У тебя зажигалка, — напомнила радистка, — разведи костер. Зубами же лязгаешь.

— А если противник засечет, тогда как? В неразведанной местности не положено.

— У меня даже внутри все трясется, — повторила радистка, — сердце закатывается.

Покорствуя ее мольбе, Петухов развел огонь, прикрыв его все-таки для маскировки плащ-палаткой. Они сидели у костра, касаясь плечами, и глядели на огонь.

— Тебя как зовут? — спросила радистка.

— Гриша! — сказал Петухов и в свою очередь осведомился: — А тебя?

— Соня!

— У нас в школе тоже Соня была, только она отличница.

— Красивая?

— Нет, так себе — белобрысая.

— Как я?

— Откуда я знаю? — уклончиво произнес Петухов. — Я на тебе внимание не фиксировал.

— Если б ты накрылся, кто по тебе в тылу плакать бы стал?

— Мать, кто же еще! Отца уже убили на фронте.

— Так я и поверила!

— Про отца?

— Будто своей девушки нет.

— К чему такой разговор?

— А чтобы про то, что с нами дальше будет, не думать, — вздрагивая, придвинулась теснее, произнесла сдавленным голосом: — Меня нагишом никто не видел, только ты.

— Ты же не голая была, а в трусах и в лифчике.

— Правильно. Нам специальное женское нижнее не выдают, мы мужские исподники себе подрезаем, а из остатка лифчики кроим. Как в армии служить — пожалуйста, а внимательной заботы о нас по линии вещснабжения нет.

— Напиши в дивизионку.

— Я бы написала, да стыдно.
— А говорить про это можешь?
— Мне с тобой не стыдно.
— Ну, это ты брось! — сказал Петухов, вставая. —
Такие разговорчики отставить!
— Очень ты мне нужен.
— Ну и молчи.
— Думать мешаю?
— Мешаешь!
— А я знаю, о чем ты думаешь. Вот хорошо бы с ней под
плащ-палатку лечь...
— Да ты что! Дура или распущенная?
— Раз ругаешься, значит, ты хороший. Я тебя только
так, проверяла. Понял? Ну нарочно задевала, чтобы знать,
какой ты на самом деле.
— Нашла время и место. — И Петухов потребовал: —
Ты вот что! Заворачивайся в плащ-палатку и спи. А потом
я. А ты покараулишь.

Сквозь рыхлый гнилой болотный туман рассвет еле
проникал серым, слабым, жидким, хлипким светом.

Когда радистка проснулась, Петухов разостлал на земле
еще теплую от ее тела палатку, приволок застывшее тело
летчика и завернул его в плащ-палатку.

— Ты это зачем? — спросила Соня.

— Хоронить, — глухо сказал Петухов. — У буреломно-
го дерева под вывороченными корнями яма, я ее за ночь
подчистил, углубил, свежих веток настлал. Хорошо
будет.

— Кому хорошо? Ему? — кивнула на покойного Соня.

— Не в болоте, в земле. Все же прощаемся, как
жизнью ему обязанные. — Произнес тихо: — Когда я ему
лицо разбитое умыл, причесал на пробор его же расческой,
увидел, что он, как мы, молодой еще. А на петлицах шпа-
лы — капитан!

— Документы взял?

— Когда в тыл летят, документы в штаб сдают.

— Разверни палатку, — попросила радистка.

Став на колени, она бережно-нежно поцеловала ледя-
ные синие губы летчика, потом, поднявшись, сказала
сдавленно:

— Он первый, кого я сама в самые губы.

— Ну ладно там, понесли.

Они долго стояли у могилы, засыпанной комьями земли.
Сверху положили сырую синюю пилотку летчика...

Руководствуясь картой, взятой из планшета пилота, Петухов только на пятые сутки вывел радистку в расположение партизан.

Уже на другой день в пути она захворала. То томила в жару, то тряслась в ознобе, то обмирала в беспамятстве. И Петухов то бранил ее, то лепетал неведь что, упрасывая не помирать, дул ей в губы, когда казалось, она бездыханна, у костра сменил ей влажное от пота белье на снятое с себя сухое обмундирование. И когда долго не мог добиться, чтобы она очнулась, даже попытался выстрелами из пистолета пробудить ее.

Он сломал березку, приспособив ее под волокушу, положил на ветви девушку, привязал поясным ремнем и тащил волоком, впрягшись в ствол дерева, как в оглоблю.

Когда он набрел на партизанское боевое охранение, у него не было сил толком все объяснить. Лицо его вздулось от бесчисленных укусов комаров и гнуса, кожа с ладоней содрана. Согбенный, не мог выпрямиться. Он был в одном рваном исподнем, так как свое обмундирование натянул на радистку. Губы растрескались, опухли, слова произносил сипло, хрипло, еле разборчиво, словно контуженый. Оставив радистку в партизанском штабе, он пошел обратно с группой партизан за рацией, спрятанной у болота и замаскированной ветками.

Несмотря на то что в землянке было жарко натолено, Соня сидела на койке в валенках, в полушубке, в меховой шапке. И когда Петухов вернулся и принес рацию, она только слабо кивнула, увидев его, и сразу стала дрожащими пальцами включать рацию, надев поверх шапки наушники, и все время глаза у нее были полузакрыты.

— Совсем плохая, — сказал командир партизанского отряда, — застудила оба легких сразу — сильное воспаление, а все ж таки за последнюю свою нитку держится. Такая у нее комсомольская натура — вся горит, а про долг свой помнит. — Обернулся, приказал: — Младшего лейтенанта прямым путем — на наш аэродром. Велели не задерживать, если на своих двух стоит вертикально...

После доклада в штабе дивизии Петухова отправили в санбат, откуда он самовольно ушел на второй день к себе в подразделение в обмундировании с чужого плеча, еще сыром и пахучем после дезинфекции, с неотстиранными блеклыми пятнами крови вокруг рваных прорех на груди под левым карманом.

Потом спустя какое-то время его вызвали в политотдел.

Батальонный комиссар, лысый, плотный, с густым голосом строевого командира, спросил гулко, хитро сощурясь:

— Значит, что же такое, товарищ Петухов, по вашему устному докладу в штабе дивизии выходит? Ей по меньшей мере Красная Звезда причитается, а себе как бы просите взыскание.

— Я же сказал: чуть не сорвал задание. Радистку увел, а рацию оставил.

— Но мы имеем сведения: вы связистку на себе несли.

— Не на себе, а волок на волокуше.

— С мотором? Или посредством вашей живой силы продвигались?

— Ну моей.

— А два груза вы могли, так сказать, доставить подобным способом — и ее, и рацию?

— Если б про главный долг не позабыл, должен был.

— Рассуждаете самокритично, но не реалистически, я бы сказал. А вот ваша радистка...

— Она не моя вовсе, зачем вы так! — вспыхнул Петухов.

— Ну ладно, скажем, вашей и нашей дивизии, она так докладывает: если б не ее слабый пол, так вы бы радисту строевым шагом идти скомандовали и рацию на себе нести.

— Ничего подобного! — запротестовал Петухов. — Если б он тоже, как она, простудился, заболел, все то же самое было, и рацию я бы все равно оставил.

— Спрятали бы — хотите сказать?

— Ну ясно — спрятал.

— А скажите: рация без радиста может действовать? Так, правильно, не может, так же как радист без рации — ноль. Значит, фиксирую: осуществили план раздельной доставки того и другого.

— Никакого плана не было, я только про нее беспокоился, за нее боялся.

— За рацию? — усмехнулся комиссар.

— За радистку, — вздохнул Петухов.

Однажды, когда Петухов спустя много дней после этого события, умаявшись на проверке расположения своих огневых точек на новых позициях, мертвенно спал под шинелью в еще не покрытой накатами землянке, его разбудил де-

журный ротный телефонист и, передавая трубку, произнес значительно:

— С узла связи дивизии требуют.

— Младший лейтенант Петухов у провода,— бодро произнес Петухов и встал по привычке к субординации.

— Это я, Соня!

Петухов растерянно покосился на дежурного телефониста.

— Обстановка нормальная, противник не тревожит...— машинально сказал Петухов.

— Вы не сердитесь на меня, пожалуйста,— с мольбой прозвучал голос Сони.— Но я хотела вас спросить...

— Я вас понял,— сипло сказал Петухов.

— Это я вас поняла, а не вы меня,— обидчиво сказала Соня.— Не хотите по-человечески говорить, и не надо.

В трубке щелкнуло, и голос Сони погиб в глухой тишине.

Петухов вышел в наброшенной на плечи шинели в ход сообщения, затем побрел по траншее на свой «энпэ», откуда открывалось зловещее пространство переднего края противника, погруженное в тяжкий мрак ночи, в то время как за нашей полосой край неба нежно и слабо светлел, теплился.

Дежурный снайпер пошевелился в своей маскировочной сетке с вдетыми в петли ветвями кустарника, пожаловался Петухову:

— Вот несправедливость, товарищ лейтенант! Ихний может раньше по мне стукнуть, чем я по нему. Ему наша сторона светит, когда он еще впотьмах,— значит, шлепает только по силуэту. Но не тот азарт.

— Это ты, Захаркин?

— Мы,— согласился боец.

— Ты же сегодня не дежурный.

— А я от себя лично вышел, не для записи, а так, по личному с ними счету. Башку мне вчера ихний задел, так я поверх бинтов, чтобы не демаскировали, гимнастеркой обмотался.

— Без каски нельзя, нарушаешь!

— А как же я железом на рану давить буду, это же невтерпёж!

— В санбат отправляйся!

— Сейчас, вот только возьму ему свою обиду, и сразу кладите на койку, колите в это самое место противостолбнячной, нарушайте гвардейскую гордость. Я послушный.

В санбате и питание, и баня, кто же не желает в санбат, дурак только не хочет.

Помолчали, потом Захаркин спросил:

— Разрешите информировать? Вот какая петрушка.— Захаркин поскреб бинт по голове ногтем.— Мне — орден в дивизии на грудь, выдали Отечественную второй степени. Так я считаю — кредит на будущее.

— Ну ладно там,— перебил Петухов.— Обиделся, что не первой, с золотом.

— А кто не хочет, все хотят,— лукаво усмехнулся Захаркин. Потом, посерьезнев, сообщил: — Значит, так, пошел я в военторг, думал, пивом разживусь. Орден обмыть. Не дали. Наверно, только генералам продают.

— Ну это ты брось,— одернул бойца Петухов.

— Да это я так, для смеха. Главное что? Связистка! Такая беленькая, с лицом малокровным, словно госпитальным, подошла и вежливо: «Вы боец из подразделения лейтенанта Петухова?» — «Так точно». — «Ну как он там?» — «Командует, как положено. Мы им довольны, а он нами. Подходящий командир». Учили?

— Что учел? Твою похвальбу?

— Да нет, это так, для хитрого хода, для сведения, что мы вас уважаем. Связистку, говорю, учили? Ведь с узла штаба дивизии, а нашим взводом интересуется.

— Зря это ты.

— Почему зря? Видно по глазам — как чистое небо, ясные, не как у других финтифлюшек из того же, скажем, санбата...

7

Нет такого командира или солдата, который не испытывал бы щемящего, тревожного чувства, особенно когда ночью приходится наблюдать за передним краем противника, или даже не наблюдать, а просто всматриваться в ту сторону, где тянутся его оборонительные полосы, где незримо таится множество внимательных стальных стволов, разнокалиберных средств уничтожения человеческих жизней.

И пространство между его передним краем и своим, как бы природа нарядно ни маскировала его: лугом, рощами, перелеском, — ощущается всегда как черная голая, открытая арена, где нет прикрытия живому, как на плоском

каменном плато, холодном, твердом, ледящем. А не сегодня, так завтра на него надо выйти и перейти его. И, как бы ты ни излазил в разведывательном поиске эту полосу, ни изучил ее, ни запомнил для боя на ней, все равно, пока не начнешь бой, она кажется бездной, которую надо перескочить в беспмятном азарте атаки. И если сробеешь, помедлишь — падение неизбежно.

В предрассветных слабующих сумерках, в марлевой кисее тумана оно, это пространство, казалось сейчас мертвым руслом реки, оставшимся после половодья.

Петухов зябко ежился, и ему грезился сиплый повелительно-насмешливый голос отца, когда он вместе с ним ходил на рыбалку вот в такую же предрассветную пору, продрогший и полусонный, а отец, развернув на берегу бредень, хлюпал в воде, звал его окунуться, говорил: «Что? Озяб, цуцик! Не замочив порток, рыбы не наловишь!»

Отец был сильным, уверенным в себе человеком, бригадиром ремонтников-печников в мартеновском цехе, возводящих из огнеупоров своды печей, их пещерные купола, когда печи еще источали огненный жар и мокрые ватники на печниках дымилась паром, как и валенки с тлеющими войлочными, толсто подшитыми подошвами. Лицо у отца всегда было смугло и дупилось от ожогов.

Единственный человек, с кем отец держался всегда занскивающе, умильно и застенчиво, — мать. Он говорил сыну:

— Спроси у матери, отпустит на рыбалку или как...

— А сам не можешь?

— Она меня обидеть не захочет, а тебе признается, если я по дому ей нужен.

— Она же на выходной стирку затеяла, велела уходить.

— Вот, — говорил отец, поднимая многозначительно брови. — Лохань тяжелая, да еще с водой. А ей тяжесть носить противопоказано. — И оставался дома.

Когда сын сказал, что его, отца, и так соседи считают жениным подкаблучником, отец жестко взял его за плечо, сильно рванул к себе, потом оттолкнул и произнес сипло:

— Эх ты, опенок! А я-то думал... — Похлопал ладонью по скамье, приказал: — Сядь.

Долго курил, вздыхал молча.

— Выходит, так, Гришка! Тебе она жизнь дала, и это тебе ничего не значит! А мне мать, значит, — мою жизнь, ее жизнь и твою дополнительно. Без нее мне бы ничего не светило, и она нами живет, как и я ей. Вот как до такого

понимания дойдешь, через всякие дразги, мелочи переступишь, пересилишь их, тут вот и наступает долговременная пора сознательности, чего ты достиг в жизни,— то, что в тебе не один ты, а еще есть человек наиглавнейший, который не только с тобой прожил, но и тобой живет и, как себя, тебя понимает. Вот такой фокус и есть — жена. Если в книгах про любовь и напечатано — может, и правильно,— как про временное переживание, но для понимания, что она значит для прохождения всей жизни, мало в книжках читал подходящего.

Отец потупился, пошаркал ногами, попросил:

— Наберешь годов, ты мои эти слова всегда помни, чтобы по этой линии не обмишуриться. Надо так, чтобы на всю жизнь...

8

Снайпер Захаркин пошевелился в своей маскировочной сетке, зашуршал ветвями, натканными в ее ячейки. Произнес глухо:

— Вы это напрасно, товарищ лейтенант, про связистку от меня так обидчиво слушали. Вот пойдете обратно в блиндаж, а вас их снайпер, который вроде меня передний край караулит, допустим, свалит. И мне вас еще дополнительно будет жаль, что мимо нее прошли. Ее обидели, пренебрегли, и она от этого может слегкомысличать от обиды одной. Я пожилой, я в этих делах понимаю, из сочувствия вам советую.

И, как бы не желая услышать, что ему ответит Петухов, Захаркин пожаловался:

— Ревматизм от этих засад мучит. Лежишь на сырой земле не шевелясь, как покойник, кровь студить, вот и ломит всего. А называется мое занятие — межснайперская дуэль. В старинные времена такое дело красиво обставляли: секунданты, правила всякие, махнут шпагой — и пали из однозарядного пистолета, оба промахнулись — пожалуйста домой, друг дружку даже не задели, а с честью.

А у меня вот оптический прицел от сырости запотеваает, протереть нельзя — шевелением себя выдашь, и он по тебе даст. Выходит, не потому, что он тебя метче, напористее, а потому, что у него специальная мазь от запотевания стекол имеется.

— Нет у них такой мази, враки это все.

— Я и сам только для разговора про мазь высказался. Было бы желательнее заиметь, и глазу было б не утомительно сквозь чистое стекло взирать.

— А если б связистка ваша дочь была,— спросил Петухов строго,— тогда как?

Захаркин поерзал, побряхтел, признался:

— Это вы меня поймали за самый нерв. Хотя дело вполне человеческое, а возражал бы со всей отцовской строгостью. На фронте тоже себя соблюдать надо. Ваш верх, ничего дальше не скажешь.— Попросил: — Вы меня больше разговором не занимайте. А то мой меня еще и уколошит. Я его манеру знаю. Сначала даст нарочно мимо, засечет шевеление и тут, уже на месте, вторым приложит обязательно. Сегодня я твердо решил его умиротворить окончательно и на это дело свою встречную тактику придумал. Мы с ним уже много стрелялись, обзнакомились по соседски.

Петухов кивнул снайперу, пожелал «ни пуха ни пера» и пошел по сырому ущелью траншеи к себе в землянку доспать до полного рассвета, если ничего такого не случится за это короткое время.

Саперы успели сложить над землянкой накат из сосновых бревен, терпко пахнувших смолой, лесной чащей. И поэтому в землянке было темно, как в пещере. Петухов нащупал нары, лег не раздеваясь, сложив под голову ватник, и почти сразу уснул крепко, прижав кулак к губам...

И снился ему лес, весь прогретый солнцем. Просека в зеленых отсветах, сочащихся сквозь листву берез. И он шел по этой просеке босиком, ощущая ступнями мягкую податливость опавшей осенней прошлогодней листвы с крепким грибным запахом. А впереди, в голубовато-светящемся туннеле просеки, мелькало летучее, как бы из сгущенного света, что-то очень знакомое по своим зыбким очертаниям и близкое ему. Но он не знал, что это.

Он шел и шел за ним, вдыхая запахи леса, травы, листьев, погружаясь от этих запахов как бы в сонное мягкое забвение, и когда он замедлял шаги, то летучее, из сгустков света, начинало обретать словно бы женственное очертание. Но только зыбкое, расплывчатое, и он вроде бы уже знал, кто это. Нужно было назвать, вспомнить,

и тогда бы оно приблизилось, уплотнилось, стало телесно отчетливое, живое.

Он маялся и не мог назвать, вспомнить, хотя хорошо знал, кто это, и, когда он добрал до конца просеки, открылась вдруг темная впадина, наполненная черной густой жижей, от которой исходил леденящий холод. И в этой жиже лежал, наподобие мертвой огромной птицы, самолет, на борту его кабины окостенело сидел пилот и, подняв лицо с опустошенными глазницами, уставился ими, незрячими, в небо. А рядом с пилотом сидела Соня, не то обнимая его, не то держа его, окостенелого, за плечо одной рукой, а другой она осторожно расчесывала его волосы и улыбалась мертвому нежно, влюбленно, самозабвенно. И голые колени ее глянцевито сверкали, словно натертые воском. И она была, как тогда, когда он вытащил ее из болота, совсем немного одета. Платье ее, мокрое, сохло, развешенное на хвосте самолета. И она не обращала внимания на то, что самолет, пузыря черную жижу, медленно погружается, и уже жижа касалась ее ног, а она все продолжала ласкающими движениями причесывать летчика, гладить его по окостеневшей щеке и медленно, вдумчиво целовать его в черные, сухие, мертвые губы, не отрываясь от них подолгу, как бы пытаясь свое дыхание передать этим мертвым губам.

Уже самолет погрузился весь в чмокающую жижу, только над поверхностью оставалась часть туловища живой Сони и мертвого пилота. Но она, как бы не понимая и не желая понять, что гибнет, улыбалась пилоту, прижималась к нему все теснее и теснее.

Петухов с ужасом чувствовал каменную тяжесть самого себя, леденящую скованность, которую у него не было сил преодолеть, стоял и смотрел, как гибнет Соня, испытывая одновременно неприязнь к мертвому пилоту, который своей мертвенной тяжестью увлекал Соню в хлипкую бездну. Петухов понял, что еще тогда, когда Соня, став на колени перед мертвым пилотом, лежащим на разостланной плащ-палатке, бережно целовала сухие, черные, мертвые губы, еще тогда у него вспыхнула завистливая неприязнь к мертвому за то, что тот целован Соней. Только тогда он себе в этом не признался, а вот теперь признался, ослабев во сне; и когда они шли, и когда он волочил Соню на волокуше, и потом еще он неосознанно — но все-таки это так — ревновал ее к мертвому пилоту, и, может, поэтому был с ней таким фальшиво-покровительственным, и бодрился тем,

что она ослабела, а он еще не совсем ослабел, и поэтому подчинял ее, вынуждая скрывать то, что она не хотела скрыть, а он вынудил ее скрывать, оскорбив ее этим, может быть, навсегда...

— Товарищ младший лейтенант, — щекоча щеку обвисшими жесткими усами, припав губами к уху Петухова, вежливо шептал связной. — К нам группа из разведбата. Требуется им проходы на минном поле указать. В связи с назначением прогулки в тыл, я так полагаю.

— Я сейчас, сейчас, — сказал Петухов, садясь на топчане, спросил: — Что же это они? Собрались, когда светает.

— Не совсем, — возразил вестовой, — на той стороне еще в самый раз — сумерки.

— Сколько же я спал?

— Доложить не могу, не укладывал.

Петухов вышел в ход сообщения. Там, теснясь, стояли четверо в пятнистых маскахалатах, в таких же капюшонах поверх касок.

— Кто старший? — спросил Петухов.

— Сержант Курочкин! — шагнул вперед коренастый, низкорослый разведчик с разорванным веком и розовыми следами недавно снятых швов.

— Я вас, товарищи, сам сопровожу для полной гарантии успеха, — объявил Петухов. — Всю полосу, как полотер, прошел. Прошу!

Петухов даже склонил голову и простер руку, предлагая радушно разведчикам войти в траншею.

Коренастый еле заметно пожал плечом, но не смутился, а зашагал первым по траншее, приняв жест младшего лейтенанта за проявление беспокойства, поскольку тому придется выходить на открытую местность, где, надо полагать, каждый метр площади аккуратно пристрелян противником.

Петухов вызвал командира первого взвода, которому положено замещать командира роты в случае его отсутствия или выбытия из строя, и приказал временно взять командование ротой на себя.

Командир первого взвода, коротконогий, губастый, курчавый, плотный юноша, даже летом носивший кубанку, ссылаясь на то, что он кавказец, ни разу еще почему-то не раненный и поэтому под огнем противника державшийся всегда с высокомерным равнодушием, спросил обиженно:

— Почему?

— Надо.

— Из мясной тушенки эрзац-шашлык буду делать. Обещал же прийти.

— Задание получил.— Петухов кивнул на разведчиков.— Вот, сопроводить.

— Почему ты? Почему не я?

— Так получилось.

— Неправильно получилось,— скрипуче-гортанно произнес командир взвода.— Ты давно воюешь, я не так давно — мне интересно к фашистам визит вежливости сделать, по душам поговорить.

При этом он стиснул зубы, скулы на лице его заходили твердыми желваками.

— Ладно, Атык, еще успеешь!..

Петухов решил не только вывести разведчиков к переднему краю противника, но, как говорится, просочиться вместе с ними на возможную глубину с двойкой для себя целью: во-первых, при прорыве обороны противника он будет знать тогда его опорные пункты на глубине, и во-вторых, потаенное, поскольку он будет старшим в группе, то вполне обоснованно его могут вызвать по возвращении группы в штаб дивизии для доклада,— значит, узел связи, а там Соня. Ощущение ее, какую он видел во сне, волновало и томило Петухова, и он полагал, что у него хватит силы рассказать ей — не сон, нет, а то, что было до сна и было подобно тому сну.

9

За окопами петезровцев начиналась ничейная полоса, где в траве валялись острые, как обломанные куски лезвий, ржавые, потускневшие осколки разорвавшихся снарядов, жестяные оперения мин, виднелись неглубокие пепельные пролысины — следы брошенных ручных гранат, кое-где белели комки окровавленной марли с бурыми пятнами, лежали перевернутые, во вмятинах каски, полузаполненные дождевой водой.

Миновали заминированную полосу, о чем знал только Петухов, точно угадывая проходы в ней по ему лишь ведомым вешкам и отметинам. Дальше началась ничейная. Петухову понравилось, как, прижимаясь к земле, только шурша маскхалатами, гибко, сильно ползут разведчики, словно какие-то ластоногие земноводные существа, вышедшие временно на сушу.

Потом один из них перевернулся на спину, подлез под первое проволочное заграждение и, работая длинными рычагами рукоятей ножниц-кусачек, с хрустом стал резать колючую проволоку; потом рукой в брезентовой рукавице бесшумно разогнул ее в стороны.

На проволочных заграждениях были повешены погремушки — пустые консервные банки с галькой внутри — сигнальные приспособления вроде коровьих ботал.

Самая сложная работа предстояла со спиралью Бруно — бухтами стальной тонкой проволоки, растянутыми, как полупрозрачные трубы, сквозь которые надо проникнуть не только беззвучно, но так, чтобы не запутаться, не завязнуть в трещающих спиралях, в петлях стальной паутины.

И когда пробрались сквозь эти пружинистые трубчатые пути, сержант-разведчик, тронув Петухова за руку, показал ему пальцем в ту сторону, откуда они пришли, но Петухов положил на его палец руку, сжал и потом, сделав лицо свирепым, ткнул рукой вперед. Сержант потрогал погон на гимнастерке Петухова, потом свой, пожал плечами, лицо его приняло обиженное, но покорное выражение.

Петухов победоносно усмехнулся и на локтях быстро пополз в овраг, в зарослях которого можно было временно укрыться и передохнуть для нового броска.

Сержант наклонился к Петухову и, прижимая пальцем рваное веко к главному яблоку, сказал неуверенно и просительно:

— Вы нас, лейтенант, могли бы выручить? А то такая штукавина получается. Немец пролазы в заграждениях обнаружит, начнет суетиться, нас искать и затруднит маленько задание, а если вы окажете содействие, воротитесь обратно другим маршрутом и они ваши пролазы тоже засекут, тогда порядок — фашист нервы себе успокоит: была разведка, нет разведки, уползла восвояси. Как, ничего возвращаются шарики? — спросил сержант, подмигнув рваным веком, и сразу же по щеке его потекла слеза, которую он не почувствовал.

— Спрашиваешь? — подозрительно осведомился Петухов.

— Нисколько. Только одолжение. Смелость по высокой норме требуется, поскольку могут вас обнаружить и пострелять. — Пообещал: — Но вы же не один, я вам выделю для сопровождения своего бойца с режущим инструментом, чтобы проволоку кусать.

- Хитрый ты!
- Соображающий.
- Вас только трое останется.

— Чем меньше числом, тем больше каждый на себя надеется. Так как? Согласны таким ловким маневром нам организовать безопасную обстановку? — Напомнил: — А то ведь ловить будут, на всю глубину развернут поиск.

— Ладно, убедил. Отделались!

— Почему же — отделались? Это вы зря, — возразил сержант. — За компанию спасибо. Довели вы нас по первому классу, со всеми удобствами.

Пошептавшись с разведчиками, сержант ткнул одного в грудь, сказал:

— Ты, Ефимов, под командой лейтенанта будешь!

Снова подмигнул Петухову рваным веком и с остальными двумя разведчиками согбенно, быстро ушел по дну оврага.

Оставшийся с Петуховым разведчик сказал хмуро:

— Сержант не из пехоты — флотский. Под гимнастеркой тельняшка. Он ее самолично стирает, поскольку флотской сменки у старшины не имеется, одно наше бязевое белье, пехотное.

Петухов молча кивнул, поглядел на часы — до рассвета оставалось всего полтора часа.

— Ну что, пошли до дому, до хаты?

— Тогда мне в другую сторону, — сурово сказал разведчик. — Мне еще фашиста гнать и гнать. Полоцкий я. — Вдохнул. — Все ж таки, если б с сержантом пошел, приятнее, до дому несколько ближе...

Преодолев на обратном пути проволочные заграждения, минные ловушки, Петухов счел нужным для полной гарантии активно зафиксировать у противника замысел сержанта-разведчика. Стал передвигаться по ничейной полосе перебежками почти в рост, и, когда противник засек, открыл огонь, он ползком подался в противоположную от своих сторону и залез вместе с Ефимовым под подорванный на минном поле немецкий танк с башней набекрень от взрыва боеукладки.

Отдышавшись, отдохнув от ощущения смерти, Петухов сказал, кивая на близкие разрывы снарядов:

— Пусть теперь зря расходуются, по пустому месту.

— Самогеройством сейчас никого не удивишь, — насутился Ефимов.

— Но ведь приятно.

— Нашел удовольствие — мишенью выставляться!..

— Тактический прием, военная хитрость, — улыбнулся Петухов, спросил: — А ты чего такой сердитый?

— Понять тебя желаю, — сказал Ефимов. — Не то отчаянный, не то ловкач.

— То есть как это ловкач? — не понял Петухов.

— Очень просто. Мог бы с нами взводного послать, даже отделенного. А выходит, кроме самого ротного — тебя то есть, — нет никого, кто лучше бы проходы знал к противнику. Значит, за разведку кому причитается? Вам, ротному.

Петухов рассмеялся:

— Ты прав, я ловкач, верно. Вместо того чтобы своими бойцами рисковать в разведке местности, которую нам же с бою одолевать, я вашу живую силу для этой цели использовал. Думаю, разведчики — народ опытный, с ними не пропадешь, лучше для себя компанию не найти, а если потери будут, не с моего подразделения списывать.

— Силен!

— А ты меня зря задеть хотел, — упрекнул Петухов. — Я действительно обрадовался: с такими квалифицированными ребятами на разведку сходить. Что мне надо было, спокойно высмотрел. Даже свой передний край в смысле маскировки со стороны противника оглядел, проверил.

— Спокойно, потому что за нас не беспокоился.

— Точно, — согласился Петухов.

— Ну а по совести, зачем мишенью себя выставлял?

— Беспокоюсь за тех, кто остался. Ясно?

Ефимов задумался, потом произнес проникновенно:

— Ты, лейтенант, все ж таки поаккуратнее воюй, и на после войны с тебя будет спрос все налаживать. — Сказал запальчиво: — Меня почему с разведки сержант снял? Не выдержанный. Надо, допустим, деликатно «языка» взять, а я, извиняюсь, фашиста, только если он покойник, за человека считаю... — Вдохнул: — В армии год, а так все в партизанах воевал. — Гневно глядя в глаза Петухову, заявил: — И ты того не видел, что я видел, всякое нечеловечество. Так что меня теперь не отрегулируешь. И злость у меня на них от тебя тоже еще прибавилась.

— А я тут при чем? — удивился Петухов.

— А как же, — пояснил Ефимов, — я тебя взял словами

на ощупь, проверить, какой ты на самом деле, и скажу — не для тебя, а для себя скажу: мы, может, с тобой больше никогда и не встретимся, а вот за то, что ты такой, какой ты есть, если тебя не будет, по какому счету я с них взять должен, спрашивается? — Потребовал: — А ну дай закурить.

Сворачивая дрожащими пальцами сигарку, сообщил презрительно:

— Это у меня не от нервов, а от обиды, что в сопровождающие сержант отправил. Вот тоже типчик! Его корабль потопили, воюет в пешем строю. Возьмем «языка», на себе приволокем, сдадим. А он потом ходит в караульное помещение с бывшим «языком» общаться. Ему интересно, что он за человек. Если ты флотский — фашисты флотских «черной смертью» величают, — значит, оправдывай такое наименование. Был вот случай. Отсиживались мы в овражке. И что ты думаешь? Фашисты своих двух к оврагу на казнь вывели. Смех — друг дружку лупцуют. А сержант командует нам: «Огонь!» Их много, а нас несколько. Ну ничего, сладили. Чего с этими двумя делать? Предлагаю: «Оставим из жалости тут в овражке, как они были, связанными. На обратном пути, может, и развяжем — отпустим». Так нет. Выдал сержант им трофейные автоматы и с собой забрал. Всю операцию я переживал как никогда. Но ничего, обошлось, вместе с нами они к нам приперлись. Дрались против своих, ничего, грамотно, видать, фронтовики опытные... А что потом было? Снова разведка. До этого у меня к ним, фашистам, никакого интереса не было. А теперь задумываюсь. Но не в бою, а после. В бою я как был — яростный. — Замял в пальцах окурки. — Фашисту убить человека просто. А если ты человек советский, да еще осмысленный, приходится разбираться. Ну конечно, побьем мы их, а дальше что? С ихнего народа шкуру драть? Так ведь народ, он и есть народ. Не будь у нас Советской власти, кто бы мы были без совести, которую в нас Советская власть воспитала? И выходит по этой совести, надо дать им возможность отмыться. Но мне-то еще со своей злобой воевать и воевать по своему длинному счету...

По броне сгоревшего танка звонко ударила пулеметная очередь.

— Нашупали, — сказал Ефимов. — Теперь, Ванька, держись. — И стал аккуратно вкладывать запалы в гранаты, поставив на боевой взвод, положил рядом с собой,

сообщил:— Я эту карманную артиллерию обожаю, как шарахнет, сильно освежает. Скоро автоматчики приползут. Я ихнюю манеру знаю.— Заявил наставительно:— Конечно, наш автомат против ихнего лучше, но винтовка — это вещь, для прицельного огня незаменимая, и опять же дальнобойность...— Сказал торопливо:— Давай так. Я тут побуду, а ты вроде кочующей огневой точки за бугорком пристройся. Я их на себя заманю, а ты выжди и тогда крой на всю обойму по их скоплению. И чаще позицию меняй, будто нас много.

Бой с автоматчиками длился долго, Петухов расстрелял почти все патроны, пока не пришел на выручку командир первого взвода с бойцами.

Ефимов лежал под сгоревшим танком мертвый. Автоматчики забросали его гранатами. Длинные деревянные ручки немецких гранат во множестве валялись на земле, словно черенки шанцевых малых лопат. В вытянутой руке Ефимов сжимал потертый серый наган. Один мертвый глаз сощурен, другой широко открыт — он умер прицеливаясь.

10

Командир батальона Пугачев, сидя в нижней рубаше у патронного ящика, поставленного на попа, брился, пылливо глядясь в зеркало. Выслушав доклад Петухова о результатах произведенной им разведки в полосе, назначенной для наступления, Пугачев, нежно охлопав свои щеки ладонью, не оглядываясь, спросил:

— И все?

— Так точно, все! — сказал Петухов.

Пугачев, склонившись над зеркалом, разгладил пальцем брови, посоветовал небрежно:

— Там на ящике донесение разведки из штаба дивизии. Прочти. Совпадает.

— Значит, разведка благополучно вернулась! — обрадовался Петухов.

— Выходит, мне доложить в дивизию нечего, — сухо сказал Пугачев. — Не мы им, а они нам глаза открывают. — И произнес обиженно: — А я-то думал — мы им.

— Когда визуально на местности сам все увидишь, увереннее боем руководишь, — как бы оправдываясь, сказал Петухов.

— А с чего это их автоматчики вдруг зашумели? — спросил небрежно Пугачев.

— Разведчик Ефимов, меня сопровождавший, с ними бой вел.

— А младший лейтенант Петухов им издал командовал? Да ладно, не бледней носом, — сказал Пугачев. — Не надо. Все знаю. Просил комдива посмертно Ефимова к награде представить.

— Спасибо, — сказал Петухов.

— Что касается тебя, то не за что — могу руку только пожать, если желаешь. Но вот тебе от меня лично существенное — пируй! — Пугачев царственным жестом снял со стола наволочку, которой были накрыты взрезанные банки консервов, соленые огурцы, алюминиевая фляжка, лежащая в каске, заполненной холодной водой, и тут же пожаловался: — Сам я голодный как черт. Недал, спрашивал — вернулся, нет? Ну давай, давай, садись. — Сообщил: — Заметил, усы себе сбрил?! Когда бой у вас с автоматчиками на полосе завязался, клятву себе дал — вернешься живой, я за это усы себе сбрую. Ну вот и сбрил. А усы у меня были подходящие, не как у тебя, волос подмышечного качества. Ну ладно. Главное — живой. Я, знаешь, живых больше люблю, чем павших. Когда батальон полностью укомплектован, на душе веселее. Не огорчил, — значит, спасибо.

Потом Пугачев переспрашивал Петухова о деталях разведки, кивая крупной светловолосой головой, говорил одобрительно:

— Правильно. Если они заново свои минные поля не перекапывали, значит, готовятся наступать. Окопы приметил с козырьками? Точно! Выходит, разведут в них костры, чтобы свой передний край для своей авиации ночью обозначить. Мы у себя такое же устроим, для обмана их авиации. А вот почему в овраге брошено столько свежих древесных отходов от столярных работ, неясно. Что они, мебелью обставляются?

Петухов напомнил:

— Я же вам говорил: стружка запачкана серой краской. Это же цвет их оружейной окраски.

— Ну, смотри, какой ясновидящий. Получается, они для нашей воздушной разведки намастерили фальшивых, из дерева, орудий, чуть замаскируют, но так, чтобы с воздуха заметить. И вали, Иван, зря товар по ложным позициям. Надо о таком фитиле сообщить!

Соединившись со штабом дивизии, развалился на табуретке в расстегнутом кителе, с папиросой в зубах, Пугачев сказал после обычных полагающихся докладных слов:

— Сведения точные и сомнению не подлежат. Командир роты товарищ Петухов в военном отношении человек образованный. Даже улики доставил в виде стружки окрашенной. У меня порядок — сначала докажи. И тогда благодарность.

— Но я же ничего не приносил, — вмешался Петухов. — Даже не думал, что надо стружку принести в доказательство.

Пугачев сердито махнул на него свободной рукой. Произнес в трубку:

— Вас понял!

Потом, обернувшись к Петухову, произнес укоризненно:

— Ну я тебе верю! Но надо, чтобы и мне поверили. А как? Воткнул о наличии стружки, получилось неотразимо. Я психологию начальства знаю как свою собственную. — Произнес задумчиво: — Когда с умом воюешь, даже весело становится. Умом переиграть противника тоже отвага требуется.

Пугачеву нравилось внушать о себе представление как о человеке, хорошо приспособившемся к войне, способном извлечь из фронтового быта максимум удобств.

Красивый, видный, статный, с особой щегольской армейской выправкой, с блестящими обильными русыми волосами и такими же блестящими светлыми глазами, он пользовался успехом, когда можно было им пользоваться, во время кратких пребываний в населенных пунктах, и, когда с ним прощалась с радостными, благодарными слезами женщина, он целовал ее осторожно, бережно, говорил:

— Спасибо за все!

И может быть, лицо у женщины было не очень привлекательное, но, воодушевленное, в этот прощальный момент оно было даже красивым.

Когда про него дружески говорили: «Ну ходок!» — он отзывался: «А что, верно!» Но лицо его при этом было вызывающе строгим.

Как-то к нему в батальон прислали трех молоденьких санитарок, причем одна из них была очень недурна, даже, пожалуй, под стать ему — рослая, видная, с надменными, четко очерченными свежими губами.

А через два дня Пугачев докладывал командиру полка,

болезненно морщась и щурясь так, словно у него ослабло зрение:

— Уберите! Ну не могу я. Весь издергался. Ну бьют, калечат нас, мужиков, как и положено на фронте. А тут девушки, нельзя же так. Такие, знаете ли, оживленные, а в них стреляют. Гоню их в траншею. А за ранеными бойцов посылал и сам таскал.

Просил уныло:

— Заберите!

И вытирал тыльной стороной руки пот со лба.

Но когда вольнослужащая с полевой почты должна была стать матерью и ее отправляли в тыл, а офицер связи объявил, что он уже женатый и потому не может дать ей свой аттестат, Пугачев, случайно узнав об этом, выписал свой аттестат на имя этой вольнослужащей с почты и приказал своему порученцу передать аттестат ей.

Потом этот офицер связи прибыл с поручением в батальон Пугачева, и Пугачев, радушно и беспечно улыбаясь, повел его на передовую, но не по ходам сообщения, а по открытой местности под огнем противника, и водил до тех пор, пока офицер не засел в щели, выкопанной для снайпера, и отказался дальше следовать.

Командир полка вызвал Пугачева и спросил напрямик:

— Что за хулиганство?

Пугачев ухмыльнулся нагловато и сказал:

— Ползучего гада пуля не берет.

— Значит, вы хотели, чтобы его подстрелили?

— Между нами, не возражал бы.

— А если вас в трибунал?

— За что? В ходах сообщения сырость, грязь. Беспокоился, чтобы он не замарался. Только и всего!

И Пугачев вытаращил свои светлые глаза, обретая вдруг облик туповатого усердного служаки.

— А если по-честному? — спросил командир полка.

— По-честному я уже сказал: гад.

— Но позвольте, его вы осуждаете, а ее?

— Я, товарищ полковник, так считаю, — угрюмо сказал Пугачев. — Женатый? Говори: женатый. Не ври, что до свидания, говори — прощай. Ну и в таком роде, по-честному.

— Не очень твердое у вас понятие чести.

— После войны исправлюсь, — холодно пообещал Пугачев. Спросил: — Разрешите быть свободным?

Теперь Петухов оценивал свои поступки, действия и даже мысли не как раньше: на одной стороне он сам, на другой — все те, чьим мнением он дорожил. Ныне объявилась третья сторона — Соня. И как бы он ни сопротивлялся это признать, она вторглась в его сознание властно и прочно. Воображением он восполнял то, что в ней было ему неизвестно. Он ощущал ее присутствие в себе, словно никому не видимого, кроме него самого, спутника, перед которым он мысленно отчитывался за каждый свой помысел. И в разведку он пошел, побуждаемый не только соображениями военной необходимости: проверить маскировку своих позиций со стороны противника он мог бы и при других обстоятельствах. Также и сведения о расположении опорных пунктов противника мог бы получить от самих же разведчиков по их возвращении. И не было такой строгой необходимости вызывать огонь на себя, чтобы убедить фашистов в уходе разведки.

Пролазы в проволоке немцы все равно обнаружили бы, проверяя, как всегда, на рассвете систему своих заграждений. Но втайне, в чем бы он не хотел признаться и не признавался себе, он всем этим пытался закрепить в себе сложившееся о нем мнение радистки как об отважном офицере, которому чувство страха недоступно. И когда он был с ней в тылу врага, он будто бы вел себя мужественно не потому только, что она была с ним, а потому, что он вообще такой самоотверженный, находчивый при любой опасности, в любой обстановке. На войне он научился скрывать от других чувство страха. Но оно присутствовало в нем. При каждом близком плюханье пули в грунт у него непроизвольно сжимаются на ногах пальцы, ломит шею, потому что насильно преодолевает кивок головы. И, когда близко рвется снаряд или мина и задевает только комьями земли, он мгновенно отчетливо представляет, будто острыми осколками уже иссекло его самого и он корчится на земле, искромсанный, окровавленный.

Он видел столько израненных, умирающих, что представить себя таким совсем просто, так же как и стать таким. Кто обжился на передовой, тот не стесняется расчетливо опасаться смерти, и в этом даже узнается хорошая повадка опытного фронтовика. И всякое притворство, будто человек не испытывает страха смерти, у бывалых бойцов вызывает неуважение и пренебрежение таким человеком. Уважают

тех, кто опытно, ловко, инстинктивно и как бы между прочим мгновенно реагирует на опасность, самосохраняясь не для того, чтобы уклониться от боя, а для того, чтобы неуязвимо действовать в бою.

На четвертом году войны люди обоевались. Квалифицированное умение наносить врагу потери ценят больше, чем иступленный бросок на врага в ослеплении ярости, когда в этом ослеплении утрачивается тщательная бойцовская зоркость, позволяющая бить вернее, надежно укрываясь и обдумывая свой следующий бросок.

Уважение опытных фронтовиков — самое высокое признание.

У Петухова было развито чувство опасности, он привычно владел этим солдатским умением — зря не подвергать себя опасности, и такое не считалось на передовой чем-то стыдным, а даже, напротив, вызывало уважение и доверие.

Конечно, когда Пугачев геройствовал перед солдатами, красивый, удалой, бесстрашный, им любовались. И в эти мгновения, поддаваясь его бесстрашию, бойцы готовы были кинуться вместе с ним в атаку в рост, испытывая увлекательное упоение его отвагой и лихостью, потому что в них самих живет такая же лихость и она нужна, но не всегда.

Выбрать момент, когда именно она нужна, необходима, — здесь нужен командирский талант, озарение, чтобы вызвать ее именно тогда, когда лихость решает исход боя.

Но как часто исход боя решает другое — вдумчивое сосредоточение, усердие, мастерский солдатский опыт, хладнокровное умение, не запыхавшись, твердой рукой бить по верной цели, удерживая в памяти расход патронов, и безбоязненно идти вслед своему огненному артиллерийскому валу, с изумительной инстинктивной точностью соблюдая должный интервал, чтобы не задели осколки от своих же снарядов.

И не всякая победа наполняет сознание солдата чувством победы. Важно, какой ценой она добыта.

В ночном бою рота Петухова овладела укрепленным пунктом противника, расположенным на высоте, овладела удачно, потому что Петухов приказал роте залечь, открыть огонь, а под прикрытием этого огня выслал группу бойцов, обильно нагруженных противотанковыми и простыми гранатами, и те подползли к самым ограждениям и забросали врага гранатами. В это время остальные бойцы роты силь-

ным, резким броском достигли оборонительного рубежа противника и овладели им, и только четверо было легкораненых, и ни одного павшего.

Хотя сам Петухов добрался до рубежа последним, потому что вывихнул ступню, оступившись в кротовую нору, и, прихрамывая, волоча ногу, морщась от боли, виновато объяснял, что не ранен, а просто оступился, солдаты чествовали его за этот бой так, словно он их геройски вел за собой, а не плелся позади, страдальчески морщась, ковыляя, словно раненный в бою, позади всех.

После других боев, тоже победных, но при больших потерях, когда перед строем оставшихся в живых торжественно объявлялась благодарность, на лицах бойцов было только угрюмое изнеможение, и, когда хоронили павших, в скорбном молчании солдат Петухов чувствовал немой упрек, обращенный к нему как к командиру.

Может, это было и не так, просто бой был слишком тяжелым, и солдаты отупели от тяжести боя и сами выглядели как полумертвые, но Петухову всегда казалось, что он виноват и перед павшими, и перед живыми за то, что не смог избежать таких потерь.

Именно тогда у него рождалось чувство вины и желание выказать себя бесстрашным, кинуться под огонь впереди всех, чтобы этим искупить, снять тяготящее его чувство вины. Но это была не храбрость, а скорее слабодушное желание освободить себя от тягостного мнительного чувства, будто он утратил доверие бойцов, понеся такие потери, и будто бы можно по-скоростному восстановить его, проявив личное отчаянное бесстрашие.

И нужна была совсем иного рода храбрость. Пойти к лежащим на земле усталым, обессиленным бойцам, закурить из чужого кисета и спросить доверительно и задушевно:

— Ну как, чего мы недоглядели? Я вот думал, накрыли их огневую точку, поднял вас, а он как даст! Значит, только заело у него, он исправил, а я огонь уже велел перенести по другой точке, наспешил своим насмерть.

И ждать, что ответят. Ждать, холодея, страшась смотреть в глаза.

— Это Никитин маху дал, а не вы вовсе, — раздавался сиплый голос. — Кричал ему: «Кинь на всякий пожарный еще одну гранату!», а он кинул второпях, а на боевой взвод не возвел, упала как чурка. Потом засовестился, поднялся с винтовкой, тот его и срезал.

— А ты чего смотрел? Не разорвалась его граната, от себя, свою швырнул бы,— сказал другой боец.

— Свои израсходовал.

И солдаты садились или вставали и обсуждали истекший бой так, словно и не было безмерного измождения, скупое, в словах, но точно восстанавливали каждый момент боя.

Говорили:

— Это санинструктор должен за каждым, кого задело, уследить, пожалеть, помощь оказать. Ротный правильно нас выбросил в атаку. Увидел, что потери несем, значит, нащупали. Значит, куда? Вперед! Ему задача огнем командовать, чтобы их огонь давить, фехтовать по их точкам. И тут каждый сам себе командир, соображай, не мельтешишь. Сам оберегайся и оберегай товарища. Бой не пожар, чтобы суетиться, и на пожаре свое расписание. Тимофеев с ручным пулеметом залег, а перед ним Сверчков выскочил и шпарит из автомата.

— Герой! А не соображает, что Тимофееву пространства от этого нет. Он ему собой пространство закрыл. Сказано было — соблюдай для ручных пулеметчиков свободный промежуток. Товарищ лейтенант мог бы тебя, Сверчков, за это призвать, а он молчит, жалеет, что ты раненый. Ему за потери от тебя — боль. Может, если бы не ты, Тимофеев успел бы огнем прикрыть Зыкова и Тимохина, которые первыми на проволоку соломенные щиты бросили и с маху поверху полезли. Ты, Сверчков, обожди! Ты свое все ж оправдал! Видели. Вскочил в траншею, к пузу приклад автомата прижал — и на всю катушку. Тебе спасибо. Значит, есть совесть.

— Товарищ лейтенант, сигару закурите. В блиндаже прихватил. Доставьте нам удовольствие. Только для фасона, может, их гитлеровский генерал курил, а как мы им духу дали, наш ротный их сигару курит, попыхивает.

— Ребята, надо бы походить, посчитать, сколько мы их повалили, а ротный доложит наверх.

— Не надо,— сказал Петухов.

— Как не надо? Надо! Мы же понимаем, как вы на нас глядеть не хотите,— столько товарищей потеряли, может, самых лучших.

— В этом я ответчик,— глухо сказал Петухов.

— Ну уж нет. Вон они где, ответчики,— и боец показал рукой туда, куда отступил противник.

И Петухов чувствовал, знал, что так деликатно солдаты

пытаются внушить ему, будто в потерях нет его вины, а всю вину они берут на себя, словно по строгому уговору, что бы там ни было, а авторитет своего командира, его самочувствие сберечь.

И вот это было для Петухова самым главным в жизни на войне и самым высоким счастьем ощущать такие заботливые признания, и ради одного этого он не страшился смерти в бою, и этой солдатской высокой мерой стремился соизмерить свои помыслы и поступки. А теперь в нем существовало и томило неизгоняемое радостное, нежное присутствие той, о которой он пытался не думать, но она властно не покидала его.

И когда рядом шмякалась в грунт пуля, у него не только привычно сжимались в сапогах пальцы и он мгновенно видел себя павшим, но и рядом с собой, мертвым, видел ее, живую. И ему было уже приятно воображать себя мертвым, ощущая на своих, допустим, окостеневших губах ее мягкие теплые губы, ее скорбное дыхание. Но сразу же его настигал стыд от такого пошлого, никчемного мечтания. Раньше он поспешно брился на ощупь, теперь воровато склонялся к крохотному зеркальцу и огорченно созерцал тощие усы, острые скулы, бесцветные глаза, все это в отдельности выглядело неважно.

Обычно на передовой он ходил в кирзовых сапогах, в каске и плащ-палатке. Теперь натягивал хромовые, надевал несколько набекрень фуражку, вместо плащ-палатки носил серый плащ в талию.

Конечно, и раньше ему хотелось отличиться в бою, чтобы получить орден. Но отличиться как командиру образцовой организацией боя, чтобы его рота стала считаться лучшей ротой не только батальона, но и полка и ей доверяли бы самые ответственные задания.

Теперь он стал мечтать, чтобы ему лично поручили особое задание, которое он выполнил бы с блеском, — скажем, в тылу врага. Или один вышел на вражеский танк и подбил его броском связки гранат, а потом еще второй танк, допустим набросив на смотровую щель плащ-палатку и вскочив на ослепленную машину, затем, когда люк башни откроется, сунуть туда ствол автомата и потом сесть за рычаги управления и привести танк прямо в штаб. И он ловил себя на таких ретивых мечтаниях и ежился, тем более что ему довелось однажды действительно подбить танк. Но все это получилось совсем не героически.

Зимой в начале сорок второго он тащил в санитарной лодочке-волокуше найденные в лесу мины и артиллерийские снаряды. Выскочил немецкий танк. Вместо того чтобы свернуть с дороги и броситься в глубокий снег, Петухов бежал, впрягшись в сани, ничего не соображая, и только в последний момент, когда сообразил, бросил сани и кинулся за обочину.

Танк ударил волокушу, и не то разорвалась мина, не то снаряд, танк взрывом швырнуло в сторону, и он закрутился, распластывая на земле разорванную гусеницу.

Петухов, толкаясь головой в снег, уполз, хотя ему следовало выждать, пока из люка вылезут танкисты, чтобы вступить с ними в бой.

12

Когда Петухов впервые увидел Соню, и потом летел с ней в тыл врага, и, пережив смерть пилота, доставил ее к партизанам, все то время, пока они были вместе, ее как бы заслонила от него им же самим созданная преграда. Будто такого не может быть, не должно быть, не имеет права быть — именно того, что он вспышками радости испытывал к ней и, мгновенно негодуя, гасил в себе.

И только потом все отчетливее и отчетливее возникало в его сознании нововиденное, то, что он тогда пережил, считая ненужным, неправильным ощущать в себе то, что ощущал тогда.

Прежде чем подняться тогда в кабину самолета, радистка натянула пилотку до самых ушей и, доверчиво приблизив лицо к его лицу, дружелюбно заглядывая в глаза, спросила деловито и озабоченно:

— Теперь ветром не сорвет? А то прилечу растрепухой!

Петухов даже не понял, о чем она говорит, внезапно ошеломленный женственной доверчивой близостью ее лица. Он даже не рассмотрел его, не знал, какое оно, и не понял, почему ее дыхание коснулось его губ. Это теперь он знает ее лицо, а тогда его сразу охватила только дурманная теплая волна — счастье.

Он не знал, отчего возникло это всеохватывающее чувство счастья. Он только покорно проникался восторженным, ликующим ощущением жизни, не понимая, отчего это такое с ним происходит, и, может быть, не желая понять.

И он тогда вдруг услышал где-то очень далеко за

несколько мгновений до этого недоступное его слуху, осторожное чириканье какой-то птицы.

Запуганные войной, певчие птицы обычно избегали тех мест, где шли бои. И он забыл голоса птиц. А вот вдруг услышал. На березовой опушке, окружавшей полевой аэродром, ведь должны гнездиться птицы, даже, возможно, соловьи. Они особенно голосисты перед сумерками.

И он так же неожиданно, пронзительно остро ощутил запахи травы, вянувшей листвы на ветвях, маскировавших самолет и теперь сброшенных на землю, прелые запахи самой земли, недавно политой блестящим на солнце, как велосипедные спицы, дождем.

И он вспомнил велосипед. Велосипед, который отец подарил ему. Сверкающий, сухощавый, плоский, летучий. И отец, посадив на велосипед его, судорожно уцепившегося за руль, придерживав рукой сзади за седло, бегал по двору, пока он, вихляя передним колесом, выделявая зигзаги, учился владеть машиной.

А мать гордо смотрела не на него, а на отца, который всегда мечтал «займечь» велосипед, но купил не себе — сыну.

Он боялся велосипеда, но преодолевал боязнь, чтобы не обидеть отца, объятых восторгом, что его Гринька может теперь наслаждаться пространством, постигаемым велосипедной скоростью.

И боязнь падения исчезала по мере того, как все его существо заполняла ликующая признательность отцу и гордость гордостью матери, которую он подметил в ее взгляде, когда она смотрела на отца, бегающего по двору за велосипедом сына.

Он словно очнулся, очнулся от озабоченного голоса радистки:

— Вы что же это без шинели, в одной плащ-палатке? Еще простудитесь. — Она бесцеремонно ощупала его гимнастерку, упрекнула: — Совсем налегке! — Сообщила за просто: — Хотела сама куртку стеганую и штаны ватные надеть, узнала, с лейтенантом лечу, — постеснялась.

— Ну и напрасно, — буркнул Петухов.

— Зачем же я перед вами буду некрасиво выглядеть? Вам же было б неприятно. — Произнесла серьезно, без

улыбки, и призналась: — А мне приятно думать, будто вы для меня так легко оделись, чтоб я не так боялась: мол, обыкновенная командировка и ничего такого особенного.

И эти ее заботливые, доверительные, простые слова сблизили их. И он ощутил эту близость, как дуновение тепла в зябкую ночь, как утрату чувства одиночества, испытываемого всегда перед неведомой опасностью, которое он научился преодолевать совсем иначе, а теперь оно исчезло мгновенно в тепле ее слов и доверчивом свете ее глаз.

И вновь ощущение счастья жизни охватило его.

И он уже не опасливо смотрел на небо, освещенное ярко звездами. Чистое и прозрачное, которое только что сердито ругал пилот за то, что оно чистое, безоблачное и не во что будет сунуться, скрыться самолету, если появится «мессер».

Глядя в это небесное сверкающее пространство, он весь преисполнился ощущением легкости, летучести, свободы, которое он испытал впервые в детстве, когда, оторвавшись от руки отца, помчался на велосипеде по двору, легко и свободно, словно не по земле, а по воздуху. И когда радистка, неловко взбираясь по металлической стремянке в кабину, застенчиво оглянулась на него, прежде чем перешагнуть через борт, он отвернулся и услышал, как она сказала с благодарностью:

— Вот спасибо, а то юбка на мне узкая.

И когда он сел в кабину, она приподнялась, коснулась его плеча:

— Хорошо, что вы хороший, теперь мне лететь не страшно, хоть я никому в этом не признавалась — только вам, боюсь высоты. Даже когда окна дома мыла на втором этаже, у меня голова кружилась.

— Давай, давай пристегивайся, — сказал Петухов, — а то на вираже еще вывалишься. — Сказал развязно, чувствуя, как его плечо потеплело от мягкого прикосновения ее руки, и он еще долго ощущал ее тепло на своем плече, стыдясь одновременно того, что это ему так нужно и приятно.

И когда они поднялись, и самолет, как катер по воде, плыл уже в высоте, и на дне этой высоты виднелось земное пространство, утопавшее в голубоватой дымке, бесконечность неба и плоскости самолета в нем, словно летучее продолжение его самого, — все это наполнило таким безвременным ощущением покоя, сладостной, легкой опусто-

шенности, что самым главным казалось то, что сейчас проникло в него, не совсем осознанное и единственное, чего он тогда хотел, — чтобы полет этот длился бесконечно, как блаженное чувство, которое снизошло к нему столь внезапно и неожиданно от таких незначительных обстоятельств, как несколько слов, сказанных радисткой, лицо которой он так и не успел рассмотреть и не мог заставить себя рассмотреть, уже от первых беглых взглядов испытыв томительное чувство грусти и нежности, то есть то, что он не имел права испытывать к подчиненной ему личности при исполнении боевого задания.

Но получалось: не она стала его подчиненной, а он все больше подчинялся охватившему его ощущению невинного счастья оттого, что рядом с ним она в небесном пространстве, и, кроме них, ничего нет, и это главное, на всю жизнь главное.

А оказалось, не главное, и он сейчас с негодованием признавался себе: когда самолет стал предсмертно метаться под огнем «мессера», то земля металась перед его лицом, то небо, и его то вдавливало в сиденье, то мощная тугая сила рвала из привязных ремней наружу, и он впился в железное сиденье судорожно руками, и радистка исчезла из его сознания.

И в этом метании все, что жило в нем так ликующе, было убито, вытрясено, он корчился, задыхаясь, захлебываясь ударами воздуха.

И когда очнулся на земле в болотной жиже, в мертвой тишине, после первой животной радости жизни к нему пришло тягостное презрение к себе. Убедившись — радистка жива, он понял, что предал только что огромное самосветящееся, упоительно-радостное, что могло длиться, но оборвалось при первом черном прикосновении смерти. Ее прикосновение убило то, что должно жить, пока человек жив, если это настоящее...

И то, что радистка принимала за его мужество, стойкость, было холодным отчаянием ненависти к самому себе, не сумевшему сохранить в себе то, что, он полагал, должно выстоять и помочь выстоять перед лицом смерти.

Поэтому он с таким деловитым хладнокровием командовал ею, спасая ее, и потом снова полез в трясины, чтоб вытащить тело погибшего летчика и рацию, и бесчувственно смог смотреть на нее не одетую, и вытирать ее своей рубашкой, потом снова приказывать ей, как бы добывая в себе то, что еще совсем не было добыто в нем в мечущемся

самолете, когда спазм страха выдавил из его сознания ее, будто ее и совсем не было, — когда она рядом, может быть, мертвая, может быть, раненая или умирающая. Она, которую он любил так мечтательно и своевольно в летучем спокойном полете, в покое неба, сверкающего и бесконечно-го, как — казалось ему тогда — бесконечна его собственная жизнь.

С жестоким презрением к самому себе Петухов сожалел только о том, что жив он, а не летчик, и был беспощаден к себе во все дни тяжкого их пути к партизанской базе. И простился он с ней с таким равнодушием, словно убивал в ней малейшее желание увидеть его вновь или сохранить его в памяти.

13

Противник вел методическую оружейную пристрелку по нашему переднему краю, как бы только продумывая и размышляя, где потом будет целесообразнее сосредоточить массированный огонь из всех наличных стволов.

Петухов сидел у амбразуры дота и на слух определял калибры рвущихся снарядов и визуально возможное расположение огневых позиций противника, еще не обнаруженных разведкой.

Созерцая местность, Петухов соображал, где и как лучше будет по ней передвигаться для встречи с противником в ближнем бою, называемом также рукопашным боем.

Хотя в учебнике тактики официально сказано: «Тактическая боевая обстановка никогда полностью не совпадает с прогнозированной. Поэтому командир должен выработать у себя готовность мгновенно реагировать на изменение обстановки», — все-таки Петухов заранее мысленно неоднократно проводил бой на этой местности в том варианте, который он мечтал навязать противнику.

Именно мечтал, потому что эта человеческая способность — мечтать — отнюдь не желание пренебречь действительностью, а скорее проявление воли, ума, стремление подчинить эту волю тем реальностям, которые надо открыть и заставить действовать согласно твоему плану.

Существуют типовые варианты боя, которые каждый командир обязан знать твердо. Но бой есть бой. Он состоит из множества поединков. В ходе боя ум, воля командира и формируют из них новый вариант боя так, чтобы про-

тивник не успел разгадать его и в тот момент, когда этот вариант становится решающим для победы.

Петухов сидел у амбразуры дота, расслабившись, расстегнув отдохновенно пуговицы на воротнике гимнастерки, и жадно курил папиросы «Казбек», которые он обычно скупно берег для самых ответственных моментов своей фронтовой жизни. Он находился в том самозабвенном состоянии сосредоточенности, в какое впадает человек, всецело погруженный в высшую заботу своего ума, совести, долга. Он наблюдал за методическим прицельным огнем противника, и в сознании его складывалась картина возможного боя с теми подробностями тактики врага, которые он мысленно предвосхищал маневром своих огневых средств и иных других приемов ведения боя.

Здесь же, на металлической катушке связиста, поставленной вертикально, сидел работник политотдела дивизии капитан Конюхов и, ссутулясь, засунув зябнущие руки в рукава шинели, читал записки какого-то немецкого ученого, путешественника в глубь Центральной Африки. Эту книгу он подобрал неделю назад в захваченной траншее противника.

Узкоплечий, тощий, с испитым веснушчатым, бледным лицом и слабым голосом, Конюхов производил вначале впечатление хилого и слабовольного человека. Когда вел политбеседы, он говорил почтительно, извиняющимся тоном, часто переспрашивал: «Вам понятно? Ну, очень рад! — Пояснял откровенно: — А то, знаете, я совершенно лишен дара оратора и до войны не имел лекционной практики».

Покашливая, потирая зябнущие руки, близоруко сощурившись, будто вглядываясь в какую-то неведомую даль, он постепенно увлекался, говорил воодушевленно, страстно, вызывая у слушателей такое ощущение, будто каждый из них некая историческая личность, которой суждено свершить исторический подвиг, а не просто, как это следовало из данной боевой задачи, овладеть ночью высотой 30,02 — лесистым безымянным холмом — и окопаться на ней.

Во время боя Конюхов уходил в атакующие подразделения и, следуя с цепью, оказывался вдруг там, где поединки с противником наиболее продвинувшихся бойцов решали исход атаки. И когда Конюхова упрекали за чрезмерный риск, он говорил:

— Личный пример в бою имеет исключительно большое значение.

И смущенно пояснял:

— Не мой, конечно, а тех солдат, подвиг которых я обязан с полным знанием конкретной обстановки изложить в политдонесении, а также для распространения в боевых листках.

И когда он рассказывал на политбеседах об этих подвигах, сами участники боя вдруг узнавали о себе неожиданно такое высокое и значительное, о чем даже не подозревали, и это им казалось сейчас малоправдоподобным. Ибо в бою человек находится в таком состоянии самоотречения, напряженности, при которых память бессильна сохранить все иное, кроме ощущения ожесточенного самозабвения.

И как бы Конюхов ни был измотан, утомлен, обессилен длительным и тяжелым ходом боя, он никогда не утрачивал пытливой внимательности к людям и с обычной своей деликатностью находил бодрящее слово для тех, кто терял бодрость.

Вместе с тем Конюхов проявлял непримиримую непреклонность, когда недостатки в организации боя были вызваны командирской робостью, выразившейся в покорности шаблонным приемам ведения боя.

— Это разновидность трусости, — утверждал Конюхов и горячо произносил: — Еще Фрунзе указывал: раз мы готовим армию к решающей борьбе с крупным и серьезным противником, мы должны иметь во главе наших частей людей, обладающих достаточной самостоятельностью, твердостью, инициативностью и ответственностью. — И добавлял от себя: — Отсутствие же инициативы — это и есть скрытая безответственность...

Не столь давно Петухов установил для себя такое правило: получив боевой приказ от комбата Пугачева, он сначала шел на позиции, где проверял в соответствии с полученным приказом боеготовность подразделений, и только после этого знакомил подчиненных офицеров с приказом, указывая им на то, что не соответствовало новому приказу и что должно быть немедленно устранено.

Конечно, при этом Петухов выглядел перед подчиненными очень дальновидным, проницательным командиром.

Такой метод он усвоил от комбата Пугачева, который не однажды распекал Петухова за отсутствие в его роте той готовности, которая должна соответствовать только что полученному боевому приказу, содержание которого Пугачев оглашал после того, как устраивал офицерам взбучку.

Пугачев имел репутацию храбреца. Если он видел с командного пункта, что рота победно овладевает траншеем противника, он оставлял командный пункт, перебежками устремлялся вместе со связистом к траншеям противника и самолично по полевому телефону докладывал наверх о том, что он в данный момент находится уже в траншеях противника. Правда, при этом наступающие подразделения утрачивали временно управление боем со стороны своего комбата, и это иногда имело и дурные последствия, но зато Пугачева, при всех обстоятельствах, никто бы не посмел упрекнуть в отсутствии отваги. Именно это качество Пугачева — храбрость — пленяло Петухова, и он стремился подражать комбату во всем остальном.

Петухов не знал, что Пугачев был разжалован на батальон с поста начальника вещевого снабжения дивизии за то, что, оказавшись случайно на батарее, приказал командиру, значительно ниже его по званию, немедленно открыть огонь по фашистским автоматчикам в то время, когда батарея была поставлена в засаду и должна была открыть огонь только против механизированных частей противника, уже двинувшихся в атаку с исходных позиций.

Поскольку Пугачев спешил личной храбростью искупить свою вину только перед начальством, он не был озабочен авторитетом своих подчиненных командиров. Принося их, он как бы возвышал себя над ними.

Сначала распекал командиров едко и высокомерно и только потом оглашал приказ высшего начальника, но так, будто этот приказ исходил не из штаба, а от него лично и вызван только тем, чтобы указать подчиненным на несоответствие их должности и званию.

Получив от комбата вздрючку, огорченный этим, Петухов одновременно испытывал к своему командиру уважение из-за той зоркости, с которой Пугачев подметил в его подразделении все то, что еще полностью не отвечало осуществлению поставленной в приказе задачи.

Петухов шел в роту озабоченный тем, чтобы выполнить указания комбата, и в таком состоянии, при котором подготовку к решению боевой задачи он рассматривал только как устранение указанных недочетов, уже не помышляя о том, чтобы внести что-либо от себя в осуществление задачи.

Чтобы одерживать победу с наименьшими потерями,

нужна личная инициатива командира, воодушевленность, продуманная им самим организация боя во всех возможных вариантах и вера в свою способность предвидения.

Но, испытав на себе тактику Пугачева, Петухов стал и сам ее применять, взваливая унылую тяжесть упреков Пугачева с себя на своих подчиненных, но зато в лице их он выигрывал в своем командирском авторитете, каждый раз теряя его у Пугачева.

Вообще-то Пугачев был на редкость привлекательным человеком: высокорослый, плечистый, крупноголовый, с буйными русыми волосами, падающими прядями на выпуклый лоб, с открытым приятным лицом. Он подкупал простодушной манерой обращения и даже беззащитной откровенностью, с которой говорил:

— А что? Я ордена люблю!

Хохотал заразительно весело, пояснял, доверительно подмигивая:

— Я мужичок тщеславный, не скрываю.

Но вместе с тем ему была присуща и яростная лихость. Выхватив у бойца противотанковое ружье, Пугачев вскочил на виллис и помчался по открытой местности, заметив, что немецкий тягач пытается уволочь подорванный в минувших боях танк в свое расположение. Подбил тягач и, вернувшись, произнес раздраженно:

— Сперли бы трофей, а потом доказывай, за что наградной лист подписал. Эх вы, растяпы!

Кстати, он не только сам любил получать награды, но, пожалуй, испытывал не меньшее сладостное удовольствие, представляя к награде других.

Он не терпел, когда другие старшие командиры делали замечание за какие-либо упущения не только офицерам его подразделения, но даже солдатам. С тупым упорством он не соглашался с правомерностью таких замечаний, если даже они были обоснованными. И пресечь его препирания не могли даже серьезные взыскания.

Как-то командир дивизии, наложив на него взыскание, сказал со вздохом:

— Я понимаю, голубчик, вам кажется неприемлемым со стороны чисто военной этики, что в вашем присутствии делаются замечания вашему подчиненному, вместо того чтобы поручить вам самому сделать такое замечание. Но ваша несдержанность при этом переходит все границы.

Пугачев небрежно козырнул, словно смахнув с лица докучливую муху, и произнес вызывающе:

— Благодарю за внимание!

И, высоко вздымая ноги, как бы пародируя парадный шаг, вышел.

Комдив вернул Пугачева. Молча показав подписанный наградной лист, порывисто разорвал его.

Пугачев вытянулся и произнес четко:

— Осмелюсь доложить, товарищ генерал, я еще легко отделался. — И, подмигнув, сообщил заговорщически: — Могли бы за подобное и звездочки с погон скovyрнуть в назидание.

И весело уставился на генерала светлыми, как у барана, но все-таки красивыми, с живым блеском глазами.

С солдатами Пугачев держался с этакой милостивой снисходительностью, и если о чем спрашивал, то с таким выражением, будто наперед знал, что ему ответят, и сам же подсказывал нечто бравое, ничего не значащее, и тут же хвалил бойца за бравый настрой.

Он раздражался, когда солдаты обращались к нему с просьбами, и при этом лицо его принимало высокомерное, брюзгливое, недоверчивое выражение.

Но не было жестче и беспощаднее командира, если пищевой рацион солдат был неудовлетворителен, махорку приносили сырой, смена выстиранного нижнего белья или портянок запаздывала. Словом, при малейшем нарушении солдатского довольствия он приходил в такое неистовство, что, случалось, у него кровь шла носом, так он кричал в трубку полевого телефона, требуя предать виновного трибуналу.

Но был отходчив, если виноватый каялся, и чем унизительнее каялся, тем скорее Пугачев прощал его.

До войны Пугачев занимал пост заместителя начальника снабжения одной из крупных геологоразведочных экспедиций на Крайнем Севере. Но в конторе бывал редко, кочуя с геологоразведочными партиями, где он с удовольствием брался за любую работу, лишь бы не сидеть в конторе. Его любили за общительность, беспечность, отвагу и всегдашнюю готовность к риску, поэтому прощали как существенные недостатки по линии его прямой должности, так и некоторые изъяны в характере, вздорную вспыльчивость и попытки командовать другими без всякого на то основания.

В первый год войны, будучи командиром расчета

45-миллиметрового орудия, он принял бой на железнодорожном переезде с танками противника. Танки без риска порвать гусеницы на железнодорожных рельсах не могли обойти батарею с флангов и вынуждены были атаковать ее в лоб на самом переезде.

После трех суток боя Пугачев с оставшимся полуживым поднощиком продолжал вести огонь; черный от копоти, угоревший от порохового газа, оглохший, бешеный в своей ненависти, в рваном окровавленном обмундировании, он пришел в такое иступленное состояние, что, когда подошли свои танки и открыли по машинам противника огонь и командир части, выйдя из танка, бросился к Пугачеву, чтобы обнять, Пугачев крикнул на него злобно и сипло: «Чего надо? Подавай!» — и кивнул на разбитый зарядный ящик, у которого сидел на корточках обессиленный поднощик с вытекшими от ударной волны глазами и держал на согнутой руке снаряд, как грудного младенца.

После госпиталя и высокого ордена Пугачева в соответствии с его прежней мирной должностью назначили начальником вещснабжения, что он расценил как личное оскорбление и был вполне удовлетворен. Когда после эпизода на батарее, уже иного характера, его снизили на батальон.

К Петухову Пугачев относился снисходительно.

— Ты уже ротой командуешь, но воюешь как бухгалтер.

— Почему как бухгалтер? — спрашивал Петухов.

— А потому! — резко говорил Пугачев. — Я тебе приказываю: доложить, как выполнили задачу! А ты вякаешь: Семенов ранен, у станкового кожух пробит и еще какие-то повреждения; у санинструктора кончились ампулы с противостолбнячной жидкостью. Разве так докладывают?

— Я же вам сказал: на указанный рубеж вышли.

— Значит, первое — задачу выполнил! Второе — потери противника? Трофеи? А ты о чем лепетал?

— Не лепетал, а требовал Семенова в санбат отправить, новый кожух на пулемет получить или хотя бы оружейного мастера, и ребята легко раненные могут микроб столбнячный себе занести — вот что мне тогда главное было.

— Не бухгалтер, а даже счетовод! — презрительно сказал Пугачев. — Да ты на меня глазами не скалься. Воевал хорошо, знаю. Но пойми простое и ясное как день. Ты мне докладываешь — уничтожено столько-то противника, трофейное оружие такое-то, боеприпасы... Я докладываю

в полк, полк — в дивизию. А дальше что? Дальше команды: «Наградить! Отметить! Объявить!» Честь не только тебе — всему батальону, полку и так далее. Ну, понял?!

— Понял,— равнодушно согласился Петухов и спросил: — Значит, Семенова представите?

— Ты, случайно, не из пионервожатых? — осведомился Пугачев.

— Нет, а что?

— Уж очень шибко идейный. А ведь люди, которые сейчас воюют, они те же самые, что до войны жили, и на войне со всякой всячиной, как и до войны.

— Неправда,— сказал Петухов.— На войне человек становится лучше, чем он был.

— Или хуже,— сощурился Пугачев.

— Значит, раньше такой только скрывал в себе плохое, а на войне плохое не скроешь. Человек тут перед всеми наружу.

— Скажи пожалуйста, как глубоко копает.— Пугачев задумался.— Хотя, может, и так. А про меня что скажешь?

— Вам хорошее про себя надо знать или плохое?

— Если ты такой принципиальный, валяй про плохое.

— А можно?

— Приказываю!

— Знаете, товарищ комбат, вами бойцы восхищаются, но почему-то не очень любят.

— А я не девица, не барышня.— Мощная шея Пугачева побагровела, он нетерпеливо произнес: — Подлаживаться, искать себе симпатии побряжками не собираюсь.

— Вы очень храбрый, и бойцы знают, вы храбрый, но когда вы только это перед ними подчеркиваете, получается вроде того, что вы считаете их недостаточно храбрыми, а это неправда, и поэтому обидно.

— Постой, постой, как ты сказал?

Выслушав снова Петухова, Пугачев произнес протяжно:

— Интересно получается. За то, что командир смелый, они обижаются, будто это им в упрек за несмелость. Так, что ли?

— Смелость — хорошо. Смелость бывает и в том, чтобы не побояться людям показать, что ты боишься, как и всякий человек, зря, без пользы погибнуть, что жизнью дорожить надо своей и, значит, бойцовой. Тогда люди такому командиру больше, чем себе, верят и не боятся погибнуть, выполняя его приказ,— горячо говорил Петухов.

— Ну и ну! Стихов не пишешь? Да ты не сопи так, будто противника обнаружил в поле своего зрения.

Пугачев тряхнул блестящими волнистыми русыми волосами.

— Может, и правда я таким скоростным способом хотел себе геройский авторитет сразу схлопотать. Ну и кроме того, люблю среди всех хоть чем-нибудь да выделяться. Бой смелых любит. А я бой люблю. — Произнес задумчиво: — Конечно, мне бы лучше в авиацию истребителем — вот тут бы я себя показал.

— Могут быть свободным? — спросил Петухов.

Пугачев положил на плечо Петухова тяжелую сильную руку и, приблизив свое красивое горячее лицо с блестящими, как у птицы, глазами, сказал задушевно:

— А знаешь, что меня жжет? Семья моя в погребке погибла во время бомбежки Смоленска. Всех земель заваляло насмерть. — Вздохнул: — Так что я не всегда, как ты считаешь, только себя выказываю, а вроде для отдыха души хочу собственноручно, хоть иногда, фашиста коснуться... — Помолчал, добавил, хитро подмигнув: — Ну и хочу, верно, не батальоном командовать, а полком или, может, даже дивизией. На такую командную должность выдвинуться, чтобы полновесней по ним бить за все. Отсюда, если ты заметил, и мои выходки. — Передразнил сам себя: — Комбат Пугачев докладывает! Нахожусь в траншее противника, продолжаю развивать успех. — Пробасил, усмехаясь: — Храбрый командир! А все на батальоне? Почему не в полку? Вызвать начштаба, отдать приказ!

— Знаете, — сказал Петухов, — вы все-таки притворяетесь. Вы все-таки лучше, чем сейчас себя таким показываете.

— А может, и хуже! — И Пугачев, похлопав Петухова по спине, не то одобрительно, не то снисходительно приказал: — Вы свободны!

15

Конечно, Пугачев был прав, когда указал Петухову на то, что у него в роте увидал солдат, у которых в ушах торчит вата, — нарушение воинского вида, стариковская манера пихать в уши вату.

Но ведь эти солдаты с ватой в ушах — петеэровцы, а, как известно, при стрельбе из противотанкового ружья

чрезвычайно громкий выстрел, и люди берегут себе слух.

Конечно, нехорошо, что у многих бойцов под широкими воротниками шинелей намотаны чистые бумажезные портянки. Это не по форме. Но когда противник все эти дни вел артиллерийский огонь по переднему краю, бойцы, сидящие в окопах, таким способом охранялись, чтобы земля, забрасываемая разрывами снарядов, не попадала за воротник, на шею и потом на тело, ведь одной фляжкой воды не отмоешься.

И привычка солдат держать винтовки, автоматы под накинутыми плащ-палатками появилась вовсе не потому, что они отвыкли носить оружие как положено, а опять же потому, чтобы уберечь его от пыли и грязи, забрасываемой в траншеи рвущимися снарядами и минами. Конечно, также неправильно, что бойцы носят запалы гранат в нагрудных карманах гимнастерок, плотно завернув запалы в промасленную бумагу. Но в окопах сырость, даже махорка становится влажной, не раскуришь, вот они и боятся, чтобы запалы не отсырели.

Приказано было — огневые позиции станковых пулеметов маскировать под местность ветками. А расчеты накрыли пулеметы плащ-палатками. Почему? Да все потому же — дожди. А вымокшие ленты чаще всего заедает.

Нет приставных лесенок у стен траншей в полный профиль, чтобы по этим лесенкам выходить в атаку. «Не думаешь о наступательном бое!» — упрекнул Пугачев. Но они есть, эти лесенки, наготовили их достаточно, только уложили их пока на дно траншей, чтобы ноги не вязли в размягченном от дождя грунте. Был бы приказ наступать, мгновенно лестницы прислонили бы к стене траншей.

А он? «Окопались, как кроты! Не траншеи — канавы!» Обидно. Сухие ноги бойца — это тоже хорошее подсобное средство для атаки.

После того как Конюхов побывал в подразделениях батальона, а потом слушал, как браво распекает Пугачев командиров рот и взводов, он пошел вместе с Петуховым. Покашливая и зябко поеживаясь в сырой шинели, Конюхов говорил:

— Мне кажется, мы недооцениваем качественный военно-профессиональный фронтовой опыт сержантского и

старшинского состава. Сейчас не сорок первый и не сорок второй год. Многие указания, которые вы, например, давали в подразделениях, должны были исходить не от вас — командира роты, и даже не от командира взвода, а от старшинского и сержантского состава.

— Но мне же Пугачев указал — лично за упущение! — оправдывался Петухов. — Ну я лично должен выполнить его приказ.

— Приказ старшего командира вы обязаны выполнить, но как? Это дело вашей личной инициативы. Ведь ничто так не снижает активности служебного рвения командира, как излишняя опека, как недоверие к его знаниям, опыту, возможностям. Если надо дать коррективные указания, умный, опытный руководитель сделает это тактично, не обескураживая подчиненного, не ущемляя его самолюбия и достоинства, и, указывая, он дает ему возможность дальше действовать самостоятельно, в пределах предоставленных ему прав и власти. Инициативный командир при этом будет искать и использовать все силы и возможности, новые приемы и средства, обеспечивающие наилучшее выполнение поставленной задачи.

Конюхов говорил страстно, а сам ежил, сутулился, будто обвиняя в чем-то самого себя.

— Сама жизнь, развитие военного дела требуют всемерно совершенствовать инициативу и самостоятельность офицеров. Это достигается как самовоспитанием, так и соответствующим руководством, а вы, товарищ лейтенант, когда мы с вами обходили позиции, давали указания, обнаруживающие у вас глубокие практические знания... на уровне сержанта, старшины, взводного, но не командира роты. — Произнес извиняющимся тоном: — Может, на многих солдат ваш фронтовой опыт и произвел хорошее впечатление, но не на подчиненных вам командиров. Одним вы внушили, что и без них доглядите любое упущение, а для других это было равнозначно недоверию. Вы поймите, если наша армия в целом ныне овладела стратегической инициативой, то это означает также и то, что во всех подразделениях армии стоят уже опытные командиры, способные проявлять личную инициативу, и они могут уверенно действовать в любой обстановке. Те же, кто имеет изъяны, профессиональные, моральные, психологические, те неизбежно следуют шаблону, их военное мышление сковано, лишено творческого дерзания, и, значит, они не соответствуют общему уровню, достигнутому нашей ар-

мней в ходе войны, и, конечно, идейному духовному качеству нашего солдата, в общем, советского человека.

Заявил гневно:

— Кто не поймет этих глубоких качественных изменений в армии, тот, хоть и на фронте, уже не воин.

Петухов даже с воодушевлением готов был признать правоту слов Конюхова, но тревожило то, что слова Конюхова, метко падающие на него, Петухова, как бы рикошетом били и по Пугачеву.

И, словно угадывая, отчего в замешательстве Петухов, Конюхов заметил:

— Комбат Пугачев — яркая личность, и такие, как он, внушают к себе, я бы не сказал — симпатию, скорее подчинение, что ли, недюжинной его натуре. Но, мне думается, подлинный руководитель — это человек, способный смело вызывать у других лучшее, а не затмевать их своим превосходством, даже если для этого понадобится особая смелость, не выявлять своего превосходства. Пока на это нет особых причин.

Сказал задумчиво:

— В сущности, если рассмотреть армию сверху донизу, она вся состоит из руководителей разного ранга и достоинств, среди солдат есть опытные фронтовики, которые руководят пополненцами, но и среди пополненцев есть люди, достоинства которых дают им право быть тоже руководителями своих же товарищей. — Твердо заметил: — Кто сам трудится ответственно, организованно, напористо, проявляет самостоятельность, инициативу, тот быстрее воспитывает эти качества и у подчиненных. Это лежит в основе жизнедеятельности нашего народа, это же воплощено и в армейской жизни.

— А как же подвиг, героизм?! — воскликнул Петухов.

Конюхов улыбнулся застенчиво и сказал:

— Вот то, что люди армии в нечеловеческих условиях войны продолжали воспитывать в себе и в других эти высокие, всеисильные человеческие качества, воплощая их в военное дело, — это подвиг. Героизм — мировоззрение народа, его исторический опыт, если хотите — идеология. Путем всенародного подвига — достижение высшей исторической цели во имя всех людей.

— Ну не все же герои.

— Способность к героизму заложена в человеке, нужно только отыскивать пути к раскрытию этой способности. Ключ к этому — сила примера. А он выкован из металла

идейной убежденности наших людей, их единомыслия в главном. — Конюхов спросил: — Вот вы знаете, что явилось одной из причин ненападения на нас в свое время крупных империалистических держав, готовившихся напасть? Челюскинская эпопея! Тот героизм, который проявили тогда наши люди самых негероических профессий. Разведки генеральных штабов этих держав на основе анализа челюскинской эпопеи дали заключение о том, что наш народ сплочен и способен к массовому героизму. То есть расценили это как массовую духовную боеготовность советского народа. Что так высоко подтвердилось вот в этой войне с фашистской Германией.

— Здорово! — воскликнул Петухов. — А мы бегали на реку в ледоход, играли в челюскинцев...

— Вот видите, — сказал Конюхов. — Это было тогда вашей потребностью в героизме. А теперь для вас это осознанная необходимость.

И сейчас, сидя у амбразуры дота, опираясь на стол для крупнокалиберного пулемета, сколоченный из толстых досок, возле которого стояла снайперская винтовка — сам снайпер вышел покурить на воздухе, — прислушиваясь к взрывам падающих снарядов и просматривая местность, Петухов соображал, как будут складываться все моменты боя.

Все эти дни шли дожди, и не исключено, что на танкодоступных полосах почва размокнет и немецкие танки будут вязнуть, буксовать, терять атакующую скорость. Надо бы разведать состояние почвы, и если его предположение подтвердится, следует перенести часть противотанковых мин на более возвышенные места, по каким могут теперь ринуться танки, если головные машины застрянут. Тем более что заминированные участки легче обнаружить. Ливнем смыло места, где закопаны мины. Поэтому надо их заново подмаскировать.

Судя по низко нависшим тучам, дожди будут лить еще долго. В тумане и дожде видимость снизится, некоторые ориентиры будут скрыты. Надо их тоже подновить. И, может быть, следует дальше выдвинуть огневые позиции противотанковых орудий и петезровцев. Кстати, в связи с тем что грунт стал мягким, снаряды при падении будут зарываться в землю, и дистанция поражающего действия осколков будет меньшей. Это тоже следует учесть, если придется атаковать вслед за огневым валом, — значит, можно ближе прижиматься к нему.

Дать указание, чтобы сушилки были в полной готовности: обмундирование солдат промокнет насквозь, когда они будут передвигаться под огнем по-пластунски.

Раньше при такой низкой видимости бойцы радовались, что немец не будет бомбить с воздуха, штурмовать «мессерами». Но теперь они привыкли к сопровождению в бою «илами». Значит, в компенсацию за пустое небесное пространство надо испросить поддержки огнем дивизионных средств.

Машинально, как бы в поисках еще какого-нибудь совета, Петухов оглянулся на Конюхова.

Тот поднял от книги голову, виновато улыбнулся, протер очки, произнес как будто спросонок:

— Африка, жарница, песок и, представьте, многомесячные ливни весь зимний период, а потом снова зной, испепеляющий посевы. Голод, страдания, на местах высохших водоемовдохнут звери, умирают люди. То изобилие воды, то засуха...

Петухов сказал мрачно:

— Согласно уставу пехота способна успешно вести бой в самых разнообразных условиях местности, погоды, в любое время года и суток. А знаете, о чем я сейчас мечтаю? Посадить бы мне свою роту десантом на танки. Сухими к ним в траншеи ворвались бы и дали бы там духу. А то когда боец мокрый, как утопленник, у него настроение падает.

И вдруг, оживившись, попросил Конюхова:

— Товарищ капитан, может, провели бы беседы о челюскинцах? Сейчас в самый раз, для подъема идейного духа.

— Вы так думаете? — спросил Конюхов.

— А как же! Там же только гражданские были, а смотрите, как себя выявили.

— Я хотел огласить письма, полученные бойцами из тыла, с их разрешения сделал выписки, — сказал Конюхов. И произнес с благоговением: — Сейчас, если можно так выразиться, промышленность, сельское хозяйство в руках женщин, подростков. И все, чем мы воюем, их героизмом произведено.

— Правильно, — согласился Петухов. — Значит, не вы будете солдатам перед боем все разъяснять, за что воюем, а сами их жены, дети. Это сильно получится, в самое сердце.

— Знаете, — сказал Конюхов, — война нас выучила та-

кой любви к ним всем, которой человечество никогда не знало. Такой высокой, чистой, беспредельной.

— А как же,— сказал Петухов рассеянно, вспомнив в этот момент о письме матери, в котором она пишет, что работает теперь в мартеновском цехе печником, ходит на работу в отцовской стеганке, толсто подшитых валенках. В огненной пещере печи валенки тлеют, и, выскакивая из зева ремонтируемой печи, мать так же, как отец, охлопывает себя брезентовыми рукавицами, чтобы погасить и затлевший ватник. А сестра на шлаковой канаве у мартеновской печи...

— Так я ухажу,— поднялся Конюхов.

— Здравия желаю,— сказал невпопад Петухов, думая о сестре, о матери, о которых до этого он не думал, и совестясь, что мало о них вообще думал...

Ливень колыхался, тяжело шлепался на землю, разбиваясь в водяную пыль, дымясь этой водяной пылью. Ориентиров, выбранные Петуховым для огневых рубежей, еле виднелись, словно погруженные на дно водоема. Холодная вонь сырости проникала в дот, как от застойного, непроточного, покрытого зеленой ряской озера.

Мимо дота саперы торжественно пронесли на носилках извлеченный неразорвавшийся крупнокалиберный снаряд. Несли словно раненого или покойника, шагая в ногу, как положено санитарам.

Хотя среди молодых солдат и командиров ходили разговоры о том, что от длительного ношения стальной каски волос редеет и лезет, а Петухов в последнее время стал задумываться о своей внешности, все же каску он носил для примера подчиненным. Только для отдыха он снял ее, сидя в доте, и, вспомнив, почему снял, конфузливо снова надел и даже пристегнул брезентовый ремешок под подбородком как положено. И он подумал, что сейчас, когда он пойдет в роту, каска будет служить защитой и от дождя.

Петухов мысленно напряженно собирал в порядок распоряжения, которые он хотел отдать в роте. Но тут же поймал себя на том, что пренебрег тем, в чем только что согласился с Конюховым, и будет правильнее, сильнее, если он сначала осведомится у командиров, какие соображения возникли у них в связи с обстановкой, примерит свои соображения к их соображениям и только тогда даст

приказания, которые будут не только его собственными, а как бы советом всех командиров в его роте.

И, улыбнувшись самому себе, как бы одобрив самого себя, Петухов склонился, чтобы поднять с пола банку из-под консервов, в которую он сбрасывал пепел и кидал окурки. В боевом помещении на огневой позиции Петухов требовал от всех соблюдения уважительной чистоты. Но как только он нагнулся, внезапно все под ним разверзлось в огненном реве, грохоте, и он ощутил падение словно в пропасть, стены которой рушились ему вслед, придавливая своей скалистой тяжестью...

От попадания снаряда перекрытия дота рухнули вместе с насыпанной сверху толщей глиняного грунта, выложенного дерном и усаженного кустарником и двумя хилыми березками.

А по всей линии позиций началась артиллерийская канонада, не то предшествующая наступлению противника, не то вызванная с нашей стороны желанием выявить огневые средства врага.

16

Соня пришла на перевязочный пункт, куда Петухова отнесли солдаты, откопав его в доте, погребенного после разрыва тяжелого снаряда.

Петухов выжил только потому, что смог просунуть ствол винтовки наружу и, вытащив винтовочный затвор, прижав губами к металлу, дышал через канал ствола.

Теперь он лежал на носилках. Лицо его обросло щетиной, в ушах, на шее оставались следы глины.

— Что, хорош? — спросил он Соню.

— Да, — сказала она. — Для меня — да.

И, наклонившись, поцеловала в губы, как тогда летчика.

— Это я так решила. Как увижу вас, сразу поцелую.

Морщась, испытывая головокружение, Петухов приподнялся, сел на носилках и пристально, отважно посмотрел ей в лицо.

Она смутилась и сказала:

— Я долго еще хворала. Осталась одна кожа, а в ней кости. — Сняла пилотку. — Состригла под машинку, а то лезли, как на собаке в линьку. Некрасивая, да?

— Нет, — сказал он.

— Неправда. Не надо мне врать!

Он вышел из перевязочной палатки, опираясь на костистое плечо Сони, добрел до обгорелого остова немецкого гусеничного транспортера с гробовидным стальным кузовом, прислонился к нему спиной и, непроизвольно дергая щекой, глухо рассказал ей все, что тогда пережил и снова переживал даже во сне. Рассказал беспощадно, будто о постороннем, чужом человеке.

Она внимательно и серьезно слушала, потом строго сказала:

— Я не думала, что ты можешь так сильно меня любить. Неизвестно даже за что. — И рассудительно объяснила: — Но, во-первых, ты не летчик, чтобы не переживать, когда нас мотало ужас как. Самый храбрый летчик в пехотном бою тоже может потеряться. Ты же в пехотном бою не теряешься, так в чем же дело? У каждого своя специальность. Я вот действительно растерялась и виновата. Надо было по радию сообщить, что самолет сшибли и партизаны без радиста.

Петухов перебил ее:

— Я был старшим. И я должен был дать тебе такое указание. Я так и доложил — моя вина. Надеялся, что дойдем до базы, и не приказал включить радио. — Пожаловался: — А меня вместо трибунала — в часть, и оставили на роте, и даже дали лейтенанта. Полковник сказал: «Победителей не судят». А почему не судят? Что же я, один должен себя осуждать?!

И Петухов поймал себя на том, что и тут он не был перед ней правдив до конца. Потому что скрывал свою радость деланными суждениями о своей вине и похвастал, будто это неважно, что он теперь лейтенант, и его совсем не удручало то, что Соня после болезни выглядит действительно плохо, а даже обрадовался, потому что, смотря теперь ей в лицо, даже пристально, он не испытывал от этого той ослепленности, какую он испытывал, увидев ее первый раз. Теперь ее губы сухие, тусклые, скулы заметно костисты. Вот глаза только стали еще больше и синее, и в тени ресниц таинственней их мерцание, и взгляд их как бы проникал в сердце, своим светом рождая радость.

Похудев, она вроде стала даже выше его ростом. Он исподтишка примерился к ней плечом — нет, ниже. Отодвинулся — и снова она кажется выше его.

Потом он понял, отчего это ему так казалось. Она безбоязненно говорила правду. Он стеснялся, не мог, а она могла.

— Знаешь, — говорила она, глядя в глаза. — У меня к тебе такое чувство, словно у нас с тобой все было, хотя ничего не было. Может, потому, что ты спас мне жизнь, у меня такое чувство, как к самому близкому. Ты понимаешь?

Хотя Петухов понимал, но у него не было смелости признаться, и он хмуро отпирался:

— Натерпелись, верно, дальше некуда. Ну, я рад...

Она оттолкнула его руку, сказала с негодованием:

— Ты что думаешь, я к тебе привязываюсь? — Потом, побледнев, произнесла: — А что? Правда! Привязалась. Я даже сама не знала, что могу быть такой привязчивой. — Добавила шепотом: — На всю жизнь.

Повернулась и ушла не оглянувшись.

Петухов смотрел ей вслед и, думая, что она все-таки вернется, улыбался виновато и вместе с тем радостно.

И Соня действительно вернулась.

Она опустилась на землю там, где была тень от бронетранспортера, а ему, указав на освещенное место, приказала:

— Сядь!

Он спросил:

— Ты почему так внимательно меня разглядываешь? Забыла?

— Нет. Только, знаешь, — оживленно заговорила она, взяв его опухшую, в ссадинах руку в свои руки, — я о тебе думала, вспоминала твое лицо, и мне казалось оно другим.

— Еще бы, — сказал Петухов. Он вынул свою руку из ее рук, осторожно провел по лицу ладонью, сообщил так, словно увидел себя в зеркале: — Ну и рожа, вся в болячках, в фонарях, как все равно в драке побили. — Усмехнулся: — Мне бы лучше в противогазе тебе показаться, пока все не зажило. — Произнес сердито: — Я проверю, почему с одного попадания накат обвалился. Хорошо, что до боя, а если в бою? Накрылась бы огневая точка!..

— Ты меня не понял, — проговорила Соня. — Я хотела тебе сказать, что думала о тебе, какой ты. И ты мне стал казаться таким, как вот ваш батальонный Пугачев, что ли. — Быстро пояснила: — Красивый, но ничего такого особо запоминающегося.

— Выходит, ты о нем и мечтала, — перебил Петухов, — он действительно вам всем нравится.

— Нравится — это одно, многие могут нравиться, — внушительно пояснила Соня. — А вот когда думаешь, как

я о тебе думала, что лучше нет, не может быть лучше, — это совсем другое.

— Ну, такое ты зря придумала, — смутился Петухов. — Я вовсе не такой, чтобы из меня что-нибудь особенное строить. У тебя это знаешь от чего? Уставное положение плохо знаешь. Ты мне кто была? Непосредственно подчиненная. Значит, я нес за тебя полную ответственность.

— И поэтому нес на себе!

— Не нес, а волок на волокуше. Как следует по наставлению.

— Ну чего ты притворяешься! — рассердилась Соня и тут же спохватилась: — Но я знала, что ты будешь притворяться. И там тоже ты притворялся таким бывалым разведчиком.

— А что? — солидно заявил Петухов. — Ваш Лебедев моей роте по своей линии не раз давал задание, и я с ним тоже в тылу действовал, только с парашютом не бросался. А так на значительной глубине действовал, кое-чему выучился.

— Значит, фасонишь передо мной.

— А что, нельзя?

— Чтобы мне понравиться, да? — улыбнулась Соня и строго заметила: — Я тебе объяснить хочу, почему о тебе столько думала, а ты перебиваешь.

— Ну-ну, пожалуйста, — сказал Петухов, испытывая смятение, и стал ковырять на руке болячки.

Соня, пристально глядя на него, словно стараясь увидеть что-то скрытое в нем, поспешно заговорила:

— Ну спас ты меня. Подумаешь! С другим тоже так поступил бы. Я понимаю! Но ты переживал, какая я. И знаешь, может, нехорошо, но я признаюсь, почему там в губы мертвого летчика целовала, не из-за того только, что он погиб, а из-за тебя тоже. За то, что ты меня спас, когда мы вместе тонули, а я на тебе повисла и вниз тянула.

— Ну я это не помню, чтобы висла.

— Мне неинтересно, что ты запомнил. Я говорю то, что я помню, — капризно сказала Соня и приказала: — Ты молчи и слушай.

И вдруг, опустив глаза, произнесла вполголоса:

— У меня отец тоже вот притворялся всегда сердитым. А он очень хороший, добрый был, ему всегда некогда, а он — приду с улицы зимой озябшая, разденет меня и ноги мне маминым одеколоном трет, чтобы не простудилась. Одеяло на батарее согреет, и потом всю меня закутает, и по

комнате носит, словно я совсем маленькая. Носит и ругает за то, что я в маминых валенках стеснялась в школу ходить, а своих у меня не было. И он знал, почему я не просила его купить мне валенки. Папа деньги на всякие радиодетали тратил. Он изобретатель был.

Петухов сказал:

— Мой тоже по этой линии любитель, у него штук двадцать дипломов по рацпредложениям, почти в каждую получку — премия.

— Он кто, инженер?

— Нет, так, любитель, — сказал Петухов и почему-то нехотя признался: — Рабочий в мартеновском цеху. Но он всякий лишний ручной труд не признавал, ну и выдумывал приспособления, чтобы легче работать. — Заторопился: — Это неправда, что рабочим нравится только вкалывать. Настоящий квалифицированный всегда старается такое придумать, чтоб работать легче, чтобы ума технике прибавить, а не просто норму гнать.

— Опять ты меня перебил, — досадливо поморщилась Соня. — Я про своего отца тебе сказала, чтобы ты понял, какое у меня к тебе чувство хорошее было, когда ты меня всю вытер от грязи, одел. Помнишь, я сама не могла сразу одеться? И такое у тебя при этом лицо было, что мне плакать хотелось, не оттого, что вся застыла, а оттого, что ты такой добрый и хороший. Понял?

— Никакой я не добрый, — нахмурился Петухов, — и вовсе не хороший. Думаешь, так вот просто было на тебя, когда ты без всего, глядеть? Неправильно я на тебя тогда уставился, ну и разозлился.

— На меня?

— На себя, на кого же еще!

— И всю дорогу злился?

— Нет, потом просто устал, тащил, и все — ничего уже ни про тебя, ни про себя не думал.

— А в губы зачем дул, когда я обеспамятела?

— Обалдел. Надо бы искусственное дыхание, все равно как утопленнику, и для согревания тоже. Но сам ослабел, чтобы твоими руками еще махать. — Спохватился: — А если ты без памяти, откуда знала, что я дул?

— Все равно как во сне все чувствовала.

— Ну тогда ничего, лишь бы не притворялась. Да и не могла притворяться, я сердце твое слушал, шевелилось еле-еле.

— Сквозь гимнастерку слушал?

— Не помню,— сказал Петухов.— Да и какое это имеет значение? Выжила — и точка.

— А потом как ты обо мне думал?

— Когда потом? В отряде, что ли?

— Нет, вернувшись в часть. Только по-честному,— потребовала Соня.

— Ну вот еще,— смутился Петухов,— что я, обязан тебе исповедоваться?

— Обязан,— твердо заявила Соня.— Если ты боишься, так я сама скажу про тебя все.

— Ну зачем же ты! Пожалуйста, я не скрываюсь. Верно, переживал, думал — увижу снова или не увижу. Не для чего-нибудь, а просто так. Ну и выдумывал всякое такое, чтобы красиво с тобой встретиться. Получилось вот,— обвел себя руками,— весь вываленный в глине, бревнами зашибленный, в шишках, синяках. И хоть бы в бою, а то так, от случайного попадания завалило, как крота в норе.

— Ну это и так видно,— перебила Соня.— Мыслить ты же можешь нормально.

— Сотрясение мозга не получил. Хорошо, каска выручила.

— Говори прямо, рад, что я пришла?

— Ну, все-таки рад.

— Почему «все-таки»?

— Хоть вид у меня хреновый, но ты не придаешь этому особого значения. Поэтому «все-таки»...

— Но ты понимаешь? Я тебя хотела видеть, я сама хотела. И хотела тебе сразу все сказать, как хотела и хочу, чтобы ты был таким, о каком я все время думала.

— Откуда я знаю, что ты обо мне придумала, разве отгадаешь?

— Если человека любят, то в нем все отгадывают, все,— решительно объявила Соня.

— Это как в «Анне Карениной» Левин с Кити по буквам все отгадали,— усмехнулся Петухов.— Читал, помню. Но сейчас обстановка другая, война, а до мира еще воевать и воевать. И нужно себя только на это нацеливать, а ни на что другое...

— Неправда,— сказала Соня.— Воевать можно и за то, чтобы сбылось самое лучшее, чего ты и себе хочешь.— И добавила не совсем уверенно: — И другому тоже.— Спросила: — Ты о после войны мечтаешь?

— А как же! Мать и сестренка... Конечно, я им сейчас

помогаю своим аттестатом. Но для них главное, что я пока живой.

— И для меня главное — ты, — сказала Соня, встала и произнесла твердо: — Запомни, что я сейчас сказала, может, это я на всю жизнь так решила. — Пообещала: — Я еще к тебе приду и буду приходить, понял?

17

Петухова зачислили в команду выздоравливающих, и не столько по состоянию здоровья, сколько по настоянию Пугачева, который заявил:

— Он же из заживо захороненных выскочил, это еще ничего не значит, если кости целые. Вы ему психологическую устойчивость восстановите, а то будет при каждом разрыве шарахаться. По себе знаю, тоже заваливало, а как в сантабе отдохнул, развлекся — полный порядок...

Соня приходила к Петухову оживленная, веселая, вдруг похорошевшая, как ей говорили подруги-связистки, еще не догадываясь, почему в ней объявилось столько доверчивой приветливой общительности, женственности. Ведь до этого она отличалась ершистостью, недоверчивой настороженностью и, когда с ней откровенничали, говорила брезгливо:

— Не люблю я бабского слюнтяйства, неужели нельзя без этого? Тебя что, пустили на фронт только для того, чтобы тут замуж выйти?..

Только капитан Лебедев сразу отгадал причины радостного цветения девушки, сказал ей сухо:

— Я приказал от дежурств тебя, Красовская, временно освободить. — Пожевал губами, добавил: — Для отдыха.

— Значит, ждать задания! — обрадовалась Соня.

— Там увидим. — Поманил ближе к себе, спросил: — Если б ты от контузии заикой стала и глаз ударной волной вышибло, как ты к этому отнеслась бы?

— Не знаю, — сказала Соня.

— Надо знать! — сердито приказал Лебедев. — Во всяком случае, быть уверенной, без такой уверенности лучше и не встречаться. — И ушел, сутулясь, как всегда, глядя себе в ноги.

Обычно они ходили в лес, прогретый солнцем, пронизанный зеленым свечением листьев.

На поляне садились на поваленное дерево. Кругом

высокая трава в пахучем многоцветье и высокое светлое небо.

— Можно, я разуюсь? — спросила Соня.

— Не на службе, чего спрашиваешь?

— А вдруг тебе неприятно, что я босая?

— Чего ж тут такого — ногам отдых.

Вытянув голые ноги, она пошевелила пальцами. Петухов наклонился, внимательно глядя.

— Смешно: как крольчата беленькие ушками шевелят.

Она смущенно поджала ноги и, благодарно взглянув на него, засмеялась:

— Крольчата! А я боялась. От портянок мозоли видал какие!

— Бедненькие, — сказал Петухов, — такие маленькие, скорченные и пораненные.

— А ты откуда знаешь, что я была раненая?

— Ну, еще там, у болота, заметил рубцы здесь и здесь.

— А говорил — ничего не видел.

— Только ранения, и тогда мне стало тебя еще больше жалко.

— Это когда узел бомбили, меня осколками шарахнуло, а на проводе штаб армии, я и испугалась кричать, что ранена, ну и держалась. Потом Лебедев вскочил, быстро вспорол ножом гимнастерку и сразу индивидуальными пакетами всю меня обвязал. Он ловкий, привык в разведке на все руки. Хорошо, лицо не задело или, допустим, глаз. Что тогда?

— Хуже нет, когда глаза ударной волной вышибает, — рассудительно заметил Петухов. — У меня вот у лучшего первого номера станкового оба глаза на щеки выбило, а он еще долго огонь по памяти вел. Прощаясь с ним, плакали ребята. Раз он не видит, чего же тут скрывать, что плачут.

— А если б со мной так? — спросила Соня.

— Ну и что? — сказал Петухов. — У меня мать хорошая, и сестра тоже, побывала б с ними, пока я вернулся. Что тебе интересно, я бы смотрел, рассказывал и книги вслух читал. Все обыкновенно... Как же иначе в таких случаях?

— Да ты что? Уже мной распоряжаешься?

— Не распоряжаюсь, а раз здесь вместе, то почему бы и потом не быть вместе, как по-настоящему полагается.

— Ты что? Жениться на мне решил?

— Почему жениться? Просто так, по-товарищески, — смущенно пролепетал Петухов. — Зачем я буду так твоим

горем пользоваться, только потому, что ты нашей семье доверилась?

— А если я в тебя влюблюсь за это?

— Я, конечно, не возражал бы,— степенно сказал Петухов.— Но неправильно получится, если только за это. Вроде как только благодарность за вполне нормальную фронтовую дружбу.— Осведомился подозрительно: — Может, ты со мной тут встречаешься тоже только вроде как из какой-то благодарности? Так это мне не нужно.

— А чего тебе нужно?

— Ну просто так, чтобы ни из-за чего особенного,— сказал он, с трудом подбирая слова.— Вот я тебя первый раз увидел и как будто сразу стал другой оттого, что тебя увидел. Словно от тебя дохнуло, я даже не знаю чем, просто счастьем. Поняла?

— Поняла,— сказала Соня.— А когда я тебя первый раз увидела, у меня ничего подобного не было. Ну младший лейтенант, может, даже и симпатичный, но так себе, обыкновенный. А потом,— она закрыла глаза, откинула голову и повторила: — А потом, потом поняла, что ты не только хороший, а даже единственный. И не просто потому, что ты такой есть, а потому, что ты был такой оттого, что именно я с тобой была.— Заметила строго: — Не перебивай, я вслух думаю. Значит, ты ко мне ни за что, а я к тебе именно за что. Вот. Видел, какая я? Не просто, а за что. И считаю это самым правильным и более настоящим, чем у тебя. Тебе не понравилось? — Она строго оглядела его.— Но это правда.

— Смешно,— усмехнулся Петухов.— Я вот тебя ждал и все слова придумывал, ну, какие на свиданиях говорят. А получилось все по правде и лучше.

— Хочешь, я тебя поцелую? — спросила Соня, серьезно глядя ему в глаза.

— Хочу! Но, может, не надо,— сипло произнес Петухов, признался: — Мне даже снилось такое. Но, понимаешь, получается — пошли в лес, чтобы целоваться.

— А мне все равно.

— Я же для нас беспокоюсь, чтобы потом самим неловко не было, от самих себя неловко. Так вот сразу...

— Глупый ты и грубый,— вздохнула Соня,— ты даже не заметил, что меня оскорбил. Давай лучше походим.

Они шли рядом, Петухов вежливо нес сапоги Сони с вложенными в голенища портянками, она шагала босиком.

И вдруг Соня, охнув, со стоном опустилась на землю, ухватила ногу, в которую вонзилась колючка, в глазах ее появились слезы.

— Больно. Смотри, даже кровь.

— Я сейчас, сейчас, — говорил Петухов, присел и, взяв ее ступню в руку, ухватив ногтями, выдрал колючку.

— Покажи, — потребовала Соня, и приблизила к нему свое горячее, мокрое от слез лицо, и тут же торжествующе объявила: — Ты же целовался, целовался, эх ты — тип! — Встала и, глядя на него, сконфуженного, спросила строго: — Значит, можно, да? — Положила на плечи ему руки, закрыла глаза.

Петухов осторожно поцеловал ее в уголок рта, ощущая губами, как вздрагивают ее губы.

— Нет, — хрипло сказала Соня. — Руки, руки убери! — И затем, отступив на шаг, осмотрела его так внимательно, словно впервые увидела. — Может, я и буду жалеть, но еще больше буду жалеть, если все у нас будет сразу. Ты понял? — спросила она.

— Я думал, ты сильнее рассердишься, — робко сказал Петухов, — а ты вот не сердишься.

Потом они снова вернулись к дереву, на котором сидели прежде, и, усевшись тесно рядом, стали говорить уже с несдерживаемой жадью, говорить о чем попало. Соня потрогала култышку на укороченном пальце левой руки Петухова, сказала:

— Смешно, как куцый хвостик собачки.

— Это мне попало, когда еще солдатом был, — объяснил Петухов. — В первом же бою попало. Заскочил в траншею, а он меня прикладом хотел по голове, я и заслонился винтовкой, ну он мне два сустава на пальце и отбил, как топором все равно.

— Больно было?

— Не больно, а стыдно, что растерялся, в испуге от него винтовкой заслонился, вместо того чтобы штыком.

— А ты его убил?

— Нет, товарищ выручил, а я, как идиот, только на пальцы дул, ошалел от боли и дул, и винтовку свою выронил.

— Зачем же ты про себя плохое мне рассказываешь?

— Но ты про палец спросила. Так что ж, я врать должен?..

— Про тебя говорят — ты храбрый.

— Не храбрый, а привык, выучился.

— Только и всего?

— Нет, почему же? Как все, так и я.

— Капитан Лебедев говорил — у тебя рота лучшая. Почему лучшая? Потому что ты хорошо командуешь.

— Командуешь! — иронически произнес Петухов. — Если только командовать, так для этого ничего не требуется, кроме горла. Приказ отдать, зная, что каждый знает, как его выполнить, — вот это другое дело. А рота у меня лучшая, потому что в ней самые лучшие люди собрались.

— Значит, и ты лучший?

— А я от них набрался. Смотри, на каких повезло. Вот, скажем, Егоров, ручной пулеметчик.

— Ручной — вроде как прирученный.

— Ну, не так сказал. Ты слушай. Он уже пожилой, и жена у него пожилая. А он ей письма стихами пишет. Я его спрашиваю: «Может, вы вообще писатель? Так в дивизионку что-нибудь дайте». А он говорит: «Так соскучился, что нормально уже писать не могу, только стихом, от большого чувства». На огневой хладнокровней его нет. Подползу, спрошу — как с огнеприпасом? Всегда точную цифру назовет, сколько патронов израсходовал. И всегда у него на учете скорость ветра, влажность, видимость. С умом воюет. И мне велит после войны обязательно учиться! На свою специальность зовет, в агрономы. Окопы копаем, он тоже, как все, копает, но причитает: «плодородный слой портим», — даже просил этот плодородный слой отдельно отгрести, а тот, который из глубины, тот на брустверы. Вот как к победе человек готовится. По-хозяйственному твердо.

— А ты стихи писать можешь?

— Не пробовал.

— А я пишу.

— Лирические?

— Ну да, про любовь. — Спихватилась: — Но только вообще, не кому-нибудь.

Петухов произнес мечтательно:

— Хорошо живым быть. Я вот не задумывался, как это приятно, а теперь понимаю, как это здорово! Вот сидим мы с тобой, все такое красивое — деревья, трава, жуки ползают, и ты во всем этом самая красивая.

— Получше жука?

— Ну что ты, в самом деле! Понимаешь, а делаешь вид...

— Ну не буду.— И она коснулась своей щекой его щеки.

— Я вот лежал в доте заваленный,— хмуро сказал Петухов.— Очень даже некрасивая смерть — задохнуться в глине. Думал, откапают, а я мертвый. Все равно как из могилы покойник. И вдруг ты меня такого увидела б. Даже смотреть неприятно: во рту, в глазах, в ушах глина. И, наверное, рожа была бы синяя, как у удушенника. Ну и очень сожалел, что не от пули накрылся.

— Ну что ты такое несешь, даже слушать противно! — возмутилась Соня.

— Ты потерпи, дальше скажу. Лежал я, дышал через ствол винтовки, а про тебя думал. В этом главное! И, почестному говоря, соображал: если вызволят, скажу тебе потом, что такие обстоятельства, а я о тебе думал. Считал — не поверишь!

— А я верю.

— Ну вот, я тоже и про это думал, что ты такая прямодушная, что поверишь, и решил не говорить.

— Но сказал же.

— Когда? Когда я тебе теперь чего угодно могу говорить, без всякого предварительного продумывания, как будто сам себе говорю. Знаешь, как это здорово, что такое может быть!

— И я буду стараться с тобой так говорить, словно сама с собой,— заявила Соня.— И это уже такое, что остальное все меньше значит...

18

Лебедев пришел в медпункт. Внимательно оглядев Петухова, сказал снисходительно:

— Здорово здесь лечат. Сияешь, как все равно после правительственной награды.

— У меня это не от лечения.

— А я не спрашиваю отчего,— перебил Лебедев, сел у выхода палатки на табуретку, потом обернулся: — Как ты думаешь, если твою роту в разведоперацию кинуть, народ подходящий?

— Лучше нет! — обрадовался Петухов.

— И передашь командование Пугачеву. В сложных условиях будем действовать.

— А как же я? Ведь уже здоровый! — взволновался Петухов.

— Операции придается большое значение, поэтому и решили поручить комбату выполнение.

— Уже совсем решили? — растерянно и жалко переспросил Петухов.

— Ну, не окончательно, в предварительном порядке на нем остановились. А у тебя что, сомнение? — строго сощурился Лебедев.

— Ну что вы! Он же, сами знаете, без страха и упрека. Отважней я даже не знаю.

— Тебе и не положено, а мне положено все знать, с кем пойду, — сухо заявил Лебедев. — Так ничего больше не скажешь? А мне нужно знать все.

Петухов молчал.

— Ну а если бы ты очень хотел, как бы ты себя рекомендовал для такой операции?

— Что я? Ничего такого особенного, — угрюмо произнес Петухов. — Вот только людей моих Пугачев не знает, как я их знаю. А они главное. У каждого из них свое есть. Вот Захаров даже в атаку в шинели идет, хотя и тепло, простуды боится, простыл как-то на сырой земле, ну и болел. А кроме простуды, чего Захаров боится? Ничего больше не боится, солдат геройский.

— Ну-ну, а еще какие есть типы?

— Не типы, а бойцы! — сердито поправил Петухов. — Колоколов, тот всегда в сумке противогаза не противогаз носит, а гранаты. Такая у него привычка — в сумке их носить. Рукастый, дальше всех и метче всех бросает. Еще Захидов. Тот, знаете, гимнастерку на все пуговицы расстегнет, рукава засучит и всегда от других в стороне продвигается. У него, видите ли, кинжал кавказский и парабеллум трофейный. Он в одиночку дерется, подползет, завизжит, бросится и все. Потом каски с них снимет, принесет, бросит. Говорит — моя доля. Ну, я с такой привычкой считаюсь. Потом, у каждого есть своя дружба. На пару продвигаются и действуют. Это тоже надо учитывать, дружбу такую. Уж если что назначить таким, то уж вместе. И вообще, привыкли советоваться перед боем, кому что.

— А ты, выходит, не согласно приказу, а в соответствии с их советами действуешь?

— По приказу советуются, — сухо сказал Петухов, — в развитие приказа, то есть чтобы у каждого все конкретно и ясно было. И я, конечно, все это учитываю. Если надо, поправляю. Лучше до боя, чем в бою, маневр каждого знать.

— Значит, считаешь, Пугачев себя с наилучшей стороны на твоей роте покажет? — нетерпеливо спросил Лебедев.

— А как же! Я бы сам хотел таким командиром, как Пугачев, быть, не получается.

— Почему?

— Если бой трудный, тяжелый, он очень сильно воодушевить бойцов умеет. У него, знаете, любимое изречение: «Личный пример играет громадную роль в самоотвержении: работают у того, кто сам работает, и идут на смерть у того, кто сам от нее не сторонится...» И сам он такой, без страха.

— Начитанный полководец — майор Пугачев. Генерала Драгомирова помнит. А вот ты как считаешь: надо смерти сторониться или не надо?

— Ну, по обстановке, конечно. Если надо, то надо. Война же!

— Мямлишь, — сердито сказал Лебедев, — а прямо не решаешься! Ну, это правильно, что не решаешься, о старшем командире не следует выражать сомнение. А вот я думаю: лучше посторониться смерти и направить ее стопы на врага. Ею ведь тоже можно командовать, если с умом за нее взяться, приучить ее тебе подчиняться.

— Так ведь снаряду и пуле не прикажешь!

— Почему? Можно! И обмануть, и обойти, и на кочующую огневую точку выманить, и перехитрить, и переиграть маневром — все можно. Только звать на смерть не годится. Смерть — это что? Потери. Командир должен избегать потерь. А не соглашаться платить заранее за победу потерями.

— Но ведь есть такая статистика: в наступательном бою соотношение — один к трем.

— Если лбом в лоб колотиться, статистика правильная. Когда наступают, у кого инициатива? У наступающего. Значит, от тебя зависит так наступление организовать, чтобы соотношение цифр перевернулось в твою пользу, и не один к трем, а больше значительно в твою пользу, — живо сказал Лебедев.

— Ну это правильно, — согласился Петухов. — Но когда люди восторженной отвагой от примера своего командира проникаются или от героизма даже своего бойца, сам не понимаешь как, а уже на рубеж противника выскакивают и там бьют его на полную катушку. Воодушевление такая сила, ее и огнем не сбить.

— Значит, все-таки любишься Пугачевым!

— Как и все, — с достоинством согласился Петухов.

— А ну выйдем, — приказал Лебедев, угощая папиросами, спросил совсем иным, просительным тоном: — Вот скажи напрямик: допустим, если б твою Красовскую тяжело в лицо ранили, ну изуродовали, словом, и она бы, естественно, не захотела тебя больше видеть, что бы ты сделал?

— А при чем здесь Красовская? — сконфузился Петухов.

— Я сказал — допустим. Ну? — нетерпеливо потребовал Лебедев.

— Если любишь, это никакого окончательного значения не имеет.

— Это ты так думаешь. А она так не думает!

— В бою могут всякого искалечить, и меня тоже. Значит, выходит, тогда я должен от нее отказываться за то, что поуродованный, и если любит, не верить, что любит?

— В этом есть логика! — одобрил Лебедев. Еще раз внимательно осмотрел Петухова, сказал требовательно: — Так старайся быть в полной норме. Не исключено, под непосредственным командованием Пугачева тебе и твоей роте придется в скором времени выступить. Ну, тогда вместе будем.

— Спасибо, — сказал Петухов, ошарашенно ухмыляясь.

— Чудак ты, — покровительственно сказал Лебедев. — Со мной когда уходят, главная проблема — вернуться...

Петухов пришел в роту. Встретили его с радостью, скрытой шутками.

— Вы, товарищ лейтенант, так сильно от фанистов замаскировались, еле откопали.

— Как все равно Чапай, в тишине решили боевые действия продумать.

— А мы без вас по дисциплине скучали. Попов портянки на бруствер вывесил сушить, сначала немец ему портянки огнем попортил, а после от старшины пошло за демаскировку.

— Тут без вас строгая боевая проверка была — по линии ротной библиотеки, отчитывались, кто что прочел.

Без этого книжный комплект сменять не хотели. Мы говорим — все книжки поизносились, наизусть запомнились. Раз положено культурное довольствие, значит, нечего «бэу» подсовывать. Новое давайте, нечитаное.

— Все нормально, без вас осиротели маленько, но ничего, думаем — пускай отдыхает, какао в санбате попьет.

Командир первого взвода Атык Кегамов, сияя черными яркими глазами, сказал:

— В первой атаке решил первого же фашиста зарезать, в порядке личной за тебя мести.

Петухов обошел позиции и остался всем доволен. Кегамов говорил хвастливо:

— Порядок. Мой окоп — моя крепость. Благоустроили. — И тут же с ожесточением заявил: — Лопата не винтовка — воевать надо!

Соня приходила к Петухову, добираясь до передовой на попутных.

Кегамов спросил:

— Санинструктор? Нет? Все равно, пожалуйста, хорошая девушка.

Иногда Соня приезжала вместе с Лебедевым. Лебедев предпочел один знакомиться с бойцами роты. Поэтому Петухов мог уходить с Соней.

Иногда Лебедев, пригласив Петухова, ужинал в землянке Пугачева, оборудованной с фронтовым шиком: стены обшиты тесом, стол накрыт вместо скатерти немецкой плащ-палаткой лягушиного цвета, самовар, разнокалиберная гражданская посуда, патефон. Шинель, серый плащ с золотыми пуговицами, китель аккуратно подвешены на деревянных плечиках.

Керосиновая лампа с розовым абажуром.

Во время ужина между Лебедевым и Пугачевым обычно возникала дискуссия.

— У меня, знаете ли, все эти восторженные воспоминания о героических, исключительных подвигах времен сорок первого года не вызывают умиления, — строго говорил Лебедев.

— Благоговеть надо! Преклоняться. В смерть кинулись, не дрогнули, не склонились, — шумел Пугачев. — Вот где испытание людей на прочность — в преданности Родине. Вершина!

— С точки зрения нравственного, психологического опыта вы правы,— морщась, произнесил Лебедев.— Но я человек военный и оцениваю опыт только с этой стороны. Вы восхищаетесь тем, что вели бои с превосходящими силами противника в обстановке крайне неблагоприятной. Стояли насмерть за каждую пядь земли...

— Именно,— перебил Пугачев.— И генерал, и офицер, и политработник сражались с винтовкой, как солдаты, и умирали, как солдаты, под танки с гранатами бросались. Все своей кровью спаялись.

— Но для меня ценно,— прерывал Лебедев,— то, что в этих исключительных условиях мы накопили опыт боя с противником, поставленным в подобные исключительные условия.

— Ну уж знаете, это уж недопустимое сравнение, даже оскорбительно слушать! — возмутился Пугачев.

— Почему же: мы воевали с разорванными фронтами, в окружении, в котлах. Теперь мы ставим противника в такие же критические условия.

Значит, следует из нашего предшествующего опыта извлечь все ценное, чтобы наиболее эффективно использовать свое преимущество. Учитывая все тактические приемы, способы ведения боя, к которым прибегали мы в подобной обстановке, чтобы предотвратить применение их противником.

— Что ж, по-вашему, получается: сначала они нам выдали сорок первый, а теперь мы им его возвращаем, только с присыпкой?

— Не совсем так. Диалектика заключается в том, что они повторяют наш горький опыт, а мы обрушиваем на них качественно новые способы ведения наступательных боев. Ну и, естественно, освободительные цели рождают новое воодушевление, ничуть не меньшее, чем защита каждой пяди своей земли.

— Мы тогда дрались, на жизнь не оглядываясь! Увидел врага — бей. Весь фронт в твоём окопе. Ты держишься, — значит, фронт на тебе держится. Так рассуждали! — воскликнул Пугачев.

— Но и сейчас это не отменяется. Бой есть бой. Но я что имею в виду? Нашу психологию. Героический сорок первый? Героический! Но поймите, мы вот с вами и с другими, тоже офицерами, с таким романтическим воодушевлением вспоминаем себя в сорок первом, но почему-то о победоносных сражениях последнего времени, где в полной мере

проявилось наше военное искусство, — об этом вот, хотя бы за таким столом, не размышляем. Будто так и положено: наступила пора — и бьем. Как некоторые выражаются, «на полную катушку».

— А что? Так! И еще добавим. — И Пугачев мощно стукнул кулаком по столу. И вдруг, сощурившись, осведомился: — Вы-то сами в сорок первом на каком фронте скитались? На нашем, Западном, что-то вас не припомню.

Лебедев усмехнулся:

— По роду своей службы находился в длительной командировке за рубежом.

— Ясно, — сказал Пугачев. — Значит, из тех, кто про-
шляпил, что фашисты нападут на нас.

— Я находился в той стране, правительство которой выражало сзю готовность оказать Гитлеру содействие, а ныне они наши союзники в антигитлеровской коалиции.

— Значит, дружки! — иронически усмехнулся Пугачев. — Вы что же, выходит, там их уговаривали?

— Моя задача была несколько иной: поставить в известность о том, что данное правительство имеет намерение примкнуть к гитлеровской коалиции. И в начале второй мировой войны они продолжали поставлять Германии все необходимое для военного производства.

— А теперь нам... Что-нибудь вроде этой тушенки, — сердито сказал Пугачев, оттолкнув от себя взрезанную жестянку. Потом осведомился: — Значит, воевать вам, как нам, грешным, сразу не довелось?

— Как вам, безгрешному, не довелось, — сухо сказал Лебедев. — Но в первые же месяцы войны находился в специфических условиях, имел возможность лично от наших противников слышать, что при всей внезапности их нападения неожиданная для них стойкость наших разрозненных частей и подразделений привела их к непредвиденным тяжелым потерям и, по существу, к срыву стратегического плана. Так, во всяком случае, наиболее умные из них поняли.

— Вы что же, там с такими умниками общались? И не уговорили? Что ж так?

— Виноват, не уговорил, — вдруг добродушно улыбнулся Лебедев. — И вы напрасно, Пугачев, так ершитесь. Для меня, как и для вас и для всех нас, подвиг сорок первого будет светить вечно. Но мы же воюем! Во всемирную историю, может, действия вашего батальона и не запишут, но замечательно то, что люди его сохранили в себе стой-

кость сорок первого и боевой порыв нынешнего. Вот за это и поднимем кружки! А вы что, лейтенант, молчите? — спросил Лебедев.

— Я думаю, — сказал смущенно Петухов.

— Вот и говорите, о чем думаете!

— Ну что я, начал солдатом, теперь ротой командую. И тогда учился воевать, и сейчас учусь.

— Значит, все время только учишься! — рассмеялся Пугачев. — А я-то думал — на батальон уже созрел.

— Теперь батальон со всеми приданными ему средствами по огневой мощи весит не меньше, чем раньше полк, — хмуро сказал Петухов. — Маневр колесами обеспечен и приданными танками сопровождения пехоты. Орудия на тягачах. С такими средствами и подвижностью все должно быть сильным умом обеспечено, дальним и точным расчетом. Для командира теперь главное — храбрость инициативы. Одним уставом все не предусмотреть.

— Слышали? — рассердился Пугачев. — Только ротный, а уже устав критикует по-генеральски.

— Ну вы сами не очень-то каждой буквы устава придерживаетесь, — заметил Лебедев.

— В штабе имеются замечания? — встревожился Пугачев.

— Напротив, полагают, не поборник шаблона, частенько что-нибудь новенькое да выкинете.

— Это в каком же смысле — выкину? — насторожился Пугачев.

— Да в хорошем, в хорошем. Ваша отвага в решениях общеизвестна. Только иногда, замечу, слишком чрезмерно дерзите противнику. А он, изучив вашу дерзкую повадку, может и поймать на шаблонной дерзости.

— Да что он, каждого батальонного манеру боя изучает?

— На уровне полка обязательно, а мы стараемся и ниже, и снизу вверх, и сверху вниз... Вот против вас полк фон Фриге. Весь его послужной список занесен в картотеку. Отличный фортификатор, сражался еще в первую мировую войну. Имеет труды по долговременным оборонительным сооружениям. Сейчас его сменяют. Спрашивается, почему? Мы же разведбоями щупали его оборонительные линии: безукоризненные, почти нет слабых мест. А вот сменяют, — значит, приходит тот, кто имеет иной опыт. Опыт наступательных боев.

В землянку вошел, сутулясь, капитан Конюхов. Подслеповато щурясь и дуя на поднесенные к губам скрюченные пальцы так, словно было прохладно, он сказал, обращаясь к лампе с розовым абажуром:

— Здравствуйте, товарищи!

И добавил виновато, оглядывая сапоги:

— Я, кажется, грязь принес. Тряпочки не найдется?

— Валяй так, — великодушно разрешил Пугачев. — Выпить хочешь?

— Чуть-чуть — с удовольствием.

— Видали? — обратился к остальным Пугачев. — Оказывается, его политическое высочество может испытывать от спиртного удовольствие. А я думал, он само бесплотное совершенство, не как мы, грешные.

— Прогорел, знаете ли, — пожаловался Конюхов, осторожно усаживаясь за стол. — Ничего, что в шинели? — Вдохнул, зябко потирая руки, сказал грустно: — У меня сейчас неприятный разговор состоялся с майором из инженерного отдела штаба дивизии. Сопровождал его на позициях. Человек он, несомненно, в своем деле весьма знающий и, представьте, делает правильные замечания, но в зависимости от звания того, кому он делает замечание; чем ниже звание офицера, тем, я бы сказал, грубее и повелительнее тон и манера обращения. Ну я и высказал майору свое предположение, что он, очевидно, в обратной пропорции будет потом докладывать об обнаруженных недостатках, смягчая их в зависимости от звания того, кому он будет докладывать. Ибо грубость — первое свидетельство двойственности натуры. С одной стороны, пренебрежение достоинствами нижестоящего, с другой — преувеличение достоинства вышестоящего. Грубость не знает середины, как всякая крайность.

— Значит, отчитал! — обрадовался Пугачев.

— Нет, зачем же, просто высказал свои мысли. — Конюхов опустил глаза, произнес мягко: — Я полагаю, поскольку война, неизбежны потери людей. Чтобы потери были по возможности меньше, мы должны быть особенно внимательны и чутки к каждой человеческой личности, и чем выше у офицера чувство бесценности, неповторимости человека, тем он в боевых обстоятельствах

будет действовать более воодушевленно, тем выше будет сознавать свою высшую ответственность за каждого человека.

Петухов просветленно заулыбался, закивал, заявил, радостно сияя:

— Очень точно. У меня Лазарев с тремя орденами Славы, командир расчета сорокапятки. Он, когда танки, сразу без команды выкатывает орудие на открытые позиции и бьет прямой наводкой. Так я к нему обращаюсь, если кто обнаружил слабость в бою, чтобы он с ним побеседовал, а не я. Авторитет по линии храбрости. И он, знаете ли, никогда ни перед кем излишне не тянется в субординации, а с рядовыми бойцами держится просто внимательно, даже с теми, кто обнаружил слабость. И я на него ссылаюсь, когда какая трудность с нарушениями. Представьте, в его расчете за все время меньше всего потерь. Он сам себе людей подбирает и бережет. Оставляет в щели, если огнем нащупали, а сам с ближайшей дистанции бьет, сам заряжает и бьет. Собою рискует, а людьми рисковать себе не позволяет. Очень душевный человек.

— Знаю,— сказал Пугачев,— надежный огневик, но с характером. Взял хлюпика, который с противотанковой гранатой в руке от танка деру дал и до того ошалел, что гранату не отдавал, когда задержали. Трясется как цуцик, а не отдает. Я приказываю — в штрафники, а Лазарев настаивает — дать его ему в расчет. Ну, думаю, пускай он его проучит. А он с ним — как с дефективным школьником: кто родители? как в школе учился? с кем дружил? чего любит, чего не любит? Я ему: «Чего нянькаешься?» А он: «Ищу в нем звено, за которое ухватиться». Видали, какой марксист! Вот вам и огневик, истребитель танков, а сам на кого свое время истребляет!

— Ну и что? — хмуро сказал Петухов. — Этот Зеленцов сейчас исправный боец. И Лазарев все-таки нашел, за что его ухватить. Пообещал в школу, где Зеленцов отличником считался, написать, что он храбрый, а не трус. И после написал, и ответ из школы получили. Мы его по взводам читали, хорошо из школы ответили, с гордостью, что такой у них ученик.

— Если б Лазарев не на хлюпика время тратил, а взял бы стоящего, он бы из него героя воспитал, а не просто так себе солдата, — сердито перебил Пугачев. — Дефективным где место — в стройбате в лучшем случае.

Конюхов поднял голову и сказал задумчиво:

— Несколько лет я работал воспитателем в колонии малолетних преступников.

— А теперь нас воспитываешь! — расхохотался Пугачев.

Лебедев строго заметил:

— Живость вашего характера не всегда уместна, майор Пугачев.

— Ну ладно, пошутить нельзя, — примирительно сказал Пугачев, попросил снисходительно Конюхова: — Ну ну, давай сыпь, раз ты такой, из Макаренков, выдавай байки.

Конюхов поежился, помял пальцы.

— Я, собственно, не из своей практики, а так, вообще, о будущем. Война кончится, много сирот останется, разрушенных семей. Трудности войны наложили особые, отрицательные отпечатки на их жизнь и, я бы сказал, на раннюю взрослость. Моральные устои во время войны не только укрепляются, но и расшатываются. Что же, мы вернемся только как победители, во всем блеске орденов, в сиянии, так сказать, исторической славы? И потом им будем: мы вот такие, а вы эдакие. Мы жизнь за Родину отдавали, а вы шалопаи. И вот я полагаю, что, скажем, такие, как Лазарев, могут больше Родине пользы принести, чем вы, Пугачев, с вашими взглядами на так называемых дефективных.

И, пристально глядя в глаза Пугачеву, Конюхов заявил с внезапной для него резкостью:

— И не случайно вы, майор Пугачев, уклоняетесь брать к себе в батальон пополненцев из освобожденных районов, так сказать, свою фронтовую элиту не хотите разбавлять. Смелости не хватает на таких людей положиться.

— А если среди них те, которые к фашистам прижились? Если ты человек, шел бы в партизаны! Тут арифметика ясная.

Лебедев сильным движением руки отодвинул от себя тарелку с закусками, сказал сипло:

— Разрешите мне несколько слов из своей практики. Прежде всего — если говорить о какой-либо нашей силе, превосходящей противника, то кроме количества стволов и прочей боевой техники нам следует исходить из главного. Из идейного, морального, нравственного превосходства советского человека. Грош цена тому командиру, который в слагаемых учитывает лишь соотношение боевых средств, а не духовных.

— Вы что же, из разведотдела уже в политотдел перекочевали? — осведомился ехидно Пугачев.

— Я коммунист, — сухо сказал Лебедев. — Род войск, как и род деятельности, — это только сфера применения моих убеждений. Так вот, при всех обстоятельствах люди для нас — главное. И когда в тяжелом бою с лучшей стороны проявляет себя подразделение, которое до этого считалось не из лучших, — это тройная победа. И для нас, коммунистов, более значительная, чем победа подразделения, в котором подобраны хорошо обстрелянные, опытные фронтовики.

— Что-то в сводках подобное не отмечают, — заметил Пугачев.

— Зато коммунисты армии это отмечают, и очень высоко, — сказал Конюхов, — как результат влияния коммунистов, как самое священное дело партийцев.

— А я вам кто? Беспартийный, что ли? — возмутился Пугачев. — Сказано: брать пример с передовиков! Вот мой батальон считается отличным! По-вашему, чтобы довоспитывать всяких, я должен в середняки записаться! Как трудное задание — кому? Пугачеву! И не было такого случая, чтобы мы не выполнили. Но вот Конюхову охота на политсборах воспитательной работой козырять, ему факты от нас требуются. А наш главный факт: получили приказ — выполнили! И никто не усомнится, что мы выполним!

— Но вы знаете, что среди наиболее отличившихся солдат у вас — коммунисты. И партийно-комсомольская прослойка у вас очень высокая.

— У меня порядок! — с гордостью объявил Пугачев. — Как высоко показал себя в бою — в партию. Глядели «дела»? Сам скольким лично рекомендацию давал.

— Вот-вот, — сказал почему-то грустно Конюхов, — у него главная опора — коммунисты, в них сила. А он им не верит.

— То есть как это не верю? — с силой стукнул кулаком по столу Пугачев. — Ты это брось, говори, но не заговаривайся.

— Повторяю, не веришь, а если б верил, то не боялся бы, что боевая сила батальона ослабест, если в него зачислят пополненцев из освобожденных районов. По логике так.

И Конюхов пожал плечами.

Пугачев смутился, свял, произнес извиняющимся тоном:

— Ну, тут ты меня поймал. Даже не поймал, а пригвоздил на месте.

Махнул рукой, заявил, будто решаясь на отчаянный самоотверженный поступок:

— Ладно, присылай, возьму. Твой верх, твоя правда. Ребята у меня всемогущие. И этих переварят.

— Да разве в этом дело? — сказал кротко Конюхов. — Важно, чтобы мы все и вчера, и сегодня, и завтра, особенно завтра, были озабочены, каких людей мы вернем стране, лучше или хуже, чем они были, выросли они по человеческим своим качествам в армии или нет.

Они же должны быть не только героями войны в глазах всех людей, а именно потому, что их всех будут видеть как героев, каждый их помысел, поступок, высказанная мысль, слова их будут иметь особое влияние на тех, кто нуждается в таком влиянии. Да кто в нем не нуждается! И мы, армейцы, вчера, сегодня несем ответственность и особенно завтра будем нести, какие придут из армии люди и как они будут влиять на всех людей в самом трудном и безотложном, чтобы люди стали лучше после всех бед, горестей, потерь, отчаяния, невзгод в тех трудностях, которые еще одолевать и одолевать.

Петухов спросил восторженно:

— Товарищ Конюхов! Можно, я за вас сейчас выпью?

— Во! — воскликнул Пугачев. — Одного уже впечатлил до самых печенок. — Потом смущенно добавил: — Если не возражаешь, я тоже за тебя приму, хоть ты меня и общипал, как цыпленка.

— Разрешите? — Лебедев тоже поднял свою кружку. Чуть отхлебнул, сказал: — Все-таки позвольте и мне. — Задумался, произнес осторожно, подбирая слова: — Как вы знаете, по роду своей деятельности мне доводится и доводилось непосредственно общаться с противником в различных условиях. Но вы понимаете, средств для подобной сферы деятельности множество, и не все они укладываются в общепринятые понятия морали. Обычно ищут слабые стороны у объекта. Моральная неустойчивость, корысть, цинизм, трусость, тщеславие, уязвленное самолюбие и прочее-прочее. Пренебрегать такими средствами, увы, не приходится. И как бы ни были получаемые сведения ценны при использовании отрицательных черт личности, нет выше профессиональной радости, я бы сказал, торжества, когда опираемся не на слабые, а на сильные стороны объекта, не на отрицательные его моральные качества, а на

положительные. То есть когда разведчик, опираясь на них, делает из него не только объект для получения сведений, а сознательного союзника. То есть переубеждает его, внушает ему если не веру, то уважение и надежду к тем целям, которым разведчик сам служит. Так учил нас большевик-ленинец Дзержинский. Быть коммунистом во всем, всегда. А коммунист — это тот человек, который верит во всецелое нашей правды и вооружен этой правдой.

— Чего же вы нам хотя бы одного фашистского если не генерала, то переубежденного полковника вежливо, под ручку не привели? — усмехнулся Пугачев. — А то придется доставлять их нам с кляпом во рту, повязанных, да еще волоком на самих себе.

— Благодарю вас, — поклонился Лебедев. — Вы нам оказываете большую любезность.

— Обиделись? — спросил Пугачев.

— Обиделся только профессионально, — мягко сказал Лебедев. — Вы недооцениваете мою способность судить достоинства и недостатки людей. А вы мне, Пугачев, симпатичны, хотя свои недостатки стремитесь не преуменьшать, а демонстративно преувеличивать. Так вот, моя задача пополнить сведения о противнике, хотя бы от доставленных вами «языков». Но путь к этому знаете какой наиболее надежный?

— Вывести такого субчика на народ в любом освобожденном населенном пункте и оставить на собеседование, — усмехнулся Пугачев, — сразу наизнанку вывернется.

— Но я предпочитаю беседу с глазу на глаз. И первое — сообщаю нашу фронтовую обстановку.

— Выдаете военную тайну! — улыбнулся Пугачев.

Лебедев только повел плечом и продолжил сухо:

— Затем знакомлю с тем, что нам известно о положении войск противника, и с нашими потенциальными возможностями. Выясняю его личностные данности, взгляды, казалось, по отвлеченным предметам. И только потом допрос по форме.

— Значит, на испуг не берете, деликатничаете? — сердито спросил Пугачев.

— Почему же, как вы выражаетесь, не «беру на испуг»? В некотором роде именно так. Я говорю правду, а правда для него наша страшна и даже, я бы сказал, сокрушительна не только в военном отношении, но и в главном — человеческом, и если он не окончательный мерзавец,

истерично отупевший от страха за свершенное, разговор приносит весьма позитивные результаты по многим интересующим нас комплексным вопросам.

— На уголовных тоже практиковались? — спросил Пугачев. — Которые Беломорканал строили? Так они же только уголовники, а не фашисты.

— Совершенно верно, — согласился Лебедев. — Практиковался и о всяких сквернах осведомлен. Но главное, дорогой мой, не все немцы — фашисты, и не все уголовные — закоренелые рецидивисты.

— А закоренелых что, к стенке?

— Даже в социальном существует индивидуальное, — резко сказал Лебедев. — Кстати о себе, я, знаете ли, из беспризорных со времен голода в Поволжье, остался один, ну и...

— Воровал?

— Да!

— Интересно, — протяжно произнес Пугачев. — А я думал, вы из ангелов с парафиновыми крылышками. Как же вам доверили?

— Взяли в трудкоммуну. Потом работал на заводе. Строил Комсомольск-на-Амуре. Стал членом бюро комсомола. Ну а потом по путевке комсомола взяли в органы. Вас это удовлетворяет?

— А я не кадровик, так, к слову.

Лебедев налил чай, отхлебнул, сказал Конюхову:

— Я, собственно, хотел выразить свое согласие с вашими мыслями о том, что мы, армейцы, сейчас, когда конец войны столь реально близок, должны быть озабочены, чтобы каждый из нас и все мы были достойны той победы, которую мы одерживаем и одержим не только как военную, а как плод того лучшего, что есть в советском человеке и что должно быть потом, ну хотя бы как Чехов хотел, чтобы в человеке все было прекрасным.

— Уж очень вы по-граждански рассуждаете, — возразил Пугачев, — по-штатскому.

— Неправда! — воскликнул Петухов. — Ленин что велел... Даже мечтать.

— Ты подожди, — повелительно произнес Пугачев. — Не вскакивай. — И, обратившись к Лебедеву, сказал, взволнованно теребя свои блестящие волосы: — Вы все тут красиво и правильно говорили. А вот вы сами, Лебедев?.. Покажите руку, да не эту, другую. Ага, вот, прокусанная. Это же вас он, когда вы его за пасть ухватили, цапнул.

А других сколько вы наповал свалили? Вы тогда думали, соображали, что он тоже человек, личность? Может, у него тоже супруга, мамаша, папаша, детки? Так волк тоже семейный... Не соображали, знаю. В такой момент не соображают.

Подошел к вешалке, сорвал шинель, показал:

— Видишь, полу осколками всю изодрало. Но я и без этого думал, когда по передовой ходил, как лучше огневые средства расположить, чтобы их побольше накрыть, побольше, понял? Навалить насмерть. Без анкеты, кто там из них кто. И вы, — тут он гневно взглянул на Конюхова, потом с презрением на Петухова, — и ты тоже, с башкой, побитой от завала, сиял, словно в бане помылся, такой чистенький, а сам же я видел, как месяц тому назад в атаке пихнул штыком, и потом ногой в грудь ему, и штык вытащил. Как же при всем этом разговорчики о красоте человеческой, о возвышенном? О том, что каждый хилjak, мандражист мне вроде как родственник, которого я должен потом, в мирных условиях, как светлую личность довоспитать и доставить на радость народу? Да он мне сейчас может обойтись в такое, что через него настоящий боец может пасть, потому что хилjak этот подведет в бою. К чему это все? Сейчас главное — расколоть их к чертовой матери. И только после всего оглянемся, остынем. И конечно, к мирной жизни еще приспособиться надо. Не такая она уже сладкая для всех получится, народ фронту все отдал, а чем ему за все это отдать?

— Вот мы об этом и говорим, — сказал Конюхов. — Что бы дать людям за все, что они нам отдавали? И высшая награда всем нам, чтобы люди вернулись лучшими, чем они были. Поняли — лучшими, чем они были! И мы, армейцы, коммунисты, должны это выполнить как высший приказ партии.

Лебедев добавил проникновенно и тихо:

— Вы, Пугачев, правы, война нечеловечески трудна для человека тем, что он убивает человека, но убивать в себе человека — вот это преступно, какими бы побуждениями понятными ни руководствоваться. В том-то наша общая сущность и забота, чтобы не только сохранить в себе человека, человечность, но, руководствуясь этим, выполнять свой долг солдата.

— Ну что ж, — сказал Пугачев, — хоть вы все на меня и кидались, а выходит, щемит нас всех то же самое, потому что светит нам одно и то же.

— Вы знаете, Пугачев, — оживленно заявил Лебедев, — при выборе людей на самое сложное задание я предпочитаю, — он кивнул на Петухова, — вот подобных ему, не сколько восторженных. И знаете почему? Они умеют радоваться другим, а в тяжелой обстановке ничто так не поддерживает, как радость другого тобой.

— Вовсе я не восторженный, — почему-то обиделся Петухов. — Раз я согласен, чего же мне скрывать, когда так думаешь, а другой лучше тебя самого это высказал?

Лебедев, словно не замечая Петухова, продолжал:

— Вы обратили внимание, как он Лазарева нам высоко и восторженно преподнес? А сколько он с этим Лазаревым маялся! Три ордена Славы, комдив всегда с ним за руку. В армейской и фронтовой о нем только и пишут... А когда ротный дает ему указание, препирается, считает, что он лучше знает, где занимать позицию, когда огонь открывать, — зазнался.

— И неверно, — возразил Петухов. — Он позволяет себе только, когда мы с ним с глазу на глаз. А я с ним просто советуюсь. Есть люди, кому надо приказывать. А ему не надо приказывать, только договариваться. А я с ним всегда договариваюсь, и получается всегда правильно.

И тут Пугачев решительно принял сторону подчиненного ему командира.

— У нас, товарищ Лебедев, что ни боец — личность. Подход нужен. Товарищ Петухов как раз и силен тем, что у него каждый боец — самостоятельная огневая точка, и он знает дотошно, кто на что и при каких обстоятельствах наилучшим образом способен. За это я его давно ценю и считаю перспективным на большее. И солдаты его обожают, и он их. В каком еще подразделении вы такую прочность найдете?

Конюхов кивнул:

— Подразделение действительно хорошее.

— Отличное, — поправил Пугачев. — И по наградам официально на первом месте. — Быстро заявил: — Конечно, кое за что и не додали. — Требовательно уставился на Конюхова. Попросил: — Вы бы в своих политдонесениях, может, по этой части еще поднажали, а?

Лебедев улыбнулся:

— Силен комбат, никак не желает в кредит доблесть отпускать. Сделали — клади на грудь.

— А как же! — сказал Пугачев. — Люди от боя должны

и личную радость получать, без отяжки, как говорится в стихах: «Есть удовлетворение в бою».

— Не удовлетворение, а наслаждение,— поправил Петухов.

— Ну это ты брось,— хмуро сказал Пугачев.— Тоже мне наслаждение! Глупость какая! — Добавил: — А ты меня своей начитанностью лучше не трогай. Я же нарочно скорректировал, чтобы по существу получилось, в точку...

Несколько тяжелых, почти одновременных ударов звонко хрустящих в разрыве снарядов глухо и гулко сотрясли землянку. Пугачев поспешно прикрыл керосиновую лампу с розовым абажуром каской, сказал досадливо:

— Вот вам, пожалуйста. Собрались, как в мирное время, по душам, дружески потрепаться, а он стучит, хамлюга.

Вышел наружу и там спросил у часового:

— Что это у тебя, Ермилов, за шум?

— Все нормально, товарищ майор. Кидает помаленьку — щупает.

— Воздух как?

— А чего воздух? Это ему не сорок первый: только забурчит, сразу наши кидаются.— И солдат произнес задумчиво: — Говорят, за каждый сбитый по тыще платят, а много ли на нее купишь? И все равно в фонд обороны обратно сдают. Разве за такое деньгами возьмешь?

— Настроение как? — барственно осведомился Пугачев.

— Какое еще может быть настроение, если нам войны нет, надо кончить ее, добить бы — и домой. А то пришел инженерный начальник и ну втыкать. Траншеи недостаточно солидно укрепленные, накаты велел прибавить, даже сортиры и те ему не понравились, мол, выгребные ямы недостаточно заглубленные. Ну ему один боец в шутку: «Желаю на их земле этим делом заниматься, а не на своей». Тот его по команде «Смирно» и вытянул. Конечно, шутка шуткой, но за ней озорство. Мы же не только солдаты, а представители.

— Представители?

— Ну ясно, представители самих себя и государства, значит, нечего из себя некультурных строить. Все аккуратно исправили, товарищ майор, как положено.

— Агитатора слушали?

— А как же, сначала он нас агитировал, а потом мы его.

— Не подготовился к беседе, что ли?

— Зачем, все доложил наизусть, как в газете. Ну потом, понятно, разговор. Он нам, мы ему.

— Про что толковали?

— Про пустяковину домашнюю, про свое семейство. Ребята без отца растут, разве жена одна втолкует все, что надо? Без отцовского авторитета не справится. Вернемся, дел по горло, а у кого и семьи поломаны, а у кого совсем отцов нет. Конечно, было, на пустом месте все заново отстраивали, как, скажем, после гражданской или взять ту же первую пятилетку. Сам грабарем на Магнитке землю тыщами пудов перетаскал. Но сейчас желательнее народишко не только победой обрадовать, а побыстрее жизнь отладить, ну вот ребята и беспокоятся, чтобы каждый по своему делу за войну не разучился. Боевую технику нам все новую кидают, понимающие тревожатся — вот танки хотя бы, по сварному делу широко у нас шагнули, по крупногабаритному литью тоже, говорят даже, что на автоматы нековочные детали идут, а режут из фасонного проката. Это же подумать надо!

— А ты сам кто?

— Токарь. Чего ж тут спрашивать? Но я, только пусть к станку допустят, фронтовую норму им выдам. Будьте уверены! Сейчас, конечно, скорости в чести. Ничего, разберемся, на чем они там выезжают в передовые ударники.

— Выходит, еще до Берлина не дошли, а тебя всего уже к дому повернуло.

— А я от него никогда и не отворачивался. Дойду и вернусь. Это когда он нас гнал, каждый обратный шаг словно сердцем приминал к земле, за жизнь неохота было держаться. А теперь в ногах бодрость, азарт, как все равно весной по льдинам на другой берег перебежать: знаешь — дома ждут, и нет страха.

— Ну ладно, — сказал Пугачев, — а ты чего, Ермилов, награды не носишь? Вид как все равно у пополненца, ничего на тебе уважительного нет.

— А я для дома сберегаю, чтобы металл не потускнел, ленты не выцвели. Чтобы при полном параде всему своему семейству доложиться, во всем новеньком, чистеньком, словно весь я в прозрачную бумагу обернутый, а насчет уважительности мой обычай простой — увидят в бою и уважают фактически.

Пугачев вернулся в землянку. Конюхов, накрывшись шинелью, сидел на топчане. А Петухов горячо говорил Лебедеву:

— Вы не правы, я думаю, когда очень сильно любят человека, могут даже самоотверженно отказаться от любви к этому человеку ради любви к нему. Ведь бывает так, бывает.

— Это вам Красовская подробно внушила, — болезненно морщась, произнес Лебедев. — Она, кажется, подруга Кошелевой и через вас пытается подобные мысли мне внушить. Но я не нуждаюсь в таких логических построениях.

— Это не логика, это правда! — воскликнул Петухов.

— Ну вот что, тут уже допускают вольности, противопоставляя правду логике. Логика — это путь к истине, а истина — правда.

Пугачев прислушался, сказал недовольно:

— Пошли формулировки, еще диамата не хватало. — Сел на койку и стал бесцеремонно снимать сапоги.

Из землянки Конюхов вышел вместе с Петуховым. Небо было чистым, светлым, многозвездным.

Разрытая окопами земля обдала густым запахом пахоты, который не могла заглушить химическая вонь недавних разрывов снарядов.

21

Конюхов страшился быть убитым, безразлично как. Петухов же, например, полагал, что уж если накрыться, то красиво — от пули, а не быть ужасающе растерзанным осколками, и то эти соображения приходили к нему только при мысли о Соне, а вот Конюхов просто хотел жить и быть всегда с людьми.

В самый тяжелый, первый год войны его охватила восторженная гордость людьми, с которыми он вместе сражался или, точнее, дрался с врагом, ибо бои разрозненных групп переходили каждый раз в рукопашные стычки, побоища, где меньшее число наших людей сражалось против превосходящего их множества.

Сражались островками в окружении, пробивались сквозь вражеские чащи к своим, опеленав окровавленное тело полотнищем знамени своего полка, от которого оставалась часто одна только сводная рота.

И когда сама земля, по которой они шли, была изуродована, искалечена, испепелена — казалось, необратимо — режущей, давящей, рвущейся, всежигающей лавиной огня

и металла, Конюхов открыл и открывал во множестве людей их высокую духовную неуязвимость, бессмертность тех верований и обычаев, которые доселе были естественным существом их жизни, взглядов, убеждений и не выглядели столь высокими, ошеломляющими своим величием, какими они представляли в гибельных условиях неравных, иступленных боев.

И люди жили как бы только в двух временных измерениях: прошлым, то есть ощущением своей жизни, жизни Родины, какими они были до войны, — и дрались, чтобы только восстановить это прошлое, — и сегодняшними огненными днями и ночами, когда в сутках восемьдесят шесть тысяч четыреста секунд, из которых каждые три секунды дают возможность произвести прицельный выстрел из винтовки во врага.

И каждый шаг в пядь отдавался, как касание обнаженным сердцем своей земли, оставляя на ней вмятину своего сердца, на которую наступал сапог врага.

И здесь в те дни политрук Конюхов сделал открытие, что ничто так не воодушевляет людей на бой, как самая простая беседа, мирная и доверчивая, подобная воспоминаниям о том, как жили, работали и что сделали люди до войны, какой была страна, и то, что казалось обычным, привычным и даже малозначительным, внезапно выступало в облике высшего блага жизни, дел, достоинств, обретенных горением подвигов самоотверженности — ради счастья всех.

И когда они, заняв круговую оборону на окраине районного городка, где в молодой рощице было устроено нечто вроде парка культуры и отдыха, со всяческими фанерными аттракционами, спортивными сооружениями, эстрадами для самодеятельности и детскими площадками, приняли здесь бой, и позиции оказались невыгодными для боя, и враг самоуверенно и опытно атаковал их, измученных и обессиленных длительным переходом, не успевших еще окопаться как следует, Конюхов видел только угрюмые, отупевшие от измождения, потные и грязные от пыли лица бойцов, для которых он не мог найти слов, чтобы объяснить все происходящее, чтобы внушить веру, — ведь это было сводное подразделение, собранное из остатков чужих подразделений, людей, ему неизвестных, присоединившихся в пути к его взводу. Конюхов даже не успел опросить, кто из них члены партии, комсомольцы. Они шли даже не колонной — толпой.

И вот в самом бою их пришлось поспешно организовывать.

Бой этот начался на рассвете, и потом утратилось ощущение часов, и дней, и ночей, все слилось в бесконечное мгновение — между жизнью и смертью, и от мгновения к мгновению жили и дрались люди.

Этот бой не вошел в летопись Отечественной войны, как не вошли подобные «частные» бои в эту великую летопись подвигов, героизма.

Да и не было в помыслах этих бойцов, отступающих перед натиском врага, считать, что такими «частными» боями они свершают героизм. Они просто бились, дрались, стояли насмерть, как бы только иступленно оправдываясь за то, что вынуждены сражаться, отступая, а не наступая, не считая такой бой подвигом-героизмом, как не могут считать, что совершают подвиг отец, мать, бросаясь в горящий дом, чтобы спасти своих детей, или сын или дочь, чтобы спасти отца, мать, близких.

Четырнадцать суток, слившихся в единый бой, они отстаивали этот плацдарм — парк культуры и отдыха, словно святыню или важнейший стратегический пункт, от падения которого решается исход большого сражения.

И когда сюда вышли наши полнокompлектные части и отбросили временно противника, и командир части, осмотрев позиции, объявил их невыгодными и непригодными, и часть заняла и стала укреплять себе позиции в районе за парком культуры и отдыха, бойцы сражавшегося здесь подразделения отказывались уходить, и убедить их было не просто.

Конюхов после сплошных четырнадцати суток боя впервые увидел то поле, на котором свершалось побоище малочисленного его подразделения с многочисленным противником. В телах погибших как бы навечно окаменело яростное движение, последний предсмертный атакующий порыв на врага, как бы скрытая доселе горечь отступления — все запечатлелось в этой предсмертной жажде порыва на врага.

Склоняясь, Конюхов извлекал документы из гимнастеров павших и складывал в подсумок — вот они, не учтенные им коммунисты, комсомольцы. Он мог бы сказать, какая сильная партийная прослойка оказалась в его сводном подразделении, недавно выглядевшем толпой, одноликой от пота, пыли и грязи, покрывавших отощавшие лица со всеобщим выражением угрюмой озабоченности.

Но в смерти каждый обозначил себя неповторимо.

И когда покидали плацдарм, люди подразделения не смотрели на поле боя, они только бросали прощальные взгляды на разрушенные, обгоревшие сооружения бывшего парка культуры и отдыха, бывшего их плацдарма боя. И, словно ошеломленные видением прежней своей жизни, в краткий перерыв между сражениями запоминали то, что надолго от них отсекла война и за что они будут бить врага.

И вот именно тогда Конюхов и провел с оставшимися в живых бойцами своего подразделения первую после боя политическую беседу. Он решил не говорить об этом бое, о его героях — все это и так жило в каждом. Он рассказал о том, как для освещения электрифицированной карты ГОЭЛРО — ленинского плана электрификации — не хватило электроснабжения и ряд районов Москвы отключили, чтобы осветить эту карту, вывешенную в Большом театре, чтобы собравшиеся здесь люди воочию поняли значение ленинского плана для их судьбы и жизни.

— Ленин верил, партия верила, что этот ленинский план сбудется, — говорил Конюхов. — Английский писатель-фантаст Уэллс в то время побывал у нас и написал книгу «Россия во мгле». И многие думали, что мы не преодолеем разрухи и останемся во мгле.

Сейчас большая часть наших городов затемнена. И от нас с вами сейчас зависит, чтобы вновь засветились наши города, погашенные войной. Ленин предвидел то, что свершил наш народ. И Родина, партия верят нам, верят, что мы осветим свою страну вновь. И парк культуры и отдыха, на плацдарме которого мы сражались четырнадцать суток, благодаря тому что мы четырнадцать суток удерживали врага, раньше на четырнадцать суток будет возвращен людям, детям. Понятно? Каждый день, когда мы удерживаем врага и бьем его, сокращает срок к тому, чтобы вернуть нам прежнюю жизнь...

И эта политбеседа стала всеобщим откровением, каждый из бойцов припоминал, что он оставил, как это было добыто, достигнуто, и говорили, что все это может быть возвращено боем каждого и всех вместе за ту долю счастья, которое перепало каждому и всем вместе в прежней мирной жизни, и никто, кроме них самих, не вернет им этого, и если каждый так думает, то каждый должен уничтожить врага, не ожидая, пока другой его уничтожит.

Вот это бессмертное ощущение людей единственно возможной для них жизни, и ради такой жизни идущих на

смерть, раскрыло Конюхову все то безмерное, что воплотилось в советском человеке, в его характере, ту особенность советского человека, которая в мирной жизни не выступала в столь откровенном величии самопожертвования, в подвиге и героизме, которые считались в те дни лишь правильным поведением в бою.

Как всякий коммунист, политработник в армии — это тот, к кому обращаются со всеми своими человеческими заботами, и для политработника каждый солдат — это прежде всего человеческая личность, в заботе о духовном мире которой его высшая ответственность коммуниста.

В памяти разума и сердца Конюхова множество человеческих личностей, узанных так близко, словно их жизнь стала частью его жизни. И поэтому он боялся смерти, как исчезновения от людей, которым он нужен, ведь в нем погибнет то, что он получил от людей — самое главное для своей жизни.

И если Конюхова считали храбрым и он действительно вел себя отважно в бою, находясь в цепях бойцов, то это свое качество он приписывал не чертам своего характера, что было верным, а тому, что, если люди доверяют его словам, он обязан оправдывать такое доверие тем, что сам испытывает то, что и они, и тогда только слова, рожденные в этих переживаниях, могут достигнуть своей цели.

Узнавая людей и как бы роднясь с ними, вкладывая в них то лучшее, что он подмечал в других и в себе тоже, каждую потерю бойца он переживал как смерть родственного человека, близкого, неповторимого.

Поэтому в штабе дивизии его считали замкнутым, малообщительным, склонным к угрюмости, но вполне деловым и исполнительным политработником, хотя в подразделениях о Конюхове было совершенно иное мнение. Бойцы уважительно называли его душедоверенным капитаном.

Он умел учиться у людей и учил их этому учиться. Он не умел докладывать, но умел рассказывать. И когда на политбеседе он рассказывал хорошее о бойце, которого все отлично знали, получалось, что этого бойца никто не знал до этого как следует, и даже сам этот боец слышал о себе такое, о чем он и не подозревал, что такое в нем существует. И это спланивало, возвышало людей больше, чем всякое иное, потому что на самих себе их обучали, какие они и какими они могут быть — еще лучше. И есть человек, который зорко подмечает в них хорошее, и оно не будет забыто

им и вознаграждено будет перед всеми бойцами этим человеком — коммунистом.

А о плохом, об упущениях, проступках, Конюхов говорил столь страдальчески и огорченно, будто он сам совершил проступок и не знает, чем искупить его.

И ему же приходилось потом защищать проиштрафившего от ярости бойцов, для которых этот проступок был не только проступком «своего парня», но и их общей виной перед Конюховым, потому что они сами не предотвратили этот поступок, значит, вина одного — их вина общая.

Но для Конюхова это вовсе не было какой-то особой методикой политработы, это просто было его естественным обращением к людям — хорошим, которым он радовался, плохим, которым огорчался, и он не обучал их, а просто делился с ними своими переживаниями, мыслями, которые становились общими, то есть свершалось то главное, в чем заключаются сущность политработы и духовный талант коммуниста-политработника.

Конюхов всегда старался определить, на какой нравственный духовный фундамент ложатся политические сведения, которыми он делится с бойцами.

Среди солдат были и люди весьма политически осведомленные, разбирающиеся, грамотные и даже образованные, иногда даже затруднявшие его своей начитанностью, осведомленностью, отличавшиеся высокой способностью к запоминанию прочитанного.

Но что преобразовывает самое человеческую личность, что дает ей опору и внушает уважение и заботу к другому, так это духовная культура, нравственная, которая состоит не только из суммы сведений, знаний, пусть даже очень значительной, а из особого свойства чуткости душевной, которая выражается не во внешней воспитанности, а в духовной, не в повышенном интересе к своей личности, а в интересе к личностям многих.

И когда Конюхов обнаруживал в человеке именно такую благодатную душевную почву, он ревностно занимался этим человеком. И, открывая в нем все новое и новое, надежно прочное, — если это был беспартийный, писал рекомендацию в партию с таким радостным волнением, какое испытывал сам, вступая в члены партии; если же это был коммунист, хотя его знания и были иногда несколько ниже, чем у сильно начитанных людей, но обращавших все это только в словесный материал, скользящий мимо челове-

ка, он настойчиво рекомендовал такого коммуниста политбойцом или даже агитатором.

Конечно, не всегда была нужда во время боя находиться в боевом порядке наступающего подразделения, но Конюхов уже с первых дней испытал к себе солдатскую благодарную признательность, и не за то, что он, политрук, ведет огонь вместе с ними, подслеповато щурясь, а за то, что они воспринимают его, политрука, как посланца партии, который по несомненной правде и справедливости поймет, оценит, кто как вел себя в бою, кого ободрит, воодушевит, а кому поможет обрести бодрость.

От него ждали не приказа, что кому выполнить в бою в соответствии со складывающейся обстановкой, а обнадеживающего слова, как бы обстановка ни складывалась, поскольку он знает их каждого лучше, чем они сами себя, он укажет бойцу, что именно он, этот боец, потому что он такой человек, выполнит это обязательство и лучше другого, потому что он, боец, по-человечески сильнее и лучше, чем те, против которых он воюет.

И как бы ни складывалось соотношение огневых сил в бою, политрук всегда был неколебимо убежден в перевесе наших сил, потому что соизмерял их не количеством стволов, а душевной мощью бойцов и, зорко подмечая выражение этой мощи у отдельного солдата в бою, указывал другим — не как на беспримерный подвиг, а как на пример, которому надлежит следовать всем, чтобы быть достойным своего товарища, такого же, как ты, советского человека, у которого, как и у тебя, и жена, и дети, и общая с тобой жизнь за плечами.

После боя люди нуждались не только в положенном военном командирском разборе хода боя. Чуткое чувство правды и справедливости к каждому, кто, как и почему именно так вел себя в бою, этот совершенно особого рода разбор хода боя, по высшему человеческому счету, необходим был бойцам.

И Конюхов вспоминал такие подробности их человеческого поведения в бою, которые в нечеловеческих условиях тяжелого боя не остаются в памяти, опаленной боем. Он вспоминал, как Суконцев, упав тяжело раненным, лежа на земле, вынул из подсумка патроны и, дождавшись, когда к нему приблизится отличный стрелок Зубцов, передал ему свои патроны и только после этого вскрыл индивидуальный пакет и стал обвязывать свою рану. Конюхов указал на бойца Семенова, стыдливо прячущего свои руки, толсто

обмотанные бинтами, словно в огромных белых варежках, и проговорил:

— Знаете, товарищи! Вот спартанцы сочинили целую легенду про своего парня. Легенду, которая живет в веках как пример стойкости. Этот спартанец спер лисицу, спрятал ее под рубаху и, боясь признаться, что он ее спер, терпел, пока она ему живот под рубахой грызла. А вот Семенов бросился к дзоту, ухватил голыми руками раскаленный ствол их крупнокалиберного пулемета и, наклонив к земле, держал, хотя у него ладони на стволе жарились, дымились, и держал до тех пор, пока вы не перемахнули простреливаемую зону. А потом — конечно, с обожженными руками не навоюешь — он все же вместе со своими в траншею прыгнул, а винтовка за спиной на ремне, в руках он ее держать не мог. Вы же, Гаврилов, за то, что у него винтовка за спиной, обругали его.

А вот если б, допустим, Семенов спартацем был и такое совершил, о нем бы легенду сочинили, и много бы веков она жила, потому что это почище, чем на голом брюхе кусающуюся лисицу прятать.

Потом, помедлив, произнес:

— Вот дружба, смотрите, в бою что значит. Бутусов и Гаврилов как делают перебежки? Один вскочит, другой его огнем бережет, так и передвигались попеременно, друг друга оберегая. Мы все над ними подшучивали: в школе на одной парте сидели, на фронте в одном окопе, мол, раз такое, на двоих один котелок надо выдавать. А видите, что значит дружба! И противнику урон, и себя сберегли.

— Они же, как Маркс и Энгельс, друзья. Мы знаем, — сказал кто-то из солдат, — все на пару.

— Так это и есть взаимодействие, — подхватил другой, — взаимопомощь, по уставу, только прочнее получается, если еще дружба.

— Именно, — согласился Конюхов. — Но вот Леонтьев хороший пулеметчик, ничего не скажешь, но как он обращается со своим вторым номером? Он его считает только служащим: прими-подай, раззява. И вот, я заметил, даже ударил его сапогом. Коробку с лентами помяло осколком, не мог быстро открыть, а он его за это сапогом. Как, товарищ Леонтьев, я не ошибся — сапогом ударили?

— Сапогом, — хмуро подтвердил Леонтьев. — Руки у пулемета заняты были.

— Так вы с кем дрались — с фашистами или со своим вторым номером, со своим товарищем по оружию, которого

вы должны из вторых номеров на первый выучить, а не держать при себе только как служащего?

— Он ему пулемет чистит, и таскает, как ишак, по всему полю боя, и коробки на себе волочит, и саперной лопатой позицию делает — батрачит, словом. А перспективу Леонтьев ему все равно не даст. Такая он личность, сама о себе много думающая.

— Я вас, товарищ Леонтьев, уважаю, — сказал Конюхов и объяснил бойцам: — Мы еще с сорок первого знакомы. Леонтьев тогда ручным пулеметчиком был, и я помню, ему кожу с головы содрало ударной волной, лоскутом кожи лицо закрыло, а он, как вел огонь по их наступающей цепи, так до конца огонь не прекращал, хотя боль испытывал, я прямо скажу, ужасающую, и я полагал, что он считал себя тогда, возможно, и ослепшим, кожа с головы на поллица прилипла. Видите, какой человек твердый! Но это к себе, а вот к другим можно быть и помягче, поуважительней.

— А мы думали, Леонтьев, у тебя плешь от ума. Вот оно что — в бою обзавелся!

— Ладно вам, — хмуро сказал Леонтьев, — плешь не увечье. — И пояснил сипло: — Я его за что стукнул? Не за то, что только обозлился — канителится. Думал уже просить на первый номер его ставить, а он тут подвел — мою на него надежду порушил, ну я и стукнул, не столько за бой, сколько за себя обиделся, что недоглядел, какой он еще неаккуратный. Дало миной не по нему же, по коробке с лентой, так огляди, что и как, — может, осколком даже ленту повредило. Соображение потерял от радости, что самого не задело, про службу и позабыл. Ну я и напомнил сапогом...

И тут же объявил:

— Но вы не думайте, что я уж такой бесчувственный хамлюга. Вот Бочаркин больше года от своих вестей не имел, считал, нет в живых, ну, в бою себя не жалел, а вот получил вчера письмо — живы-здоровы, ну и сомлел от радости. Ему было положено меня сопровождать, как передвигаюсь, из своего автомата брызгать, прикрывать, а он за каждый бугорок прятался, берегся, бил не глядя. Я же его ничего, простил, понимаю — человек радость переживает, от этого так некрасиво бережется.

Спросил робко:

— Я тебя, Бочаркин, за это корил? Нет? То-то же. Сам понимаю, что такое из дома письмо. Мне-то самому их уже

получать не от кого, а получил бы — тоже, может, как ты, в бою ежился, страховался, чтобы снова почитать после боя, насладиться, чего они, как они. Кто же не поймет, любой поймет. По обстоятельствам с каждого и спрос...

22

Вот так и проходили эти человеческие разборы минувшего боя, и каждый раз после таких разборов Конюхов все больше проникался убежденностью, что самая повелительная сила в подразделении — это сами бойцы. В их сплоченном многодушии возникало то единодушие, которое и решало исход любого боя. Только во множестве и непохожести каждого нужно вовремя найти всеобщее главное, что вызрело в советском человеке, как твердая сердцевина, выкованная всем ходом и духом общей жизни, деяний народа, его взглядов и верований.

И именно волей к этой жизни они побеждают в себе чувство страха смерти.

И если они говорят пренебрежительно о страхе смерти, то вовсе не потому, что сами полно не испытывают этого страха, этим пренебрежением они противоборствуют страху смерти, ибо воюют ради жизни всех и своей собственной.

Они не говорят: «такой-то убит в бою». Они говорят: «потеряли в бою», потому что в каждом из них живет не только скорбь о погибшем товарище, но и солдатская жгучая, совестливая, неизбывная тревога: а может, если б ты сам действовал иначе, лучше, так товарищ не был бы потерян? Потому так сокровенно, правдиво говорят бойцы о минувшем бое, стараясь восстановить в памяти все упущенное, невыполненное, не упоминая о погибших, но они незримо как бы здесь среди них, живых, и главные. Перед ними отчитывается каждый за себя, каждый за другого, ибо бой есть бой, тяжелый труд и, как никакой на свете труд, требует от человека честности перед собой и перед другими. Ибо ничто не прощает солдат солдату так непримиримо, как унылого поведения в бою и трусости признаться перед всеми потом в своем бесчестии, слабости.

А если несмелый не струсит признаться перед товарищами в слабости, то не было случая, чтобы этот солдатский душевный суд не вызволил признавшегося, не взял его на поруки и с деликатной настойчивостью не обучил потом в бою — даже преувеличенными ободрениями, когда слабый, преодолевая свою слабость, пытается быть вровень со

всеми. Поэтому, когда Конюхов, зная слабых бойцов и остро чувствуя к ним настороженное отношение подразделения, подмечал в таких проблески отваги, такое всегда встречали с особой благодарностью, и не только сами слабые, а сильные бойцы, у которых особо развито чувство гордости своим подразделением и боязнь, как бы из-за одного слабого не пала тень на все подразделение.

И то, что Конюхов таким слабым уделял больше внимания, бойцы встречали тоже с благодарностью, словно он брал на себя то, что они обязаны были сами исполнить, — из слабого сделать сильного, из труса — храбреца.

И в том, что Конюхов отметил Суконцева за то, что тот, тяжело раненный, может быть умирающий, заставил себя собрать свои патроны и, выждав, отдать их лучшему стрелку подразделения, а не кому-нибудь, кто был рядом, поближе, — в этой вдумчивой выдержке Суконцева солдаты узнали то новое, что прежде за ним не водилось и рождено было терпеливым старанием всех сделать из этого неряшливого, всегда обиженного на всех и теряющегося при каждом близком разрыве снаряда такого же, как и они, солдата. И хотя снайпер Зубцов не испытывал приязни к Суконцеву, в бою стал держаться поближе к нему, охраняя своим точным огнем и давая деловые внимательные советы тогда, когда у каждого такое ощущение, что ты сам и есть главная мишень для вражеского огня, и когда сердце стучит в тебе, словно кулак, приказывая лечь, выждать, а разумом и волей ты повелеваешь себе идти, ползти туда, где тебя ждет побоище ближнего боя.

И хотя Зубцов, как высококвалифицированный боец с даром снайпера, мог и не идти в ближний бой, а бить издали своим точным, зорким огнем и по своей снайперской обязанности не должен был вступать в ближний бой, он всегда первым врывался в траншею. Потому что кроме снайперского таланта у него долг бойца-коммуниста быть примером в бою, и поэтому он взялся опекать самого слабого бойца, неприятного ему, ради того, чтобы выправить его в человека. И в подразделении даже посмеивались: «Зубцов-то, видали! Какого нашел себе приятеля — ферта Суконцева, даже на нарах спят рядом, и обо всем толкует, как с родненьким...»

Конюхов с ходом войны, с победными боями ее открывал в солдатах все растущую в них победную уверенность в себе, что даже слабого, хлипкого они могут сами терпеливо выправить в человека, в то время как в первый год войны

к таким хлюпикам бойцы относились с жестким презрением, не знающим милосердия. С ходом войны как бы росла в них бережливость к людям, все больше и больше познаваемым в строгой семье своего подразделения, где каждый должен быть достоин этой армейской семьи и она отвечает за каждого, и не сегодня только, но и еще в далеком завтра.

Конюхов знал, что не уверенные в себе командиры столь же мало надежны, как робкие хирурги. И как робкий хирург в мысленном своем взоре держит только страницы учебника хирургии и теряется, когда не находит в шпаргалке ответа на сложную операцию, так и неуверенный командир робеет отступить от устава, когда сложный ход боя требует нового решения, которого нет в уставе.

Но не менее опасны и чрезмерно самоуверенные командиры. В обычае их было ссылаться на первый год войны, когда бои развертывались так, что ни в какие уставы ход их не укладывался. И одерживаемые в них победы были высшим выражением ярости, самопожертвования, безоглядного подвига и героизма.

Орсо́л героизма этих неравных битв, дробящихся на бесчисленные единоборства одного со множеством, когда каждый вписывал себя в легенду, помышляя только об одном, чтобы за свою жизнь свалить больше врагов на той пяди земли, которую отстаивал,— все это воодушевляло самоуверенность подобных командиров, что в конечном итоге, как бы они ни организовывали бой, решить его должен лишь вот такой яростный подъем духа солдата, а он, командир, только должен лично содействовать такому подъему духа примером своего бесстрашия.

К таким командирам Конюхов относил Пугачева.

Он и правился ему и пленял своей одержимостью в бою, изворотливой хитростью, с какой на внезапный опасный маневр врага заявлял самоуверенно:

— Ага, заметался, запаниковал! Фриц заробел, огня выпросил дивизионного. Сейчас танками кинется. Здорово мы его прижали! Выходит, мы на себя целый их полк вытащим. Мы на него ротой, а он на нас полком, есть по чему молотить. Это не то что за каждым бегать в отдельности.

Отдавал команду вести огонь залпами и, потирая руки, сообщал:

— Я ведь нарочно приказал вчера создать видимость, будто мы проходы для своих танков разминировем. Чтоб немцы по этим проходам свои танки кинули, а на самом

деле мы снова эти проходы тут же минировали. Значит, поймали как цуциков, — и все поглядывал на противотанковое ружье, прислоненное к стенке окопа, с которым он собирался, как только бой сложится «нормально», выйти в боевые порядки подразделения, чтобы воодушевить своим личным присутствием бойцов.

Но вот того, что можно вызвать «илы», огонь своей дивизионной артиллерии, самоходки, — этого в сознании Пугачева не было.

Вести бой своим батальоном он умел и в пределах действия батальона мыслил точно и ясно. Но то, что его батальон — частица единого механизма дивизии, оснащенного мощью приданных средств и такой огневой мощью, которой доселе не было, — это из своего сознания вычеркивал. В психологии его прочно жило ощущение первого года войны — вести бой, ни на что не оглядываясь.

В нынешнем, новом соотношении наших сил с силами противника бой обретал характер сложного и могущественного взаимодействия всевозможных боевых средств: в умении использовать их множество в сосредоточенном, мгновенно разящем, подвижном ударе заключалось ныне мудрое дальновидное мастерство командира, ясно сознающего себя частицей единого могучего слаженного механизма, а не только признанного вожака своих бойцов и в решении боевой задачи мыслящего только своими боевыми средствами достичь только своего успеха, а всякое участие не приданных ему боевых средств считать не взаимодействием, а только помощью, будто он без такой помощи не сладит сам.

Это приводило к потерям, которых можно было избежать. И успех батальона был только успехом батальона, не переросшим в успех всей части в целом, ибо то, чем мощно располагали части, комбат не испрашивал для боя, который складывался в пользу атакующего подразделения, а мог бы перерасти и в прорыв всей частью. Не испрашивал потому, что не хотел, да и, пожалуй, не мог преодолеть в себе мышление в пределах батальона.

И та бережная вынужденная скупость на мощные огневые средства, с какой велись бои в первый год войны, существовала в сознании Пугачева, и вызов их он воспринимал как призыв о помощи, а не как разумное использование того, чем армия обладала теперь в изобилии, и перед каждым командиром отчетливо встала необходимость умело овладеть этим могуществом огня и металла, а не только

духовным могуществом солдат, способных совершать, как всегда, величественные подвиги отваги и героизма.

Поэтому не случайно разгорелся спор Конюхова с Пугачевым о сорок первом годе, и Конюхов озабоченно думал, сумеет ли Пугачев преодолеть в себе то, что могло опасно выступить против самого комбата Пугачева.

23

Пугачев выслушивал советы Конюхова всегда внимательно, но редко когда ими пользовался.

— Мой принцип какой? — говорил Пугачев, не то усмехаясь, не то щурясь на свет. — Не выпендриваться. Если мыслей глубоких нет, ну что ж, соображения имеются. Вот ты, Конюхов, душестроитель. Такая у тебя по твоей склонности специальность, к каждому ты пристаешь, чтобы получше был. Каждого ты, как банщик, отмыть желаешь, чтобы он чистенький, светленький был. Копаешься в моих людях, найдешь экземпляр неподобной душевной красоты и восхищаешься, как картиной, и от меня требуешь, чтоб я им любовался. А ты пойми! Если я хорошего солдата не хуже тебя знаю, то что делаю? Этому хорошему, как самому надежному, первому приказываю быть там, где всего опаснее. Ясно? И чем он лучше, тем мне тяжелее, когда я его теряю. Ты это понять можешь? Ты вот утверждаешь: сейчас мы должны жить не двумя временными измерениями — прошлым, настоящим, а главное, потвоему, — будущим. Так ведь умереть, когда вот она на носу, победа, — страшнее. Да еще раздраженным будущей жизнью всех сроднившихся, как никогда, на войне в таком прекрасном братстве.

Мне же после всех этих твоих посулов в бой солдат вести — в смерть. А ты им внушаешь: как жизнь хороша, и жить будет хорошо, и каждый будто из нас бесценное для всего человечества сокровище! Вот и будет каждый себя беречь — как все равно банку с вареньем, а нам еще воевать.

— Воевать! Но за что? За свою землю, за свою жизнь! Но ведь теперь мы способны принести многим другим народам освобождение. И многие освобожденные нами страны станут другими. Кто там придет к власти? Народ. У них такая же революционная ситуация будет, как у нас в Октябре.

— Так ты что? Лозунг подсовываешь, как в гражданскую: «Даешь мировую революцию!»

— Ну зачем ерничаешь! Сам знаешь, коммунисты в этих странах, антифашисты — основа сил Сопротивления, вот кому народ верит и доверит свою судьбу. Значит, свершатся революции. А для советского человека народная революция — это такое же священное, как Родина.

— Ну ладно, по этой линии воодушевляй, не возражаю, — снисходительно согласился Пугачев. — Но вот зачем всем внушаешь, что каждая личность нечто такое исключительное?

— Во-первых, поэтому самому, о чем сейчас говорил, а во-вторых, мы недавно из всех частей отчислили — и у тебя тоже — значительный контингент на восстановительные работы в Донбасс и в другие разрушенные фашистами индустриальные центры.

— Обобрали, — хмуро сказал Пугачев. — Лучших забрали. — Бросил зло: — С вами навоюешь!

— В подразделениях иначе рассуждали. Солдаты в этом увидели самый реальный признак близкой победы — раз. То, что страна такую силу набрала, что уже теперь занята тем, чтоб мирную жизнь налаживать, — два. И главное — верят они в возросшую силу армии, и поэтому каждый боец на себя принял обязательства — за ушедшего на восстановительные работы товарища в бою за двоих себя показать. Такой почин развернулся, как в тылу, во фронтовых бригадах брали обязательства за себя норму дать и за своего товарища, ушедшего на фронт.

— Для вас, политотдельцев, любой почин как сахар, будете теперь его обсасывать, хвалиться, а о том, что в каждом подразделении лучших фронтовиков забрали, пусть командиры их плачут.

— Так ведь на этом какие свои лучшие качества оставшиеся бойцы показали! Ты это учиываешь?

— Лучшие, — усмехнулся одной щекой Пугачев. — У меня вот Сковородников лучший бронебойщик, а кто он, если по-твоему, по-человечески? Шкура, барахольщик, хамло. Требуется, чтобы ему за каждый подбитый танк платили, как все равно пилоту за сбитый самолет, в вещмешке у него ножи-вилки-ложки, и даже кастрюли где-то набрал. Соврал — шинель пропала, выдали, а оказалось — та у него в мешке свернутая на самом доньшке лежит. Отделенный командует, а он ему: «Не для тебя воюю, а для себя, сам знаю, чего делать. Твое дело начальническое — позади,

за нашими спинами». Жалуются на него, а мне — хрен с ним, пусть шерстью зарос, зато больше всех танков наколотил и еще наколотит. Вот тебе и не чистенький... Зато в бою — гвоздь, надежный.

— Как у тебя все запросто получается, — хмуро сказал Конюхов. — А ведь Сквородников тебя давно просил, чтобы ты в сельсовет написал, что он в строю, а не без вести пропавший, как ошибочно о нем сообщили.

— Я же штабному вашему Соловьеву об этом докладывал, — смущенно сказал Пугачев, — и не знал, что он во время бомбежки погиб.

— Мог бы проверить.

— Только у меня и делов.

— К Сквородникову я долго подход искал и все не знал, отчего у него эта короста выросла, а выросла она от обиды. Сельсовет оттого, что он ни живым, ни мертвым не числится, его семье помощи не оказал, жили плохо. Ну он и решил — раз не помогает Советская власть, то он сам семье поможет, поэтому и деньги за каждый подбитый им танк требовал, барахло собирал. И, обижаясь на сельское свое начальство, эту обиду на своих командиров тоже перенес. Я поправил, письмо добыл Сквородникову, подписанное всеми сельчанами. Зачитал в его взводе. Другой теперь человек.

— Что ж он мне не сказал? — удивился Пугачев. — Я же ему не так давно орден навешивал, мог бы напомнить.

— Напомнить, — сухо сказал Конюхов. — Он для тебя только лучший бронейщик, а как к человеку — ты мимо. Думаешь, он не чувствовал? Ведь он нарочно перед тобой себя так показывал — думал, ты по душам с ним, а ты от него от плохого только отмахивался, для тебя одно — лучший бронейщик, а другое что в нем, плохое, можно и притерпеться.

— Как же ты его расколол? Мужик он угрюмый, неразговорчивый — кремень.

— Ничего я его не раскалывал. Беседовал про жизнь, какая она будет, какая должна быть, ну и люди тоже, а он как ты: не заманивайте на жизньюху, она не всем сладкая, кому и колючая. Каждый, мол, должен за себя только беспокоиться.

Ну я ему про Ленина, о том, как Ленин свой хлебный паек отдал венгру, который уезжал к себе на родину, когда там революция началась, наши солдаты тоже этому венгру свои пайки отдали. Приехал он к себе в Венгрию, хотел

своим показать хлеб, который ему Ленин лично дал, а от солдатских хлебных паёк ленинский хлеб отличить не смог: одинаково чёрный, с отрубями и по весу со всеми равный.

Сковородников на это мне врезал: «Ленин среди всех вас один на всех!» Потом захожу как-то к ним в землянку, гляжу, все эти плошки-миски Сковородников из мешка вывалил, говорит бойцам: «Кому что, налетайте, хватайте». И шинель, которую зажилил, старшине сдал. Думал, говорит, сунуле на пальто, с самого себя трофей...

— Ну ясно, засовестился, когда ты ему из сельсовета привет огласил, — сказал смущенно Пугачев.

— Нет, до этого, — строго сказал Конюхов. — Подтверждение о получении новой справки и письмо от односельчан я значительно позже получил.

— А здорово ты это про Ленина, — робко произнес Пугачев. — Меня, знаешь, тоже прошибло. У него за все один орден боевого Красного Знамени, а у меня два. Даже до этого не думал, как это так: у него один, а у меня два, хотя мы все против него лилипуты.

— Вот ты как лилипут о Сковородникове рассуждал. А для Ленина человек с ружьем — величайшая личность.

— Ну ладно там, лилипут, — обиделся Пугачев. — Ваше дело, политработников, во всех душах копать, наше, командирское, — боец или не боец — главное.

— А ты кто? Только в анкете член партии? Партийность — это тебе что? Должность, обязанность, а не во всем, везде, всегда?

— Ну, пошел воспитывать! — Пугачев поднял руку. — Давай распинай, сдаюсь. — И благодушно при этом улыбался.

— Знаешь, Пугачев, — произнес Конюхов грустно. — Не то ты себя чрезмерно обожаешь, не то, напротив, пренебрегаешь тем, что в тебе есть хорошего, и словно боишься этого хорошего, и выдумываешь себя не таким, каким должен быть.

— Я себя в долгожители не планирую, — бодро заявил Пугачев, потом вдруг нахмурился, сказал глухо: — Ты тоже пойми меня, Конюхов, если я буду, как ты, любоваться и восхищаться каждой такой прекрасной человеческой личностью среди бойцов, так у меня душевной силы не хватит в бой ее послать. Худшего пошлю, а на лучшего духу не хватит. Понял? Значит, на этом точка!

Конюхов знал, что Пугачев испытывает душевную привязанность к лейтенанту Петухову еще с той поры, когда Петухов боялся, что взводный напишет в его школу, что бывший ее ученик потерял на марше затвор от винтовки. И когда Петухов, израненный, измученный, приволок два немецких автомата после рукопашного боя и просил жалобно взводного: «Павел Иванович, я же вот взамен достал — за затвор. Теперь не напишете, а?» И так как Петухову о мирной жизни, кроме школы, вспоминать было нечего, он рассказывал о своей школе, о товарищах, об учителях так, словно все они были необычайные люди. И даже когда, обессиленные, выходили из окружения и Петухов волок на себе кроме своей еще две винтовки ослабевших бойцов, положив их, словно коромысла, на плечи, а сверху свои тощие руки, он говорил Пугачеву:

— Мы в школе в пионерский поход ходили, так тоже досталось, заблудились, а идти тоже лесом, и все в тапочках, и жерди от палаток тоже тяжелые, а бросить нельзя — школьный инвентарь, с зав. учебной частью спросят. А он и так на свои деньги нам большой чайник купил для похода. Чтобы мы на костре чай кипятили. И все-таки дошли, ничего не бросили, только ноги после от тапочек в волдырях. И все выдержали, даже девочки.

— Девочки! — сказал тогда Пугачев и, чтобы поднять бодрость у бойцов, объявил громогласно: — Слыхали, ребята? Петухов о девочках мечтает! Во типчик!

— Товарищ капитан, вы не смеете, не смеете так! — яростно крикнул Петухов и даже остановился, сбив шаг остальным бойцам. И долго потом неприязненно сторонился Пугачева.

На одном из кратких привалов Пугачев подсел к Петухову.

— Что ж ты на меня так окрысился? Я же по-доброму — молодец! Не паникуешь.

— А вы почему не паникуете? — спросил Петухов.

— Я — командир.

— Значит, как учитель, должны быть тактичным.

— Ну извиняюсь, — сказал Пугачев и ухмыльнулся. — Ты что же это на себе чужие винтовки таскаешь? Заставил кто?

— Почему же чужие? Нашего отделения. Товарищи устали, вот я и помог донести.

— Помог! Обессилеешь, а когда прорываться придется, те, отдохнувшие, выскочат, а ты отстанешь, фашисты тебя и схапнут, в такой обстановке кто силенки сберег, тот и выживет.

— Мы же не одиночками будем прорываться, а коллективом, как шли, так и прорвемся.

— Ладно там! Коллективом! Держись ближе ко мне.

— Нет уж, я с кем рядом шел, с теми и прорываться буду.

— Так слабаки, оружие свое и то не смогли нести, подведут.

— Неправда,— сказал Петухов,— раз я к ним товарищески, значит, и они потом будут ко мне по-товарищески.

— Так ты что, не боишься?

— Но я же не один, а со всеми...

И вот это «я не один, а со всеми» привлекло тогда Пугачева к молоденькому солдату, который каждый раз при виде мертвых жмурился, бледнел, но в бою, вытянув тощую шею, затаив дыхание, тщательно целился и, как ему советовал Пугачев — всегда помнить число выстреленных патронов, подсчитывал, сколько он их выстрелил, словно у школьной доски на уроке арифметики.

Получив взвод, а затем роту, Петухов гордился своими бойцами, как прежде школьными товарищами, и после официального доклада Пугачеву рассказывал о бойцах то, что комбат считал «ерундистикой».

Пугачев говорил:

— Траншея — это тебе не общежитие интернатское, а боевое укрытие от поражающих средств. А ты там на стенки картинки повесил.

— Так мы только Кукрыниксов вырезаем и на фанеру наклеиваем — о фашистах, о Гитлере.

— Для смеху?

— Ну конечно.

— А когда фашист по вас бьет, тоже на картинки взираете?

— Нет, зачем, каждый на своем посту.

— Значит, что же получается: на картинках они как худые крысы, а на деле лупят по вас насмерть.

— Внутренне они все равно для нас крысы,— сказал Петухов,— и это правильно.

— А ты что это рядовых по имени-отчеству величаешь, словно маленький?

— Так только в мирной обстановке, то есть когда боя нет, — поспешно поправился Петухов, — тех, кто меня старше.

— Ты командир, — значит, нет в твоём подразделении над тобой старшего, возраст — мура, солдат есть солдат, и он тебе во всем подчиненный.

— То есть как это во всем? Есть очень умные, знающие, двое даже в ФЗУ преподавали. Они мне очень помогают с дисциплиной, когда боя нет, и вообще хорошо влияют на всех.

— Ладно, тебя не переговоришь. Но помни: если почувствуют, что ты еще цыпленок, развалишь роту...

Пугачев знал, что солдаты любят своего ротного. Он и сам превыше всего ценил такую солдатскую любовь, но считал, что она для него самого только свидетельство его признания, которое не смягчит его командирской твердости, требовательности и безжалостности, когда она справедлива и неизбежна, как он и к себе был безжалостен в бою.

Он испытывал нежное любопытство к тем чертам Петухова, какие подавлял в себе или, возможно, просто боялся их обнаруживать, считая их только слабостью, а не силой, способной подчинять других или хотя бы внушать солдатское доверие, полагая, что повелительностью легче внушить веру в командирскую твердость.

Конюхов понимал, какое влияние оказывает на Петухова обаяние Пугачева, самого отважного и дерзкого в бою комбата, его своеобразная размашистая открытость, твердая решимость отказаться от всех привязанностей, чтобы не цепляться за свою жизнь. Та снисходительная ирония, с которой Пугачев воспринимал перепавшие ему иногда удовольствия во время кратких передышек между боями, словно раз навсегда приговорив себя к тому, что длинной и прочной жизни ему не выпадет, а вершина, к которой он стремится, — это выиграть бой, который, кроме него, никто бы не смог выиграть, и хоть пасть в нем, но чтобы этот бой стал легендой.

В жизнь Петухова война ворвалась почти сразу после окончания школы, где его учили тому, как много пользы принесет человек, вооруженный знаниями, в стране, высшая цель которой — строить всечеловеческое счастье.

Но в школе его учили и тому, что он в долгу у тех поколений советских людей — большевиков, которые своим подвигом выстроили ему ту замечательную жизнь,

которой он так легко пользуется, и за то, чтобы он наслаждался своей жизнью, они отдавали свои жизни, голодали, умирали в тюрьмах, ссылки, шли смело на казнь, веря, что потом появится эдакий Петухов, который будет радоваться такой жизни, ради которой они не щадили своих собственных.

Поэтому Петухову, как и многим его сверстникам, после сдачи школьных заключительных экзаменов предстояло еще выдержать вступительный экзамен в жизнь перед всеми предшествующими героическими поколениями советских людей.

Но страна и в текущей жизни была исполнена множества подвигов. Папанинцы, Чкалов, Громов, челюскинцы, стратонавты, строители Комсомольска, герои-пограничники, те, кто сражался, помогая революционной Испании, и, наконец, героизм труда, возведенный в высшую степень человеческой доблести, славы и геройства, — все это вызвало к подвигу всех и каждого.

Что касается империалистов и фашистов, то здесь у Петухова, как и у его сверстников, была полная ясность: если враг нападет, то наша Красная Армия сразу его уничтожит, и если б Ворошилов и Буденный командовали войсками революционной Испании, то победил бы испанский народ, а не франкисты.

Красная Армия, овеянная легендами, выступая стройными парадными когортами на площадях в дни праздников, вызывала праздничное восхищение, любованье ее рыцарским обликом, и каждый красноармеец воплощал в себе героизм и ратную славу всех времен.

Поэтому Петухов не испугался, что началась война, он испугался только, что его не возьмут на эту войну.

И когда он с путевкой райкома комсомола пришел в райвоенкомат и ему сказали: «Зачислен», — он так растерялся от радости, так искренне благодарил членов комиссии, что его даже сурово одернули в столь наивном и неуместном выражении бурной радости, когда война — всенародное горе.

В первые, самые тяжкие, горькие месяцы войны для Конюхова вот такие солдаты, как Петухов, были самым мучительным испытанием его собственной совести перед ними, и не только перед ними, он страшился, чтобы в сознании их не погасло, не померкло все то, что было ярким, зовущим светом в грядущее, которое, казалось, уже прочно вступало сегодня в жизнь всенародную.

И когда на батальон, бодро шагающий с песней в пешем марше, внезапно с незащищенного неба обрушились бомбовые удары и люди падали, корчились, истерзанные осколками, разбегались, уползали, молили о помощи, он не был уверен, удастся ли собрать их снова в маршевую колонну, а когда собрали, вывели из лесу, шли снова угрюмо молча, согбенно по пыльной горячей дороге, и взоры всех были настороженно, напуганно обращены в небо. Поэтому батальон шагал, шатаясь, спотыкаясь, словно ослепший. И когда потрясенных, удрученных, растерянных после первой бомбежки солдат с ходу пришлось выводить на неподготовленные позиции и на них принять бой, Конюхов думал горестно, что они не годны для боя, поскольку столь явно проявили бесстыдное слабодушие, жалкий ужас и беспомощность при первом же прикосновении смерти.

Но он, Конюхов, ошибся. Все, что он увидел постыдного в поведении солдат при первой бомбежке, было верным, но несправедливым, потому что каждый из них, пережив ужас, переживал теперь стыд за себя, за свое малодушие и не искал себе оправдания в том, что они были беспомощны воевать с врагом в воздухе и от этого сознания своей беспомощности утратили волю, которая ни к чему, если ты, как пресмыкающееся, распростерт на земле и только покорно ждешь, минует тебя или не минует. Жалкий, понурый вид хромающего батальона, вывалянного в придорожных кюветах, в запыленных бинтах, с лицами, вдруг сразу отощавшими, постаревшими, и онемевшего, потому что кому охота каяться в том, кто как разбегался в бомбежке, прятался от бешеных мгновенных костров взрывов, вселял ощущение безнадежности.

И он, Конюхов, ошибся, потому что солдаты, устыдившись страха, проникшись ожесточением к самим себе, были полны сейчас такой иступленной ненависти к тому, что послужило причиной их унижения, что за эти краткие мгновения огня и смерти стали иными, чем были прежде, хотя весь облик их свидетельствовал совсем о другом.

И это не замеченное Конюховым открылось в них в первом же бою. Хотя с точки зрения строго военной бой этот был беспорядочным, неорганизованным и плохо управляемым, с нарушением всех уставных правил.

Враг наступал с ходу танками, сопровождаемыми цепями автоматчиков с азартно засученными руками, в промежутках катили станковые пулеметы, тяжело шагали огнеметчики с ранцами-баками за спинами. И хотя еще

никто не давал команды батальону, солдаты выскочили из утлых окопов разрозненной бегущей толпой; так же, как только что они бежали в панике в лес, устремились на врага, хотя до сближения с ним оставалась большая дистанция. Это было неправильно, нерасчетливо. Без приказа. Но «мессеры», воюя правильно, вышли на штурмовку траншей батальона в то время, когда солдаты нерасчетливо уже покинули их.

Измощенные, усталые, они бежали молча на врага и не открывали огня, боясь промазать издали, когда глаза застилает потом. Они обвязывали связки гранат бинтом и несли их, прижимая левой рукой к груди и боясь, что бинт не удержит связку, не бросали, а клали связки гранат под гусеницы.

Они совали в танковые зубчатки стволы винтовок, разбивали об их корму бутылки с горючей смесью и потом корчились на земле, обрызганные неугасимым пламенем, сбрасывая одежду, полуголые, подымались и, взяв у убитого или раненого оружие, кидались в бой.

Двое тащили мертвого огнеметчика с баковым ранцем за плечами, а третий бил из его огнемета, они второпях не знали, как отстегнуть у мертвого бак-ранец, поэтому тащили огнеметчика, словно орудие.

Они дрались разрозненной толпой. Вскачь тащили станковый пулемет и ложились за него, когда вокруг рукопашная схватка, и огонь станкового вели по мечущемуся врагу почти вплотную.

Раненые, ослабевшие, взявшись вдвоем за винтовку, били штыком.

У них еще не было развито чуткое чувство огня, они делали перебежки не после минометных залпов врага, а в то время, когда опытный враг залегал, чтобы самому не быть накрытым осколками, они выскакивали из огневых разрывов окровавленные и, падая, кололи прижавшегося разумно к земле врага, опытно выжидавшего. Они кидались на станковых пулеметчиков не потому, что, как это положено в бою, в первую очередь следует уничтожать мощные огневые точки врага, а потому, что видели, как их товарищи падали от этого огня, — значит, мстительно надо убить того, кто их убил.

Они гурьбой собрались у захваченного вражеского орудия и впервые с отчаянием стали звать командира, потому что не знали, как огонь этого орудия обратить против врага.

И так же, как этот бой начался неуправляемо, так же он и кончился неуправляемо, и командиры, как недавно бродили по лесу в поисках бойцов, чтобы собрать их в строй после бомбежки, так же ходили и по полю боя, чтобы увести солдат обратно на оборонительные позиции.

Они не понимали, почему нужно уходить назад, а не идти вперед, когда враг отступил, — значит, эта полоса, с какой они отбросили врага, — их земля, ими отвоевана, зачем же уходить с нее, и они недозволительно препирались с командирами и смотрели на них так же удрученно, недоверчиво, как совсем недавно командиры смотрели на них, когда они панически разбежались при первой бомбежке.

И за всю свою жизнь Конюхов не испытал такого благоговения и восторга перед людьми, как в этот первый бой. Для него он означал больше, чем бой, ибо это было испытанием самого высшего как для него, так и для всех, — значит, не меркнувшего в человеке; значит, и сегодня, в самом неоправданно тяжком, то, что так ярко светило всей предшествующей жизнью, не погасло для них.

И здесь он впервые увидел Петухова, виновато разглядывавшего свои ступни в пузырях, кровоподтеках от неумелого обращения с портянками. Петухов жалобно спросил Конюхова:

— Товарищ политрук, можно, босиком совсем немного похожу, а то больно очень?

— А с рукой у тебя что?

— Ничего, просто так, ушибся, перевязался только от инфекции.

И лицо Петухова стало испуганным, жалобным, просительным.

— Это его фашист приложил, хотел по башке, а он рукой самортизировал.

— Не знаю, не помню, — сказал Петухов.

— А душил его кто, я, что ли? — сердито спросил боец. — Сам плачет, и сам же душит — вояка!

— А раз больно, чего ж тут такого! Я думал, он мне кость сломал, даже хрустнуло.

И когда Конюхов, несмотря на мольбы, повел Петухова на перевязочный, куда сносили не только раненых, но почему-то и погибших в бою, Петухов, видя, что лицо политрука стало серым, сказал, словно для того, чтобы вызвать у него бодрость:

— Вы не расстраивайтесь, что так получилось. Ведь в гражданскую войну нам еще хуже было, а ведь ничего — победили. Мы в школе проходили: когда совсем плохо было, Ленин сказал, что такой, как мы, народ победить нельзя, а Ленин всякие враки не терпел и всегда говорил только правду — его правда и получилась, а теперь разве сравнишь! Тогда даже не все толком знали, что такое Советская власть для народа, а теперь все знают. — Вздыхнул: — Только я не понимаю, почему атака — и без знамени? Со знаменем лучше же.

— Ты комсомолец?

— А как же!

— Боязно было?

— А я ничего не соображал, просто побежал, как все, ну а потом, — он вздохнул, — ничего ясно не помню. Конечно, страшно, но, когда ты как сумасшедший, тогда не совсем страшно.

— Закурим? — предложил Конюхов.

— Если хотите.

— Значит, некурящий, — похвалил Конюхов. — А вот если я тебе как комсомольцу скажу, что это еще не бой, а так, схватка? Ведь нам на рубеже надо еще выстоять.

— Ну что ж, пожалуйста.

— И много дней нас фашист будет атаковать, уже всерьез, не с маху. Сейчас только-только отбились, а частей рядом наших нет.

— Знаете, — сказал проникновенно Петухов, — вот как Ленин правду всегда говорил, надо и вам сказать всем, что мы сейчас фашистов не разбили насовсем. А то некоторые думают, после того как мы их тут побили, больше не полезут.

— Кто так думает?

— Ну и я тоже, конечно, так думал, — признался Петухов с виноватой улыбкой.

— Ты что же, не слышал по радио, не читал в газетах, какой силой они на нас внезапно обрушились, как далеко вторглись?

— А раз все так, как мы их, бьют, — быстро и радостно сказал Петухов, — и даже лучше, чем мы, — значит, может, сегодня совсем другая получается обстановка.

— Знаешь, — сухо произнес Конюхов, — если правду приукрашивать, она уже не правда, а вранье. Так?

— Так, — грустно согласился Петухов.

— Но сейчас самая лучшая наша правда, что мы на

своем пяточке фашистов сбили. Вот это и должно светить и тебе и мне, может, на всю жизнь для большего.

Батальон окопался, и, против ожидания Конюхова, им придали батарею и три двухбашенных танка с пулеметным вооружением. Почти две недели они здесь вели оборонительные бои, в которых и шло обучение людей воинскому делу. А потом они отходили под бомбежками, неся раненых, пулеметы с подбитых танков, и тащили на себе, как бурлаки, запрягшись в лямки, две оставшиеся целыми пушки, снаряды к ним бережно несли на руках. Во время отхода Конюхов с Петуховым не виделся, тот стыдливо прятался от него, так как сбитые ноги его были спеленаты портянками, а сапоги он нес за спиной, прячась даже от своего отделенного.

25

Помощник начальника штаба дивизии по связи подполковник, доктор технических наук Беликов до войны руководил кафедрой в институте связи, а также возглавлял группу конструкторов в одном из закрытых научных учреждений, работающих по специальному заданию Наркомата обороны. В эту группу по его настойчивой рекомендации был зачислен изобретатель, радиолюбитель, некий Красовский, человек безусловно одаренный, но с чрезвычайно трудным характером.

Не имея систематизированного специального образования, Красовский обладал высокой творческой способностью технического воображения. Недостатки фундаментальных знаний он восполнял напористой дерзкой фантазией человека, убежденного в том, что его призвание — свершить научное открытие.

Тощий, долговязый, с выпуклыми светлыми глазами и упрямо выдвинутой нижней челюстью, нервный и мнительный, он держался с сотрудниками холодно, высокомерно, от мнительности избрав такой способ как бы самозащиты, который и порождал к нему неприязнь.

Неудачи при испытании отдельных образцов вызывали у Красовского приступы бешенства, и он говорил с презрением:

— Сдайте в утиль, выбросьте на помойку, а меня — в дворники.

Если же испытание проходило удачно, выслушивая одобрение, произносил устало, равнодушно, брезгливо:

— Это все ерунда, пустяковина.

И терял интерес к дальнейшему совершенствованию образца.

Восемнадцатиметровая комната в коммунальной квартире, где он жил с женой и дочерью, была завалена металлическим хламом. Обеденный стол он использовал как монтажный стеллаж. Кричал на жену:

— Не смей прикасаться к приборам! Не от пыли я задыхаюсь, а от вашего постоянного стремления к сбывательскому уюту... Занавесочки! — произносил он злобно. — И так слепну. А вы тут себе интимные сумерки устраиваете. Для какой цели, спрашивается?

Дома он вел себя как деспот — работал по ночам при едком свете двухсотсвечовой лампы, лишенной абажура. Урошив на пол какую-нибудь крохотную радиодеталь, бесцеремонно будил жену, маленькую дочь, командовал:

— Ищите, черт побери! Ищите!

Только Беликов обладал прочной духовной выносливостью, чтобы терпеливо переносить все выходки Красовского. И когда Красовский яростно бросил Беликову:

— Вы не ученый, вы приказчик! Вам бы только сбыть товар! — тот, добродушно улыбаясь, сказал наставительно:

— Задание срочное, а вы, дорогой мой, капризничаете. Комиссия же приняла.

— Я не на комиссию работаю, на человечество, — гордо произнес Красовский.

Долгое время Красовский пытался создать замыкатель, механизм которого подчинялся бы воздействию звуковой волны. Но длительные и дорогостоящие полигонные испытания показали, что такой замыкатель не отвечает задаче. В ярости Красовский написал заявление, в котором обвинил во вредительстве даже самого Беликова. Тому пришлось давать объяснения при расследовании заявления Красовского. И так как Беликов считал Красовского чрезвычайно талантливым изобретателем и упорно внушал это следователю, не находя возможным утверждать, что поиск дистанционно управляемого замыкателя в подобном направлении бесперспективен, то даже здесь, у следователя, ему пришла мысль посоветовать Красовскому попытаться создать замыкатель, действующий не с помощью звуковой волны, а при воздействии соответствующей частоты радиоволн. Поэтому расследование затянулось, и Беликова, пока оно шло, перевели в разряд «и. о.», то есть он теперь не

руководил работами, а только исполнял обязанности руководителя.

Красовский рассказал жене о своем заявлении, сказав мстительно:

— Пусть все знают, как я могу отстаивать свои творческие убеждения.

— Но это подло, Сергей! — воскликнула жена. — Ты же негодяй! Как же я теперь с тобой могу жить? Может, ты болен?

Беликов пришел к Красовскому после того, как узнал, что тот по почте прислал письмо с заявлением об уходе с работы.

— Сергей Борисович, — сказал Беликов, протягивая ему руку, — я пришел вас обрадовать. Вы набрали на отличную идею, но ее следует осуществлять на несколько ином принципе.

Беликов стал поспешно и радостно излагать, на каком именно.

Красовский, выслушав, надменно ответил:

— Но этот путь нашли вы, а не я. — Свирепо бросил: — В интеллектуальных подачках не нуждаюсь! — Приблизился вплотную, бледный, с обесцвеченными глазами, заявил в бешенстве: — Если бы вы пришли дать мне пощечину за ту низость, которую я учинил, меня бы это менее удручило, чем подобное покровительственное снисхождение.

Беликов вздохнул, покряхтел, потер задумчиво ладонью лысину. Спросил тихо:

— Ну что вы себя так мучаете, Сергей Борисович? Ведь ум у вас баснословно яркий. Талантище редкостный. И такое самоистязание. Почему?

Красовский обессиленно опустил на стул, произнес иступленно:

— Все погубил, все. Себя, жену. — Спихватился: — Но не ту, которая меня теперь бросила, а ту, которая себя не щадила, все ждала, что исполню свои тщеславные обещания, наполню ее гордостью за все бесчисленные унижения, которые я ей приносил.

Беликов смутился, поскреб затылок, спросил застенчиво:

— Может, я некстати зашел? Извините, не терпелось поделиться с вами вашим же успехом... — И, еще больше сконфузившись от двусмысленно прозвучавшего слова «успех», неловко поправился: — То есть перспективностью

направления вашего искания. — Выпрямился, сказал требовательно: — Значит, так! Имеется договоренность с инстанциями. Для вас персонально оборудована лаборатория на полигоне, вы зачислены в штат с повышенным окладом на все время проведения вами работ. Я за вас дал согласие.

Бодрясь и еще показно сопротивляясь, Красовский осведомился:

— Но школа-десятилетка там имеется? У меня, извините, дочь. Жена меня бросила. Но дочь в меня верит, осталась верной отцу. — И, обернувшись, повелительно произнес: — Соня, скажи ему, что ты матери про меня сказала?

К Беликову подошла худенькая белокурая девочка с косичками, завязанными ботиночными шнурками, и строго произнесла:

— Я вам сейчас про папу главное сообщу, то, что вы не знаете.

— Соня, молчать!

— Папа, ты, пожалуйста, на меня кричи, не притворяйся. — И Соня, потупившись, произнесла хрипло: — Папину папу и его маму, ну, моих дедушку и бабушку, когда они были еще вовсе не дедушкой и не бабушкой, потому что меня еще не было, при папе, когда он был маленьким, у него на глазах петлюровцы зарубили за то, что они были, ну конечно же, большевиками-подпольщиками. И папа со своего детства решил такое придумать, чтобы нас никто не посмел убивать. И он потому такой нервный, что боится — на нас фашисты нападут так же, как они сейчас на Испанскую республику напали, а папа еще не придумал того, что он должен придумать. — Задумчиво разгладила скатерть на столе, подняла с синеватой поволокой глаза: — Маме, конечно, трудно с нами было. Я всегда за папу заступалась, а она всегда одна, даже когда он неправ был. — И поспешно поправилась: — Нет, не всегда, на зимовке мы весело жили, и всегда у нас гости.

— На Новой Земле радистом служил, — пояснил Красовский.

— Папа знаменитым радистом был, — сказала гордо девочка. — Даже Австралия его принимала, а он только на обыкновенной рации разговаривал.

— Ну не совсем обыкновенной, придумал кое-что для усиления, — заметил не без самодовольства Красовский.

— Ты не перебивай, — попросила девочка. — Если б у мамы легкие не заболели на Севере, мы бы еще на зимовке

хорошо жили. — Смолкла, потом смело посмотрела в глаза Беликову, сообщила деловито: — А теперь мама от нас просто в Крым уехала, чтобы там навсегда вылечиться, там легкие у нее болеть не будут, мы за маму теперь довольны.

Беликов встал, порылся в портфеле.

— Вот вам, — сказал он Красовскому, — пакет с назначением, тут командировочные, суточные и литер. — Обернулся к Соне: — С разрешения отца мы тебя в интернат наркоматский определим. Там дети тех наших товарищей, которые добровольцами отбыли в Испанию. Ясно?

— Ясно, — сказала Соня и впервые улыбнулась доброй, детской, простодушной улыбкой. Спросила: — Только я куклу с собой возьму, можно? — Объяснила: — Я, конечно, не маленькая, чтобы в куклы играть, просто так, ее мама сделала. Я ее под подушкой буду прятать, чтобы не смеялись, будто я маленькая.

В конце 1939 года Беликов получил извещение о том, что Красовский погиб на полигоне. Нарушив правила испытаний, он бросился к взрыв-пакету, когда в нем замыкатель не сработал после воздействия радиосигналов. Расследование установило, что у замыкателя одна клемма была окислена. При дальнейших испытаниях подобные замыкатели на коротких дистанциях действовали безотказно.

Беликов поехал в интернат и привез Соню к себе домой. Она согласилась жить в его семье. Но отказалась от того, чтобы Беликов удочерил ее.

— Я своим папой горжусь, — сказала Соня, — горжусь на всю свою жизнь.

Поэтому, хотя мысленно Беликов и считал Соню удочеренной, она так не считала. В начале войны, окончив краткосрочные курсы связистов, она прибыла на фронт, в дивизию, где служил подполковник Беликов.

Поскольку Беликов не собирался сохранять в тайне свою заботу о Соне, она имела в подразделении связистов возможность отлучаться без особого на то приказа. Стесняясь этой привилегии, она с особой ревностью вызывалась на самые трудные задания. И, когда Беликов, узнавая об этом, возражал, говорила ему, строго глядя в глаза:

— Михаил Степанович! Вы же папин характер знаете, а я его дочь...

Оглянувшись на дверь, Беликов произносил шепотом:

— Если б не военная тайна... немецкий штаб рванули! А чей замыкатель? Красовского! Имел бы он долгожитие,

мог бы на этом принципе такое все нужное создать... За заслуги перед человечеством ему по меньшей мере памятник бронзовый. И я обязан перед таким человеком его дочь беречь...

Потом Беликов получил назначение в армейское соединение на другой фронт и звание генерала.

Он говорил, прощаясь с Соней:

— Твои мотивы, по которым ты отказалась вместе со мной отбыть, я понимаю и одобряю с точки зрения чисто армейской этики. Но ты и меня пойми. Я перед именем Красовского преклоняюсь — талант! Возможно, гений. Извини, но психика у него была несбалансированная — человек крайностей, эгоцентрик, и вот у тебя тоже иногда такое проявляется, и я беспокоюсь...

Пожевал губами, пытаясь, как он это иногда делал в замешательстве, пожевать кончик бурого уса зубами.

— Докладывали мне, что ты в свободное от дежурства время не ко мне жаловала, а на попутных в роту... — Поднял руки, будто давая ей понять, что он перед ее возражениями пасует и догадывается, против чего она станет возражать, произнес мягко: — Я боевых офицеров ценю, уважаю. Тут полная ясность — к кому у меня симпатия. Но заявляю со всей решительностью: есть у нас на фронте такие, которые рассуждают примерно так: «Поскольку на войне убивают, нечего мне свою жизнь надолго планировать, что сегодня — то мне действительность, и я только в пределах этой действительности человек ответственный».

Соня пристально посмотрела в глаза Беликову, сказала:

— Я знаю, о чем вы думаете и так окольно говорите.

— Если б я тебе фактическим отцом был, — вздохнул Беликов, — я бы слова так деликатно не вышаривал, а просто сказал бы: «Не наломай поспешно дров по этой линии», — и точка. — Признался смущенно: — Я личное дело этого младшего лейтенанта Петухова из штаба полка запрашивал. Биография куцая. Школа, курсы младших командиров, фронт. Взысканий пока не имеет.

— Что значит — пока?! — воскликнула Соня. — Вот вы как предвзято к нему уже заранее относитесь. — И повторила с презрением. — «Пока не имеет». А награды? Был ранен и остался в строю.

— Вот, — уныло сказал Беликов. — Я так и предполагал. — И добавил сокрушенно: — Нет в вашей красовской породе никаких тормозов, берете с места сразу на третьей скорости, пока не расшибетесь.

Беликов погладил седые волосы, как бы увенчавшие его лысое чело серебряным венком, усмехнулся:

— Нет таких письменных правил, которые наподобие воинского устава обобщали бы в себе практический и научный опыт для руководства и исполнения. Но все же скажу откровенно: Красовский, я знаю, любил свою жену с отчаянной силой, но выражал эту свою любовь в основном тем, что хотел ей доказать, какая он яркая, достойная большой любви с ее стороны личность. А когда у него что не получалось в работе, усугублял свое душевное состояние тем, что пытался тогда внушить ей обратное, будто он во всем ее недостойный и она в нем во всем ошиблась. От этих крайностей и страдал без всякого к себе и другим милосердия. Вот я по опыту своей жизни и других и предупреждаю от скоропалительных крайностей.

Потупился, признался:

— Сам-то я тоже с ходу в свою Александру врезался. В конной армии служил. Остановились на ночлег у вдовы-солдатки, совсем молоденькой, тихая такая, добрая, я с ней и слов особенных не сказал — видел, как на стол мне аккуратно накрыла, смотрела, как я горячую картошку хватал и давился от голодного аппетита. Предложила обмундирование постирать. Но я застеснялся, сменки не было. Она мне свое женское надеть одолжила. А как я ее сарафан на себя накинул, смеяться стала. Такая девчушка... Ну я ее на руки взял, она обмерла, глаза закрыла. С самых тех пор — жена. Теперь, сама знаешь, дама солидная, строгая, а для меня она на всю жизнь той осталась, обмершей, с глазами закрытыми. — И Беликов вдруг встревожился: — Может, это я зря тебе рассказал? Но что делать, если правда.

Соня расцеловала одутловатые, обвисшие щеки Беликова.

— Вот вы какой настоящий! — воскликнула она в восторге.

Хотя Беликов и поручил новоназначенному помначштаба дивизии по связи полковнику Боброву заботиться о Соне в пределах, дозволенных распорядком армейской службы, но, когда после отъезда Беликова Соня попросила нового начальника, чтобы он перевел ее в разведотдел радисткой, он пообещал содействовать, не собираясь сдерживать свое обещание, и только этим проявил свою заботу о Соне.

Понятие фронта и тыла в действующей армии относительно.

Для ротного командира вызов в штаб полка — это уже тыл, а из штаба полка в штаб дивизии — почти глубокий тыл, где после передовой все выглядит монументально, значительно и комфортабельно.

Здесь, в районе расположения штаба дивизии, проводились слеты снайперов, петезоровцев, кавалеров орденов, завершавшиеся концертами самодеятельности. Существовали и краткосрочные места отдыха для особо отличившихся в боях солдат. Командиров подразделений поочередно вызывали с передовой на семинарские занятия по повышению воинской квалификации, обмену боевым опытом, знакомили с различного рода нововведениями в тактике и применением новых систем оружия. Лекции читали начальники отделов — о партийно-воспитательной работе, о морально-политическом состоянии в войсках противника, о трудовых подвигах советского народа. Все это фактически было подобно тем мероприятиям, какие проводили в мирные дни для работников районного масштаба, скажем, в областном центре.

Помимо того, что это значительно содействовало повышению военного мастерства личного состава, а также политического и культурного уровня, во всем этом скрывалось одно особое обстоятельство, которое для психологов могло бы стать источником обобщающих значительных открытий в сфере проблем формирования человеческой личности в нечеловечески тяжелых условиях войны.

То, что на войне незыблемо действовали обычаи советской жизни и ничто не могло их ослабить и нарушить, также содействовало воодушевлению воинов на терпеливый подвиг.

Как в мирной жизни чествовали передовиков производства и они делились своим передовым опытом, так и на фронте чествовали героев, и они передавали свой опыт тем, кто не был еще героем.

Как в мирной жизни коммунисты были главными человекосоветчиками, так и армейские коммунисты на фронте.

Поэтому к политотдельцу, какое бы высокое звание он ни имел, рядовой боец обращался с любым личным вопро-

сом так же, как он мог, будучи гражданским, обратиться к любому работнику обкома партии.

От боя к бою, от сражения к сражению наши солдаты и офицеры как бы вживались в войну с тем уверенным, властным, прочным самообладанием, каким обычно раньше, в мирные дни, отличались только люди редкостных, исключительно опасных и отважных профессий.

Для обвоевавшихся наших бойцов и командиров война постепенно, с ходом времени, становилась жизнью, где, как и в мирной, достоинство человеческой личности обозначалось мерой доблести и ревностного мастерства в своем деле.

Наша армия возобладала над противником уже не только своим яростным массовым героизмом. Этот героизм все больше обретал победоносный облик подвига массового и расчетливого, вдумчивого армейского мастерства — высшей квалификации воина. И как в мирной жизни в атакующем созидании выделялись личности неординарные и сила их примера придавала массам воодушевляющую энергию в творческом штурме, так и на фронте армейские коммунисты-политработники зорко примечали тех воинов, сила примера которых придавала новое воодушевление бойцам в бою.

На изучении подвига одного проходило обучение героизму всех.

Только это не называлось, как в тылу, распространением опыта передовиков, новаторов производства, хотя исходило из того же советского, живучего во все времена обычая.

Так, на сборы снайперских артиллерийских расчетов вызвали героев боя, и те, блистая новыми наградами на пропотевших гимнастерках, сконфуженно приглаживая мятые погоны, полуоглохшие после сражения, угоревшие от пороховых газов, натужливо выкрикивали свои соображения, какие у них возникали в ходе боя. И когда им задавали деловые вопросы, трясли головой и, застенчиво показывая на уши, просили повторить эти не услышанные ими вопросы, произнесенные нормальным голосом. И, как знатоки боя, они докладывали о противнике, озабоченно, тщательно воздавая ему должное за то, что он, зная мощь своей лобовой брони и слабость бортовой, не маневрировал под огнем, не подставлял борта, а шел напрямик на батарею. Но они, понимая то, что понимал противник, заранее выкатили в засаду орудие своего расчета на фланги и, выждав, открыли огонь по бортам танков, и, когда другие

танки развернулись на орудие, вся батарея стала, в свою очередь, бить по бортам развернувшихся танков. Затем противник снова, как ему и следовало, пошел в лобовую атаку на позиции всей батареи, но они на подступах, хоть и наспех, были заранее заминированы. Противник обнаружил мины, остановился и начал бить прямой наводкой, и по нему тоже били прямой наводкой. Тут уж у кого больше сноровки, спокойствия, выдержки, тверже нервы, того и верх.

После обрисовки боя дальше уже шли такие тонкости огневого дела, что они были доступны пониманию только профессиональных истребителей танков, и то только родственных калибров.

Словом, в расположении штаба дивизии шла кипучая научная, организаторская, пропагандистская и просветительная работа, достойная любого крупного культурного центра.

И была еще одна разновидность воинского усердия — это когда подразделения отводили в тыл части, где были оборудованы учебные городки с препятствиями, устроенными по типу обнаруженных разведкой на оборонительной полосе противника. И здесь до полного изнеможения отрабатывались, совершенствовались приемы ведения боя.

Правильно говорится: тяжело в учении, легко в бою. Огнеупорность воина — это не только бесстрашие, но и умение умно владеть собой и огнем.

Если во фронтовой обстановке главная задача — выявить у противника слабые стороны и ударить по ним, то здесь, в учебном городке, оборонительная полоса со всеми препятствиями хотя и была копией обороны противника, но копией более усовершенствованной в расчете на то, что к моменту нашего наступления противник может исправить обнаруженные нами недостатки в его обороне.

И полосу усиливали всевозможными препятствиями, предполагая, что не все средства противника удалось обнаружить разведке.

К этим занятиям у ротного командира Петухова и комбата Пугачева проявились два разных подхода.

Петухов стал жестким, суровым к своим подчиненным, непреклонно властным, нетерпимо требовательным, полагая, что если над человеком не висит смерть, то все его помыслы должны быть полностью сосредоточены на армейской работе и тут не может быть ни пощады к упущениям, ни снисхождения, особенно к тем, кто имел устойчивую

репутацию отважных бойцов и к кому во фронтовой обстановке он проявлял обычно нескрываемую симпатию и даже иногда допускал поблажки.

Петухов знал по себе: если рядом с тобой падают изуродованные ужасающими ранениями люди и животные хрипят, умирая, преодолеть это душевно значительно труднее, чем даже боль собственной раны.

Бывало, он, получив ранение, продолжал командовать, испытывая при этом даже какой-то особый духовный подъем оттого, что он, раненный, продолжает оставаться в строю, внушая солдатам пример стойкости и в то же время как бы возвышаясь над собой оттого, что он терпит боль, преодолевая себя и как бы самому себе сдавая экзамен на стойкость.

Но вот, испытывая душевную муку от гибели солдата, чтобы преодолеть эту затуманившую мозг муку другого и дальше быть способным расчетливо и точно руководить боем, нужно, чтобы все этапы боя были заранее словно отпечатаны в мозгу и они властно, как бы сами по себе, исходили из сознания с той заученностью, с какой опытный солдат передвигается перебежками по полю боя, залегая то в одну, еще горячую от разорвавшегося снаряда воронку, то в другую.

Петухов знал не хуже Пугачева, что учения, как бы они ни были приближены к будущему реальному бою, все равно не могут быть полностью, детально воспроизведены в бою. Но при всей изменчивой обстановке в ходе боя некоторые обстоятельства можно будет подчинять новым, испытанным в учениях приемам ведения боя.

Пугачев относился к рвению Петухова в этих учебных занятиях снисходительно, полагая, что Петухов таким способом только демонстрирует перед представителями штабов свой командирский уровень, но вместе с тем Пугачев откровенно выразил свое недовольство тем, что Петухов «загонял солдат так, что о передовой они теперь думают как об отдыхе».

— Ну ладно, мы в штабе уроки сдаем по военным играм на макетах местности, пусть повышают на нас свою военную квалификацию, не возражаю, кое-что нахватал сам полезное, — рассуждал хмуро Пугачев. — Но вот когда солдат в войну сейчас играть заставляют, тут вопрос другой. Вот скажи мне, почему те наши ребята, которые самыми надежными в бою себя выявили, на учениях не на высоте? Перебежки делали — смотреть неохота, одно стараются — не

замарать обмундирование. Выставил два лучших пулеметных расчета — снайперских, на мишенях срам. В атаку подняли — «ура». А зачем? Дыхание беречь надо! И нечего свою численность противнику выявлять. В бою никто зря не орет. Если нас, допустим, мало — ни к чему. Если много, тем более. Противник испугается и удерет без ближнего боя. Да и психологически внушительней, когда молча. Наградили б просто отдыхом, куда лучше!

Сказал сердито:

— Когда у солдата к бою чувство священное, возвышенное — это одно, а если он вроде пародию на бой проводит и при этом ловчит, чтобы зря не утруждаться, он такое же и в бою может позволить.

— Но ведь ловчили, как вы заметили, самые лучшие наши бойцы. А пополненцы старались, и, когда пополнenceв в учениях стали отмечать, ветераны подтянулись, — возразил Петухов. — И главного вы не заметили. Обычно после боя о бое не говорят, каждый свое переживает, а тут все говорили. Много существенного подметили. А почему? Над людьми не довлекло пережитое в бою, и они как бы одну чистую механику боя разбирали и постигали рабочую сторону боя как свою профессию, и обнаружилась большая гордость своим умением.

— В сорок первом их танки бутылками жгли. Сержанты батальонами командовали, с двумя орудиями против танковой колонны выстаивали. Главная пружина — ярость и подъем духа, — угрюмо заметил Пугачев. Сообщил с оттенком хвастовства: — Фашисты нас тогда даже упрекали: воюем не по правилам — как смертники. Листовки бросали: «При данном соотношении сил ваше сопротивление бесполезно». А мы не сопротивлялись, а били их. Вот на этом и учить надо, внушать, как драться можно с превосходящим противником.

— А если сейчас наши силы превосходящие? — спросил Петухов. — Чему же учить: как умирать в бою, а не как побеждать?

— А мы и побеждали тем, что за жизнь свою не цеплялись, — гневно возразил Пугачев. — А эти учения что солдату внушат? Только одно — самоосмотрительность, как уцелеть под огнем.

— Правильно — уцелеть. Значит, с меньшими потерями бой умением выиграть.

— На батальон захотелось? — ехидно осведомился Пугачев. — Комдива цитируешь? Или в дивизионке уже про-

чел, как я там тебя восхвалял за это самое — за малые потери и большие успехи? Даже портрет дали. — Усмехнулся: — Почему не спрашиваешь чей? Не твой, конечно. Мой. Твоя рота чья? Моего батальона, то-то же. — И Пугачев, подобрев лицом, добродушно рассмеялся, объяснил: — Почему на тебя кинулся? Чтобы зло хоть на ком-нибудь сорвать. Учения — дело нужное, дурак только не поймет. Но мне они сейчас вот где. — И Пугачев провел рукой над своим лохматым затылком. — Думал, отзывали в тыл штаба дивизии, — значит, на отдых. Ну и трепанул бойцам, будто это от меня лично им такое угощение: банька, кино, стрижка-брижка, трехразовое усиленное горячее питание и прочие физические и умственные наслаждения, а получилось — работа хуже, чем в бою. — И вдруг строго объявил: — С роты я тебя с данной минуты снимаю. На сегодня назначены учения — ночной бой. Сам буду ротой командовать.

— За что? Я же ничего такого не допустил! — взмолился Петухов. — Даже благодарность от командира полка получил.

— Теперь благодарность от меня лично, — персбил Пугачев. Хитро сощурясь, произнес, загадочно усмехаясь: — Я ей говорю: «У меня, конечно, принцип. Если б он не подчиненный, увел бы вас, увел. Жаль, не генералом интересуетесь, тут уж я, будьте уверены... Взгляните: не мужчина — картина. Пока меня в бронзе не запечатлели, доступный, а вот в санинструкторши взять не могу, хоть и официальный холостяк. Для меня блондинки — высшая мера счастья, увижу — тут же на месте погибаю. Только для вас вместо него сегодня кидаюсь в смертный бой. Если выживу, прошу запомнить. Станет, как я, комбатом — вас отобью, или, допустим, меня на штрафную роту — то же самое, отобью».

— Вы про что? — спросил Петухов, догадываясь и холодея.

— Сонечка, Сонечка, синие глаза, — пропел Пугачев, кривляясь и подмигивая.

— Товарищ комбат, — звонко произнес Петухов, — я бы очень сожалел, если б вы вынудили меня сказать вам грубость.

— Ну уж сожалел бы! Аж губы трясутся, так тебе обозвать меня хочется.

И уже совсем другим тоном произнес:

— По-честному говоря, когда твою эту увидел, вспо-

мнил о моих всяких, даже застыдился. Начал перед ней вякать: «Хорошо, пожалуйста, передам. Будьте спокойны». И даже отковырял так почтительно, будто она генерал.

— И это все? — жалобно спросил Петухов.

— А ты что хотел, чтобы я с ней под руку пошел в лес гулять? Она к тебе тянется за то, что ты ей вроде как жизнь спас. Подумаешь! Да я бы такую, может, всю жизнь на руках носил. А ей говорил бы — спасибо, что позволяет. Да и весу в ней сколько? Килограмм сорок, ну от силы сорок пять.

Оглядев Петухова сверху вниз, сказал брезгливо:

— Тоже мне спаситель! Она, наверное, в книжках читалась, что за спасителя надо, хочешь не хочешь, обязательно замуж выходить. Вот, наверное, из одной только такой традиции подай ей Петухова. — Дернул плечом. — Ты все-таки после войны, когда в загс пойдешь, заодно фамилию смени или возьми женину. Кстати, как ее фамилия?

Петухов сделал судорожное глотательное движение и промолчал.

— Ладно, — пренебрежительно махнул рукой Пугачев. — Не трясись, как фриц под пистолетом. Значит, приказываю!

Пугачев помедлил, лицо его обрело мраморный командирский облик, и вдруг, вздохнув, добавил вяло:

— Ладно. Пользуйся своим счастьем.

Но все это было не совсем так, как рассказал Пугачев о своей встрече с Соней.

27

После командирских занятий, которыми руководил командир дивизии и на которых Пугачев удачно предложил для уничтожения дотов и дзотов противника использовать огонь противотанковых ружей по амбразурам, что даст возможность саперам подползти вплотную, заложить взрывчатку и рвануть из укрытия, в самом лучшем настроении Пугачев вместе с капитаном Лебедевым посетил питательный пункт, где в это время ужинал личный состав узла связи.

Лебедев представил, как он замысловато выразился, «богиням и феям эфира» своего друга маршала Пугачева, из скромности пока маскирующегося майором. Девушки

сдержанно улыбнулись и великодушно предложили офицерам свои порции компота.

Они прощали Лебедеву его развязность, манерничание, напускное легкомыслие, потому что видели его на узле связи и совершенно иным — похудевшим, наспех перевязанным грязными бинтами, с чертами лица, по-птичьи обострившимися, с глазами, не моргающими, как у птицы, когда он сильным лающим голосом диктовал радистке свои донесения прямо в армейский или даже во фронтовой штаб, брезгливо разглядывая порезанную руку оттого, что пальцы его не удержали рукояти ножа при ударе и скользнули по лезвию. Связисты знали, при каких обстоятельствах это случается. Связисткам он говорил шутя, что забегает к ним в девичью как чеховский семинарист после зубрежки латыни, только освежиться.

Ухаживал он шумно, игриво, не всегда, может, и тактично, но вдруг внезапно в самый разгар трепа глаза у него тускнели и он произносил устало и равнодушно:

— Ну пока, девочки.

И уходил, даже не оглянувшись.

Конечно, Пугачев производил впечатление. Он выглядел как античная статуя, облаченная в армейское обмундирование.

Правильные черты лица, глаза чуть навывкате, застывшая улыбка, волосы, волнисто ниспадающие на лоб, сильная высокая шея, широкие развернутые плечи — очевидно, он производил на женщин такое же впечатление, как красивые женщины на мужчин, у одних вызывая приступ самоуверенной надежды, у других — нежную беспокойную печаль и растерянность.

Но Пугачев, считая всех, кто находился за расположением батальона, тыловиками, приписывал такую реакцию на себя не своей внешности, а просто женскому состраданию к тем, кто с передовой.

И, пребывая в таком возвышенном заблуждении, вел себя чрезвычайно сдержанно, что принимали одни за зазнайство, другие за высокомерие, третьи за избалованность «по этой самой части».

В сущности, он просто был кроток с женщинами и уступал самой настойчивой, не решаясь обидеть, в то время, когда ему нравилась, может, совсем, совсем другая.

Соня, узнав, что Пугачев командир того батальона, где ротой командует Петухов, сказала, пристально глядя Пугачеву в глаза:

— Я хотела бы с вами поговорить. — И, встав, пояснила: — О личном.

У Пугачева покраснели скулы, он растерялся, но все-таки вышел из палатки вместе с Соней, провожаемый игривыми взглядами. И когда они отошли, Пугачев спросил сердито:

— Ну, в чем дело?

Соня провела рукой по его руке успокаивающим жестом, попросила:

— Пожалуйста, не сердитесь. Может, я и допустила неловкость — так сразу после всех этих разговоров: давайте выйдем. Вы про это подумали? Получилось действительно глупо. — Предложила: — Если хотите, вернемся? Я могу и при всех все сказать.

— Что именно? — спросил Пугачев. При лунном свете лицо девушки в белокурых волосах выглядело нежным и скорбным.

— Возьмите меня к себе... сапинструктором!

Пугачев, усмотрев в этом иное, слишком уж откровенное, сказал сдавленным голосом, испытывая и перебарывая волнение:

— Извините, но я решительно против зачисления во вверенный мне батальон женщин в любом качестве. — И тут же шутливо заметил: — Что касается вас лично, готов на какие угодно жертвы, только со своей стороны.

— Странно, — сказала Соня. — Гриша мне о вас рассказывал как о человеке необычайном, а вы, оказывается, довольно-таки ординарная личность.

— Гриша, кто такой Гриша?

— Лейтенант Петухов, — с гордостью продолжала Соня и тут же спохватилась: — Но вы не посмеете.

— А что я могу посметь? Заочный подхалимаж, только и всего.

— Неправда, — твердо заявила Соня.

— Верно, неправда, — согласился Пугачев. — Он человечиска правильный.

— Человечиска! А вы кто?

— Ладно, — сказал Пугачев. — Вас понял! Это он вас в тыл сопровождал, а теперь вы его хотите пожизненно сопровождать. Так?

— Хоть бы и так, — сказала Соня.

— Видеть его хотите?

— Хочу очень.

— Прикажу явиться.

Пугачев поднес руку к пилотке:

— Разрешите быть свободным.— Усмехнулся: — От вас.

И он ушел, досадуя на то волнение, которое почувствовал при молящих словах девушки: «Возьмите меня к себе... санинструктором». Последнее «санинструктором» он даже сразу и не расслышал от волнения, внезапно охватившей его чувственности и теперь испытывал только злобное отвращение к себе и вообще презрение за то, что поперся с Лебедевым сюда, хорошо зная, что Лебедев потом едко, бесцеремонно и безжалостно высмеивает тех, кто ходит с ним в «девишник». Но сам Лебедев ходит туда потому, что связистка Кошелева, заика с вытекшим глазом, была ранена вместе с ним одной миной, и она волокла его из-под огня, спасла жизнь и, когда он еще в госпитале предложил ей стать его женой, сказала:

— Здравствуйте! Это еще что за подавание!

И Лебедев не мог доказать ей, что на всю жизнь она осталась в его сознании той, какой была до ранения, и ничто не может изменить ее облика в памяти его, и ее ранение — ерунда, как, например, большая родинка на прекрасном лице.

Она не верила.

А Лебедев все продолжал верить, что когда-нибудь убедит ее.

Но, чтобы не вынуждать ее слушать его, он ходил в этот «девишник», притворяясь, будто приходит сюда не только из-за нее.

Комсорг подразделения связисток Нелли Коровушкина, призывая повысить качество работы, приводила в пример линейщика Степанова, погибшего от пули снайпера. В предсмертной усиллии Степанов, зажав в зубах оба конца рассеченного осколком провода, уже мертвым удерживал связь.

Связистки слушали своего комсорга и соглашались с тем, что они действительно находятся здесь в привилегированных условиях по сравнению с передовой, поэтому во время дежурств они обязаны еще больше усилить четкость, внимательность, знать все линии назубок, чтобы по кратчайшим выходить на объект, быстро запоминать часто меняющиеся позывные и всегда помнить, что они только придатки к аппаратуре, а вовсе не Люси, Жени, Нины

и тому подобное, и поэтому не смей при вызове придавать своим голосам какие-то особые интонации, по которым их узнают. Отвечать только кратко, механически, без выражения, а всякие излишние слова — злоупотребление своей должностью.

Но то, что расположение узла связи неоднократно подвергалось бомбежкам и никто из связисток во время бомбежек не покидал своих мест у аппаратов в то время, когда даже старшие штабные офицеры, свободные от дежурства, терпеливо пережидали окончание налета в щелях, считалось вполне нормальным, и когда из штаба армии сердито запрашивал сам первый: «Ну как там у вас?» — звонкий девичий голос отвечал бодро: «Нормально!» Потом первый выговаривал штабникам за недостаточную маскировку расположения от воздушной разведки противника.

Но зато если к расположению прорывались подвижные группы противника и всем приказывали: «В ружье!» — связистки игнорировали эту команду, поскольку их обязанность при всех случаях прочно удерживать связь, а не оборону штаба.

Кроме того, связистки, несмотря на то что носили только звание рядовых, были освобождены от работ по устройству щелей, землянок, от строевых занятий, а также имели другие привилегии. В перечне армейского имущества за ними числились: тазы для мытья и стирки, швейная машинка, а также складные алюминиевые койки, которые даже старшему офицерскому составу были не положены.

В ведомости вещевого снабжения для них была особая графа того, что можно приобрести только в сугубо гражданских магазинах.

Если для офицера перевод в вышестоящий штаб означает повышение, то для связистки подобное означало обратное — понижение. Потому что чем ближе к фронту, тем выше сокровенная гордость воинов теми женщинами в армии, которые с твердостью переносят все тяготы войны и с женской самоотверженной доверчивостью считают: чем больше в них сурового солдатского, тем они якобы лучше выглядят в глазах бойцов и офицеров.

Поэтому в женском подразделении связисток, возглавляемом старшиной Тамарой Ивановной Солнцевой, действовали очень строгие законы дисциплины, начальственной опеки и воспитательного режима.

Тамара Ивановна была женой офицера-пограничника. Привыкнув к гарнизонной жизни, где она заведовала дет-

ским садом, она теперь объединила свои познания строго армейского обихода с методами воспитания малолетних и все это обратила на своих подчиненных связисток.

Как многие жены пограничников, Тамара Ивановна еще до войны неплохо владела огнестрельным оружием и с достоинством носила на кофточке значок ворошиловского стрелка.

Когда фашисты напали на заставу, Тамара Ивановна, надев спортивный костюм, ушла в цепь и, соблюдая все «наставления стрелка», вела точный снайперский огонь по фашистам. После того как первая атака была отбита, она собрала всех подопечных детей и, устлав пол кузова полуторки матрацами, усадив детей на матрацы, повезла их от заставы в расположение пограничного отряда.

По дороге грузовик расстреляли «мессеры».

Говорят, будто бы у Тамары Ивановны были прежде великолепные яркие, каштанового цвета волосы. Но теперь они у нее серые, тусклые, цвета полыни.

У Тамары Ивановны статная, надменная поступь, как у горянки, несущей на голове кувшин, но это не от армейской выправки, а оттого, что ранением поврежден позвонок и на ней надет медицинский корсет с металлическими планками, и, чем туже он стянут, тем слабее постоянное присутствие боли, но в тисках затянутого корсета трудно дышать.

Ходили слухи, будто бы муж Тамары Ивановны командует крупным партизанским отрядом и даже Герой Советского Союза. В сводке Информбюро он именовался Дедом.

И когда однажды Тамара Ивановна пришла на узел связи в сопровождении худенького свежевыбритого человека в штатском и сказала, кивнув на него: «Мой муж», — все были удивлены и сконфужены. И, поняв почему, Тамара Ивановна обиделась, сказала вызывающе:

— Если человека вызывают из тыла врага в Кремль, что ж, он туда будет являться с бородой, как у Сусанина?

— Муся! — сказал супруг Тамары Ивановны. — Ты же знаешь, я могу бриться в полной темноте, обходиться холодной водой. Зачем же мне отпускать бороду?

— Но почему тогда кличка Дед?

— Понимаешь, Мусенька, при специфических приемах борьбы в тылу врага именоваться Солнцевым нелогично.

Действительно, капитан Лебедев, который контактировал с партизанами, сказал однажды, что ядро отряда

Солнцева состояло вначале из группы пограничников-снайперов и противник понес от них потерь при самых разных обстоятельствах не меньше полного комплекта полка. Кроме того, они специализировались на стрельбе из засад по смотровым щелям танков, бронетранспортеров и несколько раз совершали нападения на аэродромы, расстреливая стоящие на земле самолеты. И немало тех, кто пошел в услужение врагу, понесли возмездие от внезапного одиночного выстрела по приговору народных мстителей.

Что касается самого Солнцева, то он еще накануне войны первенствовал в округе на стрелковых соревнованиях, поэтому наиболее ответственные задания выполнял сам, вооруженный только снайперской винтовкой.

Конечно, командиру отряда вряд ли следовало так рисковать, но, кто знает, возможно, в его сознании не исчезало видение остова сгоревшего грузовика, черные трупы, запекшиеся в нем, словно крохотные мумии. О том, что нескольких оставшихся в живых детей жена спасла, он долго не знал, как и не знал, что она была ранена миной, уже будучи зачисленной в разведбат снайпером.

В дивизии были свои ветераны, и вне зависимости от звания и должности они пользовались не только особым уважением, именно они, если можно так выразиться, формировали общественное мнение о новых офицерах, прибывших в часть, и даже об отдельных подразделениях в целом.

К таким ветеранам можно было отнести и Тамару Ивановну.

Как в тылу, так и на фронте люди жили не только настоящим, но и будущим, и не каким-нибудь туманным, мечтательным, а точным, конкретным — победой.

И каждый отдельный или общий подвиг приближал это будущее. Но для того чтобы из настоящего попасть в будущее, все-таки нужно выжить.

Неизвестно, было ли ведомо Нюре Хохловой изречение Эпикура: «Когда мы существуем, смерть еще не присутствует; а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем». Во всяком случае, именно ее, Нюру, обычно назначал капитан Лебедев радисткой в разведгруппу, которая посылалась в глубокий тыл противника.

Губастая, полненькая, хозяйственная, редко кому улыбающаяся Нюра Хохлова покровительствовала Соне, счи-

тая ее городской, непрактичной. Снаряжаясь на задание, она наказывала Соне:

— Ты мое табачное довольствие получи и спрячь.

— Но ты же не куришь.

— Старшине объявила — курящая, — строго заметила Нюра. — Если положено, в чем дело? Пусть выдает! После войны привезу отцу целый вещмешок махорки, он сильно табак курит.

— Не боишься с парашютом прыгать?

— Всякий раз боюсь, — хмуро сказала Нюра. — Зимой вот кидали, закрутило в штопоре, с ног валенки стащило и портянки размотало. Приземлилась босая, пришлось с нового полушубка полосы отрезать и ноги в меховину запеленать. Испортила вещь — не полушубок, а вроде жакета.

— Тебя что же, необученную бросили?

— Что значит необученную? — сердито сказала Нюра. — У нас в рыбацком поселке на базе авиации Севморпути осоавиахимовский клуб. Там еще обучалась. Если б не война, на пилота выучилась бы. Платят им сильно. Обмундировка на меху, и никакой сырости. А то, когда с отцом по несколько суток в море на баркасе в непогоду нахлюпаешься, смотришь на чаек, аж зависть берет, такие они беленькие, чистенькие, непромокаемые. А ты вся мокрая, да еще в рыбьей слизи.

Отправляясь на задание, Нюра заворачивала в кусок противоипритной накидки пудру, губную помаду, духи «Красная Москва».

— Это еще зачем?

Нюра деловито объясняла:

— На Боброва давно нацелилась. Механик. Если приглянусь, что же, не возражаю. Приеду домой со своим механиком — его сразу могут на хорошую посудину поставить. У нас колхоз рыболовецкий, богатый.

— А он тебя любит?

— С руками иногда лезет. Но вообще воспитанный, вежливый и рацию на себе поднесет, и, когда прыгаем, норовит поближе приземлиться, парашют помогает погасить, — значит, ухаживает.

— Но ты его любишь?

— Если как дурочка для него пудрюсь, губы мажу, душусь — куда же дальше-то? Но это только в ихнем тылу себе позволяю, а здесь у себя совестно, еще что подумают...

Возвращаясь с задания, Нюра выполняла обычную со

всеми работу на узле связи, хотя и числилась за разведбатом.

Объясняла:

— Мне там с мужчинами неловко. Даже когда со своими рыбаками в море, и то стесняешься.

На вопросы, как там все было, Нюра оживленно отвечала:

— Пайки НЗ дали богатые, даже шоколад. Я вам, девчата, после раздам. — Хвасталась: — Сберегла, а как же, о вас там думала, все ж подружки.

— Страшно было?

— Зачем? Все по расписанию! По программе. Приземлились на сигнальные костры. Ну не в огонь, конечно, а рядом. Затемно дошли до самой лесной чащобы. Тут меня одну и оставили. — Пожаловалась: — Вот леса я, верно, боюсь. У нас что? Только море, да берега в камышах, да кустарник — все понятно. А тут как ветер дал по вершинам, как все зашаталось, ну, думаю, свалится какое дерево, завалит, или зверь... Что тогда?

— Но у тебя же оружие.

— Оружием зверя трогать нельзя. Только фрицев. Сидела всю ночь в яме, нож в руке держала. Ножом можно, от ножа шума нет. Через двое суток наши пришли. Послала шифровку. И все. Обратно тоже ночью улетели. Ничего, красиво, как в детской сказке. Я даже мечтала.

— А Бобров?

— Вот, — с гордостью произнесла Нюра, — глядите, какая зажигалка! Трофейная! Я ему осторожно сказала. Не знаю, понял он мой намек или нет. «Вот, — говорю, — если б ты моему отцу такую принес, это ему радость, на ветру не гаснет, он бы тебе за нее что хочешь отдал бы». И нарочно глаза опустила, чтобы понял, как я смущаюсь.

Ну и как?

— Никак, — вздохнула Нюра. — Взял свой платок, вытер мне им губы и велел больше не мазаться, только и всего. А когда я его индивидуальным пакетом бинтовала и свое лицо совсем ему близко подставила, ноль внимания.

— И сильно его ранили?

— Если б сильно, разве я тут была б? — рассердилась Нюра. — Ткнули ножом, и все. Бобров всегда наперед других лезет. Брал «языка», а тот его и пырнул. А мы этого фашиста целехонького пассажиром на самолете потом везли. Я даже на него ни разу и не посмотрела, такая злость была, еще мог и инфекцию Боброву занести.

То, что Соня Красовская влюбилась в лейтенанта Григория Петухова, на ближайших ее подруг, связисток, не произвело особого впечатления. Даже после того, как Соня, волнуясь, поведала им об этом.

Нюра Хохлова сказала рассудительно:

— А что! И правильно. С другим ходят и ходят, а что он за тип, по одним словам еще неизвестно. Но вот если в беде себя показал — вполне надежно! Наши рыбаки о парнях как судят? Не по тому, как на земле форсят, а как в шторм на море себя показывают.

Нелли Коровушкина заметила равнодушно:

— В сущности, Нюра права, человеческая личность выявляется в трудностях, и с точки зрения общественной такой выбор не может вызвать отрицательного отношения, хотя я лично все эти бабские эмоции на фронте не одобряю.

Нелли, как она рассказывала, выросла «в толпе мужиков». Мать умерла рано. У Нелли было пять братьев с незначительной разницей в возрасте. Она говорила о них снисходительно:

— Все в мать — черненькие, малорослые, шумные, всегда что-нибудь переживают. Только я одна в отца — рослая, рыжая. Когда они маленькие были — лупила, подросли — командовала. Отец летчик-испытатель. Жили при аэродроме. У отца нервы отсутствовали и у меня тоже. Поэтому он только мне доверял. Баб я вообще не люблю. Может, оттого, что не хотела, чтобы отец снова женился. Подмечала у знакомых женщин только плохое, хотя среди них были и хорошие. У отца был друг — бортмеханик.

Проводили тренировочные занятия, прыжки с парашютом с малой высоты. Бортмеханик выбросился, парашют не раскрылся, ну, сами понимаете... Отец снял с разбившегося механика парашют, надел на себя и повторил тут же прыжок с малой высоты, у отца парашют бортмеханика раскрылся.

Когда я сказала отцу: «Ты же геройски поступил», — он только поморщился, пожал плечами, сказал сердито: «Ерунда. Дело не в этом. — И потом огорченно: — Ты пойми, сколько лет с ним дружил, летал, а вот слабинку в нем и не заметил. Кольцо от тросика в складку попало, так рвани за тросик, а он растерялся. Выходит, я виноват в его гибели. Сколько лет дружил, летал и не заметил, что в критические моменты он способен теряться. А такой психологический недостаток можно было б преодолеть, если бы я в критические моменты, какие у нас бывали, не

все брал на себя. Вот он и привык рассчитывать на других — в данном случае на укладчика парашюта. Не проверил перед самым прыжком, понадеялся, а своей инициативы в критический момент не проявил». И меня отец приучил прежде всего на самое себя только рассчитывать.

— А чего же ты, как отец, в летчицы не пошла? — осведомилась Нюра. — Была бы сейчас в женском полку, получила Героя.

— Я в аэроклубе училась, летала, — сказала Нелли, — но... Мой школьный товарищ, мы с ним за одной партой всегда сидели, и в клуб он из-за меня поступил, ну, словом, я к нему как к товарищу, а он с любовью, ну я ему в шутку: «Говорят, ты во время пилотажа так за ручку управления хватаешься, словно выпасть из самолета боишься. И потом на земле пальцы разжать не можешь. Если так переживать, зачем летать?» Ну его очередь на взлет, и он заложил фигуру, которую без инструктора никогда не совершал, и все. Искалечился. Я отцу рассказала. Он человек принципиальный. Как вышел мой школьный приятель из госпиталя, собственно, не вышел, а на костылях висел, ну что ж, я настояла и стала его женой, года два, что ли, прожили, а потом он умер. Простудился, организмом слабый, и умер.

— Выходит, ты его все-таки полюбила? — спросила Нюра.

— Нет, пожалуй, не любила; то есть любила за то, что он меня так сильно любил, но это же не все.

— А что еще? — спросила Ольга Кошелева, поднося ладонь к пустой глазнице. — Что еще? — произнесла она, заглатывая прерывисто воздух.

— Не знаю, — вяло сказала Нелли. — Я считала, что он ко мне тянется только потому, что все говорят — красивая, только за это. Ну за оболочку мою, что ли. Но ведь я с ним хорошей не была, даже часто обижала. Как же можно так унижаться из-за одной чужой внешности и все терпеть только за одну внешность?

— Ох и зазнайка ты! — вздохнула Нюра. — Мне бы хоть что-нибудь от тебя частично, вот бы я радовалась, что на меня людям глядеть приятно.

— Приятно! — сердито перебила Нелли. — К красивой физиономии можно так же привыкнуть, как и к некрасивой. Отец у меня красавец, а мама была не очень, но, когда она жива была, у нас в доме было так, будто всегда лето, и, что бы ни было, отец всегда со всем — к маме. Она в авиации ничего не понимала, но отца понимала как самое себя, и все

время они разговаривали, все время. И даже когда отца нет, мама с нами, бывало, о нем говорит, все что-то такое в нем находит необыкновенное и нам объясняет. И когда я боялась, что отец снова женится, он сказал мне: «Дура! Я с матерью сколько лет прожил, а каждый раз домой шел и волновался, как на первую встречу. А с этими,— ну я знала, о ком это отец,— побудешь час, два, и такая скука, словно в казарме вместе отслужил не один год».

— Ты это нарочно для меня о физиономиях? — запинаясь и нервно потирая щеку, спросила Ольга Кошелева. — Так я не нуждаюсь!

— Ну что ты на себя всякую тень накладываешь! — простонала Нюра. — У тебя же профиль! Такой, что не хуже Неллиного. Это у меня одни только выпуклости и нос картошкой. Бобров говорит, я ему кажусь Красной Шапочкой из сказки — это за то, когда грибов набрала и вышла из лесу к фашисту дорогу узнать, мол, заблудилась, а фашист стал грибы отнимать, Бобров его и свалил.

— Ну хватит тебе! — сурово приказала Нелли и, обращаясь к Ольге Кошелевой, заявила вызывающе: — Если б ко мне вот такой человек, как капитан Лебедев, так, как к тебе, относился, я собой была бы горда.

— Почему собой, а не им? — спросила Соня.

— А потому, — объяснила Нелли, — потому, что ни за какую сильную любовь ко мне я не собираюсь поступаться своей личностью.

— Хо-хо, — сказала Нюра, — тоже мне личность! В семейной жизни положено, какой ни на есть муж, все равно он в доме старший.

— Подожди, Нюра, — с трудом произнесла Ольга Кошелева и, сердито глядя на Нелли, сказала: — Ты говорила так, будто тяготишься своей внешностью, а сейчас сказала так, что из-за твоей внешности кто-то обязан тебе пожизненно быть признателен.

— Нет, не так, — спохватилась Нелли.

— Подожди, — снова с трудом преодолевая это слово, потребовала Ольга и, бледнея, поспешно заговорила: — Если б меня не изуродовало, может, я и гордилась бы тем, что Лебедев так ко мне относится, — гордилась. Да, гордилась, а сейчас я боюсь, мучаюсь. Он человек долга во всем, и я думаю, что сейчас он ко мне так относится только потому, что он человек долга и только хочет выполнить свой долг. Когда лицо у меня было нормальное, он любил, а теперь, когда оно вот такое, какое оно есть, он обязан любить.

Поняла? Вот поэтому я не хочу его видеть, встречаться. А если и встречу с кем-то, только с таким, кто не знал меня прежде, а знает только такой, какая я есть сейчас, и если это ему не помешает...

— Оленька,— жалобно сказала Соня,— если Грише нос осколком срубит...

— И без носа сойдет,— перебила Нюра. И предложила: — Давайте лучше, девочки, чай пить, мне Бобров банку фашистского эрзац-меда принес, хоть фальшивый, но все равно сладкий.

Хозяйничая за столом, Нюра говорила:

— А все ж таки это смешно, девочки, война, а мы о своем, будто войны нет. Спорим, каждый свое доказывает. А не соображаете — кого-нибудь из нас или из них, наших мужчин-ухажеров, стукнет, и все будет перепланировано совсем иначе, как обстановка прикажет. Это когда в мирное время мечтаешь и согласно мечте поступаешь, все может получиться как хочешь. А война может все перетасовать, и кому чего выйдет, совсем неизвестно. Вот пьем сейчас чай с медом, это факт. А про все остальное только разговоры для отдыха. — Спросила у Нелли: — Отец твой сейчас где?

— В дальней бомбардировочной.

— Чего же он Берлин не трогает?

— Он летал, еще в самом начале войны, несколько бомб бросил.

— Несколько! — сердито сказала Нюра. — Надо все туда свалить. — Усмехнулась: — Вот Бобров рассказывал: он с Лебедевым когда партизанил, так из снайперской винтовки два «юнкера» прямо на земле запалил зажигательными пулями. Как дал по бакам, устроил фашистам пожар. Все засветилось. Вот ты, Оленька, ленинградка, ты должна быть самая из нас беспощадная к фашистам. И откуда у тебя сила духа взялась ихнего подраненного офицера выхаживать да еще тащить на себе? Я бы на твоём месте его прямо своими руками задушила.

— Его Лебедев взял в машине полевой рации, код и шифр хотел узнать.

— И как?

— Ну я уговаривала. Сказала, что ленинградка. Письма даже прочла от знакомых. Они писали, как мои все от голода умерли, все.

— А фашист что?

— Я ему его родственников фотографии, которые мы из его кармана вынули, показываю, спрашиваю: «Вот если

б они так, как мои, все умерли, как бы вы с нами поступили, если б в таком, как вы сейчас, положении оказались?»
Отвечает: «Повесил».

— А ты цацкалась?

— Цацкалась! Перевязала. Все индивидуальные пакеты на него истратила. Потом, говорю, можете к своим уходить. Вас ваши же повесят. Соврала, будто Лебедев у другого пленного шифр и код узнал. И теперь мы передадим по громкоговорителям, что он, этот офицер Грюне, нам все сообщил и за это его отпустили. Он и сваял.

— Молодец, ловко его запутала! — одобрила Нюра.

— Когда этого Грюне мы к себе вывели, доложила Лебедеву, на чем фашиста поймала. Лебедев нахмурился и потом на допросе прямо ему сказал, на чем он попался, и заявил, что подобные методы считает скверными, недостойными. Грюне даже растерялся от того, что ему сказал Лебедев, ну а потом на дальнейшем допросе сообщил, что он меня тоже обманул, старый, снятый код и шифр сообщил, а вовсе не действующий.

— Значит, все впустую? — огорчилась Нюра.

— Зачем? Лебедев с ним долго возился. Грюне, оказывается, инженер и не в фашистской партии. Свел его с членами комитета «Свободная Германия», потом Лебедев его действующим шифром и кодом еще долго пользовался по линии дезориентации противника и расшифровки их радиодонесений.

— Значит, то, что ленинградцев они голодом морили, это до вашего Грюне не дошло. Зря только про свое горе рассказывала. Нашла кому!

— Лебедев сказал — не зря. Он на эту тему с ним долго говорил и меня вызывал снова для разговора, но я не смогла. Когда Грюне у меня на руках кровью истекал, думала — кончается, говорила так, словно в смерть его этими словами провожала, а когда за столом, за чаем — не могла, сдавило горло, и не могла.

— А ты видела, как у Лебедева руки трясутся, и глаза, как у умирающего, и он лепечет: «Не могу, вы сами»? — жестко спросила Нелли. — А я видела и слышала. Это когда на всех твоих похоронка пришла.

— Как известили, на другой же день он меня в группу взял в тыл идти, — сказала Ольга глухо. — Я даже никогда не думала, что в такую группу возьмут. А он взял.

— Он все может, — заверила Нюра. — Говорят, он тут не от дивизии даже, не от штаба армии, а даже от чего-то

выше. И в его подразделение всегда новые люди приходят, будто рядовые, а на самом деле нет, и, когда войсковая разведка боем, он ее использует для выхода тех, кого засы-
лал...

— А ты помалкивай! — оборвала Нелли.

— Я и молчу. Только одна Тамара Ивановна знает, кто из нас лебедевские, а кто дивизионные. Хорошо бы, если б она нам, лебедевским, допнак выделяла, а то как всем.

— А вот меня Лебедев в группу брать не хочет. Комсорга брать не хочет, даже политически это неправильно, — пожаловалась Нелли Коровушкина.

— И правильно, что не берет, — резко заявила Хохлова. — Чтобы за тобой там каждый боец ухаживал и рацию за тебя нес, и питание, и НЗ. В любой обстановке никто на твою красоту свой инстинкт не подавит, хочешь ты этого или не хочешь, факт. У аппарата сидим, к кому первой дежурные по штабу с документами подходят — к тебе! Потому что даже диктовать тебе им приятно. Удовольствие им тебе диктовать. А в боевой обстановке все это ни к чему, и Лебедев понимает.

— Но Ольгу же он брал в группу?

— Другая статья, — строго сказала Хохлова. — Хоть она и не хуже тебя по красоте была, но он ее, во-первых, от личного горя уводил, и потом у него особое личное к ней чувство.

— Ну а Красовскую посылал же!

— Подумаешь, задание, — снисходительно произнесла Нюра. — Смотраться туда и обратно пассажиркой на самолете, принять в партизанском отряде на свою рацию сигнал и обратно со всеми удобствами.

— Но их же сбили!

— Так и здесь могут в самом штабе с воздуха накрыть. И она вышла не одна, а с лейтенантом плюс любовь, — почти пропела Нюра.

Отчетливо ступая на каблуки, прошагала к столу старшина Солнцева. Статно села на скамью, чуть морщась от боли в спине, спросила, строго сводя белесые брови:

— Ты зачем, Хохлова, свой розовый и синий трикотаж на самом виду вывесила?

— Я же веточками замаскировала, значит, вовсе не на виду.

— Странно, откуда у фронтовички такое неположенное белье?

— Из дому, — сказала Нюра. — Те, кто еще на финской были, советовали шелковое — против вшивости.

— И в тыл так наряжаешься? Для кого?

— Для себя, чтобы уютней было.

— Ох, Хохлова, смотри!

— Уж как я себя, товарищ старшина, берегу для мужа, дальше некуда.

— А кудельки зачем опять накрутила?

— Для красоты!

— Тебе же гладкие идут, на прямой пробор. Такая была бы Аленушка лесная.

— А я девушка морская.

— Ох и языкастая ты!

— У нас в поселке все такие. — И вдруг скромно спросила: — Тамара Ивановна! Я на фрицевских фотографиях женские прически видела: назади валик, вверх поднят и словно петлей закручен. Как вы думаете, мне такая пойдет?

— Да ты знаешь, какие они фотографии при себе носят неприличные, а ты смотреть! — возмутилась Солнцева.

— А в чем дело, не мужчины же, а женщины без всего.

— Так это же порнография! Коровушкина! Ты слышишь, что тут твоя комсомолка порет?

— Вы ей не верьте, это она просто за белье обиделась, и не ее оно, а в тылу кому-то обещала, кто у них работает.

— Все равно, зачем развязно разговаривает со старшей по званию?

— А для меня все старшие, кто меня умнее, — заявила Хохлова. — Вот у нас в колхозе бригадир рыболовецкой флотилии такой моряк, второго не сыскать, а перед механиком первым зюйдвестку стаскивал и кланялся чуть не в пояс, потому что, если мотор не в порядке, даже в штиль дальше двадцати миль на веслах не уйти от берега.

— Еще что? — сухо спросила Солнцева.

— А еще у нас есть моряцкая примета: если человек три раза тонет и ни разу не утонет, то, значит, до конца жизни в море смерти ему не видать, на таких у нас всегда даже на любой лучший баркас спрос, даже если он рыбак никудышный, но при нем счастье есть.

— Ну ладно болтать! — прервала Солнцева. И все-таки пожурела Хохлову: — Не пойму, не то ты простушка добродушная, не то хитрая.

— А я помесь, — быстро проговорила Нюра и исподтишка подмигнула девушкам.

— Значит, так, товарищи, — строго произнесла Солнцева. — В банно-прачечном отряде есть самодеятельность, в ПАХе¹ даже струнный оркестр, а с нашей стороны ни одного таланта. Командование приказало дать после сбора орденосносцев концерт, а от нашего подразделения — никого.

— А мы своего комсорга в гражданское обрядим. Пройдется по эстраде, и все. Даже не аплодисменты, а полная овация.

— У Нюры хороший голос, — заметила Коровушкина. — Такие хорошие старинные северные песни поет, за душу хватает.

— Запишем, — сказала Солнцева.

Хохлова предложила бодро:

— Хорошо бы такой номер сделать: на Нелли чтобы глазели, а меня только ушами слушали...

Ночью все девушки, свободные от дежурства, проснулись от ужасного стонущего крика Ольги Кошелевой, она билась на нарах и стонала, словно при смерти.

— Ты что, ты что? — затормошила ее Соня.

Ольга села и, вытирая слезящуюся пустую глазницу, сказала, задыхаясь, шепотом:

— Снилось: Лебедева убили.

Подскочила Нюра, возбужденная, сердитая, закричала:

— Вставай быстро, стучи костяшками обеих рук о дерево! Стучи, тебе говорят, ну! — Спросила: — Сегодня какой день? — Облегченно вздохнула: — Хорошо, не пятница. В пятницу такой сон самый опасный. — Обернулась к Ольге: — А ты все же стучи, как тебе говорят.

Подошла Нелли, высокая, в накинутах шинели, сказала строго Хохловой:

— Ты что, сдурела? Что за приметы идиотские! Может, ты еще в бога веришь?

— В бога — нет, — поспешно ответила Нюра, — а в приметы — обязательно. — Поколебалась: — Конечно, на всякий случай. Когда штормяга, отец в море, мы обязательно все огни в доме зажигаем. И во всех других домах тоже. Раньше лампы жгли, а теперь электричество. Чтобы рыбакам светить, обозначать всем поселком, где бухта.

Ольга, прижавшись к Соне, плакала, вытирая слезы подолом рубашки.

¹ ПАХ — полеская хлебопекарня.

— Вы, пожалуйста, спите,— попросила она.— Я уже отошла, так, глупость.

Потом Соня и Ольга, набросив шинели, вышли из землянки и сели на неиспользованные бревна наката. Небо было светлое, только два-три патлатых легких облачка и, словно талая, прозрачная луна на нем. Где-то на правом фланге вспыхивали, будто зарницы, вспышки мерных орудейных залпов, и грозовым, громовым, глухим раскатом отдавало в сияющем вогнутом куполе неба.

Ольга сказала, зябко прижимаясь к Соне:

— Раньше мне снились мои, но всегда живыми: и папа, и мама, и Сережа, и Петька, и Муська. Вижу живыми, а во сне плачу. Даже во сне всегда помнила, что их нет. Ты понимаешь? Вижу живыми и помню, что их нет.

— Я отца тоже во сне вижу, но не так, как ты. Верю, что он живой, а проснешься... И от этого еще хуже.

— Его убили?

— Нет, он просто погиб.

— У нас такая веселая семья была,— сказала Ольга.— Нам даже знакомые не нужны были, все дружили, и всем друг с другом интересно было, и каждый старался для другого сделать приятное. Всегда советовались, как сделать неожиданно приятное или подарить что-нибудь. Больше всех любил делать подарки папа. Зарплату он целиком отдавал маме, а все, что получал кроме зарплаты,— нам всем на подарки. И мы тоже придумывали подарки. Муська спит из пластилина невесть что и к маме — сюрприз. Соседка написала, что Муся последнее, что съела,— пластилин. Ты понимаешь, пластилин ела! А я гаду фашисту про Ленинград...— Склонившись, ссутулившись, Ольга снова зарыдала, потом сказала зло, сквозь слезы: — Плачу и то одним глазом, ты уж извини, я нашлепку не надела, противно, наверное, смотреть вам на пустую впадину, мешает мне повязка, всегда сползает. Хожу без нее перед вами уродиной, так неловко.

— Оленька, ну что ты так про себя несправедливо! Ты лучше в сто раз Нелли. Она, понимаешь, как все равно статуя симметричная и поэтому только прохладная своей красотой. А ты! На тебя посмотришь, и не только нежность, благоговение — вот хочется сердце свое оторвать и тебе отдать.

— За то, что покалеченная?

— Неправда! Ты же вся светишь нам тем, что ты такая.

— Ну какая?

— Ну любишь так, чтобы себя не щадить, а на это способны только самые лучшие люди. И Лебедев это знает лучше всех, что ты самая лучшая.

— Он тебя просил так сказать?

— Понимаешь, когда такой, как он, унижается до такой просьбы, что это для него значит?

— Ну хорошо, молчи,— попросила Кошелева. Потом сказала:— Во сне я много-много говорю, и снится, будто говорю нормально, совсем не заикаюсь.

— Контузия пройдет, и все будет хорошо,— успокоила Соня.— Но мне даже нравится, когда ты говоришь немного нараспев, даже красиво.

— Мне в госпитале советовали — нараспев, а то вначале схватит спазм, как костяным кольцом сдавит горло, и не то что четверть слова не выговорю — дышать нечем.

— Досталось тебе...

— В госпитале я даже не считала себя раненой, там так другие мучаются, так мучаются... И, понимаешь, уходят потом на фронт, и снова воюют. То место, где глаз был, даже не болело, а меня в госпитале держали, от контузии лечили — ванны, массаж, гимнастика. Словно в санатории.— Внезапно спросила:— А ты своего лейтенанта Петухова сильно любишь?

— Ну как тебе объяснить,— помедлила Соня.— Не просто сильно. Вначале я только боялась лететь в тыл и только думала о том, как это страшно — лететь в тыл, и даже на него внимания не обращала. Но он такой простой, прямодушный и вел себя так, словно ничего особенного, будто мы только попутчики куда-то, а когда самолет упал, он, ну, так со мной обращался, как с сестрой, что ли, а потом вдруг я почувствовала, что он самый-самый близкий, и, когда он понял, что я это почувствовала, он таким хорошим был, даже будто испуганным, и от этого еще ближе стал. А дальше все так: когда скарлатиной болела, и чуть не умерла, и благодарна была, что тебе не дают умереть, и лучше б умереть, чем мучиться,— видела его, и помнила плохо, и думала: не запомню,— в партизанском отряде температура, и все как в бреду. Выздоровела и все больше и больше о нем думала, прямо как наваждение, и все лучше о нем думала, все сильнее, а когда снова встретились, оказалось, что он и похуже и получше, чем тогда мне казался... Ты поняла? Я так нескладно... но я хочу, чтобы ты, если и не поняла, хотя бы немного почувствовала, что я переживала.

— Я все-таки поняла,— живо сказала Ольга.

— Я ему тоже рассказала так же нескладно, что тогда чувствовала, и он тоже так же нескладно рассказал, что тогда чувствовал, но для нас обоих это означало такую близость, что все другое даже меньше значит,— горячим шепотом призналась Соня.— И теперь я ему верю на всю жизнь.

Далеко на западе закопошились в небе белесые световые полосы прожекторов, простерлись пунктиры трассирующих пуль, затем за клубились разрывы зенитных снарядов в сухих искрах раскаленных осколков, и глухо, мерно, словно барабанные тупые удары, стали рваться бомбы, в желтых отблесках пламени, все постепенно разгорающегося.

— Наши бросают,— сказала Ольга.

— Ночники,— согласилась Соня,— а мы пойдем досыпать.

Ольга усмехнулась:

— Приятно спать, когда там им дают жару — за Ленинград, за все.

Перед входом в землянку они сняли сапоги, и, шагая осторожно в темноте, нащупали свои места на нарах, и улеглись, накрывшись поверх тощих одеял шинелями с расстегнутыми хлястиками.

— Соня,— спросила Ольга,— а ты действительно правду сказала, что я еще ничего и даже не сильно противная с левой стороны, когда без черной повязки?

— И справа, и слева, и со всех сторон ты замечательная,— сонно и вяло произнесла Красовская и приказала: — Спи!

28

А в это время в ночном небе летел на У-2 капитан Лебедев вдоль железнодорожных путей, над территорией, занятой противником, и, склонившись с борта самолета, пристально глядел на землю, высматривая вспышки сигналов тех, кто был заслан им сюда и должен был начать вместе с партизанами «рельсовую войну» тогда, когда фронт перейдет в наступление. А сейчас с погашенными огнями там полз эшелон, словно гусеница, и скрылся в переплетках моста, который предстояло разрушить тем, кого знал Лебедев.

Временами пилот сбавлял газ, и тогда самолет планировал в воздухе.

Над лесом самолет стал снова круто набирать высоту. Лебедева мягко прижало к спинке сиденья, и перед лицом стало совсем близко небо. Чистое, просторное, светящееся. И Лебедева вдруг охватила такая жажда жизни, желание видеть ее, Олю, и он сказал пилоту фальшиво, небрежно:

— Клади курс до дому. У меня все. Все точки на месте.

Летчик отжал рычаг управления, и самолет скользнул, низко прижимаясь почти к самым вершинам леса, и от близости к земле казалось: с огромной скоростью самолет устремился к светлеющей заре на небосклоне. И никогда так не боялся Лебедев погибнуть, как сейчас, страшился, как бы огонь зениток или ночник не сбили его в этом полете.

Он был весь переполнен настигшей его здесь, в небе, жаждой счастья. Откинувшись на спинку сиденья, он смотрел в небо, в звездное свечение, и улыбался так просто-душно и робко, как никогда не улыбался в последние годы. Да и вообще никто не видел у него такой улыбки, застенчивой и кроткой.

А самолет вдруг словно вспыхнул в холодном едком огне взявших его в клещи прожекторов, и снизу беззвучно потянулись пунктирные нити трассирующих пуль, и гулко в черных клубах огня и дыма стали рваться снаряды. И в сапоге стало сыро и мокро, и самолет стал метаться, как израненная птица, и потом, словно падая, ринулся еще ниже и ниже. Все это заняло, может, несколько секунд, но Лебедев по-прежнему неотрывно смотрел в небо, не желая расставаться с тем ощущением радости жизни, которое оно породило...

Когда пилот посадил машину на полевом аэродроме и вместе с бортмехаником и дежурным хмуро оглядывал пробоины, Лебедев выбрался из кабины и, хлюпая кровью в сапоге, прихрамывая, пошел в медпункт.

Рана оказалась незначительная, после перевязки он сказал сердито санинструктору:

— А сапожок вы мне повредили, даже не по шву вспороли. Разве так годится? Испортили сапог.

Но говорил он это так просто, для порядка, испытывая радость, что жив, и также для порядка пилот бранился с бортмехаником, который утверждал, что машина вся изрешечена, и пилот настаивал, чтобы завтра к вечеру она была обязательно в полной готовности.

Прежде чем сесть в помятую «эмку», Лебедев еще раз посмотрел на небо, но с земли оно уже казалось таким беспредельным и упоительно близким. Лебедев сел на заднее сиденье и вытянул поврежденную ногу. Пилоту велел сесть рядом с шофером.

Пилот сказал:

— Выходит, товарищ Лебедев, скоро не полетим.

— Самолет починят, — отозвался Лебедев.

— Я про вашу ногу.

— А что? Нога как нога, — и Лебедев даже поднял ногу, не морщась от боли. — Надену просторный кирзовый сапог, и порядок.

Уже светало, когда они приехали в штаб.

Как всегда, Лебедев перед сном побрился, так как утренние часы строго берег для работы. Потом он сидел на койке и долго вглядывался в тусклую фотографию, лежащую у него на ладони, дубликат, взятый из дела рядовой военнослужащей О. И. Кошелевой, и снова его лицо обрело кроткое, растерянное и даже жалобное выражение, которого никто никогда ни при каких обстоятельствах у него не видел...

На следующий день Лебедев, прихрамывая, пришел на узел связи и, как всегда с шуточками, сказал:

— Привет от футболиста! — И, кивнув на ногу, пояснил: — Подковали старика.

Нюра подскочила к нему и решительно потребовала:

— Когда? Ночью? Ближе к утру? Да? — Крикнула: — Что? Вот вам, пожалуйста! Живой, живой, потому что стучали костяшками.

И, показывая на Ольгу, заявила:

— Она вас видела, и в крови, и полумертвого, и даже совсем мертвого, и так страшно кричала во сне, что просто всем ясно стало, как любит, раз даже во сне отгадывает, что с вами. Совсем как рыбацкая жена.

— Вы извините, — растерянно сказал Лебедев, — но я не знаю даже, как вас понять.

— А что там понимать, когда все ясно, — сказала Нюра и позвала: — Ольга, пойдی сюда. Вот скажи по-честному: во сне видела, как его ранили? Видела? Кричала? Кричала, и плакала, и, чтобы жив остался, костяшками, как я велела, стучала. Факт.

— Ну что ты — факт, факт, не мешай им, — попросила Соня.

— Подумаешь! — обиделась Нюра. — Могу вместо слова «факт», как в школе учили, — объективная истина. Для меня это одно и то же, только слово «факт» короче.

Ольга, опустив голову, проговорила:

— Вам больно, а вы пришли.

— Я, как всегда, хотел вас видеть, — глухо сказал Лебедев, потом спросил: — Это правда?

Ольга кивнула.

Только Нелли Коровушкина с обычным торжественно-ликующим выражением своего красивого лица спокойно и тщательно отстукивала ключом то, что ей диктовал дежурный офицер штаба. Остальные лишь делали вид, что они погружены в работу.

Командир дивизии генерал-майор Герой Советского Союза Юрий Владимирович Лядов в облике своем, увы, был лишен тех черт, которые обычно принято считать за внушительные генеральские.

Невысокий, по-мальчишески худенький, по-солдатски наголо стриженный, в очках, безусый, с тонкой морщинистой сильно загорелой шеей и слабым, сиплым голосом, с узкими, почти герметически, всегда озабоченно сжатыми губами, непривычными к улыбке, — в лучшем случае в нем угадывалось нечто профессорское, тем более что он всегда как со старшими по занимаемой должности, так и с младшими держался на дистанции, не допуская какого-либо дружеского, приятельского сближения.

Единственное исключение он делал для Ивана Яковлевича Селезнева, полковника медицинской службы.

Иван Яковлевич систематически навещал Лядова после перенесенного им тяжелого ранения, исполняя специальный приказ Военного совета армии. Но будь Лядов не генерал-майором, а просто рядовым, для Ивана Яковлевича он все равно представлял бы особую, «феноменальную» ценность, ибо ту операцию, которую он провел в организме Юрия Владимировича, Иван Яковлевич считал новаторским, научным вкладом в современную хирургию.

Иван Яковлевич заявил с достоинством:

— Великий хирург Пирогов называл войну травматической эпидемией. И это, безусловно, так. Поэтому, я считаю, располагая таким богатейшим опытом, мы поднимем медицинскую науку на новый, неведомый доселе уровень и сможем решать такие проблемы, которые прежде счита-

лись неподвластными нам, ибо вступали в противоборство с тем, что составляет основные признаки клинической смерти.

— Воскрешать будете?

— Именно, — солидно и самоуверенно произнес Иван Яковлевич.

У Селезнева был свой собственный профессиональный взгляд на войну, на ход военных действий.

Он говорил:

— В первые годы нам приходилось сталкиваться с особо нежелательным явлением при ранениях — с нервным шоком, который приводил даже к летальному исходу. А теперь, представьте, повысилась стойкость нервной системы и подобные случаи — исключение. Если прежде раненные пребывали обычно в подавленном психологическом состоянии, что значительно сокращало сопротивляемость организма в целом, то ныне они в большинстве случаев попадают к нам в состоянии возбужденном, выражающемся в сосредоточенной, волевой жажде выжить и даже, несмотря на ампутации, остаться пригодными для работы в своей прежней профессии, и в силу этого не только соглашаются, но и требуют последующих операций для возможно более полного восстановления работоспособности...

С таким контингентом просто приятно работать, — говорил Иван Яковлевич, потирая свои руки с сильными длинными пальцами мастерового человека. — И тут я должен вам прямо заявить, — продолжал он, — существует прямое взаимодействие между нами, медиками, и вами, полководцами. Чем успешнее осуществляются боевые операции вами, тем благоприятнее создаются нам, медикам, условия для возвращения людей в строй жизни. Ибо психологический фактор становится все более решающим для состояния оперируемых, что и подтверждается статистическими исследованиями, которыми я занимаюсь с самого начала войны.

Оглядев подозрительно и даже неприязненно Лядова, потребовал:

— Нуте-с, разденемся! — И начал обследовать генерала неторопливо, хмуро, озабоченно.

Закончив, брезгливо вымыл руки, сказал обиженно:

— Слишком перегружаетесь, голубчик. Нехорошо! Портите мне репутацию. — Добавил мечтательно: — Мне бы вас лет через десять в клинике студентам показать. Весьма

убедительное доказательство редчайшего случая выживаемости.

Лядов сказал без улыбки:

— В крайнем случае можете вскрыть мой труп и продемонстрировать.

— Это, конечно, я могу, — согласился тоже без улыбки Селезнев, — но научная ценность тем в вас будет больше, чем с годами длительнее проявится приспособленность вашего организма к тем хирургическим, особо сложным вмешательствам, которым он был подвержен...

Если позволяла обстановка, садились за шахматную доску. В перерыве между партиями Лядов заводил патефон. У него были комплекты оперных пластинок.

Слушали музыку они с жадным наслаждением. Потом, испытывая душевную усталость, расслабленность, пили чай, крепкий до черноты...

В первые же дни войны кадровая дивизия Лядова вступила в бой с противником. Утратив связь с армейским командованием, она вела самостоятельные сражения. Разрозненные отступающие подразделения чужих частей Лядов властно включал в свою дивизию.

Он собрал сильный артиллерийско-минометный кулак и пользовался им смело и решительно.

Наткнувшись на остатки кавалерийской части, из кавалеристов сформировал пехотное подразделение, из конского состава создал резерв, для того чтобы ни одно орудие, брошенное другими, не оставлять врагу. В обозе он гнал скот и даже стадо свиней, обеспечив обильное питание своему войску. За бои под Смоленском его дивизия получила звание гвардейской.

Но инспектора штаба фронта потом обнаружили в его дивизии сверхштатное, неположенное количество орудий, минометов, боеприпасов, а также прочего не сданного трофейного оружия и армейского имущества, за это он получил взыскание.

Командующий фронтом после вручения правительственной награды генералу Лядову сказал добродушно:

— Ты извини, Юрий Владимирович! Наши бюрократы за то, что ты кое-что из военной техники зажал, хотели на хвост соли тебе насыпать, но я им выдал, формалистам. Это же героизм — ничего врагу не оставить. Также мне законники!

Лядов сказал сухо:

— Строгое соблюдение уставных положений — первое

требование для всех в действующей армии. Полагаю, взыскание наложено правильно.

— Обиделся! — горячо воскликнул командующий.

— Обрадовался, — поправил Лядов. — Армейские законы не должны нарушаться ни при каких условиях — ни при отступлении, ни при наступлении. Так должно быть и впредь.

И когда дивизия вела бои с превосходящим противником, и когда отступала перед его натиском, Лядов с жестокой педантичностью требовал от своих подчиненных всего того, что они обычно выполняли на полевых учениях в мирное время, добиваясь высоких оценок от высшего командования, присутствующего на учениях. И Лядов карал непреклонно за любое отклонение.

На совещаниях, подводя итоги, он произносил обычно:

— Нас готовили к войне, учили воевать. Мы профессионально военные люди. Как бы ни складывалась временно обстановка, точное выполнение своих обязанностей — первое условие, чтобы содействовать оптимальному использованию тех возможностей, которыми на данное время мы весьма ограниченно располагаем.

Из своего сознания он как бы исключил то, как сложилась обстановка на всем фронте. Он воевал своей дивизией и требовал от подчиненных оценивать обстановку только в соответствии с действиями своей дивизии.

Он утверждал:

— Если враг несет большие потери в боях, чем наша дивизия, значит, выигрываем мы, отступая, и проигрывает он, наступая. И будьте любезны руководствоваться только этими реальностями и доводить это до сознания всех бойцов.

Его дивизия прошла с боями почти от самой границы, не имея связи с высшим командованием, но потери ее были сравнительно незначительными. И хотя в своей педантичной требовательности, нетерпимости к любым нарушениям Лядов был крайне непреклонным, количество трибунальских дел в его дивизии оказалось ничтожным, так же как и дел, переданных в партийную комиссию. Почему?

Лядов верил людям. После вынесения приговора трибуналом он сам лично предоставлял прощтрафившимся право искупить вину в бою. И если человек проявлял себя в бою, он или снимал или смягчал меру взыскания.

Он сказал офицеру юстиции:

— Вот вы заявили одному струсившему: «Родина без

тебя обойдется, а ты — червь». Я решительный противник подобных афоризмов. Чем выше мера наказания, тем больше наша личная ответственность за ее применение и, если хотите, вина за то, что мы вынуждены прибегать к крайним мерам, которые выносим от имени Родины, особенно в этой сложной обстановке. Лишать же Родины можно только изменников.

Закон суров, но справедлив, — говорил Лядов. — Когда человек хочет и может кровью искупить свою вину, не дать ему этой возможности несправедливо.

Унижать унизившегося! — морщился Лядов. — Для чего? Чтобы он потерял окончательно всякую надежду стать иным? Строгое соблюдение дисциплинарных законов не для внушения страха перед воинским законом, а прежде всего свидетельство того, что они неотвратимы для всех и каждого. От вины одного могут пострадать многие. Значит, мы применяем закон не только как кару одного, а как средство защиты многих от вины одного. Значит, не пугаем законом, а защищаем законом...

Обычно мало говоря на отвлеченные темы, Лядов позволял себе, как он выражался, «словесную распушенность» только в присутствии Ивана Яковлевича Селезнева.

Прохаживаясь по землянке, он говорил:

— Я полагаю, когда мы полностью овладели стратегической инициативой и протяженность фронта противника соответственно сократилась, этим самым усилилась плотность его боевых порядков, огневых средств, увеличилась мощь оборонительных инженерных сооружений, сократились коммуникации. Значит, для нашей дивизии противник стал не слабее, а сильнее. Кроме того, он понимает, что каждое проигранное им сражение ныне означает решительное и катастрофическое поражение, вторжение наших войск в Германию. И это сознание может усилить стойкость врага. Значит, мы вступаем в самый высший этап военной борьбы, равного которому по своей двусторонней мощи не было в истории.

Селезнев сказал рассеянно:

— Ну уж, батенька, после сорок первого меня лично теперь ничем не запугаете, я и ваши страхи не разделяю.

— Теперь для воодушевления я вам персонально... — строго сказал Лядов. — По количеству, как говорится, штыков моя дивизия, как и другие наши дивизии, численно меньше немецких.

— Это что же, довоевались? — осведомился Селезнев.

— Именно довоевались, — подтвердил Лядов. — Количество живой силы в нашей дивизии действительно сокращено, но в два-три раза усилилась огневая мощь, оснащенность боевой техникой, и такой, какой не было прежде.

— Возможно, — равнодушно согласился Иван Яковлевич, — но что касается хирургического инструмента, извините, у немцев он как был, так и есть значительно лучше нашего, и все эти ваши новые танки, самоходки, пушки, самолеты и прочее, доставляемые вам в изобилии нынче страной, вызывают у меня только жгучую зависть. Неужели нельзя уделить такое же внимание медицине — для совершенствования инструментария? А то с чем начали работать, с тем и работаем. Скоро победа. А инструментарий как был «не тае», так и остался «не тае».

— Простите, Иван Яковлевич, позволю прежде закончить свою мысль, — попросил Лядов. — Сейчас для нас главное — совершенствовать воинское мастерство, овладение в совершенстве новой боевой техникой. Надо научиться бить врага по всем правилам современной военной науки, значение которой возросло сейчас как решающий фактор боя.

— Без науки даже аппендикс не удалить, — сердито сказал Селезнев. — Уважение к науке студентам-первокурсникам внушается с первой же лекции. И чему вас в военных академиях учили, не понимаю, — пожал он плечами.

— По-моему, сейчас совершается революция в общем военном мышлении, в тактике, в оперативном искусстве, — горячо заговорил Лядов. — Маневренность, стремительность, оптимальное сосредоточение боевых средств на направлении главного удара, разящие глубокие проникновения на узком участке фронта, охват, дробление, окружение, массированное применение всех средств поражения при сложном взаимодействии всех родов войск, когда полководческое решение должно быть строго научно обосновано...

— Я, знаете ли, только военный хирург, — сказал Селезнев, — а вы, кажется, собираетесь меня просвещать как строевого командира. Увольте!

— Ну а если я вам скажу, что новые условия ведения войны угрожают тем командирам, которые не усвоят этих новых условий, прежде времени устареют, как устаревают орудийные системы, которые затем снимают с вооружения армии?

— В общем и целом я согласен: опыт гражданской войны — одно, а вот этой — совсем другое.

— Именно! — обрадовался Лядов. — Значит, и в ходе Отечественной войны изменяется содержание ее опыта, и то, что в первый период было приемлемо, сейчас должно быть критически пересмотрено. И обогащено новым опытом нашего военного искусства.

— Знаете, дорогуша, — уныло сказал Селезнев, — в начале войны я просто терялся. Приволокут в таких травматических повреждениях, какие по всем учебникам считались безнадежными для вмешательства медицины. А что делать? Кромсал, резал, чинил, содрогаюсь от страха, и пренебрегал указаниями наших общепризнанных авторитетов. И вдруг, представьте, исход благополучный! Но ведь я уже до войны кафедрой руководил. Кое-что умел. Значит, мог. Но не решался. А теперь! Пожалуйста, пришлют мне после вуза — через год доверяю сложнейшую операцию, со своим надзором пока, конечно. И что же? Вполне!

— Ой ли? — сказал Лядов.

— Конечно, есть и среди хирургов — и даже одного со мной выпуска, коллеги, так сказать, — отдельные личности, которые до сих пор придерживаются удобно устоявшихся взглядов. Не решаются, топчутся. Тогда приходится мне самому дерзать, — усмехнулся Селезнев.

— Значит, и у вас наблюдается несоответствие должности?

— Все люди, все человеки, все разные. У каждого свои способности и границы своих возможностей.

— А тех, кто ограничен в своих способностях, вы что, отправляете в тыл, в стационары?

— Учим! — вяло протянул Селезнев. — Почти как в клинике. Я оперирую, они смотрят, я оперирую и доказываю, режу и одновременно лекцию читаю. — Вздохнул: — Хирургия сейчас огромный рывок совершила. Как же отставать? Нельзя! — решительно произнес он. — Недопустимо! Наука нам не простит.

— Вот и нам тоже наука не простит, — сказал Лядов, и впервые его губы чуть растянулись в улыбке. И тут же, строго сжимая их, осведомился: — Кстати, Иван Яковлевич, давно вас хотел спросить. Почему вы, невзирая, как говорится, на мой чин, звание, изволили мне «тыкать» и так нецензурно обругали, что даже санитары смеялись?

— Ну насчет санитаров это вы преувеличиваете, — поежил Селезнев. — А вообще, на хирургическом столе

для меня нет ни маршалов, ни генералов, ни прочих званий. У кого ранение значительное, тому и предпочтение. По ранению вы были для меня персона, а по поведению — мальчишка, — визгливо произнес Иван Яковлевич. — У него, видите ли, сложнейшее полостное ранение, обильное кровотечение, а он требует, чтобы ему полевой телефонный аппарат подали — не докомандовал! Ну я и обложил вас как следует. А вообще, — улыбнулся Иван Яковлевич, — вы мне тогда понравились. На то, что вы Герой Советского Союза, мне, извините, начихать. Главное — героем себя на столе держали. Но мне это даже ни к чему — мышцы напряжены, неудобно резать. Да и вам была противопоказана столь ненужная чрезмерно нервная возбудимость — анестезия не брала. А как я вас обложил, как поставил на место, вы и утихомирились!

— Кто умеет командовать, тот умеет и подчиняться, — сказал Лядов.

— Э, бросьте! Сообразили моментально! Я над вами — старший! Но поработал я над вами до полного своего изнеможения, аж пот в сапогах хлюпал. — Иван Яковлевич произнес с достоинством: — Я полагаю, что по физической нагрузке нет равной профессии хирурга, — ни водолазы, ни пожарники, ни саперы такую нагрузку не выдержат. — Помассировал свои длинные, мускулистые, сильные пальцы, заявил с гордостью: — Мы люди мастеровые. — Насутился. — А вообще, войну по-настоящему знаем мы, хирурги, а не вы, генералы.

— Позвольте! — обиделся Лядов.

— Что там «позвольте»! — грубо оборвал Иван Яковлевич. — Что такое война? Вот она, у меня всегда на столе, в крови, в ранах, в страданиях, в муках. И мы бой ведем со смертью — за жизнь. Не меньше вас. И суждение об истинных качествах вашего так называемого личного состава у нас более точное, чем у вас, полководцев.

— Каким образом? — строго сощурился Лядов.

— На столе под ножом поведение оперируемого — высшее доказательство всех его духовных, нравственных и прочих человеческих качеств, — заявил Иван Яковлевич. — По существу, нам, хирургам, следовало бы предоставлять право награждать оперируемых за героизм. Это в такой же мере было бы правомерно, как вам дано награждать за отвагу в бою... Знаете, бывает так, — задумчиво говорил он, — принесут, положат, а в нем килограмма полтора осколков. С чего начинать? Весь искромсан! А он

еще при этом советы дает: «Не церемоньтесь, вытерплю! Давайте все враз, пока еще дух во мне есть». Подбадривает. Видали, какой народ! Я уж вам рассказывал: потом еще дважды, трижды снова оперировать требует. Восстанови ему полную работоспособность. Ну и виртуозничаешь, сочиняешь что-нибудь этакое, действующее из остатков конечности. Есть еще особый тип — «симулянты». По всем данным, в его слабом состоянии повторная операция противопоказана, а он — фертром по палате бродит, доказывает этим, будто на ногах свободно держится. А он не на ногах держится, а на одном волевом нерве. И еще скандалит! — Угрюмо сказал: — У вас есть оправдание потерям, если бой успешный. А у нас, хирургов, нет. Для нас потеря есть потеря, в каком бы состоянии раненый ни прибыл, как бы самоутешительно ни утверждали: «В данном случае медицина бессильна!» Ведь под твоими руками умирает человек, а ты спасти не можешь. Единоборствуешь со смертью, а она над тобой, сволочь, верх берет. А тебе сразу тут же нового кладут. Вот оно, наше поле боя, — стол. И ты за ним — главнокомандующий. Сохранил жизнь — выиграл бой за человека, не сохранил — потерпел поражение. Не кто-нибудь — ты лично... Вообще-то, мы, медики, вам не одну дивизию в строй вернули, а вот просил для быстрейшей эвакуации с поля боя бронетранспортер — отказали.

— Вы же получили трофейный!

— Так не от вас, бывшие раненые сговорились, добыли, преподнесли. Особенно любезным оказался капитан Лебедев...

Юрий Владимирович дальше слушал Селезнева невнимательно, его взволновали слова, совпавшие с его собственными мыслями о том, что сейчас подвигом всего народа армия получает больше боевой техники, чем ее способна ныне изготовлять Германия со всеми ею поработанными странами, и техника эта превосходит технику противника по своим новым боевым качествам. Значит, народ, страна уже одержали свою победу героическим трудом. Качественно преобразилась и армия. Она полностью владеет стратегической инициативой, неотвратимо наступает, приближая конец войны.

Но именно сейчас важно не только брать уроки из прошлого, опираться на нынешний достигнутый уровень военного искусства, но и учиться у будущего ради того, чтобы никакие вновь возникшие вражеские силы не смогли стать снова угрозой для страны.

Как бы ни было велико стремление к скорейшей победе, армия должна прийти к ней не ослабленной в решающих сражениях, а в нарастающей силе своего могущества. А для того чтобы оптимально сберечь живые силы, главное — использовать наиболее искусно, полно, совершенно мощь боевой техники. Сейчас возможна полная гармония оперативного искусства с тактическим обеспечением его осуществления.

2

Капитан Лебедев, анализируя документы, захваченные у немцев, докладывал командованию:

— Оперативные замыслы противника вступают в противоречие с возможностями его тактики.

Мы превосходим его в количестве огневых подвижных средств так же, как и в воздухе. Смелое и решительное массирование сил и средств на направлениях главных ударов позволяет создавать в основных операциях на участках прорыва значительное превосходство над противником: по артиллерии — в среднем в шесть-семь раз, по танкам — в три — шесть раз. Основное: быстрая концентрация сил на направлениях главных ударов, прорыв тактической обороны в высоких темпах, ввод в прорыв подвижных средств, стремительное развитие успеха в оперативной глубине.

Щурясь и усмехаясь, Лебедев добавил:

— Если в первый период немецкие военачальники объясняли незавершенность своих отдельных оперативных планов неожиданной для них стойкостью наших войск, то теперь, как следует из документов, они объясняют свои поражения тем, что замыслы наших полководцев полностью обеспечиваются соответствующими этим замыслам техническими боевыми средствами, которые превосходят по своим качествам соответствующие им боевые средства немецкой армии.

Немцы пытались безуспешно производить у себя танки, подобные по своим качествам нашим Т-34. Подобные нашим лучшим артиллерийские системы, а также реактивные установки, подобные «катюшам». Но, как вы знаете, получился не тот товар.

Чуть улыбнувшись, Лебедев продолжал:

— По анализу немецких солдатских писем можно

заклЮчить, что танкобоязнь, которую мы когда-то сами испытывали и которую они сейчас испытывают, приобретает у них в ряде случаев панический характер. В немецкой армии чрезвычайно усилились репрессии, достигающие крайней степени жестокости. Казни военнослужащих через повешение, групповые расстрелы стали обычным явлением.

Отступившие без приказа подразделения расстреливаются тут же, при отходе, на поле боя, специальными командами пулеметчиков. Отсюда следует, что стойкость солдат противника приобретает особое упорство — упорство смертников.

Прошу учесть также, что за неудачи некоторые немецкие полководцы уже были подвергнуты карательным мерам, и весьма решительным. Отсюда понятно, почему и в безнадежных обстоятельствах они продолжают вести военные действия без пощады к своим войскам, как говорится, до последнего солдата.

Поэтому только операциями на полное окружение расчлененных, раздробленных группировок мы можем избежать необходимости полного уничтожения живой силы противника. И в таком случае наше оперативное искусство служит не только победе, но и человечности, гуманизму, ибо мы сохраняем этим жизнь немецким солдатам, обреченным на смерть фашистскими полководцами...

Для самого генерала Лядова эта мысль, что советское военное искусство зиждется не на том, чтобы только путем массового уничтожения противника достигать победы, а на том, чтобы разящими дерзновенными, на всю глубину ударами расчленять его войска на острова котлов, окружений, и в них, в этих котлах, дать возможность сохранить жизнь тем, кто хочет ее сохранить, — эта мысль отвечала убеждению советского всеначальника. Поэтому он полагал, что в нынешний период войны доблесть полководца не только в том, какие силы противника уничтожили его войска в бою, а и в том, какое оперативное значение для всего хода сражения имеет выигранный им бой, то есть насколько этот бой содействует стратегическому замыслу, решающему всеобщую победу.

Поэтому на военных совещаниях он частенько недружелюбно, холодно и даже враждебно полемизировал с теми отдельными командирами, которые полагали: если их войска не вводятся в боевые действия на занимаемом ими участке фронта, то это равно недоверию к их боеготовности,

недоверию командиру в его способности сокрушить противника.

И, если направление главного удара назначалось на соседнем участке, такие командиры считали себя «обойденными» не по заслугам. Ибо до сих пор полагали, что сокрушить врага и уничтожить на занимаемых им оборонительных рубежах — главная доблесть, а вот войти в прорыв, ворваться на оперативное пространство, развивая успех, осуществляя сложнейшее взаимодействие всех родов войск, — это будто бы только использование плодов победы тех, кто сокрушил оборону противника.

Бой ныне обрел новые черты, и успех в нем достигался только объединенными усилиями всех родов войск.

Поэтому мышление в пределах только м о е г о полка, м о е й дивизии Лядов считал признаком военной отсталости и допускал такое мышление только в рамках армейской гордости боевыми заслугами своей части. Он требовал от командиров пехотных подразделений глубоких знаний боевых, тактических возможностей авиации, танков, самоходной и тяжелой артиллерии — всей той новой боевой, все более усовершенствованной техники, которая поступала в армию, усиливая ее ударную мощь.

3

Командир соседней с лядовской дивизии, генерал-лейтенант Белогривов, солдат первой мировой войны, участник гражданской, хорошо известный всем большим военачальникам и уважаемый ими не только за прежние заслуги, но и за те боевые успехи, которых достиг в первый период войны, сражался с превосходящим противником на важнейших стратегических направлениях, нанося невосполнимые потери врагу, срывая его оперативные планы героической стойкостью своей прославленной дивизии. Могучего телосложения, чуть тучноватый, с большим полным сизым лицом и широкой переносицей, с громоподобным гулким голосом и по-детски голубыми чистыми, временами с хитрым прищуром глазами, когда — простодушный, уступчивый, а когда — бесстрашно, яростно, упрямо отстаивающий свое мнение даже перед самым высоким военачальником, Белогривов с равным по званию держался с неким высокомерием, самоуверенностью главным образом потому, что за плечами у него был боевой опыт, которо-

му могли позавидовать многие. На военных совещаниях он обычно был неуступчив, напорист, но понимал: чем больше у человека власти и чем выше занимаемое положение, тем опаснее для него самого даже мелкие слабости. Зная о своих слабостях, он умел побеждать их. Так, он взял к себе начальником штаба человека ему малосимпатичного, во многом противоположного по характеру, полковника Быкова, бывшего преподавателя военной академии, известного своими теоретическими трудами, но не ратными. О таких военных ученых было принято острить в армейской среде: «Хорошо знает теорию военного искусства до первого выстрела». Но по отношению к Быкову этот афоризм Дениса Давыдова был неприменим.

Лысенкий, худенький, аккуратненький, со строгим, не улыбочивым и всегда озабоченным усталым лицом, Быков обычно молча выслушивал своего комдива, его пространные самоуверенные суждения, а затем приносил карты, плановые расчеты, плановую таблицу предполагаемого боя, произносил строго, требовательно:

— Прошу!

И терпеливо ждал, пока Белогринов, фыркая, возмущаясь, вычитывал весь материал и в конце концов, шумно вздохнув, объявлял:

— Согласен!— И ставил размашисто свою подпись. Произносил самодовольно:— Во! Умею кадры подбирать и доверять им. Конечно, в разумных пределах.— Предлагал радушно:— Поужинаем!

— Извините, на ночь воздерживаюсь.

И, собрав бумаги, Быков удалялся.

Но часто бывало и так, что Белогринов, поживаясь, конфузливо просил Быкова:

— Может, порассуждаем, потреплемся, а?

И Быков понимал, что хочет от него комдив. Развесив карту, взяв указку и разложив свои записи, повелительным тоном лектора начинал анализировать какое-нибудь минувшее сражение с точки зрения современного оперативно-го искусства и нынешних тактических возможностей. Закончив, вопросительно глядел на Белогринова.

Белогринов, как он выражался, «только для игры ума» шумно и гневно опровергал ряд соображений начштаба и, войдя в раж, объявлял громогласно:

— С такими, как вы, письменными вояками можно лишь на штабных учениях победы одерживать, а не на поле боя! И нет такого циркуля, которым можно измерить бое-

вой дух нашего солдата. А вы наших и ихних одними и теми же цифирями рассчитываете. Не согласен!

Быков молча уходил.

Белогривов, оставшись в одиночестве, долго мямл в широких толстых ладонях багровое разгоряченное лицо, пыхтел раздраженно, вспоминая все сказанное Быковым, брал телефонную трубку и говорил просительно:

— Василий Егорович! Чаек на столе. И даже специально для вас, как вы любите, лимон толсто нарезал. Заходите.

Потом, сидя напротив Быкова, произносил насупившись:

— В сущности, верно! Когда бой заранее весь точно обсчитан, и соотношение боевых средств противника с нашими обытожено, и вся обоюдная наличность известна, хотя по отношению к противнику и неполно,— только после этого можно уверенно искать новые способы ведения боя.

— Я полагаю, что планирование боя должно исходить из заранее поставленной задачи — нового способа ведения боя,— сухо замечал Быков.

— Правильно! — соглашался Белогривов. — Вот поэтому я вас и атаковывал, чтобы совместно это новое надежно выявить. — Говорил благодушно: — Я на вас, словно на противнике, только в словесной стычке сначала кое-что опробовал. Вроде разведки боем. Теперь полная ясность. — Упрекнул: — Если бы вы не так со мной хладнокровно рассуждали, я бы не горячился. Не люблю хладнокровных, не лежит душа.

— Со своей стороны, считаю обязанным вам доложить, — с достоинством произносил Быков. — Некоторые излишние крайности вашего темперамента приводят к излишним потерям моего штабного рабочего времени...

Хотя Белогривов и был старше Лядова по званию, он с уважением и даже с завистью поглядывал на его Золотую Звезду Героя и поэтому всегда выслушивал его с подчеркнутой внимательностью, отдавая должное высокой военной образованности Лядова и ценя, что Лядов уже сегодня озабочен тем, какой наша армия должна быть завтра, и с позиций этого будущего строго оценивает нынешние успехи. Все это нравилось Белогривову, который пережил не одну перестройку нашей армии в соответствии с возрастанием роли техники и военной науки и хорошо знал, как пагубна для армии любая медлительность в таких

перестройках. Все же он не мог иногда удержаться от того, чтобы не уколоть Лядова.

— Подвижные средства! Маневренность! — ехидно сощурившись, протяжно и гулко произносил Белогризов. — Тоже мне новации! А конная армия вам что? Вот где основы маневренности заложены. Прорубали фронт противника на всю глубину, выходили на оперативное пространство и кромсали так, аж перья летели! И охваты и захваты с ходу — все было! И аэропланы тоже порхали — только бронирование на них было дешевое. Положит летчик себе под зад чугунную сковороду — и порядок, — ерничал Белогризов. — Только вся разница в том, что вот я лично, не достигнув прапорщичьего звания, белых генералов бил! А нынче вот мы с вами — генералы, а как фашистских генералов бить, все задумываемся, лбы морщим, чешемся, философствуем!

И, когда Лядов, полагаясь в эту парочитую ловушку Белогризова, начинал ему всерьез доказывать новые особенности современной войны, Белогризов вначале хитропокорно слушал, кивая головой, благодарно басил:

— Ну спасибо, просветил! Ну и силен! — И вдруг, расхохотавшись, объявлял громогласно: — Вот! У генерала Лядова память! Что на первом курсе академии проходил, все запомнил. — И добавлял внушительно: — Между прочим, я, милоч, две академии окончил и одну — с отличием уже в возрасте, так что благодарю за внимание.

То, что фронт готовится к одному из решающих сражений войны, знали и Лядов и Белогризов. Но какая из двух дивизий будет избрана для нанесения удара на главном направлении, это для них было пока неизвестно, хотя обе дивизии находились в полной боевой готовности и получили почти равное усиление.

Если прежде оба генерала, и Лядов и Белогризов, на военных совещаниях, обычно соперничая друг с другом, вступали между собой в острую полемику с переменным успехом для обоих, то ныне в этой ситуации их соперничество обрело характер чрезвычайной почтительности друг к другу, и, даже когда открывалась возможность кому-нибудь из них показать свое превосходство, они избегали этого, руководствуясь чисто этическими побуждениями. И все понимали причину этого перемирия, столь тяготившего обоих генералов.

Командующий армией зачастил в обе дивизии, приглашал к себе их командиров и вместе, и порознь. Но оба

комдива заняли «жесткую оборону» и уклонялись от того, чтобы доказывать, что именно его дивизии следует поручить нанесение удара на главном направлении.

В обеих дивизиях командующий армией видел напряженную работу для решения такой задачи. Но отдать предпочтение какой-либо из них было преждевременно. Можно бы, конечно, предположить, что командарм нарочно держал в неведении комдивов, для того чтобы они еще ревностней вели подготовку к наступательным боям, соревнуясь в праве нанести удар на главном направлении. Отчасти это было так, но только отчасти, потому что командующий армией сам еще не пришел к окончательному решению, с какого плацдарма главный удар следует нанести. По разведанным, в противостоящей Белогривову дивизии противник имел глубоко эшелонированные, многополосные, отлично инженерно оборудованные позиции, с большой плотностью огневых средств, а также располагал значительными танковыми и механизированными силами.

Нанести внезапный массированный артиллерийский, авиационный и танковый удар по этим сгруппированным силам противника было соблазнительно уже потому, что противник, уверенный в своих силах, не ожидает такого удара, убедившись в том, что наступающая сторона обычно наносит удар там, где оборона слабее. Вместе с тем задача состояла в том, чтобы прорвать тактическую зону обороны противника в первый же день наступления и прорыв вести стремительно, в высоких темпах. Но при суженной полосе участка прорыва, при насыщении войсками исходного района атаки, при мощных огневых средствах противника это могло привести к излишним потерям.

Немецкие части, противостоящие дивизии Лядова, были защищены водным рубежом — неширокой, но довольно глубокой речушкой-протокой. На возвышенностях имелись сильные оборонительные узлы, система дотов и дзотов. Кроме того, через участок обороны противника проходила железная дорога, имелся бронепоезд, а также железнодорожный состав с открытыми платформами, на которых были установлены дальнобойные орудия.

На охране железнодорожной станции находилась зенитная часть, которая могла обратить свой огонь и против танков. Дивизия была эсэсовской, — значит, усилена огневыми средствами, из которых не все были выявлены.

Наша инженерная разведка обнаружила танкодоступную полосу прочного грунта, по которой можно было

достичь водного рубежа, но для того чтобы форсировать его, следовало заблаговременно построить переправу, что под огнем противника сделать было чрезвычайно трудно и грозило также большими потерями, если не попытаться одолеть речушку где-то вброд.

Как дивизионные штабы, так и штаб армии разработали план прорыва, но командарм, одобрив его в целом, воздержался утвердить приказом. Он принял решение сначала провести разведку боем.

Если вес артиллерийско-минометного залпа стрелковой дивизии недавно составлял 1100,7 килограмма, то ныне он достиг уже 2040,4 килограмма. Только одна тайная быстрая ночная доставка, складирование боеприпасов по калибрам требовали сложнейших ухищрений маскировки, соблюдения транспортом точнейшего графика. Подготовка к боевой армейской операции складывалась из такого множества разного рода перемещений и накоплений материальных средств, грузов, что ее можно было бы сравнить с внезапным перемещением хозяйства областного города в далекую ненаселенную местность и размещением его там за несколько дней.

Поэтому тылы армии стали сейчас фронтом, от четкости действий которого зависел исход сражения.

Организация действий этого фронта требовала такого же военного искусства, как и полководческое.

Артиллерийские бригады приданных средств усиления, танковые соединения пробирались в выжидательные районы с осторожной медлительностью ползущей черной лавины во мраке ночи.

Небо над ними сторожили от неприятельских самолетов-разведчиков наши ночники-истребители. Днем движение замирало. И только непогашенно над пустынными грунтовыми дорогами дымилась пыль, поднятая колесами, гусеницами армады машин, тягачей, танков. Чтобы заглушить этот мощный, как гул океанского прибоя, рокот машин, на передовых вели артиллерийский, пулеметный и минометный огонь по противнику, и солдаты досадовали на своих командиров, не ведая, чем вызван этот ничемный приказ — тратить боеприпасы, не переходя в атаку.

Весь район передвижения строжайше охранялся органами армейской контрразведки. Достаточно проникнуть сюда хотя бы одному вражескому лазутчику — и все гигантские напряженные усилия сохранить военную тайну

накопления сил на определенном плацдарме будут раскрыты врагом.

Некоторые армейцы весьма раздраженно реагировали на «слоняющихся», по их выражению, без дела патрульных, вежливо осведомляющихся: «Кто, куда, зачем?», которые при свете электрического фонаря со стеклом, залепленным черной бумагой, с проколотым небольшим отверстием для узкого светового луча, тщательно изучали документы и, откозыряв, внезапно исчезали так же, как внезапно появлялись. Но эти люди берегли то, что становилось решающим в бою, — внезапность. И немало их, расположившись в различных точках района, с наушниками на головах, выслеживало эфир, карауля чуждые позывные вражеской радиции, чтобы запеленговать ее, если немецкий радист заброшен сюда, и уничтожить его.

Войска, входящие в прорыв, нуждались не только в неиссякаемом снабжении боеприпасами, горючим, оружейно-механо-ремонтной обслугой, — как говорится, боепитанием, но и просто питанием, равным тому, чтобы накормить разом население областного города в условиях весьма своеобразных для кулинарии — под огнем в бою, когда повреждены источники водоснабжения, а существующие естественные надо еще предварительно подвергнуть химическому анализу на зараженность и отравление. Так что кроме снабжения горючим и смазочным надо заботиться о снабжении питьевой водой, водой, пригодной для приготовления пищи и даже умывания.

В прорыв вводятся подразделения медицинской службы, для развертывания их должен быть осуществлен четкий график наступательных действий войск, план расположения санбатов — надо обеспечить их безопасность, доставку всевозможным транспортом тяжелораненых после первичной обработки в тыловые госпитали.

Словом, существовало еще множество армейских служб, действия и работа которых входили как неотъемлемое слагаемое в планирование армейской боевой наступательной операции, соучаствуя в ее успехе как единое целое.

Армейский боевой приказ подобен научной лаконичной формуле, в которой сведено к единству величайшее множество факторов, тщательно, долговременно изучаемых, анализируемых, противоречивых, устоявшихся и рожденных новациями, еще не испытанными, и все это надо сложить в единый, безотказно действующий боевой механизм, целенаправленный к решению поставленной задачи.

Но, поскольку бой — это обоюдное столкновение двух мощных сил, в ходе его возможно всякое. Как бы ни было все тщательно предусмотрено, спланировано, в самом ходе боя может случиться нечто такое, что потребует новых решений, и они, эти новые решения, предусмотрительно и дальновидно должны в творческом мышлении командира складываться заранее. Командир должен предусмотреть всевозможные варианты, которые могут возникнуть и которые выгодно будет навязать противнику в бесконечно изменчивых ситуациях самого хода боя. И в этом тоже заключается полководческое искусство.

Вся эта безмерная нагрузка расчетов, соображений из огромного разнообразного числа слагаемых, разного рода назначений их действия и неразрывного сцепления их во взаимодействии ложится на ум командира, как на ум ученого решение проблем, связанных с раскрытием тайн материи. С той только разницей, что командиру для решения проблем боевой операции отпущено кратчайшее время и от правильности его решения сегодня зависит жизнь множества людей и сам ход истории — именно сегодня, а не в безгранично далеком грядущем, как у ученого.

И расплата за любое недостаточно обоснованное прогнозированное решение командира — это жизни солдат. Поэтому нет выше моральной, духовной, нравственной ответственности, которую берет на себя командир, принимая боевое решение, ни с чем не сравнима та ответственность, которая возлагается на него при этом Родиной.

И, что бы ни переживал сам командир в это время, как бы ни был обременен его ум сложностями в решении поставленной ему задачи, как бы ни был он раздражен выявленными в ходе подготовки к наступлению разного рода недочетами, недостатками у своих подчиненных и даже недоволен тем, что вышестоящие начальники не полностью пошли навстречу его требованиям в средствах усиления, он должен, обязан, особенно в этот период, быть сам лично образцом для всех в выдержке, уверенном спокойствии, обязан сохранять в памяти все то, что должно быть сохранено со всеми подмеченными, продуманными вариантами боя.

В ходе войны стрелковый батальон получил вместе с минометной ротой и батальонной артиллерией до семи подразделений. Кроме того, в дальнейшем он стал получать на усиление до танковой роты, до батальона самоходно-артиллерийских установок, до двух батарей полковой

и истребительно-противотанковой артиллерии, до взвода саперов; его поддерживало до трех артиллерийских дивизионов.

В связи с этим роль командира батальона в организации боя и взаимодействия неизмеримо возросла. Он стал, как и командир полка, общевойсковым командиром, и на нем лежали обязанности тщательно согласовывать действия в бою между 10—12 подразделениями разных родов войск.

4

Комдив Лядов долго колебался, прежде чем решил поручить возглавить группу разведки боем майору Пугачеву.

Лядов не сомневался ни в отваге Пугачева, ни в храбрости, ни в боевых качествах его батальона. Останавливала Лядова, как он считал, чрезмерная самоуверенность Пугачева, лихость, с какой тот обычно держался, этакая даже нагловатость, с какой он вызывался на трудное задание, уверяя бесцеремонно, что лучше его батальона нет в части.

Но главное заключалось в том, что Лядов сомневался, достаточно ли Пугачев владеет современными новейшими знаниями, необходимыми для управления в сложных условиях возросшим по своему боевому значению батальонным подразделением, усиленным для разведки боем.

Не так давно Лядов, зайдя как-то ночью к начштаба Быкову, застал там Пугачева, сутуло сидящего за какими-то тетрадками. Пугачев при виде комдива почему-то сконфуженно вскочил и откозырял, хотя на нем не было головного убора. Еще больше от этого смутился и, поспешно забрав тетрадки, удалился.

— Что ему тут надо? — недовольно осведомился Лядов.

Быков сказал, как всегда, сухо:

— Освежаю в своей памяти кое-что из академической программы. Комбат напросился стать жертвой. Читаю ему курс. При его способностях, полагаю, может стать абитуриентом при первом же наборе в академию.

— Это Пугачев-то? Ха-ха! — без улыбки сказал Лядов и больше к этому не возвращался.

Но именно этот ночной эпизод и натолкнул Лядова на мысль назначить Пугачева командовать группой, выделенной для разведки боем.

Когда Лядов объявил об этом Пугачеву, тот даже побледнел от радостного волнения, но тут же заявил, нахально улыбаясь:

— Прикажите только финиш для нашего кросса на максимальную глубину отнести. Приятно было бы, конечно, водрузить знамя на колокольне монастыря, где у них опорный пункт и штаб. Чем выше цель, тем выше подъем духа, — и вылупил блестящие насмешливые глаза на генерала, прищелкнул каблуками, вытянулся, вжимая мускулистый живот так, что на гимнастерке образовалась глубокая впадина.

— Кросс?! — спросил генерал. — Это что-то новое в военной терминологии. — Предложил неприязненно: — Изложите на карте свои спортивные соображения!

Но, когда Пугачев стал докладывать, склонившись над картой, обо всем, что он успел продумать и взвесить, генерал, выслушав, спросил даже с некоторой обидой в голосе на ту метаморфозу, какая произошла столь мгновенно в Пугачеве, утратившем браваду и вдруг проявившем себя весьма осведомленным командиром, так тщательно взвесившим все «за» и «против»:

— Вы учли, что если в первый период войны плотность минирования позиционной обороны противника не превышала 400—500 мин на один километр обороны, то ныне она возросла до 2000—2500 мин на один километр на участках ожидаемого наступления? Кроме того, усовершенствованы как сами взрывные устройства, так и способы их постановки.

— Мы целую коллекцию мин собрали, — живо сообщил Пугачев, — изучили со всеми сюрпризами. Кроме того, при консультации военно-инженерных представителей ведем занятия тренировочные. Катались с танкистами и самоходчиками с учебными целями взаимодействия. Они нами довольны, а мы — ими. Можете проверить. Ни одного взрывного хлопка.

— Я наблюдал за действиями вашего подразделения во время отработки минувших учений по ночному бою, — напомнил Лядов.

— А как же! — подхватил Пугачев. — Получил от вас тогда нагоняй за то, что лично вскочил на танк и прикрыл его смотровую щель плащ-палаткой.

— Не за это, — возразил Лядов.

— Я же понял — виноват! — бодро согласился Пугачев. — Неправильно, когда командир оставляет свой КП

и в бой лезет. Но я же только хотел на практике приемчик бойцам продемонстрировать.— Добавил хвастливо:— Два раза сам в бою применял, и получалось удовлетворительно.

Несмотря на то что Лядова ждали существенные дела, он пригласил Пугачева за стол и, наливая ему чаю, спросил:

— Может, вы предпочитаете что-либо покрепче?

— Ну что вы!— искренне сказал Пугачев.— В такое время голова должна быть свеженькая, как огурчик с грядки.— Спросил:— Хотите, товарищ генерал, видеть самого счастливого человека?— И, пренебрегая строгим, недоумевающим взглядом Лядова, объявил торжественно:— Смотрите, вот он! Это я!— И торопливо пояснил:— Я же знаю, как вам непросто было решиться меня назначить. Вы же столько шелухи во мне подмечали. Но то, что поверили, это награда, лучшая из всех возможных. На всю жизнь!

И в глазах Пугачева даже слеза мелькнула.

Лядов поморщился на эту, по его мнению, излишнюю восторженность, заметил:

— А если это будет моей самой большой ошибкой? Вы правы, многое в вас мне не только не нравится, но чуждо моему пониманию. Военная профессия прежде всего обязывает нас к величайшей самодисциплине во всем. Без самосовершенствования своего характера в соответствии с требованиями военной психологии быть достойным командиром невозможно, как без самоподчинения невозможны должны отношения с подчиненными. А у вас ваше «я» часто довлеет над вами. И это опасно.

Пугачев побледнел, мрачно потупился.

— Но,— продолжал Лядов ровным, спокойным, казалось, безразличным тоном,— командир, который приспособился быть только исполнителем и чувствует себя лишь рабочей, технической частицей военного механизма, командир, лишенный какой-либо самостоятельности, мне также чужд.— Усмехнулся:— У меня, знаете ли, есть слабость — люблю музыку...

— Вы случайно не родственник?..

— Композитору Лядову? Нет!— сердясь, что его так бесцеремонно прервали, резко сказал Лядов.— Продолжим. Оркестр повинуется дирижеру. Но знаете, когда я слушаю оркестровую музыку, я способен в оркестре уловить каждого исполнителя. И вот в этой сложной организации, повинующейся воле дирижера, всегда можно уловить талантливую исполнителя, который и вносит нечто

такое, что придает особенность звучанию всей партитуры, всего оркестра. Вам, может, непонятно? — встревоженно осведомился Лядов.

— Если попросту, — сказал Пугачев, — есть во всяком деле люди талантливые и так себе. — Хитро сощурился: — Но талантливые, они знаете какие? Норовят прежде всего себя выявить, что они талант!

— Правильно! — согласился Лядов. — Вот именно эта сторона меня в вас и беспокоит.

— Ну какой я могу быть этот самый?.. — смутился Пугачев. — Если иногда, вы правы, выпендриваюсь, так это скорей признак плохого, чем хорошего.

— Вот это я и хотел от вас услышать, — сказал Лядов и, протянув руку, заявил: — Вы не будете моей ошибкой, зная сами свои ошибки и недостатки...

Выведенный в тыл дивизии батальон Пугачева со всеми приданными ему средствами отрабатывал на местности, подобной той, на которой им предстояло действовать, все приемы ведения боя в сложном и стремительном взаимодействии.

Странные перемены произошли в самом Пугачеве. Из натуры размашистой, эмоциональной, командира, прежде нетерпеливо распекающего подчиненного за любое упущение, человека азартного, шумного, яростного и восторженного он превратился в некое подобие типичного закоренелого штабника. Погруженный во множество записей, расчетов, разного рода составленных им таблиц, он в перерыве собирал командиров и, не отрывая глаз от своих записей и расчетов, монотонно, вполголоса, почти равнодушно разъяснял, будто на занятиях по математике, те формулы, которые он составил и выполнение которых было связано с темпом огня и передвижения и схемами взаимодействия приданных сил, будто представлял не бой, а лишь практические занятия по заданным расчетам, схемам, временным исчислениям, при множестве слагаемых.

О противнике он впервые говорил уважительно, докладывал, сколь обоснованно, научно, расчетливо построил противник схему своей обороны, взаимодействие всех огневых средств и умно использовал все особенности местности.

— Так что, — говорил Пугачев, — прошу каждого все сказанное продумать критически, проанализировать и выйти с обоснованными новыми предложениями, пока у нас еще есть время учесть все и затем реализовать.

Впервые Пугачев отказался в конце сбора командиров

от излюбленного своего обещания — наградить фашистов от себя лично не железными, а деревянными крестами.

Он стал строг к словам, к себе и в обращении с подчиненными торжественно сдержан.

5

На рассвете только что вернувшийся из тыла противника капитан Лебедев был вызван к командарму.

Прихрамывая, он вошел в землянку и остановился, щурясь на яркую электрическую лампу с аккумуляторным питанием.

Командарм, посмотрев на поврежденную ногу Лебедева, спросил соболезнующе:

— Ну как? — Предложил поспешно: — Садитесь. — И придвинул табурет.

Лебедев, не садясь, твердо опершись на раненую ногу, доложил:

— В тылах немецких частей, противостоящих дивизии генерала Лядова, в лесистой и заболоченной местности сосредоточены значительные силы партизанского соединения под командованием полковника Солицева. Полковник предлагает: одновременно с наступательными действиями дивизии Лядова нанести партизанскими частями удар по тылам противника с выходом навстречу нашим наступающим частям. Полагаю, что партизаны будут действовать особенно активно в связи с тем, что их боевые усилия будут направлены против дивизии эсэсовцев.

— То, что вы стоите, да еще в такой напряженной позе, как бы требующей от меня немедленного ответа, ставит меня в затруднительное положение, — усмехнулся командарм. — Давайте на равных — сидя обсудим.

Лебедев покорно сел, но поза его оставалась напряженной.

— Вы предлагаете включить партизанские отряды в ход операции как полноценные боевые части?

— Именно, — сказал Лебедев и добавил самоуверенно: — Партизанское движение сейчас обрело новый характер и качество. Это уже не, как вы выразились, отряды, а вполне обученные воинские подразделения, части и даже соединения. Во главе их стоят уже не вожаки, а командиры с богатым боевым опытом и соответствующие штабы из кадровых военных.

— Но вы по своему опыту, мне кажется, больше осведомлены о специфических способах организации действий особо подготовленных людей, — улыбнулся командарм.

— Я военный разведчик, — сухо отрекомендовался Лебедев. — И, как вам известно, не считаю наши функции только вспомогательными.

— Ну, ну, — сказал командарм. — Не думайте, пожалуйста, что я умаляю вашу роль в нашем общем деле. Но поймите: у меня нет такого опыта, на основе которого я мог бы правильно оценить боевые возможности партизан в совместных действиях с частями регулярной армии.

— Ну и ну! — почти передразнивая, вызывая произнес Лебедев. — А кто, как не вы, в период гражданской войны применял такой род действий еще под Царицыном?!

— Так кто я тогда был? Шахтер, комиссар. Все военное образование — два года рядовым на империалистической.

— Знаю, — сказал Лебедев. — Поэтому позволил себе напомнить. — Вынул из планшета карту, приложенные к ней бумаги, протянул командарму: — Вот поэтапный план, разработанный штабом полковника Солнцева.

Командарм долго и тщательно изучал план боевой операции партизан, вздохнул.

— На бумаге все грамотно, все логично. — Поморщился: — И что они за это от нас просят? Ну там вооружение, боеприпасы, прочее?

— Ничего! — сказал Лебедев. — Только приказ от вас.

— Ну так нельзя, даже неприлично, — усмехнулся командарм. — Вы уж, пожалуйста, потрудитесь, со штабом составьте список всего того, что мы можем одолжить и доставить, конечно.

— Вот, — протянул новую бумагу Лебедев. — Здесь все мной изложено и в весьма скромных размерах.

— М-да, — протянул командарм. — Мужчина вы не только решительный, но и стремительный. — Спросил, сведя строго брови: — А если я подпишу не читая?

— Благодарю за доверие! — привстал Лебедев.

Командарм положил руку ему на плечо, не давая встать, а сам, расхаживая по землянке, говорил словно сам с собой:

— Новый момент, и почти складывается окончательное решение. Двойной фактор внезапности: с фронта и с тыла. Это новость! В боевых действиях крупного соединения — соблазнительно. — Резко повернулся: — А как Лядов?

— Он захотел сам лично побывать у Солнцева. Но я решительно возражаю: недопустимый риск. Могут сбить, кроме того, у меня там кое-кто на подозрении, изолирую только в самый канун операции. Чтобы скрыть ее цель. Мы договорились с Солнцевым: его партизанам отдан приказ — готовиться якобы к отходу. Это для дезинформации противника.

— Творческая у вас работенка, с фантазией, — сказал командарм одобрительно. — С вами, очевидно, в шашки не сыграешь: обжулите, перехитрите.

— Но вы тоже мастак, — усмехнулся Лебедев. — Вывели на исходные позиции танки на форсированном режиме, а затем втихомолку увели обратно. А фанерные макеты наставили!

— Так, на всякий случай, — улыбнулся командарм.

— А по чьему приказу денно и ночью барражируют истребители над пустым местом? — спросил Лебедев.

— Ну уж это, пожалуйста, между нами... Кстати, это вы лишили наших бронебойщиков возможности поупражняться на трофейном танке?

— Я, — сказал Лебедев. — Вызвал срочно ремонтников. Обещают восстановить. — Усмехнулся: — Хотя мне не положена персональная машина, но самовольно присвоил танк себе. Возможно, когда-нибудь посажу на него наших ребят. Есть мыслишка.

— Не совсем это этично — воевать на немецком танке.

— Вам — да, а нам можно, — добродушно заметил Лебедев.

— Вы, кажется, у них одно время даже занимали какую-то должность?

Лебедев вскочил, вытянул руку:

— Обер-лейтенант Герхард Шуман, командир ремонтно-танкового подразделения.

— Вы что, и в технике разбираетесь?

— Работал на Харьковском тракторном заводе слесарем-сборщиком.

— У вас что же, влечение к технике?

— Нет. Проходил практику в соответствии с характером полученного задания.

— А есть области знаний, в которых вы недостаточно осведомлены?

— Есть, — смущенно сказал Лебедев. — Не постиг семейной жизни. Здесь для меня все загадка.

— Для меня тоже, — быстро согласился генерал. — Вот,

представьте, женат тридцать лет. Воевать начал с шестнадцати. Дураком пошел, добровольцем, в первую мировую даже «Геоorgia», представьте, получил за храбрость. А вот помереть боюсь! И знаете почему? Из-за ревности. Как подумаю: Анята — вдова, и к ней какой-нибудь мой приятель генералишка потом будет свататься — сразу в ярость бросаю. А ведь мы с ней, как близнецы, жизнь прожили — все вместе.

Из этого интимного признания Лебедев понял одно: командарм принял план Солнцева, и теперь дальнейшее будет разработано в штабе армии.

Лебедев побывал на учебном поле, где Пугачев проводил отработку задания своим подразделением. Понаблюдав, подошел к Пугачеву, сказал ехидно:

— Что-то в вас этакое солидное, маршальское объявилось: и голос не тот, и повадки. Не узнаю.

— А вы все всюду лазаете? — спросил Пугачев и, спохватившись, произнес степенно: — Очень рад! Хотел бы посоветоваться.

— Пугачев? Советуется? Это новость! — улыбнулся Лебедев.

— Вы оттуда, — сказал Пугачев. — Пожалуйста, найдите время. — И лицо Пугачева, и тон, каким он произнес эти слова, не только удивили, но и обрадовали Лебедева, ибо в этом он почувствовал то новое, чего раньше не было в Пугачеве и что раздражало Лебедева именно своим отсутствием.

Петухова Лебедев нашел у танкистов. Тот выглядел в высшей степени странно: перемазанный тавотом, в клочках пакли на засаленном обмундировании, он возился с какими-то жестяными трубами, прилаживая их с танкистами к выхлопным трубам машин.

— Товарищ капитан! — просиял Петухов при виде Лебедева. — Смотрите, как мы здорово придумали! Все пазы герметически зашпакуем. Жестяные трубы поверх над башнями выведем, и все. Будь здоров! С ходу водную преграду форсируем... Я ночью с инженерной разведкой ходил, все дно прощупали. Грунт твердый, только с их стороны берег вязкий, но мы изготовили настилы. Сбросим, и порядок. Вот, пожалуйста, познакомьтесь. Командир танковой роты капитан Соловьев! Представьте, мы с ним в одной школе учились, он капитаном футбольной команды был, а теперь просто капитан. Я так рад, что здесь встретились, учителей все вспоминали.

Соловьев, тощий, смуглый, темноглазый, хмурый, сказал заикаясь:

— Капитаном не был, центром нападения — да.

— У вас это откуда? — озабоченно осведомился Лебедев и показал ладонью себе на горло. — Контузия?

— С детства. А что? — неприязненно спросил Соловьев.

— Да вот у меня жена, — вдруг соврал почему-то Лебедев, — тоже того! А вы не пробовали...

— Не пробовал, — Соловьев улыбнулся. — В школе выгодно, на устных меньше тройки не получал, даже нарочно старался усилить свой недостаток. Слишком футболом увлекался, не до уроков было, а вообще мог бы. Когда хорошее настроение, само проходит, как вот сейчас. Почти незаметно.

— Да, — сказал Лебедев. — Совсем чуть-чуть, еле заметно.

Оглядывая танк, вмятины в его броне, свежие швы сварки, спросил:

— Из ремонта? Ваш?

Соловьев нежно провел ладонью по броне танка, сказал:

— Хороший конь, многострадальный, столько раз выручал. Его вместо памятника поставить после войны на какой-нибудь площади города, куда он первым врывался.

На башне танка было написано: «Папе от Леночки». Соловьев, поймав взгляд Лебедева, объяснил хмуро:

— Был у нас комбат, дочь его вместе со школьниками средства насобираала, на них этот танк отцу купила, а комбат погиб в этом же танке. С тех пор я на нем воюю за эту Леночку, и за комбата, и за все прочее. Ясно?

Командарм отдал приказ провести разведку боем одновременно с разных участков по всему фронту армии, но наибольшие средства усиления придал дивизиям Лядова и Белогривова.

На Военном совете он сказал:

— Конечно, это до некоторой степени шаблон — в канун наступления проводить разведку боем: противник соответственно подготовится к отражению главного удара. Но поскольку атака будет сразу с нескольких участков, на многих направлениях, противник будет лишен возможности определить, откуда грозит удар основных сил... Полагаю, что и мы в зависимости от успеха прорыва должны

молниеносным маневром средств усиления, развивая успех, избрать главное направление удара.

Когда кто-то из членов Военного совета усомнился в Пугачеве, командарм заметил:

— Владимир Ильич учил нас: качества руководителя определяются не силой власти, а силой авторитета, силой энергии, большей опытности, большей разносторонности, большей талантливости. Именно последнее и склонило генерала Лядова предложить нам на утверждение эту кандидатуру.— Потом, улыбнувшись, добавил: — Полагаю, что будущих командармов мы должны искать и воспитывать сегодня же из числа наших молодых командиров. Недостатки Пугачева нам известны, но вот открыть в нем незаурядное военное дарование доверием — это вклад не только в сегодняшний наш успех, но и в армию будущего.

— Правильно,— громко согласился Белогривов.— Мне после Перекопа по приказу товарища Ленина дивизию доверили. А сколько мне было? Двадцать два. Восемь ранений, церковноприходская, империалистическая. И только с восемнадцатого член партии. В то время, когда у нас командиры и комиссары были еще с дореволюционным стажем. А вот выучили же.— Произнес задумчиво: — Товарищ Ленин еще указывал: находить в себе многих. Это что значит? Вот я тоже был хлопец со всячиной, как и Пугачев. Выстругали же...

6

Лебедев отбыл в тыл противника вместе с отобранной им группой, куда он включил Хохлову, но решительно отказал Ольге Кошелевой. Он сказал ей жалобно и растерянно:

— Пойми меня! Я тоже, как каждый человек, со слабостями. До сих пор я был защищен от одной из существенных человеческих слабостей и не потворствовал такой слабости. А теперь — ты! Главное в моей жизни. Страх потерять тебя может превратить меня в цуцика.

— А что такое «цуцик»? — спросила Ольга, машинально прижимая ладонь к пустой глазнице.

— Точно не могу сказать. Очевидно, нечто хлипкое, во всяком случае, противопоказанное солдату,— сказал Лебедев.

— Значит, оттого, что я тебя люблю, тебе плохо?

— Я счастлив, как идиот! — воскликнул Лебедев. — Даже неловко перед другими. — Пожаловался: — Стараясь скрыть, не получается.

— Скрыть то, что ты любишь? — бледнея, спросила Ольга.

— Да нет, то, что со мной от этого происходит. Ну, радуюсь всему и всем. Этаким праздничный дурак — со стороны получается.

— Так это плохо?

— Хорошо. И мне и другим. Мне вот Бобров заявил: «С вами, товарищ капитан, мы, видать, весело воевать будем, такой у вас настрой нынче симпатичный. На удачу точно рассчитанный». — Отведя от лица Ольги ладонь, Лебедев бережно поцеловал ее в пустую глазницу, произнес кротко: — Помни, что нас с тобой уже на всю жизнь одной миной породнило. Так что предварительно во фронтовом загсе мы уже побывали.

Лебедев вылетел в ночь на выкрашенном в черный цвет транспортном самолете резерва дальнебомбардировочной авиации. И в ту же ночь Петухов с группой минеров вышел на расчистку проходов для усиленной разведгруппы.

Наряду с обычными минами противник ставил мины в фаянсовых оболочках и в деревянных ящиках — итальянские, недоступные для миноискателей, их обнаруживали только щупами. Кроме того, были обнаружены всевозможные ловушки — сюрпризы «многоэтажной» постановки мины, с тонкими, торчащими метелочкой усиками, проводочными путами. Даже при легком натяжении выскакивала чека взрывателя.

Минеры работали бесшумно и так же бесшумно пересмеивались, обнаружив хитрые уловки врага.

Их движения были осторожны, тщательны, почти как у хирургов. Переговаривались они мимикой, жестами, как глухонемые.

Там, где обнаруживали большую плотность миного поля, устанавливали удлиненные заряды, чтобы взорвать их сразу, когда начнется продвижение группы.

Ночь была облачная, и, когда, словно выдавленная из облаков, вываливалась луна, освещающая все вокруг ледяным светом, минеры замирали на земле и отдыхали, выжидая, пока луна скроется. В бурых маскхалатах они походили на болотные кочки.

Убедившись в том, что минеры работают чисто, Петухов уполз обратно в свое подразделение, близко окопавшееся на исходных.

Люди спали на дне траншей, прижимая к себе оружие, спали в касках, пружинистый металлический обод в которых заменял им подушку.

Атык Кегамов сипло пререкался с начальником боепитания, требуя от него сверх положенного противотанковых и обычных гранат, лживо утверждая, что наличность была израсходована полностью. В азарте предлагал:

— Обыщите, пожалуйста. Найдете — ваш верх, не найдете — уж извините, пожалуйста. Не прощу недоверия и скупердяйства.

В землянке Петухова ждала Соня.

Она сказала возмущенно:

— Лебедев меня не взял! А вот Нелли через замполита навязалась к Пугачеву радисткой. Такая несправедливость.

— А тебя кто сюда отпустил? — спросил Петухов.

— Сказала — к мужу, и все!

— Ну уж к мужу, — недоверчиво произнес Петухов. — Зачем обманывать?

— Кого обманывать — себя?

— Нет, вообще, — смутился Петухов.

— Тебе не нравится, что я так сказала?

— Почему же, если по существу...

— Так вот, я так не говорила. И может быть, так никогда никому не скажу. И тебе тоже.

— Не сердись, — мягко попросил Петухов. — Я чего боюсь? Вдруг после войны я тебе не понравлюсь? Здесь я чему-то выучился, а после войны кто? Все сначала, как сразу после школы, — кем быть? А другие уже кем-то стали. Мне вот Соловьев, танкист, старшеклассник из нашей школы, говорит: «Многие из наших уже инженеры, врачи, строители». А я кто?

— Ты мой. Этого тебе мало? — строго спросила Соня.

— Даже больше, чем положено, — усмехнулся Петухов. Произнес жалобно: — Но мне все не верится, что ты всегда при мне будешь.

— А мне верится! — сказала Соня. — Что же, по-твоему, Короленко врал, что человек рожден для счастья, как птица для полета?

— Если б воевал, такое не писал бы, — возразил Петухов.

— Но ведь мы вожем, чтобы потом все были счастливы. Значит, правда.

— В общем и целом, пожалуй,— промямлил Петухов.— Даже вот война, а я счастливый — тобой, конечно, и товарищами тоже.

— А без «тоже» нельзя?

— Можно, но неправильно. Мы ведь не сами по себе, а из-за того, что другие такие.

— Ты ложись и спи,— приказала Соня,— я над тобой посижу, постерегу, чтобы заснул. На мою руку, и спи!

— Спасибо,— сказал Петухов и послушно прикорнул на нарах. Во сне его лицо стало ребячески добрым, слабым, беспомощным.

Соня, склонившись над ним, вспоминала, с каким хвастливым азартом Петухов перечислял ей приданную его роте боевую технику.

— Если только на деньги,— говорил Петухов,— так не меньше миллиона стоит! И все под мою ответственность!

Он ученически зубрил по справочникам данные о скорострельности, дальнобойности, поражаемости различных калибров снарядов разного назначения, составляя таблицу боя. Говорил озабоченно, морща лоб:

— На каждый целевой объект я прикинул минимальный и оптимальный расход боеприпаса. Надо наизусть запомнить, чтобы на всякий случай резерв обеспечить. У нас два танка, даренные трудящимися, с именными надписями. Возле них проведу митинг перед боем, чтобы как клятва получилось не кому-нибудь вообще, а вот тем, кто танки подарил: рабочим, колхозникам и еще Леночке, дочке павшего батальонного. Хорошо бы портрет ее иметь. Чтобы, у кого дети, тех в особенности воодушевить.

— А у тебя моей фотокарточки нет,— вздохнула Соня.

— Ты вся при мне,— сказал Петухов.— А вот другим хуже, у кого семья. Значит, надо дать понять: сберег в бою даренные машины — это все равно как на память от семьи, они каждому по-особому дороги.

— А ты на танке поедешь? — спросила Соня.

— Хотелось бы,— мечтательно улыбнулся Петухов.— Сидишь на нем, как на самодвижущейся скале гранитной, и кажется, что он — это ты! Нас даже обещали «катюшами» проводить, и самоходки пойдут за танками, взвод огнеметчиков. Только бы справиться — такая техника сильная, дорогая, и все нам.

— Раз много сил дали, значит, и у фашистов большая сила, — опасливо сказала Соня. — Ты смотри... осторожней!

Петухов, не обратив внимания на эти ее слова, заявил восторженно:

— Если такой новой техники нам надавали столько, что даже не знаю, как с ней управиться, значит, мы их в главном уже победили. В самом главном мы их сильнее оказались. Миллионы рабочих на войну ушли, сколько заводов разрушено, а вот, пожалуйста, что ни год — нам все больше и все лучше. Во народ, а!

— А ты кто?

— Что я? Как все, и только. Воюю, а было б нечем, и меня бы не было.

...Прижавшись мягкими губами к ладони Сони, Петухов спал скорчившись.

7

Как выглядят исходные, когда их покидает пехота для атаки? Лежат скатки шинелей, котелки, вещмешки и недочитанные книги, заложенные травинками на тех страницах, где солдата застиг сигнал к атаке. И еще множество окурков, втоптанных поспешно в землю.

Пехотные подразделения ночью вышли из траншей и залегли перед решающим броском на исходной.

Танки с посаженным на них десантом, самоходки, артиллерия на тягачах рванулись одновременно, когда тихое небо пронзили две зеленые ракеты. И в мгновение словно само небо треснуло, лопнуло, обрушилось, залило пожаром. От огневых потоков «катюш», гула дивизионной артиллерии, шороха «Илов» в небе, басового ворчания тяжелых бомбардировщиков и сотрясающих пространство земли орудий больших калибров. И, как расплавленная лавина, содрогалась земля там, куда падали, рушились бомбы, снаряды, озаряя ночное небо багровым трепещущим пламенем.

Ударная разведывательная группа рванулась на назначенную ей полосу, словно в пожар, в агонию, вызванную землетрясением.

Запаклеванные танки с жестяными выводами от выхлопных труб шлепнулись в реку, как гонимые слепня-ми быки, и, вздымая гусеницами высокие, плоские, грязные фонтаны, вылезли, скользя, на тот берег.

Саперное подразделение словно стряхнуло с танков, люди закопошились, налаживая переправу из бревен и настилов, которые волокли за собой танки на толстых тросах.

И здесь саперов сменил десант подразделения пехоты. Держась левой рукой за скобу башни танка, Петухов, прижимая правой к груди автомат, видел, как из реки стали вздыматься столбы черной воды от снарядов противника.

Танки шли вслед мечущемуся впереди огненному валу.

Сминая проволочные заграждения, танки медленно, осторожно перевалились через первую траншею. Здесь Петухов со своими бойцами покинул машины.

Против ожидания бой тут оказался кратким. Противник оставил только незначительные заслоны. И Петухов понял, какой капкан изготовил враг. Он отвел свои войска в глубину, рассчитывая на то, что наш артогонь обрушит всю свою мощь на обезлюдевшую полосу. Петухов подполз к связисту и передал в дивизию о своем открытии.

В траншеях шел рукопашный бой. Но Петухов, весь сжавшись, со страхом ждал, прекратят ли наши огонь, столь спасительный для его бойцов, но столь не соответствующий силам оставшегося здесь противника, или будут расходовать зря боекомплект, не поверив ему, Петухову, пока сверху не отменят приказ.

И когда внезапно тяжестью обвалилась на всех тишина, разрываемая только пулеметными и автоматными очередями, многие бойцы подумали, что дивизия оставила их без мощной огневой поддержки.

И Петухов от солдата к солдату передавал по цепочке, чем вызван этот перерыв в огневой поддержке, радуясь и обрстая снова не только смелость, но и новое воодушевление оттого, что высокое командование поверило ему.

Но силы противника, оставленные для заслона в первой оборонительной полосе, были все-таки значительны, и ближний, рукопашный, бой велся на ней так, словно и не существовало ни танков, ни самоходок, ни авиации, ни реактивных минометов.

С первобытной яростью и свирепостью в темноте ночи, прожигаемой только вспышками выстрелов, дрались в траншеях.

Оставшиеся в окопах фашисты знали, что они приговорены, как смертники, и бились, как смертники.

И когда подразделение Петухова вырвалось к новой оборонительной полосе, их встретил плотный, хорошо организованный шквал огня. Подразделение залегло в захва-

ченной траншее, заваливаемое комьями земли от близко рвущихся снарядов и мин.

Тогда Петухов, припав, задыхаясь, к трубке полевого телефона, жалобно, нищенским голосом пролепетал:

— Теперь бы в самый раз огонька по ним побольше, вышли к главным сосредоточениям, пожалуйста. Обозначаю себя ракетой, они метрах в ста, основная оборона.

И, взяв ракетницу, подобную древнему дуэльному пистолету, выждав несколько секунд, нажал на спусковой крючок.

Красная ракета круто взвилась и затем, как бы нехотя умирая, рассыпалась, лопнула светящимися искрами в темном небе.

И снова сотряслась земля, багрово осветилось небо, и стали ложиться снаряды, выбрасывая черные сугробы земли и дыма, просвеченные оранжевым пламенем.

— Пошли, пошли, товарищи! — крикнул Петухов, указывая стволом пистолета, словно черным пальцем, на трепещущую, рушащуюся стену огня и металла, в которую они должны войти, чтобы, защищаясь ею, прорваться дальше.

Чуть позади этого все сметающего огненного вала, каждая секунда которого стоила стране миллионы, они двигались в пыли, во мраке, как призраки, боясь отстать от огненного вала и страшась одновременно слишком к нему приблизиться. Они ступали на раскаленные осколки, на опаленную, обожженную землю, в горячих ямах после разрывов. Хрипели, задыхаясь в пыли и едком воздухе, отравленном пороховыми газами, испытывая жгучую жажду, отплевывались от пыли и гари — угоревшие и осатаевшие, как в чаду.

В эти мгновения они были и к себе беспощадны, и к врагу.

Каждый был охвачен той отрешенностью от всего, которую можно было бы назвать иступленностью, если бы в эти мгновения бойцы утрачивали расчетливость, сноровку, сосредоточенность всего себя на том, как ловчее «сработать» врага тем оружием, которым ты располагаешь, и тогда, когда это наверняка.

Сиплыми, грубыми голосами они перекликались, указывая друг другу цель — куда следует швырнуть гранату, или ударить из ручного пулемета, или просто дать лучшему стрелку свалить врага прицельным огнем.

Набросив трупы погибших на валы, скрученные из

колючей проволоки, они переползали по ним и валились в траншею врага; лежа на спине, били из автоматов, пока другие вскакивали сюда, брызжа длинными очередями из своих автоматов.

Вместе с подрывниками и огнеметчиками Петухов подползал к дотам и дзотам под прикрытием огня сорокапятков, которые расчеты подкатывали вскачь для прямой наводки; и, подползая вплотную, направив струю огнемета в амбразуру, бойцы выжидали, пока минеры справятся с закладкой взрывчатки под основание дота или дзота.

Вначале противник отвечал на огонь нашей тяжелой артиллерии огнем своей дальнобойной, но затем он был вынужден перенести огонь на полосу прорыва. И огненный ад переместился на наступающее подразделение.

Петухов приказал всем закрепляться для передышки на захваченной новой полосе. Обходя бойцов, он кричал, наклоняясь к каждому:

— Мы их уже облапошили! Все свои огневые средства на нас раскрыли. Теперь наши засекут. Видать, они решили: мы — дивизия, а нас — рота. Значит, такого духу им дали, словно вся дивизия. А нас — рота. — И улыбался, хотя это было сверх сил — улыбаться.

Лежали в забытии тяжелораненные, а легкораненные, с серыми, обескровленными лицами, с закушенными губами, смотрели на Петухова строго и, может, осуждающе за эту улыбку.

Но он упорно продолжал улыбаться. Ради них самих, чтобы внушить, что то, что они свершили сейчас, — подвиг.

Освещая ручные часы сильной затяжкой сигарки, Петухов тревожно считал, сколько осталось до рассвета, до того рубежа, которого они обязаны достичь затемно, чтобы оттуда начать новый бой вместе с теми приданными силами, которые присоединятся к ним на новом рубеже.

Впереди несколько крупных опорных пунктов противника. В дефиле между ними оборонительная двойная линия сплошных траншей, а за ними крепость монастыря, железнодорожная станция. Бронепоезд, артиллерийские бронеплощадки и шоссейная дорога с твердым покрытием, по которой противник может быстро перебросить подвижные силы подкрепления.

В окоп прыгнул черный, запыленный, с лихо сдвинутой на потный затылок каской Пугачев. Спросил зло:

— Перекурром занимаетесь? Уморились? Отдыхаете?

Петухов внимательно оглядел Пугачева, сказал неприязненно:

— Отдыхаем!

— Ладно, — согласился Пугачев. — Вы мне и нужны только свеженькие. — Разложив на коленях карту, водя по ней пальцем, стал объяснять: — Тут вот, перед опорным пунктом, на карте озеро. Было озеро. Лебедев сказал: на озере всплыл слой торфа такой плотности, что людей может выдержать. Я тебе отдаю взвод ручных пулеметчиков и петеэровцев. Беру все станковые и сорокапятки. Огнеметчиков тоже тебе. Вали туда и переправляйся, как Иисус Христос, ногами по водной поверхности, а вернее и надежнее — на брюхе. И сразу на штурм высоты, с ходу! Дай знать, понятно, ракетой, как начнете брать высоту, а я тебе за это эскадрилью штурмовичков подкину, по договоренности с высшим... — Пугачев при этом закатил глаза. — Во как людей снабжают по первой категории!

В окоп вместе со связным, несущим рацию, осторожно спустилась Нелли Коровушкина.

Пугачев, пренебрежительно кивнув на нее, сказал:

— Видал?! Какое роскошное оптическое видение! Командующий комсомолом дивизии мне ее подsunул, придал как главное стимулирующее средство. Богиня! А на черта мне она? С бойцами ни одного соленого слова не скажешь! От нее зайкой стану. Если ухлопают — туда-сюда, а если искалечат — человечество не простит! Такую красоту допустил повредить!

Нелли спросила вызывающе:

— Это вы обо мне?

— Нет, о себе! — грубо огрызнулся Пугачев. — Вот ротный даже сочувствует... Так вот, Гриша, — впервые обратился Пугачев к Петухову по имени, — давай действуй, дорогой мой товарищ! — Похлопал по плечу: — Ни пуха ни пера!

Рассвет уже брезжил, когда рота Петухова, хлюпая в заболоченной жиже, продираясь сквозь кустарник в сизой плесени тумана, вышла к озеру.

Действительно, озера не было.

Бурая, словно войлочная, толща всплывшего торфа закрывала поверхность. У берегов — по пояс чистой воды,

но затем она постепенно переходила в плавающий торфяной остров, на который, сначала проваливаясь, бойцы вскарабкивались поодиночке и ползли, распластавшись, раскорячившись, как лягушки в воде.

Атык Кегамов, достигнув первым почти середины торфяного островка, в доказательство того, что торф держит, исполнил несколько па лезгинки.

Только когда рота уже переползла большую часть всплывшей торфяной толщи, противник обнаружил солдат и открыл артогонь. Но снаряды, падая, пробивали торф и рвались уже под водой, и толща лишь вспучивалась сугробом, взлетала на месте разрыва бурными мокрыми клочьями и потом колыхалась под бойцами, как гигантское брюхо ископаемого волосатого животного.

Достигнув берега, бойцы, рассыпаясь цепью, исчезали в кустарнике, покрывавшем склоны высоты опорного пункта противника, и, когда последний боец скрылся в кустах, Петухов послал в небо красную ракету, как было договорено с Пугачевым, и после этого сам устремился в чащу.

Продираясь сквозь нее и слыша только треск сучьев, шорохи продирающихся, как он сам, солдат, Петухов угрюмо думал о том, что каждый из его бойцов предоставлен сейчас самому себе. Но ведь от того, выйдут ли они одновременно на самую высоту, будет зависеть успех всего ее штурма.

Конечно, противник не ожидал, что его так внезапно, в лоб атакуют на этой высоте.

Батарея, расположенная на ней, была назначена для дальнобойного огня. Наверняка она охраняется не меньше чем ротой автоматчиков. А рота Петухова уже ослаблена потерями, и люди после подъема на высоту выдохнутся. Нужен одновременный бросок.

Петухов не увидел, а услышал свистящий шорох приближающихся на бреющем полете штурмовых «Илов». Они шли почти вровень со своими теньями на земле. Поспешно застучало несколько зениток, каждая из них была со сдвоенными стволами.

Хватаясь за кусты, Петухов карабкался по склону, обливаясь жарким потом, царапая лицо, руки. Обмундирование трещало и лопалось, раздираемое сухими сучьями. И, когда он поднялся на высоту, его оглушило гулом рвущихся авиационных снарядов, ослепило едким, ярким огнем вспышек реактивных. И пока он копался в кобуре,

висящей на левом боку, доставая ракетницу, и вставлял в нее зеленую сигнальную ракету, обозначающую, что он на высоте, почти в это же мгновение наши тяжелые бомбардировщики обронули сюда кувыркающиеся в воздухе, как поленья, двухсотпятидесятикилограммовые бомбы. Ударная волна разрывов свалила его, стоящего на коленях с заряженной ракетницей в руке, чтобы подать сигнал. Но он все-таки послал ракету в момент, когда последние бомбы, взывая хвостовым оперением, приближались к земле.

Сразу же после их разрывов он вскочил, крикнул зычно, думая, что это безнадежно и останется безотзывчиво:

— За мной!

И кинулся на площадку, где в забетонированных капонирах стояли орудия.

Бойцы роты Петухова выскочили из кустарника почти одновременно с немецкими расчетами орудий и автоматчиками, скрывавшимися до этого от авиационного налета в укрытиях.

Ложась, бойцы бросали гранаты, торопясь так, словно старались лишь поскорее избавиться от тяготившего их груза.

Взвод ручных пулеметчиков накрыл все пространство плотным огнем.

Огнеметчики, подползая к бетонным укрытиям, хлестали в амбразуры шипящим пламенем.

Но фашисты, развернув счетверенную пулеметную зенитную установку, били сплошным огнем, высекая искры из бетонных плит, устлавших площадку.

Подобравшись к крутому бетонному откосу, на котором стояла защищенная броневыми щитами установка, бойцы поднялись друг другу на плечи, и стоявший на самом верху, выдернув чеку из лимонки, быстро сунул ее в брезентовую сумку от противогаза, наполненную гранатами, и, широко размахнувшись, забросил сумку на вершину откоса.

И почти мгновенно раздался взрыв.

Прозвучали последние выстрелы. И наступила мертвая тишина.

Тяжело выползало солнце. Но сквозь пороховую гарь и медленно оседающую пыль оно просвечивало слабо. Оно было словно багровая круглая луна в небе.

К Петухову подошел Атык Кегамов и гортанно сказал:

— Все! Финиш!

— Финиш не здесь, а там! — Петухов слабо махнул рукой по направлению долины и пояснил: — Приказ был? Был! Продвинуться на полную оперативную глубину. Только полусуточный план боя выполнили. Еще остается полных двенадцать часов боя. Да при полном освещении и уже с потерей всякой внезапности.

— Ладно, — сказал Атык, — повоюем. — И отошел.

Люди настолько изнемогли, что лежали пластом на бетонной площадке, и, кто из них живой, кто мертвый, сразу не отличишь.

Кегамов вернулся и доложил:

— Товарищ лейтенант! У фрицев тут полные коммунальные услуги, даже душ! Разрешите бойцам помыться поотделенно?

— Давай! — устало сказал Петухов.

Потом Кегамов снова доложил:

— Продуктовый запас богатейший, и это имеется. — Он, подмигнув, щелкнул пальцем себе по шее. — Разрешите пир устроить?

— Где? — спросил Петухов. Поднялся и, вяло ступая на будто отшибленные пятки, пошел вслед за Кегамовым.

В складском помещении кроме продуктов стояли ящики с немецким шнапсом. Петухов уныло поднял автомат и стал бить короткими очередями по ящикам с бутылками.

— Ты варвар! Людоед! — крикнул Кегамов. Потом, подскочив к последнему ящику, заслонил его собой, словно добровольно становясь под расстрел, строго сказал: — Для раненых оставь!

— Ладно, пусть! — согласился Петухов.

Выйдя на площадку, он подошел к аккуратно уложенным в ряд телам павших.

Только раненые отворачивали свой взгляд от них. Остальные молча стояли рядом, держа в руках каски, опустив головы. Подошел старшина с содранным фашистским флагом. Склоняясь, старшина вытирал фашистским флагом сапоги на павших, потом смял его и бросил комком к их ногам.

— Правильно! — сказал кто-то глухо. — Почтили! Так вот, по-своему, по-солдатски...

Петухов хотел сказать что-нибудь возвышенное, но не

мог. Тер горло ладонью, но говорить не мог. Припадая потом к каждому, он целовал погибших в ледяной лоб. Поднялся с мокрым лицом, произнес хрипло:

— Спасибо им!

Конечно, душ наслаждение. Но бойцы мылись под душем молча, угрюмо и так же молча, угрюмо вскрывали банки трофейных консервов плоскими штыками и ели молча. И никто из них не упрекнул Петухова за расстрел спиртного, обиженно не пошутил по этому поводу. Им было совестно пить, есть, когда рядом павшие товарищи, а боевые позиции не место для поминок.

Петухов вглядывался в хмурые лица бойцов с ввалившимися щеками и висками и скорбно и гневно думал о том, как недавно он тревожился, когда каждый из них оставался сам с собой, невидимый в кустарнике. Будут ли среди них такие, которые воспользуются тем, что невидимы, и отстанут при выходе всем враз на верхушку, где смерть снова ринется на всех? А вот вышли. Все почти одновременно, и даже легкораненые приковыляли вместе со всеми и теперь лежат не то без памяти, не то отдыхая, не в силах даже принять пищу, лишь пьют воду, жадно захлебываясь, и при каждом глотке вздрагивают, по-птичьи вскидывая голову.

Петухов посмотрел на часы.

Согласно таблице хода боя у него оставалось всего только тридцать две минуты, для того чтобы спуститься в долину и присоединиться там с оставшимися бойцами к батальону.

Он принял решение оставить здесь полувзвод и легкораненых. Остальным — на новый рубеж.

Спустившись с высоты, остатки роты вышли к месту назначения.

Здесь их ждал Пугачев. Голова его была в грязной чалме бинтов. Глаза красные, воспаленные, говорит шипло, сорвавшимся голосом:

— Осталось два танка, самоходки три, одну потеряли. Орудия сопровождения почти все.

Почесав под бинтом, заявил бодро:

— Теперь главное — бросок. Всеми подвижными средствами на железнодорожную станцию — разгромить. Оседлать шоссе. Тем, что останется, штурмовать монастырь-крепость! — Опять поскреб ногтем под бинтами. — Конеч-

но, вне приказа объект. Но было б лихо! Атаковать, пусть только им для страха.

Кивнул на восток, спросил Петухова:

— Слышал? Гудит земля! Вроде как внутри пустая. Значит, в прорыв большие наши силенки входят. Молотят ее, как барабан. Так-то вот. — Потом отозвал Петухова в сторону, сказал вполголоса: — Они нас не меньше чем за дивизию приняли. Так соображаю?

— Знаю! — сказал Петухов.

— Знаю! — сердито повторил Пугачев. — А то знаешь, что они перегруппировку произвели и на нас, как на дивизию, все свои силы бросают?

— Ну уж все? Если так, ну и что?

— А то! Конечно, можно засесть в оборону хотя бы на вами взятом опорном пункте на высотке и до прихода своих отбиваться как мишенью. Или действовать напропалую! Вперед без страха и сомнения!

— Но ведь приказ на всю глубину прорываться!

— На всю, — согласился Пугачев. — Но когда они на нас все бросают, это в приказе предусмотрено?

— Приказ есть приказ! — сказал Петухов.

— То-то же, — усмехнулся Пугачев. И добавил ласково: — Это я не только тебя испытывал. Считаю, провел совещание! — И гулко хлопнул по спине Петухова ладонью.

Остатки своей роты Петухов усадил десантом на два танка и в сопровождении трех самоходок рванулся на железнодорожную станцию.

Их встретил огонь бронепоезда и орудий, установленных на железнодорожных бронеплощадках. Самоходки завязали артиллерийскую дуэль, кочуя, быстро меняя огневые позиции.

Командир танка Соловьев сказал Петухову, чтоб тот покинул броню его машины. Подмигнув, объяснил:

— Мыслишка завелась одна занятная! — И пообещал: — Сам увидишь!

И когда остатки роты вели рассыпной бой на самом станционном расположении, Петухов увидел, как пылающий танк Соловьева с надписью на башне «Папе от Леночки», непрерывно ведя орудийный огонь и волоча за собой дымное пламя, выскочил к бронепоезду и на полной скорости, с грохотом, дребезгом, лязгом, словно с железным воплем самого танка, таранил паровоз, поставленный в центре бронепоезда.

И тогда навстречу прыгающим из накренившихся вагонов бронепоезда его артиллерийским расчетам бросились бойцы лейтенанта Петухова.

Самоходки успели накрыть бронеплощадки своим огнем и сейчас медленно, осторожно входили в расположение станции, тревожно поводя стволами орудий.

Взрывом боекомплекта сорвало башню с горящего танка Соловьева, уткнувшегося в поваленный паровоз бронепоезда. И башня танка лежала на земле, и надпись на башне «Папе от Леночки» потемнела от гаря...

Самоходки, несколько орудий на тягачах, взвод пехотинцев вышли на шоссе, чтобы перекрыть его.

На помятом «виллисе» прибыл сюда Пугачев. От батальона у него оставалось полторы полнокомплектных роты. Бинт на голове коричнево пропитался кровью. Казалось, на комбате облезлая рыжая мокрая папаха, натянутая до ушей. Он был бледен, щеки глубоко ввалились, губы растрескались, кровоточили. Облизывая губы, говорил сипло:

— Самоходки, орудия на тягачах с задачи перекрытия шоссе возвращаю. Здесь окапываемся! Занять оборону и драться до подхода своих. Сейчас, вот-вот на нас так нажмут! Выдающаяся баталия! — Пошутил: — Пожалуй, в монастырь я и не попаду, тем более не дамский. — Добавил твердо: — В сложившейся обстановке остается силенок на одно: приказ до доньшка выполнить. И если ты сам себя как свою собственную живую силу сохранишь, значит, будет твоей супруге кем повелевать! — Сделал лицо почтительным. — Сам первый велел всем благодарность передать и прочие сладкие пожелания. — Гулко стукнул себя по груди кулаком. — Те, кто выживет, сюда положенное получают, полностью, кому за что причитается. Передай бойцам!

...Через несколько часов остатки батальона, занявшего оборону, вступили в бой с превосходящими силами противника, полагающего, что предстоит серьезное сражение с крупной, вошедшей в прорыв группировкой.

Командарм прибыл на КП генерала Лядова, откуда тот руководил прорывом разведгруппы Пугачева.

— Ну что ж, — сказал командарм, — поздравляю. Вам приказ о введении в бой главных сил, поскольку у вас

складывается благоприятная обстановка для нанесения главного удара именно отсюда. Кроме того, даю Солнцеву и Лебедеву приказ начать немедленно наступление партизанских частей в указанном им направлении.

— Если позволите? — вежливо осведомился Лядов.

— Ну? — произнес командарм. — Что еще?

— Партизанам наступать немедленно самое время, — сухо сказал Лядов. — Батальон Пугачева может быть уничтожен многократно превосходящими силами противника, переброшенными с другого плацдарма.

Командарм оглянулся, приказал адъютанту:

— Быстро! Связь по радиации с Солнцевым — Лебедевым. — Поморщился: — Как там их позывные! Наступать немедленно. — Стремительно обернулся к Лядову: — Что еще?

Лицо Лядова приняло угрюмое выражение, он произнес медленно и тихо:

— А с назначением моей дивизии для нанесения удара на главном направлении просил бы повременить.

— Это почему же?

— Полагаю, выгоднее направить приданные силы в район расположения дивизии генерала Белогривова. Предполагаю, что противник снял или снимает значительные силы с направления дивизии генерала Белогривова и перебрасывает или перебросит их на меня.

— Вы что же, уступаете возможность быть во главе направления главного удара?

— Не уступаю, а поступаю так, как положено поступить военачальнику во имя победы в общем сражении наших сил.

— М-да, — сказал командарм и, пытливо взглянув в глаза Лядова, спросил тихо: — Но все-таки щемит?

— Щемит, — так же тихо отозвался Лядов.

Командарм, вздернув резко подбородок, спросил:

— Ну как там? С партизанами?

Подскочил адъютант, доложил:

— Связь установлена, приказ принят. Партизаны выступили.

— Так, — задумчиво сказал командарм, скосил глаза на адъютанта. — Соедините с Белогривовым. — Посмотрел на Лядова: — Юрий Владимирович! Я не могу пренебрегать вашим мнением, но пока в предварительном порядке даю команду Белогривову быть в готовности наступать всей дивизией полностью. За это время переброшу приданные

вам подвижные соединения, артиллерию и прочее... С ВВС также соедините, — бросил он адъютанту.

Переговорив с вызванными на провод, командарм опустился на железный ящик из-под мин крупного калибра, закурил, вздохнул.

— Сожалею, Юрий Владимирович, что лишаю вас такой возможности. Но примите от меня глубокое солдатское уважение. — Передернул плечами: — Хотя мы еще поглядим, возьмем на зуб, как все будет складываться. Пока новых подтверждений о переброске частей противника с плацдарма Белогривова нет.

Связист поднял голову и, обращаясь к Лядову, доложил:

— Товарищ генерал-майор, комбат Пугачев! Слышимость на двойку!

Лядов приложил трубку к уху, присел на дно окопа, прикрывая раструб микрофона ладонями, сложенными ковшиком, сказал громко, внятно:

— Генерал-майор Лядов на проводе. Докладывайте!

Слушая, он кивал головой так, словно его били по затылку. Потом поднялся, лицо стало серым.

— Я прав! Пугачев ведет бой с большими свежими силами. Говорит, еще продержится. Врет! И сам знает, что врет!

Командарм обернулся:

— Вызвать авиацию! Штурмовиков! Удар по расположению станции!

— Подождите! — поднял руку Лядов. — Это что же, у них там ближний завязался? Нельзя же по своим ударять.

— Отставить! — приказал командарм. И с растерянностью скорбно сказал: — Хоть самому с автоматом к ним. Вот бойцы! Неужели потеряем?! — Крикнул повелительно: — Вызвать ВВС! Истребитель с вымпелом, бросить вымпел партизанам, чтобы маршем, бегом выходили к станции.

Обратившись к начальнику разведки, спросил зло:

— А вы что? Должна быть у вашего Лебедева рация. Вызовите! Прикажите, чтобы немедленно...

— Ясно! — отозвался начальник разведки и не пошевелился.

— Ну что вы? — крикнул командарм.

— Он уже вступил в бой... — сказал начальник разведки. — Получена шифровка.

— Шифровка! — брезгливо заметил командарм. — Время тратите на всякую кабалистику, — и все же благодарно улыбнулся.

Силы обороняющегося батальона иссякали, когда внезапно с тыла атакующих частей противника началась пальба залпами, плотный пулеметный огонь, по сливающимся гулу подобный стуку сотен отбойных молотков, рушащих бетонную стену.

Вытирая пот со лба, Пугачев спросил Петухова:

— Это что, мне мерещится?

— Да нет, я тоже вроде как слышу, — неуверенно ответил Петухов. — Стреляют!

— Барышня! — повернулся к Коровушкиной Пугачев. — Запросите там комдива. Выходит, наши в обход пошли. — И, кивнув на радистку, воскликнул удивленно: — А она ничего!

— Красивая, — тихо сказал Петухов.

— Да плевать мне на это! — рассердился Пугачев. — Говорю: держится как надо. Вот тебе и чудное оптическое видение, как писал Пушкин!

— Это партизаны! — подняла сияющие глаза Нелли. — Партизаны к нам прорвались на выручку.

— Что за слова — на выручку! Да еще партизаны! Я думал, наша дивизия.

И уже без команды выскакивали бойцы из окопов и били на ходу вслед отступающему противнику, зажатому между обороняющимися остатками батальона и лавиной наступающих партизан.

— Ты вот что, — сказал Пугачев Петухову, отряхивая пыль со своего обмундирования и охорашиваясь. — Пока мы тут будем обниматься, целоваться, полезай на водонапорную башню и наблюдай с нее, как и что. Рацию мы тебе из запасных выдадим и нитку протянем. Так что жми, дорогой! Хоть партизаны и подоспели, но я не верю, что противник с реверансом покинет... Он еще даст нам перцу. Значит, валяй! Бди!

Петухов ушел в сопровождении связиста и бойца, несущего на лямках рацию.

Партизанская часть спасла остатки батальона Пугачева, но Пугачев встретил полковника Солнцева, притворяясь, будто бы не знает, что тот полковник. Снисходи-

тельно улыбаясь, протягивая руку, вызываясь осведомился:

— Что? Пришли? Примазаться к чужому успеху?! А мы в атаку кинулись, слышим — партизан лупят, надо выручать.

— Благодарю вас! — вежливо сказал Солнцев и, оглядывая поле боя, траншеи в оползнях, разрушенные, опаленные горячим пеплом, пронзенные осколками, заваленные сотрясенным грунтом, болезненно поморщился, произнес тихо, сострадательно: — Досталось вам?

— Не нам, а им! — Пугачев гордо вздернул облепленную сырыми от крови, бурыми бинтами голову, повел взглядом: — Видали, сколько их накидали и оптом и в розницу? Ну и по пути сюда навалили свыше нормы. — Спросил резко: — Потери есть?

— Да,— сказал Солнцев.

— Можем оказать помощь,— хвастанул Пугачев. Приказал кому-то: — Позвать санинструктора!

— Он же ранен,— напомнил боец.

— У нас полевой госпиталь,— сказал Солнцев. — Разрешите и ваших раненых эвакуировать.

— Ладно! — великодушно согласился Пугачев и не удержался от того, чтобы не бросить: — С комфортом воюете, ай да партизаны! — Спросил ехидно: — Может, у вас и зубной врач есть? А то дало по башке, от сотрясения пломба у меня выпала.

С такой же армейской гордостью держались и солдаты батальона Пугачева. Когда первый порыв радости миновал, они, насупленные и озабоченные, пошли в свои траншеи и стали молча исправлять разрушения, причиненные на оборонительных позициях, и отделенные отдавали нарочно громкими голосами команду так, словно партизан здесь и не было и земляные работы для них сейчас главное.

Конюхов, низко согнувшись, умывался из фляжки одной рукой, от изнеможения не замечая того, что умывается в очках.

Все эти беспрерывные восемнадцать часов боя он находился рядом с Пугачевым и был немало удивлен его спокойной распорядительностью и точно рассчитанной организацией боя, соответствующей тем таблицам, которые Пугачев составлял и поэтапно рассчитал на минуты и

на число расходуемых боеприпасов на каждое препятствие.

В любой обстановке Пугачев, чутко сообразуясь с обстоятельствами, мгновенно набрасывал схемы расстановки огневых средств, вручал связным, произносил кратко:

— Вот, все здесь нарисовано, как на картинке, стрелами указано по минутам перемещение, в скобках количество снарядов по каждой цели — передать устно. За перерасход боеприпасов вычту орденами и медалями. Вали! — И хлопал связного ниже спины — для бодрости и внушения, что все идет весело, как надо.

Следя в бинокль с наблюдательного пункта за действиями танков, самоходок, пехоты, видя, как точно ложатся снаряды приданного артиллерийского дивизиона, Пугачев говорил восторженно:

— До чего здорово научились слаженно воевать, будто из всех одна единоедействующая машина скомплектована и сама по себе работает!

Откашлявшись, Конюхов произнес:

— Берет верх тот, у кого величайшая техника, организованность, дисциплина и лучшие машины.

— А что, верно! — согласился Пугачев.

— Это Ленин! — напомнил Конюхов.

Хотя Пугачев и не знал этих ленинских слов, сказал сердито:

— И без тебя знаю! По нему и воюем, а как же еще!

Вплоть до оборонительных боев на железнодорожной станции Пугачев, перебираясь с одного наблюдательного пункта на другой, отсиживаясь в углубленных в полный профиль укрытиях, руководил оттуда боем и, словно оправдываясь перед Конюховым за столь для себя необычную самоохранность, кивал на радистку Нелли Коровушкину, говорил иронически:

— Видали, какую куклу мне придали! Вся в ресницах. Приходится беречь как особую госценность. — Хмыкнул: — И еще для какого-нибудь ферта.

Нелли крикнула:

— Самолеты!

— Ну и что! Наши порхают!

— Прикажете дать дымовыми целеуказания, — повелительно сказала Нелли.

— Смотрите, соображает!

Отдав команду, Пугачев спросил:

— Где нахваталась?

— Отец в дальнебомбардировочной!

— Что же он вас к себе не взял? Выдал бы там замуж за какого-нибудь героя воздушного пространства.

— Когда мне понадобится, я сама найду мужа,— высокомерно заявила Нелли,— по собственному вкусу и разумению.

Услышав шелест приближающейся мины, Пугачев мгновенно как подкошенный упал на Коровушкину и, прижимая ее ко дну окопа, распростерся над ней. Комья обожженной земли обрушились на его спину. Поднявшись, сводя ушибленные лопатки, отряхиваясь, с покрасневшим лицом, не оборачиваясь на радистку, спросил:

— Ну как вы там? Не сильно помял прическу?

— Вы спасли меня!

— Ну вот еще! — буркнул Пугачев, передернув плечами. — Струхнул, и все, обыкновенный животный инстинкт самосохранения.

Но во время боя на железнодорожной станции к Пугачеву вернулась прежняя его повадка. С ручным пулеметом он вел поединки, выскакивая из укрытия, перебегая то к петерэровцам, то к станковым пулеметчикам, сам вел огонь из «сорокапятки».

Кричал задорно:

— Я, ребята, никого на героизм не подстрекаю! Бей только аккуратно, прицельно, по-научному, и наш верх!

— Товарищ майор! Вы же ранены!

— Ерунда! У меня на башке кость броневая, подкалиберный не возьмет, пуля отскочит!

Указывая на повергнутый таранным ударом танка паровоз бронепоезда, говорил с упреком:

— Вон как танкисты воюют! А мы смиренькие. Зарылись и только пулями.

Он носился по позиции, появляясь в дыму, в огне, в пламенных гейзерах разрывов, являясь туда, где труднее всего складывалась обстановка.

Грозно орал, шутил, ерничал, спрашивал:

— Ребята, Гитлера видели? Тут он теперь околачивается. Кто поймает — от меня пачку «Казбека», а пока лупи всех, кто на мушке, там разберемся, кто из них Гитлер.

Сказал строго Конюхову:

— Сейчас людьми не командовать надо, а быть как все. Каждый соображает, что от каждого зависит и на каждом держится.

Заскочив в капонир, где лежали раненые, присел, закурил, угостил всех, кто еще имел силы курить, поднял голову, указал рукой на медного цвета луну, произнес задумчиво:

— Интересно, какой на ней климат, могут на ней люди жить или она просто сплошная пустыня Сахара? Или, наоборот, застыла вся, как наш Северный полюс?

— Как дела, товарищ комбат? — спросил санинструктор.

— Дела?! Вот луной интересуюсь, — ответил он беспечно, вздохнул, потянулся: — Ну, я пошел, а то без меня там соскучатся. Противник все ж таки пока не уходит. От паники, что бой проигрывает, на нас еще пока кида-ется.

Он сильно похудел, Пугачев, за эти восемнадцать часов непрерывного боя. Лицо его старчески подсохло, обозначились запыленные морщины на лбу, возле глаз, продольные борозды на впавших щеках. Но чем изможденней он выглядел, тем энергичнее вел себя, внушая людям озорную отвагу, уверенность. А вот сейчас, поздоровавшись с Лебедевым, слушал его, полузакрыв глаза, ссутулясь, перебирая пальцами разутых отдыхающих ног.

Лебедев докладывал сухо, кратко:

— Большую часть своих вывожу, партизаны не приспособлены к позиционному бою. У нас задание по разрушению железнодорожных путей, по перекрытию коммуникаций, налеты на транспорты и прочее.

— Значит, утекаете! — сказал Пугачев равнодушно.

— Значит, действуем в соответствии с приказом! — спокойно поправил Лебедев. — Около роты бывших военнослужащих оставляю под вашим командованием. Всех раненых, как я вам уже доложил, забираю с собой. Есть ко мне вопросы?

— Есть! — сказал Пугачев. — Видал? Башня от взорванного танка на земле лежит. Можете ее с собой уволочь?

— Это зачем еще? — удивился Лебедев.

— А затем, что она героическому экипажу принадлежит, тому, который бронепоезд старанил. Читал на ней надпись? Ну, все равно. Для нас всех это реликвия священная. И для других тоже — на все века. Дошло? — Пообещал: — Тягач дам. Нам все равно отсюда обратного хода нет.

— Будет выполнено! — сказал Лебедев.

Сидя на земле, не вставая, Пугачев подал ему руку.

— Ну, вали диверсуй, а мы тут побудем, посторожим казенное имущество. Успех нас пока только лизнул, до торжественного поцелуя в щечку перед всем строем еще пулять и пулять. Так вот...

И стал неторопливо обуваться.

Лебедев вернулся к своему отряду. К нему подошел Бобров. Губы опухли, выворочены, говорит с трудом, словно жует вату, гимнастерка и даже брюки в бурых пятнах. Но это не его кровь.

Когда Нюра Хохлова со своей рацией находилась в земляной щели, поджидая Боброва, она вынула из нагрудного кармана круглое зеркальце и, повернувшись спиной к той стороне, где находился противник, стала глядеть в зеркальце, напускать из-под пилотки себе на лоб челочку, чтобы выглядеть позатейливей, когда придет Бобров.

Фашистский снайпер поймал в прицел сверкнувший блик зеркала, нажал на спусковой крючок, и Нюра упала на дно окопчика, словно в могилу, замертво.

И здесь ее, мертвую, нашел Бобров, она сжимала в руке круглое зеркальце.

Он принес ее на руках, опустил на землю, лег рядом и, хрипло, лающе рыдая, бил кулаками по земле и кусал землю. И когда подошли бойцы с лопатами, Бобров вскочил, заорал иступленно:

— Не трогай! Убью!

Потом исчез надолго, вернулся покалеченный, со связкой немецких касок, швырнул их в кусты, спросил:

— Где?

Ушел к могильному холмику и долго по-своему укладывал на нем землю, утыкаясь лицом в нее, замирал безжизненно.

Лебедев внимательно прислушался к невнятному беззубому бормотанию Боброва, кивнул:

— Хорошо, оставайтесь с Пугачевым. Ему будет трудно.

Вынул карту, показал на ней какую-то отметину:

— Вот здесь она.

— Я и слепым это место найду, руками, на ощупь, — глухо сказал Бобров.

Петухов поднялся по железной лестнице на чердак водонапорной башни, оглядел внушительные бревенчатые стропила, выбил ногой запыленные стекла вместе с рамами — для лучшего обзора. И, пока связист тащил от него свою катушку с проводом вниз на КП батальона, занялся изучением таблицы позывных, так как решил отправить радиста, как и связиста, обратно на позиции, зная, как дорог там будет каждый боец.

На курсах командиров Петухов научился неплохо владеть полевыми рациями разных систем и поэтому мог обойтись без радиста.

На всякий случай он надвинул на люк в полу ящики с кирпичом, очевидно оставшиеся после ремонта башни. Установил ручной пулемет, разложил диски, гранаты. Затем, вспомнив, что голоден, вспорол трофейную консервную банку с яркой этикеткой. Но в ней оказалось не мясо, а крошенная морковь. Разочарованно, но жадно поел, выпил солоноватую жидкость из банки, закурил, ослабил ремень, расстегнул воротник и улегся на живот, опершись на локти, стал в трофейный цейсовский бинокль оглядывать местность.

Ровное, в нежной, опрятной зелени пространство открылось перед ним, усиленное яркостью и приближенное сильной оптикой. И таким оно выглядело кротким, милым, зовущим, успокоительно добрым для жизни! Небо в мягких серебристо-серых пушистых облаках, и, когда он перевел бинокль туда, где шел недавно бой, этот крохотный грязный взрыхленный участок земли показался такой ничтожной малостью на всем этом красивом и огромном пространстве, что даже защемило от того, какой ценой он был добыт, столь малый и незначительный перед обширностью неба, земного видимого пространства, сохраняющего себя в неприкосновенности и как бы чуждающегося тех, кто может его калечить.

Но, пожалуй, оно, это пространство, не столько чуждающееся, сколько манящее к себе. Вон тонкая серая речка, лежащая в кудрявых кустах, окаймленная песчаными отмелями. У Петухова даже пошевелились пальцы в сапогах от предощущения прикосновения к прохладной рыхлости песчаного речного берега, воды. Вот бы посидеть с удочкой

или пойти с бреднем, развести костер и, слушая шорох его пламени, вдыхать вкусный дым, поджидая, пока в закопченном ведерке поспеет уха!

У Петухова в животе заныло, но не от предвкушения ухи, а, возможно, от холодного мелкокрошеного немецкого консервированного овоща.

Совсем близко бесшумно летали птицы, будто у самого лица, даже хотелось отмахнуться, чтобы не задела лица крылом. Все, как во сне, безмолвно красиво...

...Прибыли на позиции из своих земляных убежищ ротные кухни. Повара в касках, с винтовками за плечами, но надели фартуки, при всех вымыли руки.

Борщ, гуляш, компот в термосах, водка в канистрах.

Как ни жадно-томительно голодны были люди, они подходили к кухням не торопясь, вразвалку, степенно протягивали котелки и отворачивались, чтобы кто-нибудь не поймал жадно-голодного выражения лица, судорожного движения скулами. Это была та высокая человеческая воспитанность, душевная, гордая, тонкая чувствительность, которая превыше всякой иной прописной, ибо это было выражением самоуважения, самодисциплины и даже как бы продолжением той доблести, какую они выказывали в бою, побеждая животный страх, присущий каждому.

Усаживались на землю, зажав котелки в коленях, и не спеша, задумчиво, медленно, с паузами орудовали ложками.

Бобров стоял невдалеке от дневального, режущего на доске хлебные пайки, и, потупившись, ковырял под черными, разбитыми, с запекшейся кровью ногтями узким длинным ножом с черной рифленой рукоятью, снабженным для упора медной плашкой.

— Одолжил бы, — попросил дневальный, — мой еле пилит.

— Им нельзя... хлеб, — прошепелявил Бобров.

Дневальный бросил взгляд на скользкое острое лезвие, подумал, кивнул уважительно:

— Ясно!

Строго соблюдая принятый в еде обычай, люди ели молча. Только когда стали пить чай, разговорились:

— Угодили нам огоньком батарейцы, обеспечили технику безопасности.

— Все правильно, по-ученому высчитали, где, когда, какому калибру вступать теоретически.

— Их теория, наша практика!
— А дураки и в пехоте не требуются.
— Верно! Пулеметики, минометики, пушечки — все при нас в штате, тоже можем ума кому занять.
— Ты, Филиппов, откуда взялся? Думали, помер.
— А я не помер, а только обмер временно.
— Значит, не усоп!
— С вами усопнешь! Усилился гранатами и уполз к их станковому — закидал!

— Мы думаем, кто это там планету портит, словно бомбой ее ахнул!

— Противотанковую кинул, она — сила.

— Значит, не струсил!

— А зачем мне трусость проявлять? Она при мне, а я против нее сам по себе.

— Точно!

— Будь моя воля, — сказал маленький тощий боец, — дал бы каждому сдельную норму, выполнил — давай на отдых.

— Вот такая у тебя индивидуальная психология — от себя повоевать, а ежели ты не пехота, а вот, допустим, боепитание, вот ты и присох. Кислая твоя мечта!

Сказав это, плечистый, толстощекий боец поднялся, взял с земли полное ведро воды, поднес к губам, осторожно, медленно напился, не уронив при этом ни капли, поставил ведро обратно; поймав завистливый взгляд худенького, наставительно заметил:

— И люди все разные, как орудия, тоже и всякие боевые средства. Главная сила наша где? Во взаимодействии всего и всех. А ты: на каждого — норму! Она одна на всех — Берлин!

Конюхов ходил между обедающими солдатами, прислушиваясь к их разговорам. Он знал, и они тоже знали, что противник после того, как обнаружит уход партизанских частей, убедившись, что это только партизаны, снова здесь атакует, и, возможно, враг сомкнул уже полосу их прорыва, потому что позади пройденного ими пространства слышны мерные раскаты артиллерийской канонады, и едва ли партизаны смогут удержать перекрытое ими шоссе, если враг бросит сюда танки.

— Чайку с нами, товарищ капитан!

Конюхов присел, взял в обе руки горячую кружку, стал дуть в нее, очки у него запотели.

— Товарищ капитан! Вот вы на прошлой беседе говорили про ведомство Геббельса, что оно запретило не только писать о нашей экспедиции на Северный полюс, но даже упоминать в печати о Северном полюсе. Выходит, для того, чтобы от своих про наш героизм скрыть?

— Именно, — согласился Конюхов.

— Выходит, нет такой брехни, которую нельзя не убить нашей правдой, и ее фашист всегда боялся, хоть и полез на нас.

— Правда и есть наша сила.

— Это точно. По правде жить, — значит, по-нашему, по-советски.

— И в бою без правды не навоюешь, — сказал кто-то хмуро. — А то, бывает, дадут по их точкам. Подавили! А пойдем — огонь.

— Наверх доложили, что мы к своему положенному рубежу вышли и взяли?

Конюхов промолчал.

Но за него ответил солдат, который только что пил из ведра воду. Вытерев губы тыльной стороной ладони, объявил строго:

— Я вот слесарь-сборщик по судовым дизелям. Закончим, бывало, монтаж — нашему делу конец. А пока он на стенде положенные часы на опробование не отрабатает, ходим как не в себе. Был у нас случай. Сократили срок прогона на стенде, сдали заказчику, а от него рекламация — срам. Утерли, значит, грязной ветошкой сами себе морду. Так и в бою может. Взяли! А ты его удержи — тогда и докладывай. Выполнили! Так точно!

— Вы член партии? — спросил Конюхов.

— А что я без нее? Полчеловека, — грубо ответил бсец. — Она меня в человека оформила.

Конюхов запомнил этого солдата в бою, здесь, на станции. Это был командир расчета сорокапятимиллиметровой пушки Лазарев. О нем когда-то говорил восторженно Петухов, как Лазарев подбирает себе людей, бережет, воспитывает. И здесь, оставляя расчет в щели, Лазарев собственноручно мощно выкатывал в одиночку орудие и бил с открытой позиции прямой наводкой, подтягивая к себе за веревку ящики со снарядами. Когда он стрелял, движения у него были мягкие, властные, неторопливые, лицо обретало умиротворенное выражение.

И Конюхов думал: «Психика человека — это, конечно, совокупность воли, настроений, чувств, эмоций, привычек, черт характера, но есть нечто повелительно высшее — мировоззрение. И в бою оно воплощается в самообладание, выдержку, расчетливость, расторопность, волю к действию. Вот как у этого Лазарева».

Когда батальон шел вслед за шквальным огнем своей дальнобойной артиллерии и орудий сопровождения, когда штурмовики и бомбардировщики впереди, сотрясая землю, вздымали ее в пламени, каждый солдат был преисполнен могучим ощущением этой сокрушающей мощи, обладающей как бы собственным зорким умом, обрушиваясь туда, где батальону угрожали смертоносные стволы врага, и чутко перенося свой огонь, когда к нему батальон приближался. И это шествие в прорыв, вслед за гигантской мятущейся силой внушало также каждому, как незначителен он сам по себе, со своим куцом автоматом, по сравнению с этой могучей огненной лавиной.

И как не просто было потом вступить в бой, ближний, рукопашный, в эту смертельную драку в могильной тесноте траншей, бить лопатами, прикладами, душить, отдирая пальцы, пытающиеся выдавить твои глаза.

В этом бою на станции Лазарев сказал со скорбью, глядя на горящий танк, протаранивший бронепоезд:

— Ребята-подрывники уже было поезда достигли. Заложили б под днищами, рванули б и свалили. Погорячились танкисты. Герои, факт. Но надо советоваться. Мы на их машине не просто так катались, а для взаимодействия, для того, чтобы их машины сберечь и, значит, их самих тоже... Саперы им мостишко взорванный быстро заново сложили. Так саперский комбат, когда танк пошел, встал под мост в доказательство того, что мост надежен. Есть, конечно, такой обычай у строителей. И тут он в точку пришелся. Не возражаю. Но если можно было по-другому бронепоезд своротить, почему не испробовать? Я сам лично в нем несколько дыр пробил с ближней дистанции. Конечно, мой огонь ему как слону дробина, но если всей батареей — расколотили б.

— Вы что, считаете, напрасно на таран пошли? — спросил Конюхов.

— Зачем? Раз с ходу свалили, многие от этого выжили. Но раз они такие герои — жалею! Сам бы за таких жизнь свою отдал...

Когда Конюхов встретился с Лебедевым, тот безрадостно сказал ему:

— Ну вот. Прибыли вовремя! — Потер серый, впалый, с выпуклой синей жилкой висок. — Хохлову потеряли. Не знаю, как вам объяснить... Когда дрались в болоте, она в траншее, по пояс в смердящей жиже... И вот, представьте, охорашивалась перед зеркальцем ради Боброва. Любовь, знаете ли, обычно живописуют как нечто такое поэтическое. А тут... — И произнес сипло, безнадежно махнув рукой: — По мне, если есть по этой линии наивысшее, недостижимое, то вот это. — Откашлявшись, высморкавшись, утерев выступившие при этом слезы, сказал брезгливо: — Простыл в болоте, осопливел. — Добавил строго: — Пугачев провел операцию грамотно, а строил из себя этакое самобытного Илью Муромца, сам же у начштаба Быкова тайком школярил.

— А вы откуда знаете?

— Я все знаю, — усмехнулся Лебедев. — Такая привычка — все знать. Кстати, я тут около роты партизан вам оставляю, бывших военнослужащих. Так попрошу вас лично потом соответственно во всех воинских правах, званиях и прочем восстановить — мной проверены. Будут драться как черти. Истосковались по армии. И проследите, чтобы не очень усердствовали в бою, не штрафники, не в чем им оправдываться.

— Помнится, вы говорили, что в отряде было, по вашему мнению, несколько вражеских лазутчиков.

— Почему были? Они и есть, в наличии.

— То есть как это есть? — изумился Конюхов.

— А так, веду с ними веселую игру. Ночью по тревоге поднял отряд. Приказ отступать в глубину. Лазутчиков увела специальная группа, одного даже «упустили», для того чтобы смог донести. Оставшиеся двое работают на своей рации под нашим контролем. Прием, конечно, шаблонный, но пока сошел вполне. Партизанское наступление оказалось для противника неожиданностью. Сочли за регулярную часть. Начали перегруппировываться. Но теперь, очевидно, весь их удар обрушится на вас. Так что придется вам геройствовать.

— А вы?

— Наше дело маленькое — ломать, крушить пути, перерезать коммуникации, «диверсовать», как выразился товарищ Пугачев. — Смутился, поерзал подошвой сапога по земле, словно затирая окурочек, попросил мягко: — Вы уж,

пожалуйста, если чего... Кошелева и так издерганная, нервная, внушите ей, что отбыл на длительное задание. — Спыхватился: — То есть не отбыл, а получил приказ. Ну, лады! — Оглянулся на темнеющую зубчатую громаду монастыря, вздохнул: — Желал бы посетить в порядке хотя бы интереса к древностям. — Сказал протяжно: — Жаль ломать такую красоту зодчества. Потомкам тоже полезно созерцать сию бесполезную, но красивую штуковину.

Прощаясь, Лебедев не подал руки, отдал честь, продемонстрировав армейскую выправку, оглянулся, на ходу крикнул:

— Будь моя воля, полк Пугачеву теперь доверил бы! Хоть голова кудрявая, но в ней кое-что есть.

Прозвучала команда «В ружье!». Солдаты занимали свои места на позициях, закрепляли их, прилаживались к оружию. Огневые расчеты устанавливали орудия с учетом того, что, возможно, придется вести круговой обстрел.

Пугачев обходил позиции. Вычищенные сапоги его блестели. Свежий подворотничок, чистые бинты, на них лихо набок сдвинутая фуражка, на руках перчатки. Поздравив Конюхова, сказал шепотом:

— А она ничего!

— Кто?

— Коровушкина. Держится как штык. Я ей тройной одеколон преподнес. Отвергла.

— Тебя тоже?

— Ну это мы еще посмотрим! — хвастливо заявил Пугачев. Закричал зычно: — Почему под сгоревшим танком позицию не оборудовали для петезровцев? Отделенный, ко мне!

Он обходил бойцов, добродушный, самодовольный, самоуверенный.

— Кому надоело воевать? Пожа! Бей сколько в прицел влезет, сокращай дистанцию до Берлина. Кадыров! Почему в строю, когда ранен? Левша? А не врешь? А то подумают фрицы — инвалидной командой воюю.

— Он, товарищ майор, гранатой левачит! Другой с обеих рук так далеко не забросит, как он левой.

— И из винтовки бьет с одной руки, как все равно из пистолета.

— Джигит, значит?
— По-нашему батыр,— сказал Кадыров.— По-русскому богатыр...

10

Соня Красовская дежурила на КП командующего артиллерией. Держала на связи какого-то наблюдателя, забравшегося не то на колокольню, не то на высокую каменную башню. Наблюдатель корректировал оттуда огонь наших тяжелых дальнобойных орудий, которым давал команду с выдвинутого к переднему краю временного КП сразу по нескольким полевым телефонным аппаратам сам генерал, командующий артиллерией, по данным, получаемым от наблюдателя.

Генерал досадливо замотал курчавой головой и, сняв наушники, брезгливо протянул их Соне, спросив повелительно, гневно:

— Почему связь прекратилась? Почему, я вас спрашиваю?

Соня старательно и безуспешно стала вызывать наблюдателя. Вдруг в наушниках зашуршало, и внезапно прозвучал голос, такой знакомый:

— Лейтенант Петухов! Продолжаю целеуказания!

И Соня вынуждена была сразу же снять наушники и вместе с голосом Петухова отдать их генералу. И тот повторял получаемые от Петухова данные сразу в две телефонные трубки, которые он держал в обеих руках. Иногда генерал переспрашивал нетерпеливо, зло в микрофон, приделанный к наушникам:

— Как? Повторить! Не частить! Приказываю! Раздельно, четко!

И Соня обиделась на генерала за то, что он так грубо обращается к Петухову, словно тот в чем-то виноват перед ним.

Лицо у генерала было набрякшим, багровым, он смотрел на Соню невидящими сердитыми глазами, морщился, сипел:

— Петухов! Приказываю не частить. Напоминаю: каждый залп денег стоит. Требую строжайшего внимания.

— Да что вы на него кричите? — не выдержав, вдруг воскликнула Соня.— В него же там тоже стреляют!

— Что? Молчать! — приказал генерал и смущенно поправился: — Это не вам, лейтенант Петухов. Прошу прощения. Не отвлекаться.

И вот генерал снова свирепо затряс головой, но лицо его приняло жалобное, потерянное выражение:

— Слышимость! Что у вас там со слышимостью? Петухов! Вы слышите меня? — Генерал замахал трубками полевых телефонов, зажатыми в кулаках, произнес повелительно: — Да тише вы! Все тут тише! — Стал молить: — Петухов! Товарищ Петухов! Да что у вас там такое? Так, ясно. — И, подняв к губам зажатую в кулаке телефонную трубку, отдал команду: — Поднять штурмовую группу в направлении водонапорной башни, атаковать. На водонапорной башне рухнуло от попадания мины перекрытие. Завалило нашего лейтенанта. Доложить об исполнении.

В другую трубку он приказал батарее открыть отсечный огонь для обеспечения продвижения группы и безопасности наблюдателя.

После этого генерал тяжело осел на скамью и просительно, жалобно осведомился:

— Закурить у кого есть? — Пояснил: — Думал, окончательно брошу. — Приложил ладонь к груди: — Сердце! Запретили под страхом смерти. Но вот, выходит, нельзя без курева. — И, склонившись, почти касаясь губами холодной сетки микрофона, произнес виновато, сконфуженно: — Товарищ Петухов... Ты меня слышишь? Выручку к тебе послал. Так что лежи пока, отдыхай. Извини, не то слово. Это я для твоей бодрости сморозил. Твоя работа: горят танки, отсюда дымы видно. Только держись, голубчик... Прием... Что? — Обернувшись, генерал спросил: — Это у кого позывные «сено»? — Повторил строго: — Может, его батальона?

— Не сено, а Соня, — сказала Соня и самовластно сняла с головы генерала наушники с прикрепленным к ним микрофоном в эбонитовой оправе.

— Это ты? — спросила она шепотом. — А это я, Соня. Рад? И я рада. Прости, но это правда. Рада! Рада, что тебя сейчас слышу, и каждое твое слово я чувствую, как тебя самого, как, знаешь, когда... Люблю всего — слышишь?

Генерал встал и сипло приказал:

— Кто не на связи — на выход!

А сам тяжело опустился на табурет.

Соня только нетерпеливо повела плечом, продолжая нежно гладить наушник, где слабо, едва слышно звучал голос Петухова. Она говорила так, будто здесь никого не было, а был только он один.

— Ты знаешь, Гриша, — громко говорила она. — Я при-
творялась, будто не очень счастлива, а я очень счастлива,
на всю жизнь, тобой. Я не умею выдумывать. Это ты меня
выдумал, а не я тебя. Я только с тобой и для тебя. Я только
тебя сейчас чувствую, и я тебе скажу: я тебя стыдилась
и стыдилась говорить, а сейчас скажу, не чувствуя никако-
го стыда. Тебе было стыдно, а мне нет. Я этого хотела...
Знаешь почему? Чтобы только доказать, что мне для тебя
ничего не жалко, а другого у меня ничего нет, кроме себя
самой, чтобы доказать. Ты понял? Доказать, что люблю.
Хотя мне было плохо, стыдно, что я так доказала — сразу.
А как еще, если это считается главным? А я говорила тебе,
что это не главное, — врала. И ты обязан жить! Не из-за
меня только. Я знаю, он будет и будет как ты, я знаю, чув-
ствую, знаю. Значит, не смеешь... Крови тебе перельют
сколько хочешь, это пожалуйста. Санинструктор консерви-
рованную в ампулах тебе понес, так генерал приказал
лично. Он тут сидит, говорит: «Если девочка, лучше имя
Виктория, победа». Тебе плохо? Только наушники не
снимай! — закричала она в отчаянии. — Нет, я хочу гово-
рить, я еще самое главное не сказала. Тебя же завалило,
могут не заметить. Только слушай. Пожалуйста, не снимай
наушники, я буду с тобой, все время с тобой, до конца... Ах
нет, нет! До конца, пока за тобой наши не поднимутся.
Какой еще может быть конец? Не смей, слышишь, не смей!
А то меня не будет раньше, чем тебя. Скажи что-нибудь!..
Прием! Говори же, Гриша, не молчи, не молчи! — молила
она, припадая лбом к грубым доскам стола с телефонными
аппаратами.

Генерал встал, подошел и потребовал:

— Разрешите!

— Нет! — сказала она злобно. — Нет.

И вдруг улыбнулась нежно:

— Гриша, слышишь? Ну, конечно, больно, когда кости
сломаны. Я даже удивляюсь, зачем ты в памяти. Лучше
поддаться и обеспамятеть, тогда не больно будет и набе-
решься сил. На меня не обращай внимания, я все равно
буду говорить, как будто ты спишь, а я тихо-тихо, только
для себя одной. Пожалуйста, не отвечай, но только не очень
долго... Я тогда все равно как без памяти была. Ну как

будто умерла. От страха? Только от другого совсем страха, боялась, что тебе не понравлюсь. И потом на мне тогда солдатское белье... Это же некрасиво. Я все про белье думала, и от этого такая была оцепенелая. От страха, что тебе противно станет. Хочу, чтоб ты знал, что я тогда переживала. Ничего не стыдно... Говорю, чтобы ты знал. У меня перед тобой нет на всю жизнь стыдного, нет и не будет. Понял? Потому что ты и я — как два дерева от одного корня. Это я сейчас впервые так сказала, потому что так чувствую тебя. Это я тебе признаюсь на всю жизнь — какой ты мне. А потому я не желаю без тебя жить. Это твердо. Не будет тебя, не будет меня. Так и знай!.. Да нате вам пистолет, что вы пристали! — озлобленно бросила Соня генералу. — Будто другой не могу достать! Или пойду в рост на передний край, и все... Гриша! — воскликнула она с отчаянием. — Гриша! Ты почему не дышишь? Дышишь? Дыши! Больно! Ты про факира вспомни, которому через грудь грузовик переезжал, а он ничего. Ты же сам про цирк рассказывал. Я понимаю — балка тяжелая, может, железная. Но грузовик еще тяжелее. Ты про факира думай. Сосредоточься, а я тихо-тихо, так, чтобы только мой голос... А вот генерал пришел, — сказала Соня бодро. — Товарищ генерал, вот пожалуйста! Петухов все на связи и молодцом держится.

Генерал протянул к наушникам руку, произнес робко:

— Если вы не возражаете...

Приосанясь, зычно произнес в микрофон:

— Генерал-майор Зыков! Докладывайте самочувствие, прием. Все ясно. От лица командования... Так, так, понял.

Генерал кивнул головой, веки его опухли, набрякли, моргая, он твердил:

— Заверяю: все будет в полном соответствии, лично прослежу. — И вдруг хрипло и устало сказал: — А меня, знаешь, Петухов, жена еще в сорок первом бросила, и не сожалею. Не было у меня с ней вот такого, что я здесь, извините, слышал, этакое настоящего. Так что держись, голубчик!

Генерал обернулся к Соне. Из закушенной губы ее текла кровь, лицо сизо-бледное, запрокинутое. Она медленно сползала на скамью. Генерал еле успел подхватить ее.

По прямой полевой телефонной связи, протянутой от водонапорной башни к оборонительным позициям, Пугачев выслушал краткий доклад Петухова о том, что уже приближаются фашистские танки, бронетранспортеры, моторизованная пехота, сказал:

— Ладно, мы им тут насалютуем из всех средств. — И приказал Петухову выйти по рации на связь с дивизией или даже выше, попросить огня, вести самому корректировку. Добавил самоуверенно: — Нам она от тебя не требуется. Будем бить прямой наводкой только по видимым целям, поскольку сильный дефицит в боеприпасах. — Посоветовал весело: — Если заскучаешь, включай музыку! Генерал Лядов говорил: «Музыка человека возвышает». Хотя ты и так над нами и без того на своей башне так возвысился, выше некуда...

Потом приказал Коровушкиной по ее рации продублировать наверх сведения, полученные от Петухова. Добавил сдержанно:

— Насчет огня сообщите: желательно. А то подумают — караул, наших бьют.

И усмехнулся, как всегда, самоуверенно, гордо.

Коровушкина улыбнулась покорной, милой улыбкой, по сообщила:

— Требую огня!

— Знаете что, — жалобно попросил Пугачев, — пошли бы вы куда-нибудь подальше, ну, скажем, хоть в погреб, где перевязочный пункт. На душе было б спокойней, не люблю баб.

— Я думала, вы меня собрались куда-нибудь покрепче послать...

— Перекрытие там основательное, — сказал Пугачев убежденно.

— Нет, вы со мной как-то странно, грубо себя ведете. Почему?

— Почему? — переспросил Пугачев. — А потому! Даже больше, чем нравиться. Ясно?

— Точнее! — торжествуя, потребовала Нелли.

— Ладно там, — дернул плечом Пугачев, — сами понимаете!

Лицо его вновь стало строгим, жестким. Вращая двурогую цейсовскую стереотрубу с черными черточками на окулярах, он произнес одними губами:

— Ага, прут. Теперь, Ванька, держись.

Лядов доложил командарму о том, что им и командующим артиллерией получены донесения: на батальон Пугачева противник бросил значительные танковые и другие моторизованные силы, по-видимому сняв их с частей, противостоящих дивизии Белогривова. Пожав горестно плечами, Лядов настойчиво добавил:

— Полагаю, главный удар следует именно сейчас, немедленно, нанести с фронта дивизии генерал-лейтенанта Белогривова.

— Полагаю! — сердито передразнил командарм и упрекнул: — Эх, Юрий Владимирович! Это вам все равно что печень у себя самого руками выдрать, а строите из себя невозмутимого, мудрого стратега. — Произнес извиняющимся тоном: — Я уж, того, давно дал команду основные подвижные на его участок с вашего перебросить. Но не говорил вам из малодушия. Сам командовал дивизией, знаю, что это такое. Вдруг с главного направления вроде как во второй эшелон. — Посмотрел на часы: — Через двадцать минут Белогривов перейдет всеми силами в наступление! Вам могу только одолжить на текущие пятнадцать минут огня из всех наличествующих средств, и затем всей вашей дивизией — в прорыв. Но значительную часть стволов снимаю тотчас же и кантую на Белогривова. Так что вот! — Протянул руку, но тут же отнял, обнял Лядова, сказал на ухо: — Ты уж прости, обижаю. Справишься. — Отпрянул, заявил строго официально: — Буду находиться на НП Белогривова. Там, где в соответствии с приказом сосредоточены все силы для нанесения удара на главном направлении.

Небрежно коснулся козырька фуражки и ушел, сопровождаемый свитой штабных офицеров.

Лядов вытер платком пот с побледневшего лба, оглянулся на работников своего штаба:

— Приказываю наступать всеми силами.

И голос его на конце фразы погас в грохоте сливающихся воедино залпов всех артиллерийских сил дивизии и приданных им временно, краткосрочно, на пятнадцать минут, стволов.

Втайне Пугачев был уверен, что в этот критический момент его не оставит без артогня дивизия. Но, когда обвалом с неба начали падать крупнокалиберные снаряды и земля в траншее стала сотрясаться от их разрывов так, словно он стоял на плоту, шатаемом волнами, и это длилось, казалось, бесконечно, а потом, пронзая воздушное пространство косыми огненными полосами и как бы опираясь на них, пронеслись штурмовики «Илы», сердце его наполнилось восторгом.

Сидя на дне траншеи возле рации, плотно прижимая наушники ладонями, Коровушкина крикнула:

— Товарищ майор! Это все. После штурмовиков — все.

— Вас понял! — сказал Пугачев и, поднявшись из окопа, поправил фуражку, заорал во внезапно наступившей тишине: — Вперед! За мной, орлы! — И пошел, не оглядываясь, в рост. Яркие начищенные сапоги его стали покрываться пылью. Подворотничок взмок, прилип к шее. Фуражку сбило дуновением разрыва. Но он шел мерно, будто на параде, радостно слыша рядом тяжелое дыхание обгоняющих его солдат.

Два передовых усиленных батальона вырвались в прорыв и присоединились к батальону Пугачева, ведущему бой с пораженной массированным огнем, но еще не добитой моторизованной группой противника...

Пугачев ковылял, опираясь на приклад винтовки, как на костыль, он был без гимнастерки. Одна нога, поджатая, обмотанная мокрой гимнастеркой, трепетно дрожала, из нее капала кровь. Лицо его было косо разрублено осколком и тоже истекало кровью. Ковыляя вскачь, размахивая свободной рукой с зажатым в ней пистолетом, он кричал, захлебываясь, отплевываясь стекающей с разрубленного лица кровью:

— Мины, мины расшвыривайте прямо поверх грунта, не давайте самоходкам утечь, минами их блокируйте! Бери минами в окружение!

И исчез в огне и дыму разрывов.

Когда четверо солдат принесли Пугачева на растянутой плащ-палатке на перевязочный пункт, он был без сознания. Очнулся он, возможно, от боли — от прикосновения марли к его рассеченному лицу. Нелли Коровушкина, отбрасывая комки ваты, пыталась вытереть его лицо.

— Что, хорош? Квазимодо! — слабо проговорил Пугачев, попытался присесть, но свалился от боли.

— Для меня — да! — строго сказала Нелли. Разъяснила повелительно: — Вы мне не нравились оттого, что красавчик. А теперь... — она низко склонила свое лицо к его изуродованному, с вывороченными краями разошедшейся опухающей раны,дохнула в губы.— Дети у нас с вами будут красивыми. Уверена.

— Ты что, сдурела? — Пугачев приподнялся, опираясь на локоть.— Да у меня, может, всего полторы ноги осталось.— Отплюнул кровь, с трудом выдохнул: — Теперь мне только к Ольге Кошелевой подсыпаться. Если б не Лебедев... Вполне пара.

— Молчи, дурак! Отдыхать надо! — с незнакомой для нее самой нежностью произнесла Нелли.

Развернули обернутую гимнастеркой ступню Пугачева — кости ее были раздроблены всмятку.

— Это ему танк отдал, — глухо сказал боец.— Кинулся, забрался на танк, свис с башни и все норовил из пистолета в смотровую щель попасть. Прямо цирковой номер: висит на танке! А нам по танку бить из петеэр. Бьем, а он на нем висит. Прямо страх! — И боец передернул плечами, словно от озноба.

12

Когда к воротам католического монастыря приблизилась запыленная группа солдат в эсэсовских мундирах, многие из которых были ранены, их впустили в ворота без особых расспросов, так как командованию уже все было известно о разгроме эсэсовской дивизии. И если б это были не эсэсовцы, их, естественно, сразу обезоружили бы. И тут же состоялся бы военно-полевой суд. И подразделение военной жандармерии расстреляло бы солдат, а офицеры были бы повешены в соответствии с последним распоряжением фюрера: оставляющих без приказа позиции казнить на месте.

Но эсэсовцы остаются эсэсовцами, и без специального на то разрешения общевойсковой генерал не мог применить к ним соответствующие меры.

Эсэсовцы привели с собой также пленных советских солдат и, угрожая оружием, не подпускали никого из комендантского взвода крепости близко к тем помеще-

ниям, которые самовластно заняли для себя и для плененных.

Обер-лейтенант войск СС отказался явиться к генералу до тех пор, пока не устроит своих людей.

В этом не было ничего странного. При всех обстоятельствах эсэсовцы вели себя нагло по отношению к общевойсковикам, невзирая на звание. Во всяком случае, они были хорошо вооружены и при обороне крепости, несомненно, будут сражаться как смертники. По отношению друг к другу они были крайне дисциплинированы — слышны были только редкие команды, и видно было, как молча, мгновенно они исполнялись.

Все началось ночью. Люди Лебедева напали на часовых — перекололи. Забросали гранатами караульное помещение. Но генерал, командующий гарнизоном этой крепости, заранее приготовился к ее штурму и даже к бою внутри крепости.

В каждом проходе были установлены пулеметы с прикрытием из мешков с песком. Они били кинжальным огнем.

На плоских кровлях, на деревянных платформах стояли автоматические зенитные пушки: склонив длинные узкие стволы, они кассетными очередями создали непроходимую стену огня.

Лебедев все понял и сказал Боброву:

— Номер не удался! — И, горестно усмехнувшись, приказал в нескольких местах в стены монастыря, примыкавшие к каменным флигелям, заложить взрывчатку на целенаправленный взрыв, пробить проходы и уходить всем, пока темно.

Отбрав несколько человек по их добровольному согласию, заявил:

— А мы с вами останемся. Будем стекла бить.— Улыбнулся и пояснил: — На прожекторах. Чтобы дать своим уйти без подсветки.— Спросил: — Поняли?

Снял пилотку, помял в руках.

— Вы уж простите. Думал, получится. В плане все предусмотрел, даже вот,— кивнул на монастырскую стену,— чтобы по плану и смотаться, если сразу не возьмем. Губить же людей, чтобы просто так, в лоб, нет у меня права да и нужды. В прорыв вошли все силы. Слышите, наши близко... Так что мой фокус не удался. Виноват, товарищи!

В пределах диверсионной вылазки могу. Но чтобы бой вести — это сфера общевойскового командования. — Сказал тихо: — Но штаны у них всех там сырые — гарантирую. А запуганный противник — уже неполноценный противник. Значит, стоило!

После целенаправленных взрывов в монастырской стене в пробоины поспешно вползли и скатились по крутой насыпи почти все, кто входил в состав группы, за исключением шестерки, которая осталась с ручными пулеметами под командованием Лебедева.

И, как он и предполагал, на углах монастырских башен вспыхнули леденящие ищущие полосы прожекторов. Рассредоточившись, шестерка расстреливала прожекторы.

Потом отступали к флигелю, стены которого, примыкающие к монастырской стене, были пробиты лазами. Но добраться до флигеля смогли только трое. Двое пали под отсечным огнем зениток. Лебедев был оглушен ударной волной и упал словно замертво. Бобров, решив, что он мертв, шмыгнул куда-то в темноту.

Лебедев очнулся от яркого света, направленного ему в лицо. Он сидел, привязанный за ноги и за грудь к большому, почти тронному, мягкому резному креслу.

— Прошу! — сказал тощий седой генерал с рыцарским крестом под воротником и показал на маленький лакированный столик. — Коньяк! Сигареты.

Испытывая тошноту, головокружение, мучительную боль в затылке, преодолевая ее, Лебедев налил коньяку, стараясь, чтобы при этом руки его не дрожали. Выпил, выдохнул, покосился на сигареты, осведомился:

— Очевидно, дрянь? Эрзац?

— Ого, баварский акцент! Вы немец? — удивился генерал.

— Как видите, — невозмутимо сказал Лебедев и скосил глаза на свой мундир.

— Бросьте дурака валять, — проговорил генерал с полуулыбкой. — Постарайтесь быть молодцом. Итак?

— Позвольте узнать: давно в армии? — вежливо спросил Лебедев.

— В первую мировую командовал батальоном.

— Так какого черта идиста из себя строите?

Генерал встал, поднял голову Лебедева, сунул ему под подбородок пистолет, как рычаг, затем поднес пистолет к лицу Лебедева, повторил:

— Ну?!

Лебедев наклонился и с силой дунул в ствол пистолета, так, что свистнуло, и по-детски обрадованно усмехнулся.

— Вы храбрец! — строго сказал генерал, оглянулся на офицера, приказал: — Прошу!

Офицер взял стул. Сел, широко расставив длинные ноги, вынул парабеллум, прицелился.

— Возьмите «зауэр». А то напачкаете! Начинайте.

Офицер послушно засунул в черную лакированную кобуру парабеллум, вынул из заднего брючного кармана «зауэр», прищурился, прицелился и выстрелил в Лебедева. Оглянулся на генерала, тот кивнул:

— Благодарю вас.

И, обращаясь к Лебедеву, снова повторил:

— Итак?..

Лебедев посмотрел на столик.

— О, пожалуйста!

Генерал подошел к столику, налил рюмку, с полупоклоном передал Лебедеву.

Лебедев одним глотком выпил, поморщился.

— Все-таки коньяк у вас дрянь!

Генерал взял бутылку, показал на этикетку:

— Ошиблись! Французский!

— Испанский! — метнув быстрый взгляд, сказал Лебедев.

Лицо генерала обрело настороженное, напряженное выражение.

— Вот вы где побывали! Так будете говорить?

Выждал, приказал офицеру:

— Повторить!

Теперь левая нога Лебедева дрогнула, пробитая пулей.

Удерживая прерывистое дыхание, Лебедев оглядел стены, увидел на одной из них распятие. Повел на него глазами, облизывая пересохшие губы, скривил их в усмешке:

— Вы что? Как его, только с поправкой на современность?

Генерал тоже посмотрел на распятие, предупредил строго:

— Не кощунствуйте!

Но смутился, добавил сердясь:

— Мы поступаем крайне гуманно, но есть предел всему. — Приказал: — Опустите руку!

— Прошу! — передразнил генерала Лебедев.

И вместе с новым выстрелом пришло мгновенное беспаятельство.

— Налейте ему! — сказал генерал.

Офицер подал рюмку. Но еще живой, другой рукой Лебедев выбил ее.

— Смотрите, сколько в нем энергии! — воскликнул генерал.

Офицер, прижав к рукаву Лебедева ствол, выстрелил. Но Лебедев выдержал и это. Все боли от ран слились в одну, и он как бы колыхался в этой боли.

Генерал, усевшись на диван в противоположном конце комнаты, курил, молчал. Лицо его не то покрылось брезгливыми морщинами, не то стало угрюмым, старчески озабоченным от бессонной усталости.

— Труп ваш будет сожжен в бункере, — говорил он монотонно и глухо. — Обольем бензином и сожжем. Остатки спустим в канализацию.

— В этом вы напрактиковались в лагерях. Уверен, все будет выполнено технически грамотно, — выдохнул Лебедев. — Ничего нового.

— Новое то, — сказал генерал, — что допрос ваш мы постараемся оставить в тех наших бумагах, которые не представляют ныне особой ценности. Но ваши будут иметь удовольствие с ними ознакомиться. Фронт прорван, не так ли? Вот этот мусор мы и оставим. — Попросил адъютанта: — Откройте, пожалуйста, окна, скверно пахнет от вашей пальбы. Благодарю! — Пожевав губами, подумав, генерал продолжал: — И конечно, в этом мусоре обнаружатся бумаги, касающиеся вас. Ваши показания! И те, кому вы так отлично служите, — генерал при этом чуть склонил голову, словно признавая заслуги Лебедева, произнес отрывисто: — убедятся в том, что вы изменник, со всеми вытекающими для ваших родственников последствиями.

— А у меня нет родственников, — сказал Лебедев.

— Жаль, — протяжно произнес генерал. — Одиноким человек умирает в одиночестве, презираемый своими соотечественниками. Что может быть более жалкого, постыдного и бессмысленного, чем такая смерть?! — Он задумался, как бы в замешательстве. — Ну что я могу вам предложить? В сущности, вряд ли ваши показания, даже честные, будут иметь для нас в данной ситуации значение. Кроме того, — генерал развел безнадежно руками, — нуждаетесь после

эзекуции в длительном лечении. Конечно, вы полагаете, что даже если вы нам и дадите показания, мы вас... ну, вы сами понимаете... Но я после всего высоко ценю вас. Как особую личность. И готов сохранить жизнь. Вы человек, несомненно, мыслящий, военный и отлично знаете: мы лишены возможности в какой-либо полезной для нас мере воспользоваться вашими сведениями. Повторяю: ситуация, увы, не та. Только по долгу службы не приказываю — прошу. Не принуждайте нас совершить крайность, тем более что ваша честь ничем не будет запятнана: вы сообщите уже бесполезное для нас. Подумайте! Прошу... Ну как более опытный в жизни и старший по возрасту. Я военный не только по призванию, по наследственному долгу. По своим этическим взглядам я чужд того, что привнесено в мою страну главенствующими в ней политиками. Армия есть армия. Она моя святыня, мой повелитель и совесть...

— Гитлер капут! — усмехнулся Лебедев. — Уже заразились от своих же. На ходу перестраиваетесь!

— Грубо и глупо, — сказал генерал вставая. — Очень сожалею, но вынужден все повторить. Последовательно, с самого начала. — Повелительно взглянул на офицера. Тот уселся на стул, упористо расставил ноги, прицелился...

И вдруг за окнами послышался громкий странный скрипящий шорох, ритмичный стук, будто кто-то стучал пальцем в гудящую огромную фанерную перегородку. И затем раздался мерный, жесткий, словно механический, голос, твердо, четко, требовательно выговаривающий каждое слово:

— Генерал фон Лебке! Советское командование при немедленной безоговорочной капитуляции вашего гарнизона гарантирует вам жизнь и всему вашему личному составу! В противном случае открываем огонь, подвергаем бомбовому удару авиацией. Сигнал о принятии вами ультиматума — опущенный флаг с башни, на что дается десять минут. На выход сложившего оружие гарнизона крепости — пятнадцать минут.

Треск, скрипение, пауза, и затем тот же грозный голос:

— Если в течение десяти минут вами не будут отпущены захваченные советские военнослужащие — капитан Лебедев и другие, наш ультиматум отменяется. Время — мое! Шестнадцать часов сорок минут!

Включенный метроном стал гулко отсчитывать секунды.

Генерал переглянулся с офицером.

Лебедев, бледный, с синюшным лицом, сидел осклабившись.

В комнату вбежал офицер.

— Господин генерал! Солдаты хотят бросать оружие. Я приказал направить на них пулеметы.

Снова заскрипело за окнами. И размеренный голос произнес:

— Советское командование ждет! Сейчас будет дан пристрелочный залп — предупредительный. Ультиматум не отменяется.

Голос заглох в реве рвущихся где-то невдалеке снарядов. От ударной волны с дребезгом посыпались стекла, сорвало занавеси.

Генерал сел на диван, разбросав ноги.

— Опустите флаг! — сказал он бесцветным голосом. — Гарнизон капитулирует. Я не палач своих солдат! — сорвался он на визг. — Тем более что это не солдаты. Сброд, дрянь, трусы, изменники... А этого — на носилки, и вон. Впрочем, вызовите врача — быстро перевязать. Чтобы явно было: помощь раненому оказана. И трупы тоже на носилки. Кто будет сопровождать, доложите: русские сражались храбро. Пленных нет. Кстати, любой опытный военный по характеру ранений определит: никто из них не был подвргнут казни.

— А этот? — спросил офицер и положил руку на кобуру. — По-видимому, он и есть капитан Лебедев.

Генерал на мгновение задумался.

— В сущности, кто он? Диверсант. И то, что он испытывал, в границах милосердия. По нашим положениям вражеский разведчик заслуживает этого. Я военный и подчиняюсь законам военного времени, — успокоительно сказал он и приказал: — Несите.

— Но я исполнял только ваши приказания! — спохватился офицер.

Генерал посмотрел на него насмешливо:

— А я находился под давлением вашей службы — гестапо. Впрочем, у вас найдутся другие документы — советую на всякий случай. Но не ручаюсь, что буду брать что-либо на себя.

Подошел к окну, прислушался к мерному стуку метронома. Офицер мягко, тихо подошел сзади и выстрелил

в седой висок генерала. Потом бросил рядом с упавшим свой пистолет и быстро вышел из комнаты, на ходу разрывая бумаги, которые он доставал из внутреннего нагрудного кармана своего мундира.

В санбат прибыл армейский хирург, полковник медицинской службы Иван Яковлевич Селезнев.

С яростным ожесточением он мыл руки, оттирая их щеткой так, словно пытался содрать с них кожу. Потом протянул руки медсестре, дал ополоснуть их спиртом и покорно ждал, пока высохнут, пока сестра натянет на них резиновые перчатки. Сквозь марлевую повязку он глухо говорил:

— Когда не было анестезирующих средств, оперируемого привязывали ремнями к столу или к койке с высокими ножками и давали жевать специальную толстую подошвенную кожу, дабы не ломал зубы от сильного жима челюстей. С анестезией началась новая эпоха в хирургии.

Подняв высоко руки, словно сдаваясь кому-то в плен, он вошел в операционное отделение, склонился над столом, воскликнул радостно и приветливо:

— Майор Пугачев! Здравия желаю! Ну-с, чего вы тут над собой натворили?

Властными точными движениями исследуя раны, говорил беспечным тоном:

— Для армейского хирурга даже не по чину такая работа, ерундистика для начинающего. Да что вы ежитесь? Возможно, пальцы холодные? Или от щекотки?

— Оставьте мне ногу, — сипло произнес Пугачев. — Не дам отрезать. Не дам!

— Аполлон! — говорил восторженно Иван Яковлевич. — Вот это телосложение! Бог! Спортом занимались? — И быстро швырнул что-то окровавленное, сырое в эмалированный белый таз, воскликнул: — Ну что вы! Я туалет только навожу, а вы кряхтите, как маленький. Самая страшная и нестерпимая боль — это я вам честно доложу, — когда зуб рвут. Маршалы и те плачут. Больной зуб — это высшее наказание, страдание человечества. Извините, кажется, задел. Здесь чувствительно? И хорошо, что чувствительно! Просто замечательно! — И снова бросил что-то окровавленное.

— Я все стерплю. Только ногу, ногу мне оставьте! — прохрипел Пугачев.

— А на черта мне сдалась ваша нога! — вдруг грубо оборвал его Иван Яковлевич. — У меня своих две. Вот личико ваше — тут придется ради полной красоты пластическую, косметическую... Ради ваших девиц постараюсь. — Заявил с достоинством: — Сейчас хирургия все может! Желаете нос с горбинкой — пожалуйста!

— Рожка пускай останется калеченой, хрен с ней, с рожей, — хрипел Пугачев. — Нога! Вы мне ногу оставьте!

Иван Яковлевич указал глазами сестре, она быстро положила на лицо Пугачева маску. Включила шланг.

Пугачев замотал головой, сбросил ее.

— Усыпить, чтобы ногу отхватить втихую? Не позволяю! — Он приподнялся и сел.

— А вот я тебе сейчас дам по скуле! — Иван Яковлевич поднес к лицу Пугачева обрезиненный кулак. — Меня серьезные раненые ждут. Брошу и не буду с тобой канителиться. Ложись, говорят! — И вдруг подмигнул и улыбнулся.

Пугачев, ошеломленный, покорно лег и позволил, покоренный, наложить маску.

Выжидая, Иван Яковлевич заметил восхищенно:

— Каков, а! Хулиган! И энергии сколько! Минимум десять тонн взрывчатки в одном человеке.

Приподнял и опустил бережно безвольную, ослабевшую руку Пугачева. Лицо стало строгим, озабоченно-суровым. Приказал сестре:

— Поддай скальпель, зажимы, тампон... Еще тампон...

Когда Пугачева вынесли в послеоперационную, Иван Яковлевич опять с таким же ожесточением мыл руки, повторяя все сызнова, вошел в операционную с воздетыми ввысь руками и опять, склонившись, удивился:

— Капитан Лебедев?! И вы пожаловали наконец-то. А я все думал: когда он навестит по личным надобностям? — Спросил осуждающе: — Что-то это у вас за симметрия такая — и в ручки и в ножки? Распинал вас кто, что ли? Но не от гвоздиков. Сквозное, малый калибр. Косточки сейчас проверим. Уверяю, человек — высшее творческое произведение природы. Почему? А вот совершенство конструкции. Всего в наличии 228 костей, а как гениально все продумано, слажено! Повезло вам, голубчик. Вот с лейтенантом Петуховым пришлось мне попотеть: наломал себе дров, и все сложные переломы. Но молодой, срастется.

Я ему так и сказал. Ремонтно-восстановительская мощь организма. Теперь все. Лежите, но не залеживайтесь. Лечебная физкультура. Постепенно, помалу. И вполне футболист! — Склонился, спросил: — Может, прикажете уснуть?

— Нет, — сказал Лебедев. — Выдержу.

— Верю! — согласился Иван Яковлевич. — В сущности, вы правы. Зато потом ни рвоты, ни тошноты. На каком вашем тайном геройстве изволили пострадать? Да я же так, для разговора. Отвлекает... У меня тут один боец с весьма сложным ранением. Чрезвычайно интересный случай. Пробита грудная клетка и, представьте, чем? Колом от проволочного ограждения. Так с колом он и приполз. Ну, я извлек. Потом повторно оперировал. Оказалось еще слепое ранение. А он, знаете, смущается, что я много им занимаюсь, говорит: «И так заживет, а тут другие вас ждут». Ну, я к Юрию Владимировичу. Так и так, по мне — герой. Здесь ему и вручили орден. Так он на нижнюю рубашку нацепил. И все на орден глаза косит. Психотерапевтический эффект от ордена был великолепный. Полагаю, что ордена именно в госпитале надо вручать — оздоравливает. Вам как, за это самое, очевидно, тоже пожалуют? — Осведомился самодовольно: — Что, здорово я вам зубы заговорил? Все! Как парикмахеры говорят: «Будьте любезны, заходите, не забывайте!»

И еще Лебедева не вынесли со стола, крикнул зычно:

— Давайте нового!

И вышел снова скоблить щеткой руки.

Только под утро он кончил оперировать. Обнаженные по локоть руки его налились толстыми синими венами, как у землекопа или каменщика после тяжелого длительного труда.

Усевшись у входа в палатку на вынесенный стул, раздвинув ослабевшие ноги, он курил вздыхая: ворот растегнут, потные волосы слиплись, под мышками влажные темные пятна.

Приехал генерал Лядов.

Молча поздоровались.

Иван Яковлевич сказал сердито:

— Воюете, а мне вот за вами людей чинить! На ноги ставить! Приехали, верно, хвастать — сражение выиграли! — Мотнул головой на палатку: — С такими людьми да не выиграть! Тоже мне новость?

Лядов опустился рядом со стулом на землю, вытянул ноги, оперся на локоть, спросил:

— Что такой сердитый?

— А то! Если б стонали, выли, а то молча терпят. А у меня у самого от этого молчания брюхо к спине прилипает. Знаю — сверхболезненно. Но паясничая, развлекаю! Ерничая! Грублю! Как, по-вашему, легко это — на своей совести все волочить?

Лядов помолчал, вздохнул:

— Что касается меня, то я, откровенно, не смог бы.

— Вот! А я — командовать, зная, как это потом выглядит.

— Значит, каждому свое.

— Ну уж это извините! Считаю: тоже воюю! Знаете, был случай. Принесли немца. Тяжелое ранение. А у меня очередь тяжелых. Вышел, спросил их: как? Сказали: валйте с него. Пусть знает: мы не они.

— Вы бы записки врача писали, — посоветовал Лядов, — как Вересаев.

— И пишу! Пишу, но только научные. Без беллетристики. Материал ценнейший и для будущего. Он кто, Вересаев, терапевт?

— Какого будущего? Новая война?

— Зачем? На нашем опыте хирургии могут потом почти воскрешать при самых тяжелейших травмах. Победить клиническую смерть — разве это не высшая цель? И победим!

Лядов сказал:

— Верховный в приказе объявил благодарность генерал-лейтенанту Белогривову, войска которого прорвали фронт противника на всю оперативную глубину и сейчас вместе с моей дивизией завершают окружение значительной группы врага. В Москве его дивизии — салют.

— А вам?

— Командующий армией пожал руку, выразил дружески признательность и глубокое уважение.

— Ну, от меня тоже. — Иван Яковлевич дотронулся до вялой руки Лядова, спросил: — Вы что, обижены?

— Ничуть! — встрепенулся Лядов. Встал. — Белогривов организовал прорыв в высшей степени мощно и неотератимо. Но, конечно, то, что наша дивизия действиями своей разведоперации боем отвлекла на себя значительные подвижные силы противника и облегчила прорыв всего его

фронта — операцией, я бы сказал, изящной и точно продуманной, — приятно.

— Войдет в анналы?!

— Во всяком случае, для военного искусства представляет некоторый интерес — не для историков, а для курса тактики, весьма возможно.

— Вклад в науку — это всегда хорошо! — солидно заявил Иван Яковлевич. — Я вот тысячи оперировал, но из них есть десяточек, весьма поучительный, просто сокровище. Горжусь!

— Я тоже, — сказал Лядов.

— А чего вам еще? Герой, куда выше!

— Как Пугачев? — спросил Лядов. — Я ведь, собственно, к нему. Высшая награда!

— Высшая! — сердито сказал Иван Яковлевич. — Полстоны я ему пока отнял. Сэкономил. А может, следовало всю! Очнется, приду, а он такой: может и по морде, скажет — отдай обратно. Протезом разве вернешь?

— Значит, что ж, вчистую?

— Какой быстрый! — рассердился Иван Яковлевич. — Я еще с ним поканителюсь. Сохраню солидный кусок. Если, конечно, сепсиса не будет. А в крайнем случае в чем дело? Кутузову без одного глаза войсками доверяли командовать. А вы хромоту доверить не захотите? Это уж извините! Я командарма дважды резал. Кое-чем он мне обязан. Скажу: давай гонорар! Назначай на полк хромого Пугачева! А после он еще подумает, через пару десятков лет, оставлять вас, таких, в кадрах или списывать на пенсион!

— Приказ уже есть — о повышении в звании, — сказал Лядов. — Если вы подтвердите возможность, может вступить в должность после излечения.

— Подтверждаю! — сказал Иван Яковлевич. — Устно и письменно, с приложением оттисков всех своих пальцев и печати.

— Значит, не заходить к нему?

— Дрыхнет. И пускай дрыхнет. А то опять начнет кидаться — за ногу. Не буду же бинты снимать, доказывать — кое-что солидно осталось. — Предложил: — Может, к Лебедеву зайдете? Он без анестезии, железный.

— У него там связистка, — сказал Лядов.

— Запрещено! — возмутился Иван Яковлевич. — Но пусть в порядке исключения.

— Но я вам еще одну привез, к Пугачеву.

— Ну уж это извините! У меня тут не детская больница. Папы, мамы, тети, дяди!

— Она с ним все время в бою была.

— А мне плевать — где, когда, кто! Заносят инфекцию. Вот я ему за это и отрежу всю конечность. Так ей и скажите. Или она, или конечность.

— Тут еще ротный Петухов?

— Эвакуировали в тыл. В армейский госпиталь, а может, уже во фронтовом.

— У него большие заслуги. Огонь вызвал по скоплению танков и на себя.

— Представили? Ну и хорошо.

Подошла Нелли Коровушкина, остановилась против Ивана Яковлевича, скорбно, но твердо посмотрела ему в лицо.

— Это еще что за античное создание? — спросил Иван Яковлевич Лядова. — Ваша протезе? Физиономия ничего, как у скорбящей мадонны. Только чтобы у мадонны звание сержанта — это модерн!

— Я хочу видеть майора Пугачева.

— Ошиблись, голубушка, — сказал Иван Яковлевич, — нет уже майора. Подполковник под такой фамилией имеется, но не для вас. В запретной, недосягаемой зоне. Доступ запрещен.

— Он жив?

— А мы покойничков не держим. Каждая койка на счету.

— Он будет жить?

— Это даже неприлично, — упрекнул Иван Яковлевич. — Я над ним потел, маялся, а вы, извините, так неуважительно! Что, я время на него зря бы тратил? У меня своя профессиональная гордость! Взясся, — значит, уверен. Только вот за физиономию его не ручаюсь. Может, и не тае.

Нелли наклонилась, быстро поцеловала Ивана Яковлевича:

— Спасибо. Вы такой замечательный!

Ошеломленный Иван Яковлевич растерянно спросил Лядова:

— Она что, всегда такая экспансивная? Может, что-нибудь успокаивающее дать?

— Пугачева! — улыбнулся Лядов.

— Тут дудки — никак.

Иван Яковлевич встал со стула. Предложил Нелли:

— А ну садьте. Хотя я и старше вас по званию, но вежливость и королям рекомендуется. — Положил руку на ее плечо, сказал твердо и решительно: — Вы для меня не девица с этими ресницами вашими и всем прочим, а вредный и опасный нервно-возбудительный фактор для только что оперировавшегося. Его на данном этапе будет целостность собственной стопы волновать, а если мне не изменяет способность к психологии, то состояние его физиономии может превалировать над стопой, как только появитесь вы. Поэтому прошу: пока все со стопой не уладится, ваш визит исключить. Письменное общение не запрещаю! Все!

Нелли постояла молча, потом понуро побрела к машине. Иван Яковлевич вздохнул:

— Придется с его физиономией теперь основательно повозиться. Хотя эти пластические операции не люблю. Копотня! Вроде как лоскутное одеяло шить на ощупь. — Зевнул. — У вас больше ничего ко мне? Пойду заваляюсь минуток на шестьдесят. — Помедлив, удерживая руку Лядова, сказал наставительно: — Юрий Владимирович, рекомендую решительно: в случае чего ни минуты не задерживаться. Чем раньше ко мне попадете на стол, тем мне будет легче. А то вы, генералы, при любых ранениях полагаете, что без вас бой не состоится, а потом прибываете в чем душа... Если свежак, у него и силенок побольше, и работать на нем спокойнее, приятнее. И то всякие причиндалы приходится включать, и кровь в вену, и сердце массировать, — пульс чуть, дыхание как у новорожденного. Все это хирурга отвлекает, беспокоит. Если о себе не думаете, то хоть о нас. Тоже ведь люди.

— Хорошо! Обещаю! — сказал с улыбкой Лядов и крепко пожал Ивану Яковлевичу руку.

Когда машина тронулась, Нелли сказала, обернувшись к Лядову:

— Знаете, я решила выйти замуж.

— Да? — произнес безразлично Лядов, погруженный в свои мысли.

— И не потому, что я жалею его сейчас, таким.

— Мотив для брака — жалость? Неосновательный, — буркнул Лядов. — Впрочем, как вам угодно.

Высадив Коровушкину в бывшем расположении узла связи, Лядов приказал шоферу ехать на КП. Саперы ремонтировали дорогу. Дорога шла мимо многополосных оборонительных укреплений, прорванных дивизией Лядо-

ва, лесом, расщепленным, поваленным огнем артиллерии. Дорога пересекала то пространство, где было поле боя, изъязвленное разрывами снарядов, до сих пор остро, едко пахнущее остывшим, пропитавшим землю пороховым газом, потом шла мимо возвышенностей, где располагались недавно опорные пункты противника. Проходила через железнодорожную станцию, где дорожники, звеня инструментами, восстанавливали рельсовые пути.

Мощные тягачи растаскивали завалы, и один из них волок на тросе обезглавленный, в копоты, в окалине наш танк.

Дорога шла мимо водонапорной башни с осевшей кровлей и затем снова лесом, мимо огромного, с зубчатыми стенами монастыря, с высокой граненой башней с остроко-нечным шпилем над узкой конической кровлей, покрытой черепицей, словно бурой чешуей.

С погашенными огнями шли длинные колонны грузовиков с боепитанием, подразделения танков, артиллерии, реактивных минометов с покатыми рамами, затянутыми брезентом.

Дорогу охраняли ночники-истребители. Они глухо, с посвистом мелькали в небесном пространстве, как призраки.

На рассвете Белогринов приехал на КП Лядова торжественный, счастливый. Двое бойцов вынесли из машины что-то длинное, бережно обернутое красным полотнищем.

Приказав развернуть, Белогринов произнес с волнением:

— Это тебе, Юрий Владимирович, от всей нашей дивизии в знак, ну, сам знаешь чего.

Солдаты развернули красное полотнище.

На полотнище лежал полосатый пограничный столб, сломанный у основания. У основания торчала серая от времени щепка. Краска на нем выцвела, один бок столба отсырел и был темен.

Белогринов опустился на колено, склонился, коснулся губами столба, сказал:

— Группа разведки уже вышла на государственную границу. Она его и доставила. Мы посоветовались, решили — тебе, твоей дивизии.

Лядов обнял Белогринова, сказал задыхаясь:

— Прости, Степан. Завидовал как солдат, понимаешь?

Белогривов затряс крупной седой головой, прижался рыхлой щекой к груди Лядова.

— Счастлив! Не тем, что довелось стать во главе главного удара, а вот этим нашим всеобщим. Дошли! Считили с нашей земли! Навечно! И нет выше нам с тобой награды, чем это.

Он еще раз опустился на колено и нежно положил ладонь на пограничный столб.

14

Когда Петухова принесли в санбат, лишь армейский хирург Иван Яковлевич Селезнев не терял надежды сохранить ему жизнь после множественных ранений. Потом его отправили на самолете в тыл, во фронтовой госпиталь.

Только через полгода здесь состоялась трудная первая встреча Петухова с Соней. Пристально оглядев ее, он спросил враждебно:

— Выходит, ты налегке?

— То есть?

— Значит, ничего нет? — Петухов покосился на ее талию.

— Ах ты про это... — смутилась Соня.

— Может, просто не захотела себя затруднять или на аттестат рассчитывала?

— На аттестат, — сказала Соня. — Как все ППЖ — на аттестат.

— Вас понял, — сухо произнес Петухов.

— Раз понял, — значит, точка, — твердо произнесла Соня и развязно осведомилась: — Значит, на поправку идешь? Организм в порядке?

— Отремонтировали, — ответил Петухов. — Питание тут подходящее.

— С весом у тебя как? Набираешь?

— В довоенной норме. А у тебя как?

— С весом?

— Нет, вообще.

— Дали звание старшины. По должности — оператор.

— А медаль за что?

— За личную отвагу, — бодро сказала Соня.

— Это по какой же линии?

— По той самой, о которой ты думаешь.

- Значит, нашла себе?
- Нашла, а как же!
- Вас понял, — тупо повторил Петухов.
- Сообразительный.
- Ну что у нас там в части нового? — с холодной вежливостью осведомился Петухов.
- Все новое, вплоть до обмундирования.
- Навестила по указанию политотдела или личная инициатива?
- В политотделе командировку выписали.
- Ну, можешь доложить: нахожусь в полном порядке и соответствии.
- Так и доложу.
- Вспоминают меня как? Со смехом, с шуточками? — сощурился Петухов.
- Не понимаю, почему с шуточками?
- Ну, скетч, который ты со мной с КП разыграла, при всех вспоминают? Сплошной юмор.
- Может, для некоторых и так. А что, тебе смешно вспоминать?
- Смешно!
- Ну, тогда рада. «Смех содействует здоровью» — так, кажется, говорится.
- Кем?
- Не знаю. — Соня поглядела на часы, спохватилась: — Мне пора!
- Валяй! — милостиво разрешил Петухов и, вяло пошевелив рукой, произнес равнодушно: — Ну, значит, пока!

Соня шла по палате не оглядываясь. Лицо ее было бледно, сухо, глаза полуприкрыты. Но шагала она четко, громко ступая на каблуки. И вдруг она услышала за спиной тяжелое, словно каменное, падение, будто рухнула штукатурка с потолка или упала тумба с гипсовым бюстом.

Петухов лежал на полу около своей койки. Лежал в толстых гипсовых окаменевших бинтах и, протягивая тощие, тонкие руки, твердил:

— Обожди, обожди, я ведь только хотел тебе сказать — калека я. Значит, ни к чему тебе. Врачи говорят, снова надо кости ломать и заново складывать, а может, и зря. Не получится. Вот! Все поэтому... А так я все твои письма губами истер. Перечитывать стало даже невозможно.

- Глупый ты, глупый! — склонилась над ним Соня.
- А ты?

— И я тоже. — И тут же поспешно запротестовала: — И еще хуже, чем глупая. Просто дура!

— Товарищ старшина, — заявила Соне дежурная сестра. — Вам следует немедленно удалиться.

— Еще чего! — вызывающе сказала Соня и гордо пояснила: — У меня к вам направление. Аппендицит желаю резать.

— Давайте ваше направление! — сказала дежурная.

— Вот, пожалуйста.

— Но тут написано: только подозрение на аппендицит. Диагноз — общее истощение организма.

— По подозрению и режьте.

— Я вызову дежурного врача.

— Хоть самого главного!

Соню оставили в госпитале, но вовсе не по поводу аппендицита. У нее было обнаружено тяжелое заболевание: она, пренебрегая правилами, слишком часто вызывалась быть донором, как бы в отплату тем, кто давал свою кровь Петухову, почти истекшему кровью, когда он, израненный осколками, лежал под обломками стропил водонапорной башни. Соня не сказала Петухову, что была контужена с временной потерей слуха и из связи перешла в медслужбу в санбат.

Вытаскивая из-под огня раненых, каждый раз, чтобы не было так страшно, она убеждала себя, будто вон там тот лежащий в полосе боя под обстрелом раненый солдат — это ее Гриша.

У нее была раздроблена осколком коленная чашечка, при ходьбе нога моталась, и она припадала на нее.

То, что лежала до этого в госпитале, она скрыла от Петухова, чтобы он не волновался. Перемену номера почты объяснила многозначительно тем, что будто попала в особую часть.

Она была так уверена в Петухове, что не сочла даже нужным докладывать ему о своей хромоте.

Потом он говорил ей с упоением:

— Ну и что! Ты как уточка по земле: шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. У меня даже все внутри заходится, как услышу: шлеп-шлеп-шлеп-шлеп... Даже обмираю.

— Да ведь некрасиво.

— У Венеры руки отломаны, а на нее все смотрят, восхищаются. Вот, скажем, балерина, ходит по сцене на

цыпочках — красиво, а если бы все по улице так — глупость. У каждой красоты свое умное содержание. Я за что эту твою левую ногу больше другой люблю? Она же наша, фронтовая, все выстрадала, в беленьких шрамиках, прозрачненьких, словно из пластмассы. И точки по бокам от швов.

Повторил:

— И поэтому я эту твою ногу очень сильно люблю и лучше, чем даже свою, знаю.

Соня радостно, тихо смеялась, но при ходьбе, когда шла рядом с Петуховым, пыталась идти ровно, не качаясь, хотя при этом мучительно ныло колено и судорогой сводило икру.

Был день на солнечной стороне планеты. Был день. Жаркий, горячий, в изобилии света.

Минул тот день, когда к подножию Мавзолея Ленина воины советского народа швырнули на камни Красной площади знамена разгромленной фашистской армии.

И они лежали там долго, разноцветными тряпичными грудами, и дождь поливал их. Дождь первой послевоенной весны.

Был полдень, жаркий, горячий.

На окраине старинного среднеазиатского города, в низких одноэтажных саманных домишках, изрезанного арыками, цветущего садами, над которыми возвышались обломки древнего храма, его башни, облицованные лазурными керамическими плитками цвета неба, сплетающими дивный, изящный узор, подобный мозаике из драгоценного камня; на этой окраине, куда примыкала жгучая песчаная рыжая пустыня, взъерошенная саксаулом, в застывших волнах барханов, стоял огромный серый завод, подобный гигантскому океанскому судну, приставшему внезапно к берегу пустыни.

Сюда в сентябре сорок первого, как на необитаемый остров, стаскивали из железнодорожных вагонов оборудование, станки того завода, на подступах к которому шел в это время бой. Завод спешно демонтировали под орудийным огнем, под бомбежками, но часть рабочих оставалась у станков, и возле них нетерпеливо переминались экипажи поврежденных танков, которые тут же ремонтировали, пока сам завод разбирали на части и грузили на платформы.

У завода заживо ампутировали участки, пролеты, цехи, и когда саперы с ломami и домкратами и минеры со взрывчаткой вошли в силовой цех, остановилось электротурбинное сердце завода. И он погас, холодея, и замер.

Выгружались в пустыне. Рабочие сразу становились к станкам. Город отдал им весь свой свет, ибо электростанция его была слаба, и ее хватало только на эти станки.

И невдалеке от станков, работающих то под палящим солнцем, то во мраке южной ночи, дехкане, подоткнув полы халатов, кетменями копали котлованы под фундаменты будущего завода — вот так же некогда методом народной стройки они возводили в этих местах знаменитый канал, давший плодородие иссохшей земле их.

За несколько месяцев здесь прочно и навечно встал на свои бетонные основания огромный завод и вытянул высоко в небо изваянные из камня трубы.

Его построили и стали на нем работать люди многих советских национальностей, изгнанные сюда войной, и у каждого из них кто-то сражался или пал в бою. Древний этот город стал для них столь же родным, как люди его, как этот завод, возведенный руками всех. И так же, как до этого, еще не зная друг друга в лицо, они понимали, что все созданное в стране сотворено их братством, сплоченностью, которая ныне еще больше усилилась кровью воинов и сблизила их в семью, у которой одно общее горе и одно общее счастье — в победе.

То, что в разгар всех бедствий войны страна возводила новые заводы, перемещала с запада на восток такие гигантские материальные величины, которых было б вполне достаточно, чтобы основать где-нибудь на новом месте новое государство, равное по своей индустриальной мощи любому среднему европейскому, — уже это одно было и неслыханным подвигом, и неведомой скрытой мощью страны, которая оказалась на это дееспособна, поскольку опиралась на народ, свершающий трудом своим, героизмом такое, чему не было равного во всей человеческой истории.

И тут нельзя отдать предпочтение ратной героике перед героикой такого труда народа.

И то, что было заложено годами — осознание общей цели жизни в душах, сердцах, мыслях, народное чувство многонационального единства, — не давало тем, кто был изгнан сюда войной, чувствовать себя изгнанниками. И из всего высшего духовного, чего достигла страна, к чему она стремилась в человекостроительстве, это было ее наивысшим, жизненно главным.

И это воплотилось в жизнь коллектива завода. Он был сам как бы живым воплощением единства во множестве людей социалистических наций. Приказы по заводу выве-

шивались, отпечатанные на многих языках, и на производственных совещаниях присутствовали переводчики, и в цехах был слышен разноязыкий говор. Большинство новоприбывших после работы уходили в дома местных жителей, где получили приют и где хозяева стали тоже заводскими людьми, и там у них был тот же общий разговор о заводских делах и о том, что на фронте.

У каждого народа свои обычаи, свои вкусы, привычки, но в смешении всего этого создавалось нечто новое. Те, кто носил кепки, признали удобство тюбетек; кто ходил в тюбетейках, сочли более целесообразным надевать кепки, защищающие козырьками глаза от жара мартеновской печи. Борщ соперничал с лагманом, шашлык — с котлетами. Халат не годился для работы в цехах. Но если он на вате, — значит, пальто. Но это так, мелочи.

Как в слиянии родников возникает мощное полноводье реки, так и здесь из слияния душ людей возникала их духовная мощь, рождая новое в человеке, обозначая его новыми чертами, всеобщими для всех.

Саид Нугманов служил бронебойщиком в роте Петухова. Он ушел на фронт сразу после школы, как и Петухов.

Невысокий, статный, темноглазый, добрый, улыбчивый, он, получив впервые противотанковое ружье, сказал опасно:

— Тяжелое, длинное, как все равно лом железный.

— Вот, правильно, — согласился Петухов. — Теперь бей им дыры на фашистских танках.

— Трактор видел, танк — нет.

— Ладно, покажу, как он выглядит, — пообещал Петухов.

И он пошел за второго номера с Нугмановым в засаду. И когда появился танк, Нугманов, припав к прицелу, долго и бесстрашно ожидал, потом выстрелил — раздался звон брони. Петухов подавал ему патроны, поощрительно говорил: «Молодец, не трусишь».

Потом Нугманов сказал ему обиженно:

— Я тебе не говорил, что ты не трусишь. Зачем ты мне говоришь, что я не трушу?

— Извиняюсь! — сказал Петухов. — Это я просто от радости. Сильно гвоздили!

Петухову нравилось, как Нугманов не только вежливо, но и услужливо держался с солдатами старших возрастов, несмотря на то что сам получил уже звание сержанта.

— Аксакалы! — объяснил Нугманов эту свою услужливость. — Такой у нас обычай: стариков уважать надо.

— Для воспитания обычай правильный, — согласился Петухов.

Один из пополненцев освобожденной западной области обозвал Нугманова «азиатом» за то, что тот, очевидно стесняясь девушки-санинструктора, не дал ей перевязать свою рану и, когда она стала настаивать, сказал высокомерно и презрительно: «Уходи, женщина!» Петухов сначала вызвал пополненца и долго внушал ему, что такое обращение к товарищу могло к нему прилипнуть только от фашистов. Потом спросил Нугманова:

— Что ж это ты, Саид, санинструкторшу обидел?

Нугманов сказал хмуро:

— Женщина есть женщина. Мужчина получил рану и только от мужчины примет помощь.

— А если б дома — мать?

— Я бы ей сказал: позови мужа!

— Что же, у тебя в школе учительницы не было?

— Была.

— Ну и как?

— Хорошая, — улыбнулся Нугманов. — Замечательная.

— Вот, видал! Тебя учила женщина. И, значит, то, чему она тебя выучила, это в тебе от женщины, как и вообще все мы от них. Не будь их, нас не было бы. Если по существу, они главные на земле. А не мы вовсе. И если конкретно: чем ты, например, воюешь? Женщины оружие тебе сделали. И все они делают, пока нас нет. Одни, сами. Прикинь умом, и получится — не они при нас, а мы при них служащие, только сейчас военнослужащими называемся.

Нугманов подумал, помолчал, сказал грустно, тихо:

— Я свою Саиду очень люблю. Но, понимаешь, если каждый на нее будет смотреть, она каждому может нравиться.

— Ну и пусть нравится. Значит, ты лучше всех, раз она не кого-нибудь, а тебя любит. Значит, все в норме!

После госпиталя и демобилизации Петуховых у Сони обнаружилась та же болезнь, что и у ее матери. Петухов взял по орденским литерам билеты и уехал вместе с Соней к Саиду Нугманову, который давно звал его к себе погостить.

Петухов полагал, что он вылечит там Соню на одном солнце и винограде.

Здесь Петухов поступил на завод в мартеновский цех подручным и одновременно на заочное отделение института.

2

Итак, был полдень. Обеденный перерыв на заводе. Петухов стоял на железном виадуке, пересекающем складской двор мартеновского цеха, и смотрел вниз, опершись грудью на перила. Два мостовых крана разгружали железнодорожные платформы, заваленные скрапом для переплава. Один кран был оборудован висящим на цепях электромагнитом, подобным гигантской океанской черепахе. К спускающемуся огромному диску электромагнита плотно прилипали целыми гроздьями крупные обломки металла. Другой кран с крючьями на тросах был приспособлен к подъему крупногабаритных тяжестей.

Обычно тут, на виадуке, Петухов ожидал Соню, пока она выйдет из конструкторского бюро завода, чтобы идти вместе в заводскую столовую.

Саид Нугманов был уже старшим сталеваром, и именно к нему поступил подручным Петухов. Бригадиром над ними стоял Гнат Бобко, бывший командир танкового взвода, донбассовец, оставшийся здесь после длительного лечения в госпитале. Отец Петухова, когда был жив, работал печником в мартеновском цехе, сын часто приходил к нему, и в памяти его отчетливо отпечатались все повадки, приемы сталеваров. И скоро Петухов мог уже самостоятельно работать горновым.

Соня подружилась с Саидой, и обе они поступили в школу прикладного искусства, которой руководил ленинградский профессор, доктор искусствоведческих наук, утверждавший, что открыл для себя целый мир прекрасного в творчестве народа, увековечившего свой художественный гений в поэзии орнамента, придав камню гибкость и изящество кружев.

Профессор носил в своем портфеле завернутые в клеенку куски мяса и, где бы ни завидел кошек, подкармливал их этим мясом. Во время блокады он убил своего любимого кота, ободрал, сварил и, давая жене эти мясные порции, уверял ее, что получил кролика за работы по маскировке зданий, и этим спас жену от смертельной дистрофии.

Саид и Саида обращались к Григорию и Соне со словами

«брат» и «сестра», дети называли их не иначе как «уважаемые родственники», и всегда Нугмановы усаживали Петуховых на самое почетное место на ковре, и даже потом купили для них два стула и стол на базаре, ибо в доме не было мебели. Только в цехе Саид обращался к Петухову как старший к младшему, как сталевар к своему подручному. Если Григорий и Саид предавались фронтовым воспоминаниям, Саида бледнела, прикладывала ладони к ушам, умоляла:

— Не говори, Саид, мне страшно.

Саид самодовольно улыбался, говорил Петухову вполголоса:

— Любит, потому ей и страшно за меня.

В цехах за работой трудно было различить, кто есть кто, люди различались скорее по специальностям. Те, кто работал в горячих цехах, были смуглы, плечисты, скупы на излишние разговоры и походили на расчеты дальнобойных тяжелых орудий своей солидностью и особым достоинством. Шлифовальщики и лекальщики сутулились, ходили в очках. Сборщики отличались нервной подвижностью, потому что им приходилось итожить работу всех и доводить детали за тех, кто оказывался не на высоте квалификации.

Словом, на каждого профессия накладывала общий для нее отпечаток. И только после работы по лицам, по одежде можно было, не ошибаясь, сказать, кто есть кто, да и то это скорее относилось к новичкам.

Если такое существо, как человек, сформировал труд, то понятно, почему в общем труде люди обретали всеобщее в своем рабочем облике, во взглядах и миропонимании.

Такой завод с такими же людьми мог быть и на севере страны, и вообще в любом ее районе, но, естественно, преобладали бы местные, только и всего.

И если существует у каждого тоска по родным местам, то на заводе ее нельзя испытать, ибо каждый завод подобен другому, как и заводские люди на нем.

Петухов стоял на виадуке и смотрел вниз, вначале бессмысленно, томимый только ожиданием Сони. Но вдруг он увидел, как на крючьях крана повисла башня нашего танка с облезлой надписью на ней, а с диска электромагнита свесились звенья плоских гусениц с немецкой самоходки, куски ее брони, и к ней прилип разорванный ствол нашей противотанковой пушки. Все это с грохотом обрушилось в железные корыта цеховых вагонеток. И затем снова над платформами повис диск электромагнита, крючья

мостового крана, выхватывая с них и советское и немецкое разбитое, разрезанное автогенном, некогда грозное смертоносное оружие, которое в мартеновских печах, сплавленное вместе, выльется потом белой сверкающей струей стали и обратится в те изделия, которые теперь обязан давать завод стране по номенклатуре мирного времени.

И все это было скрапом, железным ломом, металлическим хламом, оставшимся после войны. Утильсырьем для мартенов. Утильсырьем! А ведь для того, чтобы одолеть хотя бы одну вот эту немецкую самоходку, понадобилось столько жертв! А танк Соловьева с надписью: «Папе от Леночки», он был и святыней всей танковой бригады. И когда Соловьев таранным ударом сшиб паровоз бронепоезда, скольких он спас от орудийного и пулеметного огня бронепоезда! Или вон тот согнутый ствол противотанкового ружья, прилипший к плоскому пузу электромагнита, как все равно кусок водопроводной трубы. Сколько нужно было мужества, доблести, чтобы бить из него по танку, несущемуся, как скала, по склону, бить по нему, когда уже видишь совсем близко траки его гусениц, зеркально стертые о грунт и зеркально сверкающие своими бликами в глаза тебе.

Каждый раз повергнуть оружие врага было счастьем, потерять свое — горем. Потому что повергали ценой жизней и теряли свое вместе с жизнями.

Никогда с такой ясностью не представляли взору памяти те, кто остался на поле битвы, как сейчас, когда Петухов смотрел на этот вот металл, безразлично сваленный в мертвые, исхламленные кучи металлолома. Он испытывал ярость, обиду, был оскорблен тем, что наше бывшее оружие сейчас свалено в одну кучу. Полется новая сталь, и из чего будут отлиты новые мирные изделия, будет неведомо людям. Он впился руками в железные ржавые перила виадука так, что ржавчина под ладонями скрипела, шелушилась. Петухов ощутил внезапную боль в рубцах своих недавних и давних ранений, и пот слабости выступил на его лбу.

Подошла Соня, взглянула торопливо, встревоженно спросила:

— Ты что? Тебе плохо?

— Смотри, — Петухов мотнул головой на краны. — Видела как? Наше и фашистское сваливают в общий котел для варки, чтобы из него потом... — Не зная, что бы сказать пообиднее, бросил: — Кастрюли делать.

— Ну и что? Правильно! — сказала Соня. — Кастрюли

достать нельзя, все домохозяйки мучаются, на базаре втридорога.

— Ты что? — яростно спросил Петухов. — Не понимаешь?

— Гриша! Но мы и для этого тоже воевали, чтобы людям жить лучше и легче.

— От кастрюль?

— От кастрюль тоже, без кастрюли обед не приготовишь.

— А тошнить не будет? Из какого металла, нашего или ихнего, они сошлепаны?

— В немецкой каске из концентрата кашу варил? Ели и похваливали. И не тошнило.

— Но не в своей же!

— И в своей сварили б. Но не положено свое армейское имущество портить.

— Хороша! — сказал Петухов насмешливо.

— Ты б лучше так подумал, — посоветовала Соня, — чем больше соберем металла с полей боя, тем больше пойдет в переплав. А потом, — она пожала плечами, — пройдет несколько лет, и неповрежденное наше оружие в переплав пустят — устареет, и все. Это же нормально!.. Были танки — станут тракторы или ножи, вилки, чайники, швейные машины... Да мало ли что! Вот кроватей нет. Люди на топчанах спят, это что, нормально? И сам ты лезвие от безопаски все в стакане точишь — это что, правильно? Станки у нас уже устаревшие, надо новые, а из чего? Мы вот в конструкторском создали проект. Металла — дефицит. Канализации в городе нет. Водопровод только для промышленных нужд. А люди? Трубы из чего, из глины делать? Такие, как вот в раскопках, видели? Ну уж нет!

Дернула Петухова за рукав:

— Идем, есть хочу. — Усмехнулась: — Котлы в кухне немецкие. Нашли в металлоломе и приспособили. Если ты такой принципиальный, не ешь из них, ходи голодный. Но знай: тощий ты мне только на фронте нравился. А раз супруг, должен выглядеть солидно. — Нежно провела рукой по его щеке, произнесла тихо: — Я тебя понимаю, Гриша. Не нельзя только войной жить. Ты же для жизни воевал. Так? Ну и пошли.

Петухов шел опустив голову, а за спиной его раздавались лязг, скрежет, грохот, вопли металла, падающего в вагонетки мартеновского цеха.

Вообще-то на фронте Петухов привык к разноплеменному братству людей и лишь для удобства памяти запомнил, кто из бойцов какой национальности, и, если трудно выговаривалась фамилия, извиняясь, обращался только по имени. Характер каждого выявлялся в бою и в бою приобретал то всеобщее, что присуще советскому воину, какой бы национальности он ни был, и только на отдыхе по особенностям в облике, речи, по мечтам о доме можно было определить, где кто родился.

Но, поднимая в атаку, командир призывал:

— Вперед! За Советскую Родину!

И всем было ясно, что именно за всеобщую.

Всеобщность в армии особо ощутима каждым, ибо каждый за каждого идет на смерть. И если в начале войны бойцы держались еще землячества и выбирали товарищей, побуждаемые землячеством, то, обвоевавшись, сближались по характерам, по своим солдатским профессиям, по признательности за выручку в бою и еще по своим мирным профессиям, по общему для них интересу.

Это новое качество дружбы солдат Петухов считал делом само собой разумеющимся. И его дружба с командиром первого взвода Атыком Кегамовым возникла и окрепла на почве того, что Атык Кегамов так же, как и Григорий Петухов, тревожился за людей, которых они посылали в бой: все ли точно рассчитали они в организации боя, ибо любой просчет означал пожизненную вину за павшего. И, назначая на рискованную операцию группу, возглавляли ее сами, считая это скорее своим слабодушием — чтобы не переживать за других, — чем достоинством.

И Саида Нугманова Петухов заметил как смелого бойца, выдвинул бронебойщиком и полюбил за его душевную воспитанность, мягкость, с какой тот обозвавшего его «азиатом» пополненца из освобожденной западной области потом подружил с собой, взял вторым номером, сказав Петухову:

— Я же член партии! Он при Советской власти сколько жил? Пустяки. — Улыбнулся: — Делюсь опытом: мой отец по обету у муллы пять лет даром работал, его отец и сам он на помещика батрачили. Он и сейчас в бога верит, а я имею точные сведения — бога нет, а его служащие — жулики, как тот наш мулла. Давал отцу священное снадобье. Отец за

исцеление обет дал. Оказалось, в аптеке мулла лекарство для него брал.

И на заводе Петухов не замечал, что тут люди из разных концов страны, потому что привык к этому на фронте, только и разница, что все в гражданском, а не в форменном обмундировании, и от этого столь различен их внешний облик.

В цехе во время работы их лица обретали всеобщее выражение трудовой озабоченности, и чем углубленней человек был занят своим делом, тем больше он походил на других, столь же ревностных тружеников. Совсем как во время боя, когда, глядя на лица солдат, Петухов не всегда различал их, объятых общим выражением боевой ярости, ненависти к врагу.

Все годы войны завод выпускал оружие, боевую технику. Каждый рабочий приспособился к той операции, на которую он был поставлен, работая по десять и более часов, когда это было нужно фронту.

Оружие совершенствовалось, но для рабочих производство его почти ничем не разнообразилось. Это был беспре-рывный труд, в сущности, по созданию одной и той же продукции, одних и тех же деталей, расчлененных на одни и те же операции.

Война кончалась, и нужно было переходить на мирное производство. Но оказалось, что значительная часть рабочих, особенно станочников, так привыкла к массовому потоку одних и тех же типовых деталей, что новый характер продукции им сразу не давался. Нужно было перестраиваться и металлургам, и технологам, и руководителям, начиная с начальников цехов, кончая бригадирами.

Кроме того, одно дело, когда люди работали, сознавая, что идет война и они дают оружие, другое — когда война кончилась и надо делать сельхозмашины, метизы, гвозди, скобы, арматуру длястроек, всякий ширпотреб. Эвакуированных тянуло домой. Чтобы остались, надо дать хорошее жилье, оборудовать его.

И возникла проблема — кровати!

Да, кровати. О них никто не думал. Спали на топчанах, в гамаках, на войлочных подстилках. Нужны кровати! И не только эвакуированным — даже из кишлаков пришли заказы.

Завод получил огромный заказ на кровати.

Конструкторы, которые создавали новое совершенное оружие, смущенно обсуждали наиболее рациональную кон-

струкцию при максимальной экономии металла. Спустили в цех чертежи. А кровати делали так, словно не на заводе, а в кустарной мастерской, — небрежно, плохо.

Петухов стал парторгом в цехе, которому дали задание производить кровати.

Собственно, это был не цех, а складское помещение, наспех приспособленное под цех. Списанное, изношенное оборудование, уже было сданное в металлолом, изработанный инструмент, земляной, плохо утрамбованный пол, ни одного окна, днем приходилось включать свет.

Но рабочие не только от нищеты, ветхости, унылых сумерек цеха приходили в уныние. Они в этом цехе, который должен был производить кровати, испытывали нечто похожее на то, что испытал сам Петухов, когда смотрел с вершины виадука, как краны стаскивают с железнодорожных платформ бывшее грозное оружие, будто хлам, на переплав, чтобы из него, потом переваренного в чреве мартеновских печей, производились изделия вплоть до ширпотребовских.

Эти рабочие все годы войны являли подвиг самоотверженности, по десять — двенадцать часов не выходя из цеха, создавая оружие, без которого не было бы победы.

Маститые орденоносцы, знаменитые скоростники. Были и такие, кто работал у станков, стоя на ящиках, — школьники, не окончившие школу. А ныне мастера-высокоразрядники. А их — к кроватям.

Они работали во фронтовых бригадах, взяв на себя обязательство выполнять свою норму и за тех, кто ушел на фронт.

Когда сдавали новые партии оружия, на заводском торжественном митинге выступали прибывшие с фронта войны и от имени армии благодарили их за самоотверженный труд — подвиг, равный ратному подвигу. А теперь — нате вам! Железные кровати!

Парторг завода, лысый, сутулый, который после войны продолжал привычно казарменно жить у себя в кабинете за матерчатой занавеской, сказал Петухову:

— Армия тебя демобилизовала, но не партия. Для всех после войны будет полегче, посвободнее в смысле дисциплины, но не для нас, коммунистов. Законы военного времени кончились. Входят в полную силу законы жизни, по которым мы Советскую власть строим. Все для людей! Вот высший наш закон, им руководствуйся, его и исполняй полностью.

Спросил, сощураясь:

— Ротой командовал? Так это слово «командовать» отставить! Понятно? Убедил — твое. Не убедил, — значит, партийно ты не обученный. По орденам — герой. Но у нас тут тоже свой фронт был. Получат похоронку, придут в цех и сутками не выходят, у станков падали. Полежат в сторонке или в медпункте — и снова за станок. Так что со смертельной душевной раной в строю оставались... Осторожно, бережно к людям подходи. Тут за многими есть такое человеческое, по-особому значительное, никакими мундирами и знаками не отмеченное, но для всего коллектива они как звезды светят... Для тебя, может, после фронта все как сплошной день, и не заметишь, кто нам и чем светил. Осмотрясь на людей, по лучшим курс и держи, тогда тебя все поймут, поддержат.

Петухов горестно пожаловался Соне:

— Сняли с мартеновского — на кровати, парторгом поставили.

Соня улыбнулась его словам, но потом спросила задумчиво:

— Помнишь? Входим в освобожденный населенный пункт, и всегда что страшно? Обвалившиеся после бомбежки стены, а с них свисают кровати, железные, в окалине, искореженные. Жутко было видеть, особенно если детские, с обгоревшими сетками. И мы еще видели целую ограду из таких обгорелых железных кроватей, какая-то сволочь из них забор на своем огороде сделала.

Петухов сказал угрюмо:

— Однажды, когда в каком-то населенном пункте дрались, Бураков под танк со связкой гранат бросился. Мы его потом кое-как собрали, сложили останки в ванну и в ней его похоронили. Отступали, гроб некогда сколотить было, да и некому — отбивались.

Помолчали оба. Он и она.

Соня вдруг заявила решительно:

— И ванны тоже нужны! Но только кровати сейчас нужнее. Были в общежитии — на нарах спят, а в кишлаках — на кошме.

— Ну, это у них обычай.

— Обычай. А отчего обычай? Раньше кочевали, на кошме удобней, а потом стали спать на ней от бедности. На кроватях и лучше, и культурнее. Оружие на войне у всех было одинаковое, надо, чтобы после войны у всех все было. Нугмановы нам свою кровать отдали, соврали, что им

на кошме привычнее. А это неправда, другой достать не могли.

— Ну, раз такое, на кровать больше не лягу, тоже будем на кошме, — объявил Петухов.

— Нет уж! — сказала Соня. — Теперь ты виноват. Не будет всем кроватей, значит, ты не справился. — Помолчала. — Вот домашняя хозяйка — всегда мне казалось в этом что-то стыдное. А как стала женой, побывала у семейных, чтобы поучиться. И знаешь, Гриша? Как всем им трудно! Кастрюльки латаные, и то не у всех, чай пьют из кастрюлек этих же, чайников нет. Все изношенное, а одежду зашить — иголка на базаре столько же стоит, сколько баранья нога. У кого есть швейная машинка, на нее пол-улицы в очередь записывается. Даже ночью в саду при лампе на ней шьют. Всего всем не хватает. Это мы на фронте на всем готовом жили. Не знали, как тут мучаются женщины. Железа на ведра не давали, носили воду в деревянных. А это же двойная тяжесть, когда деревянное ведро, отсыревшее. Оно почти столько же весит, как полное. Тут дерева мало. Лепили из глины корыта, сушили, и детей в них купали, и стирали в них. Как робинзоны, придумывали всякое, чтобы обойтись, справиться. А на заводе они же по самой последней технике самое совершенное оружие делали. Для завода все — как для фронта. Теперь надо, чтобы завод им послужил, для семей их, для них, как служили они ему.

Напомнила:

— Когда Конюхов с нами прощался, он что сказал? «Коммунист — всегда коммунист. В армии, дома, на работе. Партбилет, он не только в кармане — в сердце. Если за людей сердце болит, значит, тебе партия велит, чтобы такого не было».

Усмехнулась:

— Конечно, куда проще! Нет — ну и самому ничего не иметь. Нет кроватей — давай кошму. Это не по-партийному. Если хочешь знать, только черепаха так: чуть что — лапы, голову под панцирь и лежит камнем. Такая у нее специальность — только черепахой быть.

— А я что? Я тоже вот на совещании выступил, — оправдывался Петухов, — выступил резко принципиально. Указал: окна в цехах грязные, годами запыленные, от этого перерасход электроэнергии. Надо сменить сальники вентиля, не будет перерасхода пара, сжатого воздуха, воды, газа. Записали в решение.

— Выступил ты правильно,— задумчиво согласилась Соня,— но почему окна грязные? Уборщиков на заводе не было. Каждый после работы свой участок прибирал — это после ненормированного рабочего дня. И ремонтников тоже не было, каждый совмещал в себе и станочника и ремонтника. Каждая единица непосредственно на производстве. Слесарей-водопроводчиков и тех к станкам поставили или на сборку.

Помнишь, рассказывали, откуда они заранее знали, что готовится большое сражение по всему фронту? Если на каждое свободное место в цеху ставят топчан, значит, без выхода домой работа. Значит, жить на заводе, пока весь заказ на наступление не выполнят. И не ныли, а радовались, что столько фронту всего требуется, значит, быстрее войне конец... И когда салют, и сводка Информбюро — это для них как все равно и для нас: приказ Родины выполнен.

— Да что ты меня воспитываешь? — возмутился Петухов.

— А я не для тебя говорю, для себя,— сказала Соня.— У нас вот в конструкторском конфликт, и борьба, и всякие неприятности. Спустили приказ на сельскохозяйственные машины. А чертежи на них прислали довоенные. Давайте быстрее и побольше. Мы с чертежей копируем — и в цеха. Главный инженер, начальники цехов, технологи все переналаживают как бы заново, все линии после производства вооружения, а получается — для чего? Чтобы старые машины производить. Военную технику совершенствовали на ходу, а как сельскохозяйственную — сразу задним ходом к довоенному времени. Что, это правильно?

— А директор что?

— Про него говорят, что он дистанционно управляемая личность. Привык за войну, чтобы им только сверху командовали, а не сама жизнь приказывала. Что ни скажет, конвоем цитат из приказа обставит — и все! Как твой старшина Седелкин: «Положено — не положено». Так всю войну и прокомандовал.

— Седелкин у меня вождь был, все ротное хозяйство всегда на высоте: продуктопитание, боепитание, всякая отчетность, субординация и прочее,— заступился за старшину Петухов.

— Директор генеральское звание здесь без фронта получил. Но не то от звания командует, не то от характера. Наш главный конструктор — Герой Социалистического Труда! Но тут держался с директором, как все равно рядо-

всей перед генералом. С нами говорил яростно, как тигр: нельзя, мол, устаревшие сельскохозяйственные машины производить, а пришел от директора, словно овца покорная, — согласился, дал указание копировать узлы для цехов с довоенных чертежей!

— Ну и правильно приказал директор! — резко сказал Петухов. Произнес грустно, озабоченно: — Пока вы будете тут канителиться, изобретать новые машины, люди вручную сеют, хлеб, как траву, косят. — Сказал строго: — Мы на бюро обсуждали: чтобы на мирную продукцию перестроиться, людей переучивать надо. Вот первое время на старом пусть для нового переучиваются.

— Значит, и ты будешь кровати делать, как все равно в базарной ремонтной мастерской — тяп-ляп! — воскликнула Соня.

— Ну это мы еще посмотрим! — угрожающе заявил Петухов.

4

Начальник нового, кроватного цеха рижанин Рудольф Карлович Гитманис положил перед Петуховым пачку бумаг, тяжело сел, сказал хмуро:

— Заявления об уходе. — Провел ладонью по коротко стриженной голове, несколько удлиненной к затылку, исполосованному белыми шрамами, пояснил: — Мотивы уважительные. Война кончилась. Эвакуированные желают домой. Второе: тех, кто производил мощное автоматическое вооружение, сооружение кроватей не увлекает. Третье: во время войны проблема быта была снята самой войной. Сейчас эта проблема острейшая.

— А по заводу?

— То же самое, — вздохнул Рудольф Карлович, погладил затылок. — Прибыл сюда как механик кондитерского производства. Поставили на сборку зениток. Стал специалистом в области машиностроения. — Развел сокрушенно руками: — Теперь поставили на кровати. — Оживился: — Но что такое кровать? Одни думают — это койка. Бывают двуспальные, полутораспальные, односпальные. Пружинные, комбинированные — пружины плюс железные полосы, с сетками, с накладными матрасами. Типов множество. Выписал все в блокнот. Нашел дореволюционные рекламы в старых журналах в городской библиотеке. — Заявил про-

нически: — Конструкторское бюро предложило нам койку! Экономичную, складную, остроумную по простоте технического оформления. Но это не мебель! — воскликнул он возмущенно. — Это прибор для сна. Не для оседлой жизни. Не украшение в доме. Не прочное, уважаемое ложе — временка! — с гневом заявил он. Склонился к Петухову, сказал внушительно: — Я участник гражданской войны. Латышские стрелки — слышали? Пулеметчик! Потом механик, создал ряд машин для производства кондитерских изделий. Затем... ну, я вам уже сказал. Но если... — он привстал. — Если койки, а не кровати!.. Извините! В Риге тоже нужны люди. У меня там комната, прописка. И моя супруга, как восточная женщина, не будет возражать против воли мужа. Куплю здесь ей шубу и уеду в Ригу, домой.

— Это что — ультиматум? — спросил Петухов.

— Не вам, а тем, кто навязывает нам складные койки под названием «раскладушка», годные лишь как больничные носилки.

— Вы сядьте, — попросил Петухов. Закурил, задумался, стал перебирать заявления об уходе с работы, потом сказал: — Рудольф Карлович! Люди живут плохо, тесно, жилья не хватает. Зачем же вперед наших возможностей заскакивать? И рабочих тоже нехватка. Вот если бы максимально механизировать процесс производства, тогда мы сможем с минимумом людей обойтись. И накидаем этих раскладушек в оптимальном количестве. Дешево, удобно, места не занимают. — Сказал жалобно: — Ну пожалуйста, хоть как временное тактическое отступление перед стратегическим наступлением.

Рудольф Карлович сказал твердо:

— Ваша жена мне более симпатична, чем вы. Она принципиальный человек. И воюет за то, чтобы завод давал новую, усовершенствованную технику, а не возвращался к устаревшим образцам.

— Моя жена мне тоже нравится, — улыбнулся Петухов добродушно и вызвал своей этой улыбкой ответную на лице Гитманиса, до этого твердом, решительном, непреклонном. — Значит, договорились! — воспользовался он этой улыбкой Рудольфа Карловича, встал и стал горячо жать его руку, и тот вынужден был вежливо отвечать на это пожатие.

Начальник конструкторского бюро завода Игнатий Степанович Клочков был изнурен единственной своей страстью — знать возможно больше в той отрасли, которой отдал свою жизнь. Он бесцеремонно тотчас же забывал ненужное ему, а нужное прочно собирал и хранил в своей памяти, и для вспоминания нужного достаточно было ему доли мгновения. Но лица людей, имена, фамилии не запоминал. Прищелкивая пальцами, морщась, говорил секретарше:

— Попросите ко мне, пожалуйста, ну, этого, знаете, который когда-то штамповку шестеренок предложил, из первого механического. Ну, он еще остроумно выразился: у вас не конструкторское бюро, а кладбище надежд...

— Игнатий Степанович! — упрекнула секретарша. — Но вы же Морозова к нам в бюро зачислили!

— Давно?

— Да уже несколько месяцев.

— Отлично! — сказал Клочков. — Так пусть зайдет.

Клочков был беспартийным, но на совещания в парткоме, когда стояли технические вопросы, его приглашали обязательно. Он один позволял себе разговаривать с генерал-майором, директором завода, с бесцеремонностью, которую тот принимал за наивность человека «не от мира сего».

— Знаете, — сказал как-то Клочков, подперев подбородок рукой и задумчиво глядя на директора, — испытание властью за время войны вы выдержали без особых потерь. И человек вы умный, хотя и ничем особо не одаренный. Тем более от вас следует ожидать большей объективности. — Задумался, заявил вдруг обрадованно: — Представьте! В свободное время я стал как-то читать сочинения Ленина. Поразительно! В самые тяжелые времена жизни республики он просто категорически настаивал на том, что от коммунистов следует ждать большего внимания к задачам завтрашнего, а не вчерашнего дня. Я хоть и беспартийный, но этот упрек принимаю лично на свой счет.

— Это хорошо, что вы Владимира Ильича почитываете, — снисходительно одобрил директор. — Пора бы вам уже и подумать...

Директор, очевидно, собирался вновь, пользуясь случаем, спросить, почему Клочков все-таки не подает заявления о вступлении в ряды коммунистов, но тот перебил его:

— Именно, вы правы. Неотложно надо думать и решать, будем мы воспроизводить старые образцы сельскохозяйственных машин или создавать и производить новые.

Директор хитро улыбнулся.

— Что касается ваших раскладушек, приказом запустил в производство, хотя тоже не гениальная техническая новинка. Но, как говорится, по одежке протягивай ножки. Ширпотреб! Тоже с нас требуют. То были пушечки, а нынче кровати, мясорубки, кастрюльки и прочее.

— С точки зрения технолога, между производством вооружения и сельскохозяйственных машин нет принципиального различия, — сказал Клочков. — Производить устаревшие сельскохозяйственные машины столь же недопустимо, как и устаревшие образцы оружия.

— Пожалуйста! — сказал директор. — Фантазируйте, сочиняйте, конструируйте, но пока у вас нет ни чертежей, ни наметок, а завод обязан дать машины — и даем. — Заявил твердо и решительно: — Сейчас фронт — сельское хозяйство. Нужно не только свой народ накормить, но и народы тех стран, которые стали братскими нам. Так что вы, пожалуйста, на Ленина не ссылайтесь. Если хотите знать, Владимир Ильич исходил всегда из конкретных исторических обстоятельств и в экономической и в технической политике.

— Позвольте! — восторженно воскликнул Клочков. — Ленин гениальный ученый, и, как великий ученый, он всегда точно видел и предугадывал завтра. Это меня и восхитило и поразило своей глубиной и обширностью аргументации даже в свете естественных наук.

— Запоздали вы со своим этим «открытием», уважаемый Игнатий Степанович!

— Конечно, я несколько односторонен в своих познаниях, — с достоинством признал Клочков, — но восхищен искренне. — Нахмурился, спросил: — У вас будет какое-либо совещание в ближайшее время?

— Намечается, — вздохнул директор.

— Хочу предупредить, — собираюсь очень резко осудить вас публично.

— Пожалуйста, — согласился директор, добродушно улыбаясь, но глаза его по-бойцовски угрожающе сузились. Добавил не то насмешливо, не то поощрительно: — Аудитория любит слушать о всяких воздушных замках, создаваемых вне пространства и времени. — Похвастал ехидно: — Сам я любитель научной фантастики...

Даже те, кого когда-то обидел директор завода, генерал-майор Алексей Сидорович Глухов, не смогли бы в раздражении сказать, что он с небольшими способностями достиг многого только благодаря сильной воле. Он действительно по праву считался руководителем большого масштаба, но достиг этого высокого положения не потому, что стремился возвыситься во всякого рода званиях. Это был человек в высшей степени самоотверженный, одержимый делом, которое ему поручали. Беспощадный прежде всего к самому себе, он, если совершал промах, докладывал о себе как о виновнике с лютой суровостью, но безбоязненно к следующему за это взысканию. Ему поручали всегда самые трудные, тяжелые объекты. Он планировал свое рабочее время не по часовой стрелке и даже не по минутной, а по секундной. Работал, как тогда водилось, и ночами. Но даже в короткое время для сна не мог уgomониться, громко храпел, ворочался, издавал чмокающие звуки губами, что-то бормотал и вдруг вскакивал, хватался за телефонную трубку, и отдавал приказание нормальным, бодрым, свежим голосом, и снова валился на койку, продолжая столь же беспокойно предаваться короткому сну.

О нем говорили: мужичок хваткий!

Это означало, к какому бы высокому лицу ни обращался бестрепетно, настойчиво и даже с грубостью, он добивался своего, получив ультиматум: «Ну, смотри, дадим. Но не справишься — партбилет на стол!»

Он поставил завод на пустынной окраине города, расселил эвакуированных, обзавелся подсобным хозяйством, чтобы кормить сытно людей, развел карпов в отстойнике технической воды. Он в равной мере с производственными нуждами отдавал свои силы, сноровку, для того чтобы наладить сносные условия жизни людям. Затем объявил: — Все!

И целиком отдал себя заводу.

Он любил людей, восхищался теми, кто, как и он, самоотверженно и одержимо отдавал себя труду, и не то что не любил, а просто не понимал таких, которые на подобное самозабвение оказывались неспособными.

Комсомольцем ушел он на строительство Магнитки и с тех пор до самой войны возводил предприятия союзного значения, начиная с нулевого цикла и уходя только после сдачи государственной комиссии.

Многие наркомы знали его лично. Обращались к нему на «ты», как и он к ним. Но он считал, что имеет перед ними преимущество: они зависят от него, а он зависит только от себя самого — справится или не справится?

Долгие годы он кочевал с одного строительства на другое, как говорили чуть иронически, «с постоянной свитой». Но слово «свита» было неправильным по отношению к тем, с кем он за многие годы сработался, кому доверял как самому себе, знал, что они хоть и считаются с некоторыми крайностями его характера, но всегда в глаза скажут, в чем они с ним согласны, а в чем нет.

И когда соглашался с несогласающимися из его «свиты», то произносил с той же угрожающей интонацией, с какой говорил ему самому нарком:

— Ну смотри тогда. Не справишься — партбилет положишь!

Только вот против главного конструктора Клочкова он был безоружен. Нет у того партбилета, и вообще спорить с ним трудно.

Как-то Клочков сказал ему задумчиво и рассеянно:

— Когда вы сидите во главе президиума на собрании, у вас такое выражение лица, словно вы не слушаете ораторов, а только принимаете от них рапорт.

— Ну и правильно! — отрубил Глухов. — Доложи, что плохо, без комментариев. Много рабочего времени на слова расходуем, непроизводительно. Время ораторов кончилось — давай дело говори, коротко и ясно.

Клочков бесцеремонно потянулся в кресле, вызывая зевнул.

— После вас никакого воодушевления не испытываешь, а вот наш парторг ЦК человек увлекательный, зажигает.

— То есть как это от меня нет воодушевления? — возмутился Глухов. — А кто вас на Героя представил? Я.

Действительно, когда сверху сообщили, что завод может представить кого-нибудь достойного на Героя и есть положительное мнение о нем, Глухове, он заявил:

— Нет уж! Если так — давайте Клочкову. У него эмоции и всякое такое творческое переживание. Мне его стимулировать надо на изделие Д-7-68. Не выдам изделия — мне же вы башку и оторвете. Категорически прошу его кандидатуру поддержать!

И поддержали.

После опубликования указа Ключков пришел к Глухову ошеломленный, растерянный, спросил подавленно:

— За что же это, Алексей Сидорович? За что?

— А я почему знаю? — буркнул Глухов, не отрывая глаз от бумаг. Добавил ехидно: — Значит, верят! Ждут безотлагательно Д-7-68. Выходит, в порядке аванса! — Поднял глаза, заявил свирепо: — А не справитесь в срок, не вам, а мне по шее! Такая вот у нас техника. Руководитель за все и за всех в ответе.

Законы военного времени дали огромную и широко простирающуюся власть директору оборонного завода. Но не будь даже таких законов, само время войны повелительно на каждого, за что-либо ответственного, возложило высшую ответственность и право ею пользоваться, как и любому командиру на фронте. Ибо вся страна стала фронтом. И, как на фронте, приказ директора был равен директиве военачальника. И все понимали, что иначе быть не может, ибо цех был как бы продолжением позиций, на которых шли бои.

Война кончилась, нужно было с ходу переключаться на производство мирной продукции. Но трудность заключалась не только в перестройке всей технологической схемы производства. Не только в том, что значительная часть эвакуированных уезжала обратно на свои прежние заводы. Не только в том, что остающимся нужно было наладить быт не временной, а постоянной жизни по нормам довоенного времени. И даже не в том, что надо было переучивать рабочих многих специальностей на новый тип изделий. Конечно, правы те, кто требует, чтобы конструкторское бюро, лучшие его силы были направлены на создание новых, совершенных образцов сельскохозяйственных машин. Конечно, нехорошо после войны выпускать довоенные образцы. Кто этого не понимает? И то, что Ключков сейчас с воодушевлением возглавил работу над новой широкозахватной сеялкой, которая с точностью автомата будет высаживать на должную глубину каждое зернышко и на должной дистанции бережно для корней и экономично отсыпать строго определенную дозу удобрений, — это замечательно, нужно. Народ должен быть сытым. Победа должна быть во всем. Но...

Глухов, как и другие в стране люди, сквозь розовую зарю победы над гитлеровской Германией ощущал и другое, опасное, угрожающее. Он также знал, что скрап для мартенов, поступающий сейчас на завод, — это не только

останки оружия, искалеченного, поврежденного в бою, но и наше, нестреляное, не поврежденное в боях, но отданное в металлолом оружие уже успевших устареть систем, и оно будет устаревать дальше.

В министерстве Глухов был на закрытом информационном совещании, на котором выступил в новеньком заграничном модном костюмчике человек не из их ведомства, по фамилии Лебедев. В осторожных словах, как бы боясь сказать лишнее: «Извиняюсь за то, что в инженерном деле не осведомлен достаточно», — сообщил он о новых образцах оружия, которое сейчас или находится в стадии испытания, или уже поступило на вооружение бывших союзных армий. Давая технические и боевые характеристики такого оружия, он обнаружил, вопреки своему предварительному заявлению, большие инженерные познания, и весьма тонкие. Отвечал на вопросы кратко.

— Ряд незавершенных перспективных проектов военных конструкторов фашистской Германии сейчас в стадии завершения на Западе. Мы располагаем прогнозирующими данными, так как кое-какие материалы захватили при наступлении. Некоторые наши образцы стали также предметом для использования зарубежными конструкторами. Союзники сдерживали возможности производства наиболее интересных и перспективных своих систем во время войны, рассчитывая лишь после войны приступить к серийному производству. Как вы знаете, в связи с появлением ядерного оружия западная пропаганда утверждает, что любое обычное оружие устарело и неэффективно. Лично я полагаю, — сказал Лебедев, — я лично, — повторил он, как бы подчеркивая свое право на особое мнение, — здесь не исключен момент и дезинформации. Из вышесказанного следует, что значительные средства бюджета на Западе идут на совершенствование обычного вооружения, на усиление его мощи, подвижности, дальноточности, на создание новых оригинальных систем. Хотя, — он потупился, словно пряча хитринку в глазах, — не менее, а более оригинальные системы у нас уже созданы, но в серийное производство не запущены. — Улыбнулся: — Как вы сами понимаете, после полной и безоговорочной капитуляции противника — ни к чему!

Затем была заслушана информация о международной обстановке, потом министр поблагодарил докладчиков, а сам сказал всего несколько слов:

— Директивы по производству новой, мирной про-

дукции вами получены. План ее производства должен быть выполнен столь же неукоснительно, как и прежде по вооружению. — Огляделся, сощурился, произнес твердо: — Все!

Директора долго не расходились из кабинета министра. Многие годы они работали с ним, также бывшим директором завода, таким же, как и они, опытным и маститым оружейником. Было известно, что, когда он был еще директором, его обвинили в злостном срыве заказа по производству нового авиационного пулемета... и Сталин бросил пренебрежительную реплику:

— Интересно, чем и где вы будете теперь оправдываться?

— Пулеметом на полигоне!

— Когда?

— Хоть завтра!

Сталин приехал на полигон. Пулемет, прежде чем вынести на стенд, продували пылью с песком. Затем, закутанный в соломенный мат, несколько раз сбросили с вышки и только после этого поставили на огневую позицию. Очередью его были срезаны не только мишени, но и столбы, на которых они стояли.

Сталин, не прощаясь, уехал. На следующий день пришел приказ о назначении директора завода замнаркома.

Он был из династии ижевских рабочих-оружейников, повадки маститого мастерового не покидали его. Если и говорил, только кратко, о деле, и побеждал часто своей упорной молчаливостью, когда ему угрожало всякое. Молчал упорно при разносах, выждав, говорил: «Теперь конкретно по линии механики ваши предложения», — и молча ждал, пока минует буря угроз, предупреждений, и снова повторял: «Так, значит, конкретно что?»

Он обладал той духовной выносливостью, тем самообладанием, без которых нельзя быть ни хорошим солдатом, ни полководцем, ни наркомом...

— Вы что, конструктор? — спрашивали Лебедева после совещания.

— Нет.

— Значит, вооруженец?

— Нет.

— Военный атташе?

— Нет.

— И не в нашем министерстве?

— Нет.

Попросив разрешения у министра, Лебедев подошел к телефону, набрал номер и сказал заискивающе:

— Оленька! Я уже! Через двадцать минут дома! — И быстро, кивком попрощавшись со всеми, ушел.

Пожалуй, если б Петуховы встретили Ольгу Кошелеву на улице, они не узнали б ее. И не потому, что она пополнила, отпустила волосы и соорудила из них пышную прическу. Дело в том, что у нее были оба одинаково красивых глаза, серые, в золотистых крапинках. Но если бы Петуховы подошли к ней с левой стороны, она бы не обратила на них внимания, не заметила бы их. И не потому, что не узнала, а потому, что левый глаз был стеклянным протезом.

Но, когда Лебедев уезжал в длительные командировки, она носила на глазу черную повязку. Вот с такой повязкой Петуховы сразу бы узнали в этой даме Ольгу Кошелеву.

7

— Я не только умный, я хитрый, — иногда шутя говорил о себе Глухов самым близким и доверенным.

Действительно, после закрытого совещания у министра он на бюро обкома партии великодушно предложил поручить его заводу ремонт и восстановление изношенной, пришедшей в негодность сельскохозяйственной техники, а также оборудования МТС, пообещав даже снабдить МТС кое-какими станками со своего завода. Но тут же, когда его предложение с воодушевлением было принято, попросил озабсеченно:

— Только вы уж, пожалуйста, по своей линии зайдите наверх, чтобы это дело мне в план включили. — Похвастал: — Дадите хлам — вернем машины как новенькие.

У себя на заводе на производственном совещании он говорил притворно несчастным голосом:

— Товарищи, не я прошу. Земля требует! Хлеб! Люди! Надо! Помочь надо в ремонте сельхозмашин. Через силу, а надо. Министру не докладывал. Как скажете, так и будет.

Все уже давно привыкли к повелительному, приказному тону Глухова и были удивлены тем, что он просит, а не приказывает.

Обычно он всегда вставал, когда отдавал приказание «по-генеральски»: кратко, резко, рубя фразу. И сам он получал распоряжения, непререкаемые, как боевые приказы.

Он превосходил здесь всех опытом, организационной хваткой, волевым характером, а его самообладание было под стать храбрости. Всем этим он подчинял себе и привык подчинять. Его считали Личностью! И он считал себя Личностью. Но с ходом времени на заводе выявились тоже личности, менее охотно подчинявшиеся его ультимативно звучащим приказаниям, и по ходу дела они вносили от себя в эти приказы нечто такое, против чего трудно было возражать, и для сохранения своего авторитета лучше было делать вид, будто это новое исходило частично из самого содержания его, глуховского, приказа, хотя это было далеко не всегда так.

Подобно тому как в армии в начальный период войны подчас многое решала самоуверенная воля имеющего за плечами опыт гражданской войны командира и только затем, в ходе сражений, обретя современный опыт войны, стали созреть командиры, смело, уверенно применявшие новые способы ведения боя, выраставшие в полководцев нового типа, в которых отчетливо обозначались черты, необходимые для командиров и армии будущего, так же и в промышленности за годы войны обретали зрелость, черты дерзкого новаторства, инженерного научного мышления производственники, получившие образование, не оставляя производства, способные быть и организаторами людей, и творцами новой техники.

То, что Глухов умен и хитер, в данной ситуации выразилось в том, что он заметил, ощутил, как все больше выявляют себя люди, не покорствуя сложившейся технологии, дерзко вторгаясь в установленное и храбро решаясь на то, что в условиях военного времени грозило при неудаче весьма тяжелыми последствиями. Но как на фронте героизм одного вызывал на героизм всех, так и здесь, на заводе, производственная храбрость одного увлекала других. Среди инженерно-технического состава, как и среди рабочих, выделились личности незаурядные, авторитетные, к словам и мыслям которых не только прислушивались, но даже, бывало, вопреки сомнениям директора, поддерживали их начинания и самоотверженно достигали высоких результатов. И Глухов вынужден был, как бы по своей инициативе, поддерживать таких людей, повышать в должности, по-

ощирять, иногда даже рискуя своей должностью в случае неудачи. Но он предпочитал потерять свою должность, чем потерять такими трудными рабочими годами добытый свой авторитет, который он и поддерживал этой своей дальновидностью, хотя, в сущности, знал: придет время — и кто-нибудь из этих новых сменит его на посту директора.

Он постигал все это своим жизненно мудрым умом и, будучи умным, не сопротивлялся этому процессу, а содействовал ему. И именно это-то он и считал своей хитростью, ибо отчетливо понимал: если б не содействовал смело выдвиганию, вплотную к своей должности, наиболее одаренных, то рано или чуть позже, лишившись их поддержки, он оказался бы один и, значит, списанным, подобно тем еще боепригодным орудийным системам, которые сданы на переплав на завод не потому, что они негодны, а потому, что не соответствуют современным перспективным требованиям, предъявляемым как к оружию, так и к человеку.

Поэтому-то Глухов и перестраивал свою систему личного управления на нечто другое, пока ему еще неизвестное, но необходимость которого он чутко и безболезненно ощущал. Он шел осторожно, как бы озираясь, ища для себя новый путь и способ руководства коллективом.

Конечно, это был не новый способ — призвать к энтузиазму, к сознательности, чтобы помочь сельскому хозяйству отремонтировать сельскохозяйственные машины, оборудование МТС. Но новым было для Глухова то, что он просил коллектив, а не приказал ему, опираясь на решение обкома партии. Хотя мог приказать. Отдать приказ — и точка!

Ведь никто еще сразу после войны не отучился мгновенно подчиняться приказу. И все-таки Глухов опасался из-за того, что просил, а не отдал приказ, сам привыкший повиноваться приказам. Конечно, он несколько схитрил на бюро обкома. Во-первых, он сбудет в МТС устаревшие и довольно-таки изношенные станки. Во-вторых, если ему в план включают ремонт сельхозтехники, он выиграет время на то, чтобы конструкторы «поколдовали» над ее модернизацией, и, значит, не будет выпускать устаревшие образцы. В-третьих, пока будут вестись ремонтные работы, он переоборудует и переналадит основные цехи. В-четвертых — а это для него было сокровенным, мечтательно жадным, — если списывают устаревшую боевую технику в армии, то кто-то же должен производить новую.

Не случайно он спросил этого Лебедева после информационного совещания у министра, слышал ли тот о боевой системе Д-7-68.

Лебедев ответил:

— Знаю. — И заметил как бы между прочим: — За рубежом в этом направлении тоже ищут решения.

Глухов попросил жалобно:

— Если по этой линии есть информация, будьте любезны — через нашу секретную часть. — Приложил руку к груди: — Буду чрезвычайно признателен.

Однако спустя некоторое время в секретную часть завода стала поступать техническая информация по зарубежным источникам, в сущности ничего нового не дающая. Но Глухов каждый раз знакомил с этой информацией главного конструктора Клочкова, спрашивал:

— Ну как?

Клочков быстро пробежал глазами, произносил небрежно:

— Саморекламная ерунда.

— Долларишки-то они умеют считать, — сказал как-то Глухов. — Раз тратят, — значит, дело стоящее! — Дразня, заметил: — Всяких гениев они со всей Европы к себе закупили, теперь где уж нам! — И, пытливо глядя в глаза Клочкову, помедлив, произнес: — Слава к вам с Д-7-68 и ногами и руками в дверь ломится, а вот открыть ленись. — Сказал задумчиво: — Я понимаю — сеялка. Как говорил кто-то: «Сейте разумное, доброе, вечное, и спасибо вам скажет народ». Верно — спасибо вам, Игнатий Степанович! Машина, уверен, будет замечательная. — Сказал скорбно: — Я понимаю, Д-7-68 фактически устарела. — Кивнул головой на информационные справки: — Разве угонишься! Нет Д-7-69 или, скажем, Д-7-70 усовершенствованных. На старых образцах пускай допризывники учатся. Только, извините, где логика? За то, что я хотел устаревшую сельхозтехнику выпускать, все на меня кинулось, ополчились. А вот вы в неприкасаемых! Не желаю, и все. А может, кишка тонка? Сеялка, хоть и усовершенствованная, куда проще. — Спросил ехидно: — А чего звездочку Героя не носите? Она не тускнеет от носки. Чистое золото! — Закряхтел притворно: — Это мы только тускнем от возраста, от благополучия и наступающего благоденствия. — Усмехнулся: — Теперь ведь что! Перекуем мечи на орала! Только на их кузницах другое. Куют, но не орала. А как это? «Эффективное оружие массового уничтожения».

Пых! И испарился при чрезвычайно высокой температуре. Только разве что гигиенично — никаких остатков.

Клочков рассердился:

— Вы что же, человечество за сборище идиотов считаете?

— Человечество я уважаю! — сказал Глухов. — Но пока он есть, я лично себе голубиные крылышки прилаживать не собираюсь.

— Кто это «он»? — резко спросил Клочков.

— Империализм, дорогуша! — сладко улыбаясь, объявил Глухов. — И он свои фортеля еще выкинет. Война знаете что? Высокоорганизованная форма насилия. А он никогда смирным не был и не будет. Чуть где у кого слабinka — хап за глотку и скусает. И сейчас у него на нас аппетит не прошел. Уж очень, знаете ли, мы ему малосимпатичны. Но тут ничего не скажешь — обоюдно. — Заявил решительно: — Так что от своей специальности я не отрекаюсь: был оружейником и останусь им. Надо орудия труда производить? Надо! Но караулить плоды труда народа тоже кому-то положено. Они свои зубы на полку не кладут, и я тоже не собираюсь...

8

Глухов, ссылаясь на трудности перестройки завода на новую продукцию, на уход с предприятия значительной части эвакуированных, вымолил в министерстве дополнительные средства и использовал их на механизацию внутрицехового транспорта, погрузочно-разгрузочных работ. Освободившихся грузчиков, разнорабочих, занятых на доставке из цеха в цех заготовок, литья, поковок, штамповок, зачислил на вечерние курсы переквалификации, днем использовал их как подсобников на переоснастке цехов.

Для ремонта сельскохозяйственных машин отвел площади внутри заводского двора, установив армейские прожектора для освещения ночной смены. Он совершил длительное путешествие по колхозам и там в порядке братской солидарности выпросил дополнительные закупки для своего орса, наладил усиленное питание рабочих, и, кроме того, каждому выдавались ежедневно сверхнормативные пайки, заранее расфасованные работниками орса.

Весь завод он украсил транспарантами с красочными изображениями разного рода сельскохозяйственных ма-

шин. И даже в своем кабинете убрал красивые металлические миниатюрные модели оружия, которые недавно производил завод, и заменил их на миниатюрные модели сельскохозяйственных машин, как украшение и рекламу нынешнего производства.

Кроме того, в кабинете стояла на видном месте раскладушка. Также как свидетельство нового направления производства.

На заводском полигоне, где прежде испытывалось оружие, теперь проходили ходовые испытания сельхозмашин перед сдачей заказчику. Как и во время войны, Глухов планировал свою работу не по часам, не по минутам, а по секундам. И на стене у него был вывешен график изготовления множества новых наименований деталей, на обработку которых потребно строго определенное время. И, сверяя его со своим строго расписанным, он жил этим временем, и оно было его жизнью, делом и смыслом всей его жизни.

И очевидно, он не лицемерил, когда убежденно говорил на директорских совещаниях:

— Для нас нет никакой поправки после войны. Раньше делали оружие, а теперь орудия труда. Без хорошего оружия не было бы победы. А без сельхозтехники, тоже качественной, во всем комплексе победа тоже не получится, а народ заслужил ее по всем статьям жизни. И если мы, оружейники, качественную мирную технику не дадим, так тогда мы не оружейники, а только своей специальностью прикрывались, чтобы на фронт не идти. А сейчас хлеб — фронт. Значит, кто мы теперь? Как всегда, фронтовики!

Однако свои любимые цеха — первый и второй механический, где у него была собрана рабочая элита, самые даровитые мастеровые, — он усилил новыми станками, приспособлениями, создал две новые конвейерные линии, но не пускал их на полную мощность, так же как и самоновейшие станки — под полную нагрузку, говорил: «Вот наладим серийное производство новых машин, тогда и включим все наши возможности на всю катушку!» Но хотя это было экономически и невыгодно, он настоял на том, чтобы сохранить точность обработки деталей по тем нормативам, которые были назначены для производства оружия. Допуски для сельскохозяйственных машин были значительно ниже, но Глухов категорически заявил:

— Снижать класс и людей разучивать не позволю, пока я тут главнокомандующий.

Возможно, Глухов не знал изречения Карла Маркса о том, что бывают в жизни моменты, которые являются как бы пограничной чертой для истекшего периода времени, но которые вместе с тем с определенностью указывают на новое направление жизни. Но он чувствовал и сознавал, что такой рубеж наступил и для него самого. В годы войны все было повелительно подчинено единой и всеобщей цели — победе. И каждый подчинял себя этой всеобщей повелительной цели. И все в человеке подчинялось ей во имя ее самой. Она была всевышним, главным законом жизни. Из этого закона исходили приказы, Глухов подчинялся этим приказам, и сам приказывал, и требовал неукоснительного им подчинения и исполнения их.

Вся страна стала единым фронтом, повинующимся единой цели — победе!

А вот теперь надо налаживать жизнь для всех людей по тем законам жизни, которые составляют сущность того, во имя чего была совершена Великая Октябрьская социалистическая революция, первая в мире, — во имя людей, во имя их наилучшей жизни, во имя того, чтобы человек стал лучше и жилось ему лучше.

Конечно, и в годы войны он помогал тем, кого постигло горе потери близких, кто нуждался в помощи, но именно помогал, помогал с расчетом на то, чтобы не терять лучших производственников. Помогал сам лично, приказывал орсу, поликлинике, жилотделу, интернатскому начальству, комендантам общежитий, завкому. Он сам, лично!

И его считали отзывчивым.

Но ему самому доставляло удовольствие мгновенно решать те вопросы, с которыми, волнуясь, стесняясь, приходили его люди. Молча выслушав сбивчивые, смущенно изложенные просьбы, он брал телефонную трубку и приказывал: «Сделать!» Спрашивал потом:

— Ты слышал? Значит, все!

И человек уходил взволнованный, благодарный.

А вот ныне к нему мало кто приходил с личными просьбами. И дело не в том, что нужды в них стало меньше, пожалуй, даже больше. Но завод переключился на производство той продукции, назначение которой могло облегчить жизнь всем, помог накормить изголодавшийся народ. Люди завода понимали, что это сейчас всеобщая нужда и они все за нее в ответе. Все!

Завод перестраивался, не хватало людей, и тех надо было переучивать на новую продукцию. Ремонтировать

изношенные сельхозмашины — это не то что организовать серийное производство. Вся четко налаженная поточная система рассыпалась в этих ремонтных работах, которые не поставишь на поток, не вгонишь в четкий график, не уложишь в строго последовательную пооперационную схему. А тут захлестывает «самостоятельность»: предложили наваривать изношенные детали, создать комплексные бригады по узлам, послать в МТС бригады слесарей. Что ни совещание — полемика. Например, приглашают в завком, выносят решение — обязать директора выделить средства и оборудование в заводской техникум.

Его обязывают! Кто? Завком!

На бюро парткома упрекнули за то, что до сих пор не рассмотрел проекты новых машин, предлагаемые конструкторским бюро.

— Сначала пусть согласуют с министерством! — буркнул Глухов. — Как вам известно, я не специалист по сельскому хозяйству. Оружейник!

— В таком случае ставьте вопрос о заместителе по производству сельскохозяйственных машин.

Даже в обкоме первый секретарь, который обычно обращался к Глухову по военному званию, сказал:

— Алексей Сидорович! Может, вас на бюро послушать? Собрали б хозяйственников, посоветовались бы. Трудности у нас у всех общие. — Помялся. — И вообще надо больше советоваться. Знакомились с протоколами директорских совещаний — как штабные документы. «Приказ отдан таким-то... Принять к исполнению таким-то...» Но бывают и разные мнения. Следует прислушиваться, давать возможность высказаться.

— У меня деловые совещания, а не дискуссионный клуб! — сердито заметил Глухов.

— Так можно не только мимо стоящих предложений проскочить, но и перспективных людей не заметить, ориентировку в кадрах потерять, — сказал секретарь обкома.

— Это что? В порядке предупреждения?

И Глухов поднялся со стула, выпрямился, побагровел.

— Я и к себе это отношу, — мягко сказал секретарь обкома. — По понятным обстоятельствам запустили работу по ряду отраслей. Надо энергичных, инициативных людей на них выдвигать, а главное наше внимание было к тем, кто на оборону работал...

Глухов за последнее время похудел, прямо-таки отощал, стал раздражительным, мнительным и вздрагивал при

каждом звонке телефона ВЧ, чего раньше с ним никогда не было. Но когда министр, чувствовалось по голосу, улыбаясь, сказал: «А раскладушки ваши стали популярны, большой спрос», — Глухов так обрадовался, как в годы войны радовался, получая благодарность от самого Верховного...

Автоматизированную сеялку Ключкова после испытаний и ознакомления с экономическими расчетами по ее производству забраковала государственная комиссия: дорого, сложно, ненадежно в эксплуатации, кроме того, для управления ею и отладки нужен высококвалифицированный механик.

Это огорчило и Глухова и Ключкова. Правда, после завершения ремонта сельхозтехники завод приступил к производству двух новых типов сельскохозяйственных машин, хотя еще и далеких от совершенства, но все-таки несколько отличных от довоенных. План на них заводу спустили посильный.

По поводу этого Глухов изрек:

— Директор о чем мечтает: получить план поменьше, капиталовложения и фонд зарплаты побольше. Инстанция — дать план побольше, капиталовложения и фонд зарплаты поменьше. Как же тут не изворачиваться! А все равно поставят тебя по команде «Смирно» — выполняй с присыпкой.

9

Петухов не захотел быть освобожденным парторгом, попросился подручным рабочим к трубогибочной машине для изготовления рам раскладушек. Старшим над ним был Петрусь Липко, двадцатилетний паренек из Витебска, уже имеющий пять лет производственного стажа.

Вообще-то в цехе всего четыре человека среднего возраста, включая самого Петухова, остальные — молодежь или пожилые и много женщин. Если можно так сказать, Петухов «вырос» на фронте, там сложился его характер, взгляды, уважение к людям, вера во всемогущество людей, одержимых общей целью.

Пора юности была у него укорочена войной. Ведь мерой жизнеопытности на фронте считался не возраст человека, а его боевой опыт.

Поэтому, хотя Петрусь Липко и был моложе, он казался

Петухову значительно старше его, превосходя своим производственным опытом, рабочей сноровкой. Он терпеливо обучал Петухова владеть машиной, спокойно, снисходительно относясь к его неловкости, так же, как потом к успеху. И, отделившись после обучения от Петухова, перешел на сверловочный станок, где под руководством Гитманиса создал приспособление, для того чтобы на трубах для рам раскладушек с одной операции, разом производить все отверстия для зацепов брезентового покрытия.

В цехе Липко вел себя молчаливо, строго, сдержанно, с той бережливостью рабочего времени и своей энергии, как и пожилые рабочие. Работал за станком уверенно, с кажущейся изящной небрежностью, но можно было заметить: на висках туго набухали вены, влажно блестел лоб.

Петухов чувствовал, что к нему здесь многие, не только Липко, относятся так же, как относились к пополнцам солдаты его роты, бывалые фронтовики.

Словно бы он проходил проверку: станет ли кичиться перед ними — он фронтовик, а они тыловики? Он парторг, но понимает ли он подвиг труда повседневного, однообразного: изо дня в день рубить на доли толстую оцинкованную проволоку, сгибать ее, штамповать отверстия в плашках, склепывать их так, чтобы суставы ножек раскладушек свободно двигались, не туго и не слабо? И каждое движение в долях секунд рассчитано привычно, неукоснительно, в глубокой сосредоточенности, с той тонкой чувствительностью, какая дается особым ощущением инструмента, как продолжения твоих рук, кисти, пальцев.

И каждый раз, приходя в цех, нужно было преодолевать первоначальную неловкость, чтобы потом, погружаясь в работу, уже не замечать, не думать, а как бы только отдаваться целиком привычному самоналаженному, самонастроенному движению рук, пальцев, чующих детали, почти механически отбрасывающих негодную заклепку или плашку, предаваясь самодисциплине труда с тем самозабвением, когда утрачивается счет времени.

Понять вот это состояние мог только тот, кто сам испытывает в труде такое самозабвение. Но легко сказать — самозабвение. У каждого здесь своя жизнь, и, конечно, далеко не всякий способен преодолевать каждодневно то, что тяготит его, то, что у него на душе или дома неладно. Устранить производственные неполадки проще и легче, чем неприятности, сопровождающие жизнь челове-

ка. И люди в цехе пытливо ждали, с чего начнет свою деятельность их новый парторг.

И Петухов понял это, почувствовал.

Он помнил, что Конюхов, приходя в нему в роту, сначала долго не выступал с политбеседами по положенной программе. Он приходил и просто разговаривал, и не со всеми разом, а так, то с одним, то с другим солдатом. Рассказывал о себе, с тем чтобы вызвать у бойца желание поведать о себе. И на войне Конюхов говорил много не о войне, а о жизни всех и каждого в отдельности. Учил не как надо воевать, а как надо жить, учиться лучшему в жизни, чтобы потом лучше жить. Говорил, болезненно морщась:

— Война нам, конечно, помешала достичь того, чего мы могли достигнуть, — всего нам нужного и должного. Мы вот сейчас наступаем всем фронтом, превосходим противника многократно. К весне войну кончим. Но хорошо бы сразу после войны тоже вот так, как сейчас, развернуто переходить в наступление на все, что недоделали, чтобы победа была не только на фронте, а во всем для всех. — Говорил, удивленно оглядывая собеседников: — Странно, конечно: война не кончилась, а мы вот о будущем толкуем, — значит, такие мы люди верящие. — Говорил доверительно: — Стараться понять врага — это, конечно, не значит быть с ним согласным. Но вот на что он рассчитывал? Коллективизация, индустриализация как нам тяжело дались! На оборону огромные средства от самых жизненных нужд отрывали. Классовая, внутривойсковая борьба — она шатала. Ведь «кто кого?» вопрос стоял! Потом фашисты думали, что рассыплемся мы оттого, что разных наций. А взять хотя бы ваше подразделение — сколько здесь солдат разных национальностей! И воюют, каждый не за свою саклю, дувал, хату, избу, дом, квартиру, а за общее. — Говорил задумчиво: — Сорок первый — самый трудный, самый страшный год. Но самый многозначительный для коммуниста тем, что ни в чем убеждения свои советский народ не утратил, не пошатнулся и на такую высоту их поднял, что сквозь все века светить будут. И это, по-моему, главная и высшая победа партии, потому что такими едиными мы вошли в войну, такими в ней выстояли и победили, потому что до этого победили трудное в себе самих, что равно рождению совершенно нового в человечестве — общежития народов, начатого нами и установленного нами на земле на все времена. А вот вам и факты, — и Конюхов кивал на

Сковородникова, бледного, зябнувшего, который только что в санбате отдал кровь прикрывшему его своим огнем раненому автоматчику Мартиросяну, на которого до этого смотал с себя бинты легко раненый второй номер Сковородникова, боец Садыков, оставшийся в строю...

Но не так просто было здесь, в цехе, вызнаться о людях. О производстве говорили охотно, про свою жизнь отмалчивались.

Петухов пошел в военкомат со списком личного состава работников своего цеха и попросил там дать справки о тех членах их семей, кто был призван на фронт.

Спустя месяц у входа в цех была установлена Доска фронтового почета с именами павших и тех, кто вернулся, кто оставался еще в кадрах. С этого, собственно, и началось признание Петухова коллективом цеха.

Петрусь Липко подошел к Петухову, потянул его за рукав, спросил:

— Ты надумал?

Не дожидаясь ответа, сказал:

— Отец мой — майор, летчик-истребитель, а ты, значит, пехота. — Попросил: — Зашел бы как-нибудь. Я ведь женатый. — Потупился: — Надо же было присмотр наладить, у меня младших четыре брата да две сестры-школьницы. — Добавил уныло: — Если б мать не померла, не женился б в шестнадцать, погодил бы еще.

— А жене твоей сколько? — спросил Петухов.

— Она постарше, — сказал Липко. — Мне молодая ни к чему. Должна быть за детьми опытная — Оленьке всего два года было, да еще хворала.

Липко жил в саманном домике. Жена его, тучная, веселая, с округлым лицом, быстрая, энергичная, сразу же бесцеремонно объявила:

— А что! Живем ладно. Взяла себе помоложе, думала — обсмеют. Но Петрусько своей солидностью другого какого сорокалетнего превосходит — мастер. Скоро в начальники пролета обещают, как техникум кончит. Братьев и сестер его я тоже вынянчила, учатся хорошо. Прихожу на родительские — одна мне похвала: воспитала.

Но перед Липко она держала себя послушно, сдержанно, с оттенком почтительности. Сказала негромко Петухову:

— По климату он летом на завод в трусах и в майке ходил, в перерыве футбол во дворе гонял со всеми другими слесарями. А как женился, я ему сразу от бывшего мужа — брючки, пиджачок, и футбол бросил. — Сказала горестно: — Вообще-то, в войну молодые быстро семейничали, не до гулянок и всяких там ухаживаний. Рабочий день ненормированный, обзаканчиваются в цеху, между сменами — и в загс. Ну и в общежитии тогда: раз семейный — отдельный закут. И уроки готовить есть где, без галдежа и суматохи кругом. Все положительные у нас без отрыва чего-нибудь да кончили. Между молодыми и пожилыми рабочими вся разница только в том и была, что если кино или концерт в клубе, молодые до конца глядят, переживают, особо если про войну кино, а пожилые от усталости в конце дрыхнут. Некоторые даже так и оставались досыпать на стуле до новой смены, и никто их не будил из уважения — от работы человек сморился, а не потому, что глядеть неинтересно.

Петрусь показал Петухову фотографию своего отца. В косоворотке, со значком ГТО на груди, отец Петруся выглядел не старше их обоих.

Ни Петрусь, ни Григорий не знали о том, как погиб летчик Липко.

А было это так.

Когда с прорвавшимся батальоном Пугачева пошли танки в сопровождении пехоты, за одним из них стал охотиться «юнкерс». Танк метался, потом открылась крышка башенного люка, оттуда приподнялся с ручным пулеметом танкист и стал бить по «юнкерсу». Это был Соловьев. Потом появился наш истребитель, и пилот, сидящий в нем, издал счастливый вопль, когда его очередь вонзилась в борт «юнкерса» и с обратной стороны посыпались дюралевые стружья. Но подожженный «юнкерсом» истребитель загорелся, расстилая шлейф дыма.

В кабине уже пекло, но пилот с восторженным иступлением продолжал добивать бомбардировщика, и когда «юнкерс» стал падать, переворачиваясь с крыла на крыло, только тогда пилот истребителя испытал томящую тревогу из-за утраченной в бою высоты.

Искалеченный истребитель ковылял, проваливаясь, и все трудней было, беря ручку на себя, выдирать его из падения.

И тут сверху бросился на него «мессер», чтобы расстрелять горящего. Истребитель последним усилием, остатком своей живучести пошел в лоб на таран и затем стал вращаться в плоском штопоре, потеряв управление, уподобившись дымящемуся волчку. Многократная перегрузка не давала пилоту истребителя оторваться от сиденья, через силу он приподнялся в кабине, дернул вытяжное кольцо парашюта, и распахнувшийся купол выхватил его из падающего пылающего самолета, но было поздно — его, как маятник, ударило о ствол дерева, затем о другой, о третий...

Когда Пугачеву принесли документы погибшего пилота, сырые, слипшиеся, он завернул их в побуревшую дивизионную газету, положил в подсумок, приказал Петухову:

— Подымай роту в атаку! Сильнее того, что они сейчас в небе видели, словами не скажешь, как за Родину надо драться!

Петрусь, бережно пряча фотографию, произнес вполголоса:

— Отец тихий был, добрый, к людям ласковый и к животным тоже. Он в лесничестве служил, с ружьем никогда не ходил. Найдет в лесу подранка, принесет домой и потом лечит. У нас всякая тварь зимовала, и даже кабанчика выходил. И уж куда зверь хуже волка, а за отцом ходил, как порося, и хрюкал, просил, чтобы почесал за ухом.

— Скучаешь по дому? — спросил Петухов.

— Наверно, — сказал Петрусь. — Только куда уж мне! Здесь оброднился. Я дом помню, а мои — нет. На двух языках свободно шпарят, как на своем родном, сдружились, сроднились, разве оторвешь! Теперь им здесь тоже своя родина. Да и родных там никого не осталось. Фашисты поубивали — кого за то, что партизанили, кого просто так, за то, что они люди советские. — Дернул плечом. — А здесь, что ж, вначале, конечно, жара, пустыня... Все люди разные, отовсюду. Вначале местные сильно помогли. Слова не все понимали, а по существу такие, как и мы, без лишних слов все ясно. ФЗУ, техникум, институт, ну и завод, конечно, — и получилось, что все мы через одно прошли и на одном деле оброднились. Вся разница, кто из какого цеха, у кого какая специальность, и уважение, кто как себя в деле показывает.

Завод эвакуированный теперь тут навсегда, и институт,

и техникум, и много еще чего. И правильно. Спасибо местным, был поселок. А теперь город, и он еще лучше станет, иначе и быть не может. Как салют Победы в Москве, местные выходят на площадь, и трубы у них музыкальные, «карнай» называются, здоровенные, как ствол зениток. И торжественно дудят в них. За десятки километров, даже в кишлаках слышно. Таким оркестром карнаев и отмечали по-своему, и даже русские, и украинцы, и мы, белорусы, выходили на них дудеть, и получалось не хуже, чем у местных. А потом даже стали так перевыполнение годовых планов отмечать перед митингом и после митинга. Очень у них звук торжественный! Как загудят карнай, — значит, успех.

Спросил озабоченно:

— Ну как манты? Украинцы их мясными варениками называют, хвалят. Мы, как сошли с поезда, изголодавшиеся, нас местные честь по чести с флагами, со всякими почестями встретили, а мы увидели: на кошмах еда расставлена, — ну и, как лунатики, туда, даже совестно потом было. Нас, эвакуированных, даже отдельно сначала питали, чтобы не стеснялись, ели от пуза. Коров со степи согнали и верблюдов, чтобы детей восстановить, отощали некоторые, совсем слабые. Да много пораненных после бомбежки эшелонов. Из кишлаков фельдшера съехали лечить, на ноги ставить. Так что всякое было.

10

Как-то Гитманис грустно заметил: «У нас в цеху отсутствие баланса в численности мужчин и женщин. Повсюду так — не то чтобы матриархат, но все женщины в двойной упряжке — на работе и дома. Если по справедливости, то памятник Победы ставить надо не столько солдату, сколько его матери, жене. Они все на себе вынесли и не хуже вас, фронтовиков, выстояли».

Петухов решил провести совещание с работницами цеха, нечто вроде женского собрания. Среди них только две были членами партии.

Когда Петухов спрашивал лучших работниц, почему не вступили в партию, ему говорили изумленно:

— А мы и так с партией. Куда же больше? По тринадцать — четырнадцать часов в цеху, на сверхурочных, без отпусков все годы. У нас вон лозунг до сих пор висит:

«В труде, как в бою». По пять — десять сменных заданий выполняли — это тебе что, не по-партийному?

— Ну все-таки...

Его перебивали:

— Что «все-таки»? Чтобы зарегистрироваться только? Перевыполнишь сменное задание, — значит, ты с партией, значит, полноценная. В фонд обороны на восемь танков собрали — вот наш партийный взнос, не какие-то твои три процента с заработка. На продуктовые карточки оставляли сколько надо, остальное — в фонд, на танк. Чего же записываться, когда мы с ней вместе заодно? И по общественной линии действовали. Обнаружили в столовой недовес. Разобрались — воруют. Мы всех воров к себе в цех: как, кто, почему? Ну, какие вдовы многодетные помаленьку тащили к себе в дом нутряное сало, мясо или еще кое-что по мелочи, — поругали, покорили, но простили: мать для детей ворует, мы, выходит, сами в этом виноваты, недодумали, трогать такую нельзя. Директора за воротник: давай сады детские, школы на орсовский кошт ставь. Холостяков обложили — выстригать для многодетных часть талонов из их продуктовых карточек. А тех, которые ворованное на рынок сносили, выездным судом при всем заводском народе покарали, так им и надо.

У нас на заводе женская общественность сильная. Директор — генерал, а и то перед нами трепетал, как брали его в работу. А насчет политики кому неясно? А то придет докладчик, лепечет: «Все для фронта!» А мы почему из завода не выходили, омужичились? Все потому: все для фронта! У кого муж, у кого отец, у кого сын воюет. Чего ж тут просвещать-то?

— А теперь? — спросил Петухов.

— Что теперь? Войне же конец.

— Значит, отмучились?

— Ты это брось такие слова! Что значит — отмучились? Были бабы, стали рабочими, с разрядами, со специальностями, с орденами, с медалями — чуть меньше, чем у вас, фронтовиков. Свое ответственное место понимаем.

— Завод вот перестраивается на мирную продукцию.

— А чего ему перестраиваться? Это директор, видать, плачется у министра: мол, новая для нас отрасль. А какая она новая? Всю войну сельхозмашины чинили, ремонтировали, бригады слесарей на поля посылали, чтобы на ходу ремонт производить. Ну и тоже: как уборка, рабочих и работниц на хлеб — для взаимопомощи. Жрать людям надо, ну

и двоеручничали: одной рукой в цехе оружие производили, другой — хлеб убирали. На все у рабочего класса силенок хватало. Теперь главное по нашей женской работе что? Дети!

Те, которые подростками на завод пришли, хоть юности и не повидали, но в заводском коллективе и без отцовства хорошо воспитались в правильных людей, самостоятельных. Глядеть на них приятно: надежные, сознательные. А вот меньшие, которые в школьниках... Раньше и матери с лозунгом «Все для фронта!» легче было детей воспитывать. Как же, мол, так? Плохо учишься, хулиганишь в школе? Отец воюет, кровь свою проливает, а ты... Ну и сама ему примером: видит, прихожу с работы, валюсь на койку без памяти — он и сготовит, и приберет комнату. А как же! Мать оружие делает, не что-нибудь. Уважает... Дети тем же, чем и мы, жили — все для победы!

А вот теперь сердце матери и беспокоит, как детьми управлять, на что им указывать, ради чего теперь они должны хорошими расти, что для них теперь впереди самое главное. Ну и для нас тоже... Сеялки, веялки, комбайны — это не пулеметы, пушки, «катюши». Про них ни кино, ни песен нет. Сельхозтехника — и все.

А насчет улучшенного питания для народа, так детям что? Поедят что придется, на скоростях — и на улице.

Фронтovика увидят — благоговеют. Идет рабочий человек с орденом — даже не оглянутся.

Для них герои только на войне — так воспитались за эти годы. Правильно, конечно, и душевно понятно. Но из них же сейчас надо людей растить для другого и тоже самонужнейшего, а если возвышенности не будет, разве по материнской линии справишься? Вот это и тревожит.

И потом тоже: мало, что ли, наших женщин одиночеством болеют? Ну, подвернется какой подходящий... А погибший отец ребенку кто? Он один ему светит. И ничто ему такой святой памяти не загасит. Приведет мать в дом, допустим, даже хорошего человека, а сыну или дочери он не только чужой, но враг памяти отца. Мало ли случаев — из дому дети уходили? Вон у нас целый интернат таких, при живых матерях — сироты.

А бывает, не уходят из дома, да еще мужик в доме явно хуже отца — его не уважают, мать презирают. В таком случае у детей что? Вера в людей теряется, могут совсем плохими вырасти. Мы по линии завкома такие трудные семьи посещаем.

А надо бы что?

На партсобрании, на общем собрании, на всяких там совещаниях о чем? Все план, перестройка, график... Нужно? Нужно! Не дуры, понимаем. Ну понять же нужно, как людям жизнь настраивать. После всех расстройств как семьи складывать? Сюда тоже надо партийного ума и сердца вложить, посоветовать. Оттого, что у человека на душе все ладно, у него и работа ладится.

Раньше что всему главное — отступаем или наступаем на фронте? Отсюда и настрой. Домой только забежим накоротке. А теперь домашняя жизнь стала сильно обозначаться. А кто за нее ответственный? Мать! Она своим детям и партком, и завком, и общественность, и все на свете, а пока мимо ее забот собрания, речи, доклады всякие. Вот и крутись, вертись волчком сама по себе. Это что, правильно?

11

Большую часть молодежи цеха составляли комсомольцы.

Петухов побывал на комсомольских собраниях. Но они ничем не отличались от партийных. Те же вопросы, такие же выступления. Деловые, политически зрелые. Главные вопросы производственные. И, хотя многие выглядели подростками, с ребяческими, в пушке, лицами, но держались солидно, с достоинством, соответствующим их рабочим разрядам, профессиям, производственному уже не малому стажу. И в одежде не отличались от старых рабочих, так же как в манере вести себя, разговаривать, — курили махорку, стряхивая пепел в мозолистую ладонь.

Петрусь Липко доложил о слабой посещаемости курсов переквалификации и тут же зачитал проект резолюции: указать, обязать, вызвать на бюро. Единодушно и равнодушно, как показалось, проголосовали за принятие резолюции.

И тогда взял слово Петухов. Он встал, улыбнулся добродушно, сказал:

— Кто про что, а я про фронт. — Спросил: — Можно?.. Значит, был у нас снайпер Василий Степанович Егоров, бывший лекальщик седьмого разряда, в очках, хоть и снайпер. Человек пожилой, хворый, капризный, все морковку ел для улучшения зрения. Врачи говорят — помогает. Он

у нас лучшим снайпером считался. Думали мы, от морковки! — Подождав, пока смолкнет вежливый смешок, Петухов сказал: — Стал он делиться своим опытом.

— Как морковку есть? — спросил кто-то.

— И этим мы тоже интересовались, — будто соглашаясь, ответил Петухов. — Но он нас на место поставил, как рассказал, из чего складывается один выстрел снайпера.

Во-первых, у него были составлены таблицы баллистических расчетов на основе законов математики и физики. Если низкая облачность, высокая влажность, увеличенное давление атмосферное, он усиливал заряд в патроне, использовал более тяжеловесную бронебойную пулю и увеличивал крутизну траектории так же, как когда стрелял через водную преграду. Водная поверхность, как известно, обладает большей силой притяжения, чем просто земля. Если день был солнечный, безоблачный, сушь и прозрачность атмосферы высокая, стрелял без оптического прицела, чтобы блик от оптики не засек фашистский снайпер, и подолгу винтовки на солнце не держал: металл перегреется, ну вы знаете, от тепла расширяется, может повлиять на дальнедистанционный выстрел, и ударная сила пули ослабнет на излете.

У него была карта местности с геометрическими исчислениями, и, пользуясь ими, когда вражеский снайпер в сумерки уходил в свою засаду, чтобы начать работать с рассветом, он бил без промаха в темноте.

До войны был лекальщиком наивысшей квалификации, слесарь-профессор. Вот, значит, как по-рабочему, по-фронтному Василий Степанович переквалифицировался из хорошего лекальщика в наилучшего в нашей дивизии снайпера, соединив свое рабочее образование с солдатским в единое целое.

Усмехнулся:

— Я это к чему? Оружие вы фронту давали классное, значит, хотелось бы, чтобы этот высокий класс и на новой продукции сказался. Ну, конечно, приноровиться надо, как, скажем, лекальщику — к винтовке. Курсы снайперов у нас на фронте имелись: бой идет, а многих бойцов мы — в тыл, на обучение. Воевали меньшим числом, без них, пока они обучались. Сознавали: надо. Поняли, к чему гну?.. Обождите, не все.

Но вот получилось так, что с какого-то времени Василий Степанович стал мазать по цели. В чем дело? Достали ему новую винтовку с персональным гвардейским снайперским

стволом высшей точности изготовления, цейсовский трофейный прицел. Мажет. В чем дело?

Письмо из дома получил плохое. Семья в разброде. Ребята от матери отбились, лоботрясничают, старшего на второй год в школе оставили. За проступок привод в милицию. И ничто не помогло — ни новая отличная винтовка, ни прицел. Потеряли снайпера. Допустил от расстройства, что дома плохо, небрежность в маскировке. Пал насмерть.

И кто, вы думаете, в этом виноват? Только фашистский снайпер? Не обеспечили вниманием семью Василия Степановича ни комсомол, ни общественность — вот и получилось...

Помолчал, выждал и сел.

И собрание началось заново.

В заключение Петухов снова выступил и передал слово в слово свою беседу с цеховыми работницами, сказал, будто в чем-то оправдываясь:

— Это не от меня, а от них, женщин, матерей, комсомолу! Есть о чем нам всем подумать. Хорошо здесь вы все говорили, с беспокойством. Будущее, оно что? Человек! На него сейчас и все заботы, чтобы и жизнь улучшить и его самого...

12

На заводском партбюро директор, прервав Петухова, сказал раздраженно:

— Зарвались! План перевыполнили по раскладушкам! Тоже мне продукция! Вместо того чтобы доложить по-серьезному, по-производственному, по-партийному о существенном, видите ли, стадиончик ему давай, водную станцию, спортивный инвентарь! Это откуда же такой чемпион мира явился? Мы-то думали — фронтовик! А он физкультурник! Отдай ему особняк дирекции под Дворец пионеров! Администрацию завода, что же, в землянки?! Вместе с конструкторским бюро? Хорош! Да еще всех ребят на все лето в наше подсобное хозяйство отправить, где сады, огороды, куры, откуда допитание получаем. На полный отдых, чтобы они все там порвали, поломали, кур побили! И еще, товарищи. Что у нас, территория завода — кладбище? У каждого цеха мемориал ставить со всеми именами погибших! Это что будет рабочим и работницам внушать? Только горе, скорбь о погибших, а не бодрость к работе.

— Если вы против, мы в обком обратимся, — резко сказал Петухов.

— А ты нас обкомом не пугай! — заявил директор. — Обкомовские показатели на наших держатся. Сорвем план, партия у нас одна на всех, и обкому, и нам всыпят.

И впервые Глухов остался в одиночестве на партбюро завода. Проговорил уныло:

— Проработали. — И вяло поднял руку, когда голосовали предложение комсомола завода, изложенное в выступлении Петухова.

Потом сказал Петухову с упреком:

— Что ж ты не зашел, не поговорил, а так сразу в атаку на партбюро? У меня всегда как? Сначала посоветуемся, потом выносим. Я на что рассердился? Не на твои предложения. Они все правильные и, если хочешь знать, безотложные. Но я не привык, чтобы помимо меня. Поддержал бы, ясно. Но за что же в обход? Ко мне люди и с малыми делами ходят, и всегда все сам решал. Без проволоочки. А тут... — И генерал сокрушенно развел руками.

Но, как всегда ему было свойственно, директор энергично включился во все утвержденные на бюро мероприятия, ездил в подсобное хозяйство, распорядился, чтобы все было для ребят как следует. Выделил больше, чем намечалось, средств из директорского фонда. Звонил по ВЧ, чтобы срочно добыть спортивный инвентарь. Нашел среди эвакуированных архитектора — пригласил, обласкал, сказал:

— Нам, конечно, не римский колизей, но тоже желательно что-нибудь поприличней, не времянку какую-нибудь.

У командующего фронтом, которого он в свое время снабжал боевой техникой, выпросил списанные за ветхостью шлюпки. И их доставили по железной дороге на том составе, на котором прежде вывозили с завода его оборонную продукцию.

Не жаловался, не сетовал генерал, директор завода Алексей Сидорович Глухов, когда приходилось навсегда оставлять в кишлаках механизаторами столь нужных заводу слесарей-механиков, дизелистов, монтажников и просто слесарей и вместо них привозить из кишлаков молодежь, для которой машина — деревянный лопастный агрегат для полива, а инструмент — кетмень. И выучивал, и не узнавал потом в цехе, кто тут из местных.

Он сам отослал на работу в МТС маститых ленинград-

ских конструкторов, не окрепших после дистрофии, и терпеливо ждал, пока они поправятся на сытной еде, на свежем воздухе.

Бывало, ночью, включив настольную лампу, водрузив на нос большие круглые очки в тяжеловесной роговой оправе, он писал тайные послания тем, кого отпустил на землю. Вежливо осведомясь о здоровье самого, супруги, только в конце излагал главное: «Хотя бы месяц или пару неделек выкройте. Знаете, по сводкам Информбюро, — каждый овощ нашего огорода против фашистов сейчас, как никогда, требуется. Буду рад лично пожать руку! Генерал-майор Глухов».

И цехи он загружал ремонтом сельхозмашин в самое горячее время производства оружия. Ставил подсобниками весь административный состав и обслуживающий персонал. Пищу прямо к станкам доставляли в армейских термосах. Люди ели стоя, держа в левой руке миску, правой на ощупь зачерпывая ложкой, не спуская глаз с работающих станков. Так, как едят на боевом дежурстве летчики-истребители, сидя в самолетах, готовые ежесекундно взлететь, если служба ВНОС даст команду: «Противник!..»

Сейчас оказалось труднее руководить.

Куда ни кинься, все надо. И все, все требуют, и правильно требуют, но что из всего самое главное — не ухватишь.

Раньше нарком звонил по ВЧ, спрашивал:

— Директиву получил? Сорвешь срок выпуска — сорвешь погоны, как минимум! — И клал трубку.

А теперь министр звонит:

— Ну как, Алексей Сидорович, дела? Надо, голубчик, все надо, и то, и это — все главное. Без мясорубки котлет не приготовишь. И за мясорубки спросим в полной мере, как раньше за подкалиберные снаряды спрашивали.

Звонили из обкома:

— Товарищ Глухов! Поздравляем. В «Правде» о заводе статья.

Глухов расплывался в улыбке.

— Как же! Расписали... «Образцовый детский лагерь». И фотография! В панамках, в трусиках! Стоят голопузые в саду, за руки взявшись, и даже не глядят на груши, персики, уставились на фотоаппарат, таращатся! Но ничего, откормленные, щекастые. Вот тебе и расхвалили на всю страну. А за годы войны ни одной строки ни в одной газете, будто и нет такого завода!

Раньше самые непреодолимые на заводе кто? Военпре-

ды! А теперь все! Отовсюду! И перед всеми за все отвечай. Отчитывайся. Словно завод без забора стал. Для всех все на виду. Трудно, очень трудно, а тут еще материально-техническое снабжение подводит.

Раньше твой завод вне категорий — оборонный. За любой срыв и тебе не простили бы, и смежникам, и даже наркому, если по вине наркомата. А сейчас советуют: изыщи резервы, потолкуй с обкомом, попроси местных руководителей помочь...

Генерал все чаще стал приходить на работу в штатском. Вместо слова «прикажу» стал говорить «подскажу». Вместо категорического «нет» произносил значительно: «Ну это мы еще сначала обсудим» или «Посоветуемся».

Но это не было у него показным или уступкой кому-то. Просто он в эти трудные для себя дни чаще сидел в парткоме завода, чем у себя в кабинете, и вместе с другими членами парткома размышлял, как рассредоточить гвардию заводских коммунистов, сосредоточенную в главных цехах, на решающих участках, — теперь все стало решающим, все жизненно и производственно главным.

13

Игнатий Степанович Ключков при любых обстоятельствах всегда оставался самим собой. Он считал всякое притворство унижительным. Кроме того, легко разгадывая уловки другого, считал, что и другой так же легко сможет разгадать и его собственное притворство. Он никогда не заботился о том, чтобы специально произвести приятное впечатление, но, если человек ему нравился, тут же его благодарил:

— Спасибо вам, что я с вами познакомился. Рад!

Он радовался интересным для него людям, помнил их.

Женился он на секретарше директора научно-исследовательского института, академика, который пророчил своему аспиранту Ключкову большое будущее, впрочем, как и все в институте.

Она, робея, вышла за него замуж. Узнала: в быту беспомощен. Поняла в этом свою власть над ним. Он благоговел перед ее житейским опытом. Раньше был беспечен, равнодушен к быту, стал пуглив, тревожен, мнителен. Она внушала ему бытовые страхи, приучала к удобствам. От нашествия вещей он утратил независимость, спокойствие.

И вдруг в «Вечерке» объявление: «Продается мебель, имущество в связи с экстренным отъездом». И адрес Ключкова.

Она приехала с курорта в пустую квартиру. Только рабочий и обеденный столы, стулья, две кровати и... все.

Он сказал ей, ошеломленной, заискивающе:

— Я все перевел на твою сберегательную книжку.

— Где книжка?

Он протянул. Она изорвала книжку, обрывки истоптала. Долго ритмично рыдала. Кончив рыдать, осведомилась:

— Кухня цела?

— В неприкосновенности!

— Тогда давай ужинать,— сказала она и ушла на кухню.

Впервые он искренне и нежно сказал ей:

— Ты мой симпомпончик!

А затем, что ж, прошли годы.

Она великолепно владела машинописью, стенографией, быстро работала с арифмометром, знала несколько языков. Он заявил ей однажды:

— Юношеская любовь — это ерунда. Вот! Наша с тобой — нечто прекрасное, эпическое. — Потупился, сказал застенчиво: — У меня такое ощущение: как ученого ты меня родила!

Нужно иметь первородное, звериное, животное здоровье, чтобы так немилосердно изнурять себя в работе, как ученый на взлете, и при этом выжить.

Долговязый, сутулый, тощий, с крупной плешивой головой и большим багровым носом, с выпуклыми сизыми глазами, несдержанный, своевольный, самозабвенно сосредоточенный и подвластный только той идее, которая его в данный момент обуревала, он считался трудным, бесцеремонным, но уважаемым человеком, с которым считались на самом верху.

Как-то Игнатия Степановича Ключкова вызвал «большой человек» на узкое совещание, и во время совещания «большому человеку» позвонил «еще больший человек». И «большой человек» с готовностью и воодушевлением беседовал несколько минут с «еще большим человеком» и, когда положил трубку телефона, продолжая по инерции улыбаться, оглядел присутствующих.

Ключков поднялся и сказал спокойно, вежливо и даже с улыбкой:

— Во-первых, это неприлично! Не считаться с нашим присутствием. И во-вторых, самое главное: я слишком дорожу своим временем и временем своих сотрудников, чтобы расходовать его на то, что вне сферы наших целей и задач нашей работы.

Откланялся и вышел.

Пока он следовал до дому, ему беспрерывно звонили в институт и домой.

Взяв трубку, он сказал:

— Почему не понял, с кем вы говорили? Понял! Вы же так настойчиво повторяли фамилию собеседника. Тем хуже! Не для меня, а для вас. Именно для вас. Потому что свой разговор со столь высоким лицом вы сделали предметом общего внимания, бестактно игнорируя то, что этот разговор не предназначался для общественности.

И положил трубку.

— Теперь тебя за границу не пустят! — заметила супруга.

За границу его действительно не пустили и не пускали, но по другим причинам. Клочкову дали конструкторское бюро, первоклассно оборудованное, почти миниатюрный завод. Ни вывески, ни адреса у бюро не было. Увидев у себя в новом кабинете сейфы, он открыл их, заглянул внутрь, сказал:

— Хорошо от мышей хранить продукты!

И отказался ставить свою подпись в приемке сейфов так же, как и брать ювелирной работы ключи от них.

Скоро появился пожилой человек, отрекомендовавшийся очень скромно:

— Федор Прокофьевич! — И добавил: — Вы уж извините! Буду при вас Санчо Пансой. Ключики от сейфов и прочее. Не возражаете?

— А в науке вы как?

— Ни бум-бум, — чистосердечно признался Федор Прокофьевич.

— Так кто же вы и зачем мне вы?

Федор Прокофьевич оглянулся, склонился к уху Клочкова, почтительно доложил.

— Так вы пришли меня арестовать? — удивился Клочков. — Ах, охранять! От кого? Чтобы у меня что-нибудь не сперли или я что-нибудь не спер?

— Извините, с вашего разрешения оголюсь, — сказал Федор Прокофьевич.

Снял пиджак, верхнюю и нижнюю сорочку, аккуратно

все это повесил на стуле. Подошел, мускулисто-желтотелый, в глубоких рубцах.

— Разрешите вот, так сказать, представиться! Это из маузера. Когда, знаете ли, в упор дуплетом. Производит внушительное впечатление. Прикрыл собой одного ценного товарища, чтобы его организм не повредили... Это не огнестрельное повреждение, бросили ножик издали. Тут вот штопка-чинка была основательная. Принесли посылочку с книгами. Ну, я ее предварительно по своей обязанности вскрыл. Рвануло крепко. Но на меня убийной силы не хватило, а может, просто существенное во мне не повредило. Точнее, выжил. — Сконфуженно мигая, сказал: — А это, если позволите, для юмора. — Повернулся спиной, сказал смущенно: — Видали! Какое хулиганство! Но не сотрешь, не смоешь. Раскалили штык в костре и им, как на заборе, это слово на спине мне и написали! Хамлюки, беляки, кадеты! Чего еще от них ждать было молодому красногвардейцу? — Вздохнул. — Лишили теперь на всю жизнь возможности в баню ходить или, допустим, на пляж. — Одеваясь, спросил: — Может, всю свою биографию вам доложить? Или отдельные только факты интересуют?..

Клочков привык к Федору Прокофьевичу и даже полюбил его. Иногда рассеянно спрашивал:

— Вы как, одобряете применение бериллиевой бронзы? А то все сплавы к чертям летят.

— Если она покрепче, значит, в самый раз! — соглашался Федор Прокофьевич.

Он всюду бывал с Клочковым и, войдя в курс его дел, уже оберегал не только его самого, но и — что для Клочкова было равно жизни — его рабочее время.

Федор Прокофьевич обил дверь в кабинете Клочкова войлоком, а сверху для красоты — белой больничной клеенкой, объявив строго:

— Тишина для труженика ума получше всякого лекарства, полезно действует.

Зайдя как-то к заместителю начальника конструкторского бюро по хозяйственной части, Федор Прокофьевич, вдруг преображаясь в нечто тяжеловесное и малоподвижное, сказал, почти не двигая губами, на одном выдохе:

— У глазника были, велел ему сильнее стекла носить. Необходима, говорит, коррекция зрения. А лампа настольная у него какая? Абажур, как паршивая юбка. Все светильники проверил — прошлый век. Завтра! Понятно! Завтра чтобы, и с медицинской обязательной консульта-

цией — новые, ярко-светлые. — Выдохнул. — Довели выдающегося ума человека! Зрение себе портит. А хозяйственник о чем думает? Чтобы все выглядело только богато, но не полезно. Как вот ваши бархатные занавески. Ему чистый воздух для дыхания нужен, а вы ему на бархате пыль собираете. — Заключил: — Считаю вашу глупость большой опасностью, хотя дураков тоже перевоспитывать можно!

Металлургом бюро был Арнольд Павлович Булкин. Арнольд Павлович был известен тем, что больше всего боялся не кого-нибудь, не чего-нибудь, а тучности. Недоедал и поэтому был тощ, морщинист, раздражителен. От постоянного ощущения голода лицо его имело несчастное, озлобленное выражение, но зато он гордился постоянством своего веса и презирал тучных.

— Девиз для металлурга, — говорил Арнольд Павлович, — отвергать ненужное и брать нужное!

В испытательных установках он варил легированные стали. Изучал свойства различных сплавов, чтобы придать им такие свойства, какие заказывал Игнатий Степанович Ключков.

Каждый раз он предупреждал Ключкова:

— Я вам в тигле что хотите могу изготовить, а в мартене? — Умолял скорбно: — Не заскакивайте фантазией вперед эпохи, Игнатий Степанович! Будьте благоразумны.

Основным помощником в цехе-лаборатории Арнольда Павловича был сталевар с завода «Серп и молот» Мозжухин. Он работал самозабвенно, держался с особым достоинством, говорил:

— Если теория толковая, не возражаю. У меня у самого своя собственная теория: если на практике не получается, значит, у кого-то в башке недовес.

Он любил «колдовать» над лабораторными плавками ночью, когда в бюро никого не оставалось, кроме охраны, произносил с умилением:

— Это же не работа, а так — игрушечное занятие. Вроде как из кубиков замок строить. Но при осмысленной мечте приятно. Вдруг получится в заводском масштабе? Вот тебе и игрушки!..

Технолог Петр Михайлович Дыбец, самоуверенный, сдержанный, всегда модно, щеголевато одетый, с жестким выражением лица и выдвинутой по-рыбы вперед нижней челюстью, жил и работал по строжайшему расписанию, педантично продуманному на длительное время. Расписанию, в котором минимальное время отводилось на сон, отдых, тем более — на развлечения.

Вот эти двое — металлург Булкин и технолог Дыбец — были главной опорой Игнатия Степановича Ключкова, удостоенного правительственных наград, лауреатства, высоких научных званий и, несомненно, высокого уважения на самом верху, где он был лично известен также и со всеми своими «причудами».

Что касается Булкина и Дыбца, то Булкину в его цехе-лаборатории сотрудники и рабочие снисходительно прощали неудобства характера. Дыбца же за всегдашнюю одержимость побаивались. Но побаивались не того, что он может наложить административное взыскание, к чему он никогда не прибегал. Побаяивались его железной неустойчивости, когда он сутками не выходил из цеха-лаборатории, оставаясь свежим, энергичным, напористым. Побаяивались его нестигаемой воли. Когда уже все варианты, казалось, были исчерпаны, он вдруг заявлял самоуверенно:

— Отлично! Чем больше отрицательных фактов мы накапливаем, тем ближе приближаемся к цели. Итак, начнем! Занишите эксперимент: 711—712!

Не вызывал Дыбец симпатий и тем, что, когда экспериментальная работа завершалась полным успехом, он говорил, моя руки и глядя на себя в зеркало так, словно видел в нем лицо незнакомого, неприятного ему человека:

— Не исключено, что наш ребенок родился уже с бородкой. Пока начнут согласовывать, осваивать, борода у него вырастет ниже колен и поседеет.

Оба инженера высоко чтили дарование Игнатия Степановича Ключкова и покорно выслушивали его рассуждения о том, что сейчас в мире техники идет дуэль и что Лев Толстой гениально определил в творчестве конструктора идею совершенства, сказав: «Простота есть необходимое условие прекрасного», и что новое могут создать последователи своих учителей, а не подражатели. Или заявлял удивленно, восторженно:

— Представьте, нашел у Александра Сергеевича Пушкина и у Владимира Ильича Ленина равновеликие мысли, прямо относящиеся и к инженерному творчеству. Ленин

говорил, что фантазия есть качество величайшей ценности... Пушкин утверждал, что истинное воображение требует гениального знания. Какие молодцы, а?

Булкин сконфуженно улыбался. Дыбец угрюмо молчал.

Им обоим не очень-то нравилась манера Ключкова как бы кокетничать своей беспартийностью, а Ключкову явно доставляло удовольствие замечать это их неудовольствие.

Дыбец в годы гражданской войны еще мальчишкой ездил на бронепоезде смазчиком вместе со старшим братом-машинистом.

Отец Булкина был старый большевик-путиловец.

Другое дело, когда Ключков, отдыхая, начинал, как бы играя умом, подсчитывать, сколько понадобится термитного порошка, смеси алюминиевого с измельченной окисью железа, дающей 3000 градусов температуры, для преодоления заторов в Северном Ледовитом океане, чтобы открыть круглогодичную навигацию.

Или тут же брался за расчеты отопительного кольца вокруг Земли из мельчайших пылеобразных частиц для обогрева и круглосуточного освещения планеты.

Но такая игра его ума обычно завершалась вдруг ясно и точно мелькнувшей плодотворной мыслью. И он живо говорил Дыбцу после изложения своих космических идей:

— Петр Михайлович! Порошковая металлургия — это реальность! Сверхпрочные резцы, экономия, точность и наконечники для бронебойных снарядов. Займемся, а?

— Это идея!

И Дыбец улыбался, что было ему так мало свойственно.

— В смысле идей у нас все пушки на нашей стороне! — громко, радостно хохотал Ключков. Спрашивал ехидно: — А кто это сказал? — И отвечал протяжно: — Ленин!

Ключков любил дразнить их своей неожиданной начитанностью в той области, которую он считал — во всяком случае, так говорил — для себя необязательной.

Все бумажки с расчетами, схемами, которые он машинально набрасывал почти как художник, беседуя с сотрудниками бюро, зарисовки, эскизы аккуратно подбирал Федор Прокопьевич, потом через несколько дней говорил:

— Игнатий Степанович, вот вы обронули. Поглядите! Может, чего-нибудь для памяти нужное.

Ключков, брезгливо оттопырив губы, перебирал бумажки, одни презрительно бросал в корзину, над другими вдруг задумывался, ковыряя карандашом в ухе. Но бывало

и так: бросался к Федору Прокофьевичу, жал ему руку, благодарил горячо.

— Ну знаете! Вот это подарок! Вы же мне идею подарили! Поняли? Идею! Вот она, в зародыше, с пульсиком. — И бережно разглаживал скомканную бумажку.

Федор Прокофьевич соглашался:

— Идея — все! За идею люди жизнь отдают. А вы ими сорите.

Клочков не боялся выглядеть суетливым, когда отладка модели проходила успешно, ругался рыдающим голосом с Булкиным или Дыбцом, если кто-нибудь из них не соглашался с ним, а потом, если Дыбец или Булкин оказывались правы, обнимал их, но так же лицемерно, как обнимаются боксеры после поединка.

Летящий в воздухе пух тополя вызывал у него мысль: нельзя ли усовершенствовать тополя и заменить посевы хлопка тополиными рощами. Во всяком случае, следует попробовать применить пух тополя при производстве взрывчатки.

Он обожал тугоплавкие металлы: вольфрам, молибден, ренит, тантал, титан, цирконий, торий...

Но Арнольд Павлович Булкин сердито говорил:

— Я могу вам такой сплав состряпать, что, допустим, при пропускной способности ствола шесть тысяч в минуту выдержит, сохраняя температуру хладнокровного пресмыкающегося. Но при колоссальных тиражах оружие должно быть недорогим, прочным, экономичным, эффективным, надежным. Редкие металлы денежки стоят! А так-то, я вас знаю, могли бы создать уникам! В одном экземпляре!

Петр Михайлович Дыбец в свою очередь упрекал Ключкова:

— Вот деталь МГ-47 по параметрам — предмет извращенной фантазии. — Произносил иронически: — Арабеск. Мои мастера, конечно, справятся. А заводские? — Заявлял решительно: — Прошу вас покорнейше — упростить в рамках реальности.

А военпреды, наркоматские комиссии, полигонные испытания! Кстати, на полигоне равноправно выступали в состязании всевозможные иностранные образцы. Их нужно было перекрывать по всем показателям со значительным превосходством, потому что это были не самые последние модели, а превзойти существующие своими еще не означало превосходства. Оно должно было выражаться в многократном научно-техническом заделе — опережении, в

прогнозировании тех боевых средств, которые будут созданы за рубежом, чтобы уже сейчас в полигонных поединках из своих боевых систем избрать в одном экземпляре достойного прародителя нового типа оружия.

Максимальная огневая мощь и минимальная металлоемкость, высокая скорострельность и простота конструкции, надежность и экономия редких металлов, способных выдерживать большие динамические, термические перегрузки, и еще множество других противоречивых слагаемых, — и из всего этого противоборствующего надо создать нечто совершенное, гармоничное, немногосложное, как немногосложна гениальная конструкция скелета животного, на создание которой самой природе понадобилось миллионлетие.

— Да что я, гений?! — вопил Клочков, когда военные просили упростить и сократить в оружии количество деталей.

Когда знакомился с последними данными немецкой боевой техники, произносил разочарованно:

— Количественно — да! Но никаких открытий, странно. — Тревожно спрашивал: — Может, мы недостаточно осведомлены? Хотя вот в Испании, как на полигоне, многие новые образцы ими испытаны, и ничего выдающегося.

— Я, — говорил он гордо, — только инженер-механик. Огнестрельное оружие — машина, назначение двигателя: за кратчайшее время выбросить максимальное весовое количество металла на наибольшее расстояние. Надежность, транспортабельность, простота, экономичность. — Усмехался: — Но вообще человечество в производстве огнестрельного оружия эстетически деградирует. В средние века и даже ранее пушки украшали барельефами зверей, гирляндами, огнестрельное оружие покрывали изящнейшими узорами золотой и серебряной чеканки. Ныне назначение оружия обнажено до предела — машина, и никаких иллюзий.

Он перешел на «казарменную» жизнь в конструкторское бюро задолго до начала войны, сразу после того, как получил информацию о новых образцах оружия, принятого на вооружение армией гитлеровской Германии. Стал неразговорчивым, замкнутым, сурово сосредоточенным. Однажды вдруг сообщил:

— Автор трехлинейной винтовки Сергей Иванович Мосин — мой земляк, воронежский.

Он назвал это имя с такой гордостью, с какой прежде произносил только имена великих ученых.

С началом войны его КБ было полностью вывезено в Среднюю Азию и там влилось в эвакуированный оборонный завод. В серию была запущена новая мощная скорострельная система конструкции И. С. Ключкова. Но, вопреки обычаю, он решительно потребовал снять с ее наименования его инициалы, заявив:

— Помимо повелительной и пожизненной своей задолженности перед своим государством и народом его, у меня нет никаких особых прав отмечать свое личное участие в войне, кроме исполнения гражданского своего долга.

То, что боевые системы его все время периодически совершенствовались по скорострельности, огневой мощи, простоте и надежности механики, маневренности, уменьшению веса, достигалось ценой неимоверного напряжения, изощренных поисков, ибо механизмы боевых систем в своих основных параметрах должны были оставаться без существенных изменений, чтобы при производстве модернизированного образца не нужно было изменять типовые операции, технологическую оснастку, режим обработки, менять инструмент тысячи наименований, приспособления, налаженную технологию.

И это давало возможность выпускать усовершенствованные системы без переналадки производства. Они как бы самозарождались из предшествующих образцов, наследуя от них все хорошее и каждый раз обогащаясь чем-то новым, лучшим.

Ключков знал, что создать новую оригинальную систему конструктору часто значительно легче, проще, чем, подчиняясь деспотии унифицированных, стандартизованных основных узлов, деталей, систем, придать им совершенство, виртуозно не изменяя числа их слагаемых, но внося то новое, что на первый взгляд кажется лишь продолжением старого, но на самом деле иногда равно научно-техническому открытию.

И он шел именно по этому пути, трудному, изнурительному, зная, что время — это тоже победа. И он выигрывал производственное время в бесшумных, но беспощадных, истязаящих мозг сражениях за чертежной доской.

Но это было не только его убежденностью в технической и экономической рациональности таких решений в условиях войны.

В цехах работали в основном подростки, женщины, они выучивались здесь же, у станков. Овладев типовыми операциями, типовыми режимами обработки, определенной технологической оснасткой и приспособлениями, они достигли высоких норм выработки и высоких качественных показателей неимоверным напряжением.

И, благоговей перед их самоотверженным усердием, Ключков обязал себя беречь их душевные силы, как и утомленные физические силы, думая, что сложившийся ритм, привычный тип деталей, методы и режимы их обработки облегчают труд этим недавно выучившимся рабочим и только что приспособившимся к такому труду.

И он приспособливал к возможностям производства свои конструкторские идеи. Поэтому они были доведены до той степени строгого совершенства, когда все гармонически и целеустремленно подчинено тому, чему оно предназначено, и все нецелесообразное устранено. Это было как формула, выстроенная в металле. И стало тем высшим, чего он достиг как выдающийся конструктор, хотя в то время он считал это только одним из образцов советского оружия, оправдавшего себя надежностью, безотказностью и тем, что оно якобы только кое в чем превосходило оружие противника такого же назначения.

В редкие часы свободного времени Ключков посещал военный госпиталь. Беседуя с находящимися на длительном излечении после тяжелых ранений бойцами, он выслушивал здесь для себя немало значительного, важного.

— Дальнобойность — это что? — говорил ему солдат, энергично размахивая култышкой правой руки. — Что это фактически означает? Я до него снаряд докинул на большую дистанцию, а он до меня нет. Кому спасибо? Рабочему классу, который таким орудием меня снабдил. Опять же точность! Снаряд больших денег стоит. По площади тоже полезно лупить, если на ней группировка, а ежели нет? Глупый расход. Вот если б соединить прицельность и дальнобойность, сколько бы мы своих жизней и своих снарядов сэкономили! Уйму!

Взять ту же скорострельность. Он по нас из одного ствола шестьдесят в минуту, а я в него шестьсот. В чью пользу баланс? И дураку ясно. Но при такой сложной механике должна быть гарантийная безопасность. А то было! Помню, появились одиннадцатизарядные винтовки. Ну что лучше! Но вот требовали деликатного обращения: чуть чего нарушишь — перекося или еще что... Хотя и один-

надцать в ней зарядов, а вера в нее подмочена. Никто брать не хочет. Давай обыкновенную нашу винтовку, мосинскую, она, как родной отец, не подведет — озаботит.

Пулемет — машина распрекрасная, один расчет может целую роту перед собой распластать, в землю зарыть. Но тоже машина со своим капризом узаконенным. В наставлениях даже имеется официальное перечисление всевозможных заеданий. А разве это правильно? Оружие должно само себя оправдывать. Веру в себя доказывать. Вот насчет пушечек, орудий — тут я любитель! Сам артиллерист! Тут мы громилы! Весь вопрос, считаю, у нас сейчас не в стволах, а в тяге. Должно орудие, как все равно снайпер, маневрировать почаще, повеселее позиции сменять, хоть не так, как танки и самоходки, но тоже по-резвому, с темпом, в соответствии с солидностью калибра.

И еще какое мое замечание. Народ обвоевался. Культурный солдат пошел, образованный. В своем деле мастер и очень автомат полюбил. А надо не только автомат для личного оружия, но и для всей боевой техники нужно механизацию налаживать — и по подаче снарядов и по наводке. И мало ли еще что!

Я вам прямо заявляю. В начале войны у меня лично особого оптимизма на нашу боевую технику не было. Немцев по линии техники всегда серьезными считали, многоумелыми, многоопытными. Я вот с первого месяца в гаубичной служил, докладываю официально и категорически: наши орудия большую прочность показали, хорошую кучность, высокие баллистические качества, поворотливость, ходкость, что означает маневренность. А мы кто? Артиллеристы! Официально — бог войны...

Подобных разговоров было немало. Увеличение калибров танковой и противотанковой артиллерии, увеличение начальных скоростей снарядов и их бронепробиваемости больше чем в пять раз, усиление маневренности орудий созданием более легких образцов, умножение скорострельности применением полуавтоматических затворов, а затем переход к автоматическим пушкам крупных калибров — все это достигалось великим подвигом терпения, настойчивости, воли всего коллектива завода, напряжением безостановочного труда. И, как бы этот труд ни был пооперационно расчленен и поэтому однообразен, люди не утрачивали одержимости в таком труде, не тупели в нем, потому что не было дня, чтобы вдруг кто-то из рабочих не вносил неожиданно простое и поэтому дерзкое предложение, которое

отменяло один способ технологии и утверждало другой, более эффективный.

Никогда столь плодотворно и успешно не работал Ключков, как в годы войны. Но он знал, что никогда творческая работа конструктора не обретала столь всеобщего соучастия всего коллектива завода, как в годы войны. Каждая модернизация, вносимая в боевую систему, в сознании людей была и усиленной защитой воина, и дополнительной мощью его оружия. В людях неотрывно жило живое ощущение тех, кто воюет, кому они как бы из рук в руки передавали сделанное ими собственноручно оружие.

Однажды Ключков проходил мимо заводского общежития и увидел вывешенное на просушку после стирки белье. Его удивило, что с белья обильно капало, словно над ним шел дождь.

Заметив его взгляд, женщина, караулившая белье, сказала:

— На заводе силу свою не жалеешь — фронту служим, остаток — на постирушки. А вот чтобы отжать, выжать — тут уже силенок нет. Так и вывешиваем мокрое, может, и высохнет к ночной смене.

Внедрение новых методов резания металла, литье под высоким давлением, штамповка вместо механической обработки, применение прессов большой мощности вместо свободнойковки вызвали необходимость переучивать людей на новые специальности.

Люди приходили после работы на занятия за час, за два. Усаживались, клали руки на столы, склоняли головы на руки и спали до прихода преподавателя. Объясняли:

— Иначе не получается. А соснул малость — и голова свежая, и ты тут весь без опоздания...

15

На завод прибыл весьма ответственный работник аппарата Совмина с сопровождающими его лицами.

Глухов знал Бориса Павловича Минина с той поры, когда тот работал в совете по эвакуации.

Под руководством этого совета за какие-то два с лишним месяца из западных районов страны было эвакуировано население, равное по количеству населению крупного европейского государства. Тысячи демонтированных заводов, промышленных предприятий, электростанций, погру-

женные на железнодорожные платформы, переместились с запада на восток и, смонтированные в течение двух-трех недель, стали давать продукцию фронту.

Чтобы осуществить это небывалое в истории человечества массовое перемещение людей в столь кратчайшие сроки и перевезти колоссальные грузы, равные только по своему металлическому весу тяжести горного хребта, нужен был высокий организаторский подвиг.

Глухов помнил в те дни Бориса Павловича Минина, тощего, плоскогрудого, осипшего, с воспаленными глазами, в глубоко запавшей на животе запотевшей гимнастерке, окруженного целой батареей телефонов и толпой представителей разного рода ведомств. Он говорил ровным, одинаковым для всех, без оттенков и интонации, усталым и поэтому, казалось, равнодушным скрипучим голосом.

Но вся властность его заключалась в его ответах: четких, ясных, определенных. Достаточно было мгновения, чтобы он точно назвал даты, головоломные совокупности цифр, обозначающие сложные комплексные ситуации, которые он тут же разрешал. Или говорил:

— Сейчас вылету и проверю, почему эшелоны стоят. — И обращался к представителям ведомств: — Давайте ваши докладные, я в самолете с ними ознакомлюсь. И через два часа дам вам ответ. Ваш телефон запишите на папке.

Можно было предположить, что все нервные клетки его организма властно и деспотически подчинены им самим назначенной для них работе.

Это было и высшим самоотречением, и высшей сосредоточенностью, доступной, очевидно, ученым в период, когда они всецело поглощены работой, сулящей мировое открытие для блага всего человечества.

Но слагаемые его мышления состояли из весовых категорий, емкостей для горючего, разного рода графиков, из количества железнодорожных осей, паровозов, продуктов питания, твердого и жидкого топлива, машин, путей железнодорожных и шоссейных, питательных пунктов, заправочных, ремонтных, баз всевозможного снабжения, фуража для крупного рогатого скота, овец, корма для свиней. Он держал в памяти миллионы тонн промышленного сырья с десятком тысяч наименований, как и сотни названий машин для переработки. И все это, безмерно разрозненное на огромном пространстве, следовало выявлять, объединять в системы промышленных комплексов, чтобы без промедления, собранные воедино на новых

местах, они давали продукцию должного качества и в строго запланированном количестве.

Даже сейчас такой объем противоречивой информации был бы по силам только компьютерам с их электронным мозгом, чтобы овладеть властно и безошибочно всем этим движением людских масс, их потребностями и материком материальных средств, перемещающихся с максимальной и нервной скоростью с запада на восток, с боем через все препятствия, возникающие, как в половодье заторы, на множестве разного рода транспортных магистралей.

Борис Павлович Минин выглядел изнуренным, измученным, щеки и виски у него западали, лицо было серым, словно запыленным. Но в любое время дня и ночи ровным, равнодушным голосом он давал четкие и ясные ответы на всевозможные запросы, безошибочно сохраняя в своей мозговой памяти тысячи меняющихся обстоятельств, показателей, данных и разрешая такие задачи, которые в сфере математических наук можно было бы отнести к области астрономических исчислений, только без права оперировать понятиями, обозначающими неизвестность. И все это называлось оргработой.

Когда Глухов только еще принимал выгружаемое оборудование эвакуированного в Среднюю Азию завода, его вызвали на железнодорожный полустанок к телефону, и Минин попросил его назвать точную дату начала выпуска продукции.

Глухов сказал раздраженно:

— Но ведь даже не все эшелоны прибыли.

— Когда придут все, вы должны развернуть производство в полном объеме. А сейчас частично, по мере прибытия. — И Минин назвал те операции, которые может начать производить завод сейчас, немедленно, с наличным оборудованием, которое перечислил с такой точностью, будто сам только что принимал его вместе с Глуховым с железнодорожных платформ.

У Минина были блокноты, испещренные таинственными, как иероглифы, знаками. Получая сводки, он заносил в блокнот эти знаки. Достаточно ему было бросить беглый взгляд на страницу такого блокнота, как он излагал ситуацию, состоящую из множества слагаемых, и находил решение в коротких словах, почти подобных математической формуле.

Он вылетал на самолете и проводил выборочные проверки на местах, где положение складывалось критически.

Он никогда не упрекал руководителей в слабости, в том, что они не сразу находят выход из возникших трудностей.

Был терпелив, давая возможность самим найти решение, не навязывая своего мнения.

Но если сталкивался с обманом, спрашивал устало и уныло:

— У вас есть заместитель? Так вот! Сдайте ему сейчас же свои дела. Становитесь на учет в военкомат, с брони вы тоже сняты.

Он отвергал ходатайство за такого на любом уровне. Говорил твердо:

— Вот такое сочетание трусости с подлостью и есть разновидность предательства. Считаю: фронт — это еще большая честь для таких.

Он изъяс из своей жизни все, что существовало помимо его работы.

Однажды на рассвете он вошел к себе в рабочий кабинет, держа в одной руке тюбик пасты, в другой — зубную щетку, взял телефонную трубку, вызвал директора предприятия, спросил:

— Как у вас там дела со шлифовочной пастой? Вы должны были доложить три часа тому назад. — Пожаловался помощнику: — Устаю, память сдает. Не записал проверить производство технической пасты для шлифовальных станков, стал умываться, вспомнил.

Сутки его были расписаны по минутам. Перед сном он обычно составлял для себя рабочий график на следующий день по специальной таблице, им же сочиненной.

И вот Борис Павлович Минин прибыл на завод к Глухову.

Глухов с трудом узнал его, потучневшего, опухшего, с выпученными глазами, с тяжелой одышкой, с темными кругами в глазницах, с брюшком, с сигарой в зубах.

Он ошеломленно уставился на сигару.

Минин, заметив это, брезгливо вынул сигару изо рта, плюнул, сказал сердито:

— Лечебная. Астматиком стал, черт! Дыхания не хватает. Душит. — И вдруг заявил бодро: — Ну что ж, посмотрим ваше хозяйство. — Усмехнулся: — Из оружейников аграриями заделались. Ну-ну, поглядим, чего и как вы тут мастерите. — Предупредил строго: — Только без докладов. Сначала глазами, без словесности.

В горячих цехах, обливаясь потом, жадно глотая паля-

щий воздух, сняв пиджак и расстегнув ворот, развязав галстук, осведомлялся об огнеупорах, на ходу присоветовал новую для них рецептуру. Похвалил за ковши увеличенного объема. Присел на корточки, поскреб ногтем грязные наросты на полу, сказал огорченно:— Это же не пыль мусорная, а распыленный присадочный материал редких металлов.— Спросил:— Почему специальную тару не заведете? Высоколегированные стали варите, и такая неаккуратность. Немцы на подводных лодках редкие металлы к себе завозили, а мы роскошествуем. Муку бы небось не просыпали...

Но, когда сталевар назвал время и вес только что выданной плавки, Минин просиял, сказал ошеломленно:

— Это же рекорд!

Сталевар отозвался хмуро:

— А мы тут своими плавками не мировые рекорды били, а фашистов. По фронтовым сводкам свой труд подсчитывали, не до рекордов было.

— А теперь?— спросил Минин.

— А теперь по привычке,— ответил сталевар.— Наловчились, и все.

В механическом цехе Минин, остановившись у станков и прочитав таблицу с датой их изготовления, сказал почти-тельно и грустно:

— Музейные ценности... Как же умудрились на такой старине современное оружие производить?

— Какие там музейные!— обиделся мастер пролета.— Вы себе очки протрите или спросите сначала кого понимающего. Омоложены! Одни станины старые и марки на них тоже, а все остальное сами произвели, по последнему слову.— И стал объяснять все тонкости усовершенствований, произведенных при модернизации станков.

— Это что же, по плану реконструкции?

— Какой там план! План у нас один — давай продукцию! По потребности между сменами мастеровали, сверх урока. Для себя же старались.

— Силен у вас рабочий класс!

— Рабочий класс почти весь был на фронте. А здесь что? Женщины, подростки да мы, пожилые, до винтовки не допущенные, старались по мере сил и способностей за себя и за фронтовиков справиться.

Проходя мимо красного уголка, Минин заметил:

— Плакаты и лозунги у вас с военного времени висят. Новых почему нет?

— А зачем нам новые? Эти все в душу нацелены, на все времена правильные!

— Зубастый у вас народ,— сказал Минин Глухову.

— Это они из заводского патриотизма,— объяснил Глухов.— Видят — начальство! Ну и показывают свою независимость.

— От кого и от чего?

— По существу, они должны были бы жаловаться на новые трудности, ну и на меня тоже. Но не хотят.

— Почему?

— А как же? За войну такое невыносимое преодолели, и вдруг после войны жаловаться! Это все равно что свой подвиг за годы войны умалить.

— И всегда так?

— На совещаниях массированные удары получаю, еле на ногах удерживаюсь. Люди очень требовательными стали, атакуют со всех сторон.

— Ну и как?

— Трудно пока. Но, пожалуй, справлюсь.

— Откровенно?

— А зачем темнить? Я всегда за ясность.

— Я тоже,— сказал без улыбки, строго Минин.

К концу дня Минин совсем занемог, дышал с трудом, вдыхая вонючий дым лечебных сигар, дымясь им, глотая какие-то таблетки; он весь взмок от пота, побледнел, волосы слиплись, губы пересохли, потрескались, дышал полуоткрытым ртом.

— Вам плохо?— спросил, взволновавшись, Глухов.— Может, в медпункт?

— Сухо у вас здесь, зной, без увлажненного воздуха пропадаю,— просипел Минин.— Мне бы у водоема какого полежать, где-нибудь в сырости.

— Может, в градирне?— предложил Глухов.

— Вот именно!— обрадовался Минин.— Это же для меня исцеление.

Заплетаясь ногами, он плелся за Глуховым к виднеющейся дощатой башне градирни, дымящейся паром.

Они вошли внутрь, разделись, забрались на решетки, уселись в парном тумане. Сверху беспрерывно шел дождевой ливень теплой воды из остужаемого отработанного пара.

Минин, потирая грудь, сказал с блаженным выражением на лице:

— Хорошо! Для астматика первоклассная лечебница.

Как в раю! А то ведь совсем пропадал! Был случай: прямо у лужи прилег. Влажности в воздухе не хватало. Всю грудь словно клещами сдавило. Как висельник себя чувствовал. Полежал, очухался. Башка вот работает, а организм при ней сдает. — Предложил радушно: — Ну что ж, поговорим. Есть что сказать, только не очень деловое, а так вообще?

— Можно, — согласился Глухов, поплотнее усаживаясь на склизких решетках. Усмехнувшись, заявил: — Вот, например, самое древнее на планете искусство инструментальщика. Пятьсот тысяч лет назад то существо, которое впервые взялось за палку и камень, чтобы создать из них орудия труда, оружие для охоты, стало от этого человеком и положило начало профессии инструментальщика.

— Ну и что? — сладко жмурясь, спросил Минин.

— А то, — сказал Глухов. — Главные наши реконструкторы — кто? — И ответил тут же торжественно: — Инструментальщики! Не будь их, кто были бы мы? — Разъяснил озабоченно: — Основная масса технологической оснастки имеет необратимую конструкцию. — Он многозначительно вытянул перед лицом Минина указательный палец. — Значит, предназначена только для выпуска определенных изделий. — Осведомился вежливо: — А вам известно, что новые изделия — новые хлопоты? Значит, что? Значит, подавай тысячи наименований нового инструмента, приспособлений, оснастки, чтобы усовершенствования воплотить в металле. Выходит, каждого усовершенствования боевого оружия без нашего собственного самосовершенствования не могло быть. — Хлопнув ладонью по настилу, Глухов заявил: — Если для ясности — выражусь так! Дайте мне мой инструментальный цех, со всеми его лучшими людьми, необходимые заготовки, и мы все станки, агрегаты и все оборудование для целого завода собственноручно сделаем. Как вот в годы войны мы сами себе производили все и ничего у правительства не кланчили. А главные чудотворцы кто? Опять же инструментальщики! Им еще ко всему добровольная нагрузка — конструкторское бюро.

У завода план — закон. У конструкторского бюро закон — идеи. А идею разве спланируешь? Идея — это что? То, что должно быть, чего еще и нет. Пока конструкторская идея не материализована, от нее одни неприятности. Скажем, так: заводится, допустим, привидение на заводе. Бродит оно по цехам и своей фантазией людей будирует. На каждом производственном совещании стоит оно где-нибудь

в темном углу и слезно плачет, жалость вызывает. А лица у привидения еще нет. Не то оно распрекрасная юная девица, не то древняя старуха с седой бородой.

Вот и соображай: рабочее время привидение просит, материал просит, средства просит, всякие чудеса сулит. Дашь! А отдача? Может, все обернется металлоломом? А сверху!— Глухов поглядел на туманное облако, заполнявшее градирию, сказал, опасливо кивая:— Вот вроде этой тучки, только с громом и молнией в приказе на твою башку сверзнет — за перерасход, за необоснованный идеализм, за отрыв от практики.— Сощурился от падающих капель.— Конечно, без труда и рыбку не вытянешь из пруда. В биографии нашего завода имеются факты совершенствования боевой техники, равные вкладу в науку. Но каждый раз я лично, как после рукопашного боя, выскочу, отдышусь. И только тогда подсчитываю баланс из приказов: каких больше — с «указать», «поставить на вид» или со всякого рода благодарностями, премиями и наградами. Но,— Глухов сурово свел брови,— при всех подобных обстоятельствах я, как директор, принимал всегда огонь на себя.

— На то и руководитель, чтобы быть мишенью для критики,— заметил Минин.

— Вот Игнатий Степанович Клочков, главный конструктор,— для завода фирма! Мозговой центр!— продолжал Глухов.— Поэтому нервы я разрешал только мне трепать, а ему — отнюдь никому!— Сжал кулак.— Тут уж я без пощады... как к себе, так и к тем, кто Клочкова недооценит.— Сообщил доверительно:— Игнатий Степанович сам отличный станочник, и строгальщик, и фрезеровщик, и сверловщик, и шлифовщик, и зуборезчик, и карусельщик — все постиг! И на каждой специальности может получить хороший разряд! Это все равно что, допустим, великий композитор на любом инструменте оркестра сам виртуоз-солист. Клочков еще и слесарные, машиностроительные, металлургические специальности знает. Поэтому его конструкторские фантазии всегда прочно обоснованы на надежных способностях металла и на разных хитрых методах, что по металлу надо выполнить. Мастерам он не просто верит, а обожает их, восхищается ими с полным знанием всех тонкостей их дела, и у людей от этого крылья растут, поднимают над трудностями, открывают перспективу пространства для ясной видимости конечного результата поставленной задачи.

— Ну-ну, воздавай почести себе и другим,— поощрил Минин, блаженно потягиваясь.

— А сколько раз инструментальщики переналаживали, перевооружали завод — это на фронте только известно. Как новая или заново усовершенствованная боевая система, так инструментальщики без остановки производства, без снижения темпов, с ходу полным обеспечением технологической оснастки давали возможность переходить на новый вид продукции.

И Глухов произнес задумчиво:

— Хорошая работа — это не только знание приемов труда, но и способность всегда самоотреченно сосредоточиться, не рассеивать внимания, чего бы там ни было. Можно научиться приемам труда, но никогда не выучиться на хорошего мастера, если не овладеешь собственным самоуправлением — забывать все постороннее, кроме работы. — Заговорил с воодушевлением: — Нужно не только по чертежу понимать технологию обработки назначенной тебе детали, но и иметь глубокий интерес, обширное понимание, для чего она предназначена, что она значит в общем и целом, тогда ты — туз, личность! Не исполнитель, а творец. Нужно, чтобы каждый всегда знал конечную цель, назначение своего труда. Отсюда что? Как бы в годы войны ни стало тяжело, трудно, непосильного людям не было. От изнеможения у станков падали? Падали! Но почему? А потому, что даже какому-нибудь чемпиону спорта, специально натренированному, такая нагрузка была бы не под силу. Физическая механика нередко сдавала, а психическая механика работала, подменяла ее и вывозила, потому что каждый человек работал как воевал.

Спросил:

— Бурмистренко не знаете? Он теперь мастер пролета, а тогда был просто слесарь. Утром у верстака, вечером, смотрю, тоже. Ночью зашел в цех, вижу, стоит у верстака, не разгибается. Хотел спросить: почему так надрываешься? Подходит бригадир, не велит Бурмистренко беспокоить. Говорит: «Горе у него! На сына «похоронку» получил. Почти сутки в работе, чтобы только о работе думать и так устать, чтобы тут же на топчан — и в сон, без мыслей». Почти месяц так он из цеха не выходил. Бригадир полагал, что он нарочно обессмысливал себя от горя таким изнурительным трудом. А что вышло? Представил Бурмистренко Ключкову мерительный прибор для проверки точности нарезки в канале ствола. Это и кучности содействовало,

и прицельности, и начальной скорости. За сына, значит, создал. Усилил боевое действие оружия. Вот как по-рабочему отцовское свое чувство горя и ненависти к врагу высказал! И таких случаев немало было.

Потер шею, преодолевая спазм в горле, произнес сипло:

— Почему дисциплина была на высоте? Конечно, законы военного времени строгие. Но каждым высшее сознание командовало. Для фронта работаем! И каждый каждому об этом высшем мог полномочно напомнить, мог упрекнуть, потребовать. Самодисциплина крепкая была. А на чем ее фундамент? На ясном историческом прицеле — врага свалить.

Сказал яростно:

— Вот я кто для них? Генерал-майор, директор! У меня власть не меньше, чем у командарма. А был бы я умнее или глупее, лучше с людьми или хуже, они бы на это только шурились, извиняли все по обстоятельствам военного времени. Но вот если б дело страдало от недостатка моего ума или характера, тут они на любом совещании мне самосуд бы устроили. Растоптали б без милосердия. А ведь я во многом был виноват: и с жильем не управлялся, и с топливом, и с питанием, водопровод до жилого района не дотянул. На бане, на магазинах, на школьных помещениях выжуливал, чтобы только кадры куда разместить было. Что ни помещение, то общежитие, хотя вначале обещал под жизненно нужное. Врал по быту — прощали. Жизнь не облегчал — прощали. За что прощали? А вот за это самое, что дал им все возможности по производству оружия развернуться. Тут чего ни попросят, даже не попросят — намекнут, в лепешку разобьюсь, а добуду.

Улыбнулся жалобно:

— С базара местных чеканчиков, медников, жестянчиков, паяльчиков приводил — и в ученики. В госпитале канючил, кого вчистую из армии, если со специальностью подходящей, хоть инвалида, — к себе. Для инвалидов курсы специальные организовывал, даже медиков нанимал гимнастикой их восстанавливать. В инструментальном цеху нашлись таланты, которые протезы им механизировали, специальные державки для инструмента сочинили. Как на фронте раненные, если могли, в боевом строю оставались, так и в тылу они в строй трудовой становились.

Сказал мечтательно:

— А сколько я от бронированных сносил всяких выпадов! Требуют: разбронируй, хотим на фронт! Каким идеа-

лом люди жили? Пришибить войну, размозжить ей башку в Берлине. Ради этого идеала все их самопожертвование. Макушку счастья в этом видели. — Заявил сурово, требовательно: — А теперь надо с места в карьер налаживать, хоть и не полное счастье — до него еще труда надо много выложить, — но хотя бы достойную жизнь обустроить по силам и возможностям. Наш человек все прошел, все выдержал, на такую высоту истории поднялся недостижимую! Вот сама земля истощилась, ослабла, замучилась, ее поднять можно только чем? Машинами. Тогда только с нее получишь не подаяние, а полновесный урожай. Кто этого не понимает? Все понимают! Вот нам страна приказала: давай с ходу уже не оружие, а сельскохозяйственные орудия. Правильно? Правильно! Технологию производства перестроить не так уж трудно. А вот психологию людей!.. Можем мы с них сейчас требовать такого самоотреченного труда, как во время войны? Не можем! А есть охотники на «ура» трудности одолевать. Жить и работать все согласны, хоть натошак, но уже по мирному графику. Одно сознание у человека, когда он трудом Родину защищает, другое сознание, когда хозяйство надо налаживать. И тут идеал нужен, вершина, которую надлежит одолеть ради не только благополучия, но и ради того, для чего Октябрьскую революцию свершили, чтобы люди все поняли: эта победа в войне не только военная, а победа всего того, что составляет нашу сущность. И победа нам должна разгоном послужить для достижения того всеобщего, в чем наш высший идеал заключается. Значит, отсюда что? Отсюда следует: партии, коммунистам — всем работы не убавилось, а прибавилось. И как всегда и во всем, коммунисты должны двойную упряжку на себя взять. Жизнь людям наладить и на новый высший уровень производство вытянуть, и не за счет только энтузиазма и «ура», а умом одолеть трудности.

— А вы не горячитесь, вы поспокойнее, — посоветовал Минин и придвинулся ближе к Глухову.

— А в чем ум? — горячо продолжал Глухов. — Прямо скажу. Мирная продукция — это не подачка с основного производства. Сельская машина наша должна быть такая же качественная и совершенная, как и боевое оружие. И чем она совершеннее, тем малочисленней должен быть расчет для ее обслуживания. Так в войну мы совершенствовали боевую технику, такой и в мирное время должна быть наша линия.

Опустил голову, сказал, глядя на свои ноги:

— Сейчас я что на самом себе чувствую? На переходный период еще гоюсь, а дальше не соответствую. Почему? А вот моя слабина: у каждой машины своя душа, своя назначенность, к ней человек должен душой быть привязан и всей своей жизнью на нее себя нацеливать, чтоб все ее тонкости, как себя, понимать, чтобы ее, как себя самого, совершенствовать. А я оружейник. У меня к машине своя привязанность и свое понимание. И тут я себя переделать не могу. Как из танка трактора не получится, так же и из меня руководителя иного предприятия, с другими изделиями.

— Значит, что же, капитулируешь? — осведомился неприязненно Минин.

— Это, конечно, пока моя личная тайна, — угрюмо признался Глухов, — но придет время — наружу она вылезет. Придет время — про себя так публично выскажусь. Сейчас только озираюсь, кого вместо себя порекомендовать.

Произнес почтительно:

— Игнатий Степанович Клочков — он, по-моему, гений, но по сельским машинам фантазер! Не знает он труда сельского и агронауки не знает. По книжкам — возможно, но своей жизнью он мимо деревни шел. Сконструировал сеялку. Машина получилась без адреса, для неведомых почв, с неведомыми семенами. Не машина — агрегат сложнейшей механики. На нее только инженера сажать, и стоимость ее — авиационная. И узлы тоже. Не от жизни шел, не от реальной потребности и возможности. Срезался... Ум у него мощный. И сейчас подкинул много ценнейшего из того, что мы для производства оружия применяли. Но на сельские машины у него вдохновения высокого не получится. А вот кто землю знает, я бы таких к нему в конструкторское бюро потянул, они бы на землю его мысли поставили. Колхозных механизаторов, каких поспособней. — Вдохнул: — Только вот штаты... Значит, получу «на вид»... — Продолжил, снова воодушевляясь: — Клочков — человек, баснословно воодушевленный. Каюсь, конечно, я ему такие тормоза ставил на полном ходу его творческой мысли. Выдвинет идею нового оружия, горит ею — не подходи, обожжет так, весь ею пламенеет. Но если весь период от проекта до эталона подсчитать, получается по расчетам — года. А мы сегодня воюем! Ну сшибались с ним, самому вспомнить горько. Отговаривал — не надо! Он меня и вредителем, и саботажником, и консерватором, и карьеристом обзывал — как хотел. Хватался у меня же

в кабинете за ВЧ. На самый верх жаловался. Оттуда что? «Считайтесь с выдающимся конструктором». Директоров назначают и снимают, а у ученых высшая должность пожизненно — ученый... Остынет потом. И что-то из своей великолепной идеи оторвет заживо и пустит для совершенствования уже существующего образца с налаженным производством. Клянет себя за уступчивость. А фронт получает непрерывно усовершенствованные боевые установки серийно и вовремя. Переучиваться владеть ими не требуется, и они по всем показателям превосходят подобные установки противника. Значит, бой по технике мы выиграли. Вот какой ум у Ключкова дисциплинированный! Сам от своей технической мечты куски отрывал заживо. Но без этого нельзя, время, оно тоже слагаемое в сражении. Упустишь время — потеря невозполнима.

Поморгал от падающих на лицо капель, сказал грустно:

— А теперь что я должен, по совести доложить? Раньше за Игнатием Степановичем водилось: небрежничал со своими мыслями, набросает на клочках бумаги, где придется, и забудет. За ним такие бумажки специальный человек подбирал, после ему же их для размышления представлял. Но потом Игнатий Степанович сам стал за собой следить. Сейф потребовал, ключи к нему. И все наброски, мысли, записанные паскоро на бумаге, уже бережно в сейф складывал, впрок, на будущее. И скопилось у него такое весьма ценное, что в годы войны не могли до окончательного проекта и эталона мы довести в силу опережающей наши возможности его технической фантазии и научной мысли. — Усмехнулся хитро: — Я его после войны информацией снабжал, как за рубежом, на Западе, за океаном, новое оружие стряпают, вернее, о направлениях их стряпни, хотя это не стряпня, а весьма опасные затеи. Так он на все эти бюллетени фыркал. На сейф свой косился, говорил обидчиво: «Вот! Заживо сколько ценного ваша милость в этом склепе замуровала. Хватит с меня этой братской могилы технических идей. Буду теперь только сельский инвентарь конструировать, хотя снова душителей на этом пути немало. В вашем лице — тоже».

— Чего же он такой обидчивый? — спросил Минин. — Ему же Героя дали. И вы что же от меня хотите, Алексей Сидорович? Чтобы я вам высказал соболезнование или поддержал ваше беспочвенное соображение о переводе на другую работу?

Глухов наклонился, сказал почти шепотом, жалобно, просительно:

— А вот поддержите меня! В инструментальном цеху хочу участок выделить для завершения некоторых незавершенных конструкторских работ Игнатия Степановича Ключкова!

— Позвольте, но ведь эти работы связаны с боевыми установками!

— Именно!— воскликнул Глухов.— С новыми или, вернее, самоновейшими.

Минин напомнил строго:

— Приказ о переходе на производство мирной продукции — закон. Ваше производство перенастраивается в соответствии с этим приказом. И по этой части у меня к вам нет существенных замечаний и рекомендаций. Справитесь!— И Минин добавил из осторожности:— Более или менее.— Насторожился:— Если же у вас есть скрытые резервы, доложите — в направлении увеличения плана основной продукции. А так нельзя, голубчик, самодеятельностью заниматься.

— Без самодеятельности нет почвы для инициативы.

— Да вы что, батенька? Прошлым хотите жить?

— Почему прошлым? Будущим!

— Так ведь война кончилась.

— А вот чтобы она никогда не началась, ради будущего и тревожимся, чтобы было чем пресечь ее любые возможности.

— Но не заводу с сельскохозяйственным профилем производства!

— Профиль — это только одна сторона физиономии. А лицо у нас пока сконфуженно выглядит. Обещали армии дать новую установку. В свое время не дали, задолжали. Теперь должок отдадим согласно договоренности.

— Кого с кем?

— Завода с армией.

Глухов смущенно поерзал на мокрой решетке, сообщил:

— Из Министерства обороны согласие есть — подписи генерала армии Белогривова и генерал-полковника Лядова.— Произнес вызывающе:— Сами напомнили, что установка ими в принципе была одобрена еще в первом варианте. В боях за Берлин испытана в одном экземпляре. А теперь эта наша установка от той прежней отличается, как поршневой двигатель от реактивного, хотя все пока не

в металле, а в чертежах, в проекте. — Помялся. — Ну уж, если по-честному, частично запустил под свою ответственность.

— Вы что же, через голову своего министерства действуете?

— Через ведомственный барьер сиганул, верно. А на головы рассчитывал — поймут! — резко сказал Глухов.

— Вот что, Алексей Сидорович! — вспыхнул Минин. — Я тебе не ревизор. План тебе мирной продукции спустили — выполняй, как закон. — Вздохнул огорченно: — Эх, не захватили мыла и мочалки, а то бы заодно помылись бы. — Подмигнул: — А насчет вашей самоновейшей боевой установки я в своей архивной башке материал хранил. И с этими генералами у меня разговор был. Верно, хвалят! — Сказал оживленно: — Хочешь на шею сверхплановый хомут надеть, надевай. Но не вытянешь план, на себя пеняй. — Потянулся. — А я ведь, кстати, хотел этот заказик на оборонный завод перекантовать. Вместе с материалами, конструкторами и прочим.

— А у нас что, не оборонный?

— Был, да весь вышел, — улыбнулся Минин. — Надо бы и вывеску тебе переписать: «Завод сельскохозяйственного машиностроения». Для полной всем ясности, и тебе тоже. — Заметил осуждающе: — Хотя машины вы выпускаете по кондициям далеко не оборонным, сдает качество. — Спросил строго: — Рекламаций много?

— Много, — потупился Глухов.

— Ну вот, будет еще больше — снимем! Здоровье-то как?

— Как у бугая, — хмуро сказал Глухов.

— Сохранился, значит, а я вот надорвался маленько. Персональную астму завел для солидности. Совсем ни к чему. — Пошевелил скрюченными пальцами босых ног. — Член Советского правительства называюсь! А как Черчилль, сигарой дымлю, видал? А кто знает, что она лечебная? Посылали в санаторий, два дня пролодырничал, дальше не могу. Все спят нормально, а для меня ночь — самое спокойное время для работы. За годы войны мы все приучились по ночам работать. Организм не переубедишь. Домой придешь — нет веселья. Двух сынов в авиации потерял, и дочь-радистку фашисты казнили. Осиротели мы с женой. А у тебя что?

— Старший в кадрах остался. Дивизией командует. Младший Бауманское окончил, в научно-исследователь-

ский взяли, над какой-то засекреченной темой колдует. Даже отцу не говорит, родня, называется.

Помолчали, каждый думая о своем.

В парных сумерках, в шорохе падающих дождем капель, заточенные в деревянном остове башни градирни, пахнувшей теплой болотной сыростью, в банной наготе, они сидели на ослизлом мокром настиле, свесив в проемы решетки ноги, опираясь ладонями с растопыренными пальцами о скользкие доски, понуро опустив головы, отдыхая.

Потом Минин спросил:

— Алексей Сидорович! Чего это ты все-таки вздумал передо мной речь такую держать, будто я того не знаю, чего ты знаешь? В чем убедить хотел? Или какой особый смысл имел в резерве?

Глухов сказал равнодушно:

— Просто так, разговорился — и все. Для себя больше, пожалуй. Завод мне — жизнь. Вот о жизни, что ли, заговорил. Может, неправильно?

— А я таких не люблю, которые осторожно живут и думают осторожно, так же как и тех, которые хоть и фальшиво, но громче всех говорят, — сказал Минин, тряхнул головой, добавил: — И излишне начальствующиых тоже не чту. — Спросил живо: — Ты как считаешь, прибавила нам война ума или нет? Вот именно — прибавила. Но есть еще такие, которые на себя исторические приписки делают, на свою личность, а ведь ни к чему это. Сейчас, если начистоту, бой самый решающий. Восстановим все в кратчайшее время, — значит, проскочим через опасность новой войны, закрепим позиции социализма навечно. Я так считаю: микроб не становится опаснее оттого, что его в микроскоп увеличивают. Но знать опасность надо и изучать ее надо, чтобы предотвратить. А вот американцы, нынче заявляют, что их атомная бомба заставит весь мир слушать их советы.

На производство такой продукции ума у наших ученых хватит. Жалко, конечно, на такие изделия мозги и средства тратить, а приходится... Но вот обрати внимание. В Тихом океане остров Науру изобиловал щелочным гуано, фосфатами, и флот США разбомбардировал остров, чтобы лишить Японию удобрений, вызвать падение урожайности, голод. Значит, намек мой какой? Сельское хозяйство — это сейчас наш фронт, и механизация — оружие этого фронта. Значит, ты как был вооруженцем, так им и остаешься. Внял? Ну тогда пошли. Отдыхался вполне! А драконить вас,

товарищ директор, мы будем, когда весь материал соберем, изучим. Шадить не будем, самого заставим все исправлять.

Оглядел завистливо могучую мускулистую фигуру Глухова.

— Тем более сам доложил: здоровье как у бугая. Что касается критики, то от нее освобождаются только покойники и юбиляры. Таких льгот для нас с вами в ближайшее время не предвидится.

И Минин улыбнулся, хотя до этого лицо его было строго-озабоченно и казалось не способным к улыбке.

16

Если он и она, сидя рядом, долго и привычно молчат, значит, это супруги с большим, сложным, небесконфликтным семейным стажем. И он из тех, кто только 8 Марта вспоминает о своем официальном долге: в магазине подарков он покупает жене подарок в пределах раз навсегда определенной суммы, полагаясь на вкус и выбор продавца. Такие любезничают при посторонних и равнодушны наедине. Такие женятся не по любви, а от нелюбви одиночества, чтобы продолжать потом одиночество вдвоем.

Когда ищут переулочек, для этого, конечно, вовсе не обязательно ориентироваться по звездам, но знать, что по звездам можно сверять главное направление в жизни, следует.

Соня как-то сказала Петухову с деланным отчаянием:

— Вот, считают, что нервные люди чрезмерно разговорчивы. Я не нервная, но говорю с тобой так, словно думаю вслух обо всем, даже неинтересном и глупом.

Петухов улыбнулся.

— Благодарю за доверие!

Соня посмотрела на него испытующе:

— А вот ты боишься что-нибудь непродуманное мне сказать!

— Боюсь! — признался Петухов и объяснил: — Я даже утром стесняюсь заспанным, всклокоченным, небритым тебе показаться. Пойду на цыпочках умоюсь, побреюсь, зубы почищу и тогда...

— И будишь меня, всклокоченную, заспанную! — воскликнула Соня.

— Вот такая ты для меня самая лучшая, и я единственный, кто тебя такую знает, самую великолепную,

теплую, где-то между явью и сном пойманную. И первый, кого ты видишь, это я!

— Я часто думаю,— сказала застенчиво Соня,— просто так жить — это тоже счастье. — Спросила встревоженно: — Неправильно, да?

Петухов задумался, потом проговорил не очень уверенно:

— Я где-то читал: человек — принципиально новый вид животного. Значит, хоть и новый вид, но просто так, животное, существовать тоже, очевидно, приятно.

— А ты бы мог?

— Чего?

— Ну просто так существовать, как животное?

— Ну вот еще! — обиделся Петухов. — Столько миллионов лет из простейшего, одноклеточного в человека оформлялся и вдруг — обратно в шкуру.

— А если б я в шкуре лохматой, ты бы со мной как с животным обращался?

— Зачем? Брил бы всю через день, только и всего, — деловито, без улыбки произнес Петухов, — купил бы серной грязи, обмазал, от нее волос сам по себе облезает. Стала бы, как все, человеком.

— Спасибо, Гриша! — сказала Соня. — Ты у меня хороший, заботливый. А вот теперь скажи, мы с тобой — счастливые?

Петухов pokrхтел, почесал бровь, сказал робко:

— Если персонально, то да. А если вообще — не очень.

— Почему? Я плохая?

— Ты у меня лучшее произведение всех эпох, — улыбнулся Петухов, свел брови в одну линию, сморщив озабоченно переносицу, сказал задумчиво: — Мы вот на фронте уцелели, и тут нам все удобства жизни предоставили, уважают за войну. А прихожу в цех — чем больше о людях узнаю, тем сильнее за себя совестно.

— Ты же на трубогибочной по три нормы выдаешь, в заочный приняли, и Зубриков тебя хочет к себе в инструментальный, а там не кто-нибудь, лучшие мастера, рабочая интеллигенция.

— Вот именно! — обрадовался Петухов. — Ленин так лучшую часть рабочего класса величал — рабочей интеллигенцией, и не только по высоким разрядам это звание, а по культуре духа, что ли. А я не тяну, — признался он жалобно.

— Как это не тянешь? — обиделась Соня. — Ко всему ты еще старший лейтенант запаса, и орденов сколько.

— Так это за войну, — сказал Петухов. — А у них у всех здесь своя биография, особая. Вот Ольга Павловна Махоткина, сборщица, двое детей своих и третью девочку, эстонку, удочерила. Ее родители из Таллина на пароходе эвакуировались, пароход фашисты потопили, но девочку спасли, привезли в Ленинград, а там блокада началась. Махоткина для всех трех детей на равные доли свой паек делила, а все трое этих ребят медленно на ее глазах слабли, тощали, почти при смерти были, когда их сюда вывезли. Как прибыла она, ночью на земляных работах котлован под фундамент завода копала, а днем, при свете, за станок. Станки сразу под железнодорожный навес поставили и заготовки для авиационных пулеметов обрабатывали. От мужа ей сразу два известия в один день — с фронта письмо его и похоронка о нем. Она письмо мужа всем в цеху читала, очень патристическое, чтобы дух людям поднять, а про похоронку скрыла. И долго скрывала. И пенсию даже не ходила получать, чтобы люди не знали, что она вдова, и не стали ей чем-нибудь помогать, когда все и так в помощи нуждались.

— Так она что, такая святая, что ли?

— Не святая, а в партию здесь вступила и, как коммунистка, взяла на грузку — семьям фронтовиков помощь оказывать. А вышло бы, что она себе тоже помощь получала бы.

— Это только ты так думаешь! — презрительно скривила Соня губы.

— Не я, а она так думала, — сказал Петухов. — Я так считаю, что она так думала. Вот она специально по-эстонски ради приемной дочки говорить выучилась, чтобы совсем быть как родная мама, и по-местному тоже. Она женорг, а местные женщины на подсобные приходили, закутают лицо платками и через платки дышат, а работа трудная — строительная. Так она и к семьям их ходила, на их языке специально со стариками разъяснительные беседы вела, чтобы женщины лицо платками не кутали. И вообще на равных правах со всеми всем пользовалась.

Она еще красивая и зарабатывает неплохо. К ней многие сватались. Не хочет. «Разве, — говорит, — здесь кто-нибудь с моим Василием Егоровичем сравнится? Мелюзга». А я видел их семейную фотографию. Человек щуплый,

ей до плеча, да еще сапоги на высоком каблуке и усики как у Чаплина.

— А он кто был в мирное время?

— Стахановец, его портреты в газетах печатали, на фабрике «Скороход» лучший обтяжчик.

— Значит, знаменитый был! — сказала Соня. — А знаменитые люди славой своей красивы. Вот Пушкин, говорят, не очень был, а какие наикрасивейшие в него на всю жизнь влюблялись. И на фронте у нас генералов много, а самые знаменитые не они были, а те, кто героические подвиги свершал: Матросов, Зоя, Талалихин, Гастелло, — им и памятники.

— Как ты думаешь, — спросил Петухов, — есть у меня рабочий талант или нет?

— Чтоб про тебя в газетах писали — это хочешь? — ехидно осведомилась Соня. — Нет уж, нарочно мне такого не надо. Мне ты не знаменитый нужен, а во всем хороший. Вот когда я палец ушибла и ты целовать это место стал, а потом и глаза, и губы... У меня даже ноги ослабели от счастья, что так всю меня любишь. Вот это для меня главное, на всю жизнь главное...

Петухов потупился, расслабленно, смущенно улыбаясь, потом поднял глаза, сказал удрученно:

— Мы с тобой на фронте жить привыкли, и сейчас нам с тобой как рай. А вот меня к себе домой Павел Алексеевич Зубриков зазвал. Пришли, живет за занавеской в общежитии. Теща-старуха, жена, трое детей и брат-инвалид, однорукий, младший лейтенант, а теперь ночной сторож. Жена, теща, дети на койках спят, а они с братом на полу, между коек, на матрасе.

Стол один на всех. На нем еду на примусе готовят. И за этим столом он уроки учит по ночам — в техникум поступил. Худо живут, а почему-то не замечают, что худо. Он на гитаре мне играл, а брат его пел. Голос как у Козловского, красивый, за душу берет.

Я брата спрашиваю: «Почему в клубе не выступаете с таким голосом?» А он даже обиделся. «Что ж, — говорит, — если инвалид, так должен петь людям на жалость к себе? Аплодировать будут не за голос, а за то, что без руки, а пою. А мне это не надо». Оказывается, по ночам на дровяном складе, который он сторожит, одной рукой плотничать учится: табуретки, столы, полочки...

— Что же ты не поставишь вопрос, чтобы Зубрикову квартиру дали?

— Я ставил,— сказал Петухов.— Но завком отвел.

— А ты их заставь по партийной линии.

— Как же я заставлю, когда Зубриков сам и есть завком! Он и отвел мое заявление. Еще замечание при всех сделал. «Что же ты,— говорит,— не соображаешь? За что меня люди выбирали? Не за то, чтобы я самообеспечением занимался. А еще,— говорит,— парторг!»

— Значит, принципиальный!

— Он меня даже в подхалимаже за это заподозрил. Мол, захотел меня взять к себе в инструментальный, а я ему за это квартиру стал выхлопатывать.

— Это же обидно!— возмутилась Соня.

— Обидно?— сказал Петухов.— Ничего обидного тут нет. У кадровых, или, как Ленин их квалифицировал, у рабочей этой интеллигенции, своя особая тонкая этика, высокий обычай — свою рабочую репутацию всегда перед коллективом во всем в чистоте содержать. Ну я на это и накололся.

Зубриков на заводе знаменитый ударник, и к тому же еще он член парткома, горкома. Репутация у него высочайшая.

И это он вопрос поставил твердо: добиться такой взаимозаменяемости всех деталей для узлов сельхозмашин, как было достигнуто в производстве оружия. А заводу это не выгодно.

По ГОСТу такой точности обработки не полагается. И оплата стала ниже, и время обработки соответственно снижено, а нормы повысили.

Директор на совещании сначала на него голос повысил. Министерство нормы выработки, график технологический пооперационной обработки утвердило, а Зубриков против министерства выступает. Шлифовка, шабровка, доводка — это же дорогие операции, ну и у ОТК, значит, должны требования зависиться, а заработок снизиться.

Директор — к массе, говорит: «Вот, пожалуйста! Товарищ Зубриков выступает за то, чтобы вы меньше получали, а завод по валу застрял на невыполнении плана».

И начал на руке пальцы загигать.

«Оборудования нового нет.— Один палец загнул.— Часть эвакуированных уехала, рабочей силы не хватает.— Второй палец загнул.— Освоение новой продукции всегда связано со снижением темпа производства.— Третий палец загнул.— Материально-техническое снабжение отстает от нужд предприятия.— Четвертый палец загнул.— Дать ме-

ханизаторов на сев и уборку из своих кадров должны». — Пятый палец загнул.

Тут ему Махоткина из зала крикнула:

«Вы разуйтесь, а то пальцев на руках на все трудности не хватит!»

В зале смех, понятно.

Директор, он не дурак, схватился за этот смех, чтобы культурно и ловко отступить. Раз, говорит, вы так хорошо, весело, самоуверенно настроены, согласен под вашим давлением. Но давайте проголосуем. И зафиксируем результаты голосов.

Ну, все руки и вытянули.

А потом стали расходиться, словно опомнились, у каждого свои нужды, а он за снижение заработка проголосовал. Угрюмо разошлись, озабоченно.

Я думал, Зубриков просто так решил это мероприятие проверить. А он, оказалось, с группой мастеров давно уже в инструментальном электрифицированный инструмент стал создавать, и шабровку, и весь шлифовальный, новую рецептуру пасты придумали, чтобы на высоких скоростях шлифовать, ну и мерительный инструмент из ручного в полуавтоматы переделали. Значит, сначала техническую базу подвел, а только после выступил.

Я его спросил: что же вы сразу на собрании не сказали про новый инструмент? А он смеется. Мне, говорит, важно было руководству доказать, какой коллектив у нас сознательный, самоотверженный. Вот и доказал.

Конечно, говорит, если б не механизировали труд, выступать с таким предложением — чистая демагогия. Поддержать, возможно, и поддержали бы. Так оно и получилось. Но без механизации неправильно было б. Сейчас не война, чтобы люди через силу на себя лишнее брали и заработок на этом теряли. Поправляться людям после войны надо через облегчение труда, посредством механизации и увеличения от этого заработка для улучшения жизни. Во марксист!

Мы это на вечернем проходим на лекциях, а он на практике все это осуществляет.

Насупился и сказал удрученно:

— Это тебе не фронт. Что командир приказал — то все. Здесь каждый может по всему заводу в целом свое внести, а завод — это, по фронтовой мерке, дивизия.

Петухов не говорил Соне, как трудно ему давались первые уроки труда в инструментальном цехе.

Вот дали ему заготовку для первичной обдирки. А какая марка стали — не сказали.

Он к бригадире — жаловаться. А тот молча подставил заготовку под наждачный круг и по искре точно назвал марку стали. Потом на других заготовках из различных марок по фонтанчикам искр объяснил, как безошибочно определять состав и физические свойства стальных сплавов.

— Без рабочей памяти инструментальщика не бывает, — сказал бригадир. И добавил внушительно: — Все первые великие открытия в природе человек благодаря своему вниманию совершил. Глаз надо иметь цепкий. Подачу, скорость резания, мощность резания и по стружке, какая у тебя идет, можно точно определить. Хрупкие металлы дают стружку надлома, твердые, маловязкие — стружку скалывания. Если вязкий, — значит, сливная стружка. Доводка, притирка — это уже ювелирное занятие, окончательный туалет. — Произнес значительно: — Металл, он только с виду грубый. А обращения требует нежного, как все живое. Он ведь, как все живое, из молекул состоит, конечно, и из атомов тоже. Но мы только в пределах молекул о нем мыслим. Какая в нем молекулярная решетка, строение его, в соответствии и обработка. Тут тебе и физика, и химия, и геометрия, и математика, — все вместе заложено. Только соображай, глубоко осмысливай. Тогда с уважением будешь работать, с интересом. Умом понимай, а не только рукой.

Хотя руки — они что? Дополнительное орудие станка! Чего станок не может, твои руки — ему главное приспособление. Но если у тебя при них еще голова и ты руки правильно жалеешь, придумай какое-нибудь новое приспособление — рукам станет легче. И станку от приспособления умения и производительности прибавится. Тут полное взаимодействие и взаимозависимость. Ты и станок. Ты ему ума прибавишь, он тебе больше изделий даст и заработок повысит.

Умно — что значит? Экономно. И силы свои экономь, и материал, и рабочее время.

А те, кто угрюмо работает, без выдумки, те не мастера, а так, при станке служащие.

Теперь по две смены подряд нам вкалывать не приходится. Беречь время — значит глубокомысленно работать, с выдумкой.

А то как было?

Во время войны мы досрочно план перевыполнили. Ну, митинг... Оркестр наш выстроили. Стали играть музыку еле слышно, словно шепотом. В чем дело?

А в том, что после двух смен подряд наши рабочие, которые в оркестре, в цеху уже притомились, стали в трубы дуть, а дыхания не хватает.

Играют слабо, тихо, медленно, только глазами ворочают, публике объясняют: мол, своего пару не хватает, весь вышел на работе. Ничего, простили! Отдельно оркестру даже похлопали. Тоже из фронтовой бригады ребята. Каждый обязан был давать за двоих — за себя и за того, кто на фронте. А теперь что ж? Теперь полная выкладка, какая тогда была, не требуется. Мягкий спрос стал... Хотя все разорение после войны кому чинить? Нам. И чем скорее, тем шибче на новый уровень взойдем. Это тоже понимать надо. Тоже совесть требуется не меньше, чем в годы войны.

Петухов же давал норму на уровне выпускников ремесленных училищ. Поэтому он стал оставаться на сверхурочные, чтобы постичь высшую школу рабочего мастерства, дающую право равенства с кадровыми рабочими.

Зубриков часто останавливался рядом с рабочим верстаком Петухова. Стоял, курил, молча щурился. И только по мимике его Петухов угадывал, что получается, а что нет.

Замечаний Зубриков не любил делать, а вот отвлеченно рассуждать об искусстве труда мог с удовольствием.

— Станок что? — говорил Зубриков. — Его обожать надо. И он за это сам отблагодарит. Обхаживай его после работы, чтобы он весь сиял чистенький, осмотри сам, в чем он нуждается, где подтянуть надо, где ослабить затяжку, умыть маслицем, но в меру, без потеков. Пришел, вместо «здравствуйте» весь его заново осмотри, на холостом проверь, разложи инструмент, оправки. Приспособления, которые с левой руки, клади налево, которые с правой — направо. Но ничего лишнего не наваливай, подстилочку положи, чтобы обработанную заготовку о металл не помять, не царапнуть. Начинай исподволь. С разминки. Ночь переспал, отвычка от труда сказывается. Надо постепенно в режим, в темп входить, пока тебя не захватит такое: работаешь, а не чувствуешь, что работаешь, живешь сам по себе работой, и ничего другого в тебе нет, кроме интереса к рабо-

те. Это эффект такой, вроде воодушевления, — когда все как будто само по себе идет и захватывает так, как все равно азарт, что ли. Но это дается привычкой, навыком, а главное — душой: работа тебе нравится, живешь ею и жизнь детали даешь, которая в машину обратится и свое ведущее место в ней обретет. И ты словно эту машину видишь в деле, как мы во время войны оружие, которое делали, всегда чувствовали, будто сами с ним в бой ходили. Но не целиком ты его делаешь, а только частицу, а по ней все представление о полном ее назначении у тебя в сознании живет. Вот это и есть главный интерес рабочего труда, его высокая назначенность. Тогда ты и сам тянешься и во всем тоже по достоинству дела и свое достоинство рабочего блюдешь.

Хороший мастер, он физически себя бережет. Чтобы сквозняк не прохватил — не захворать зря. И спать лечь надо вовремя, чтобы с хорошим самочувствием на работу встать, и дома нервы зря не тратить ни себе, ни людям. На работе нужны. Поэтому хороший мастер, он человек положительный во всем — согласно цели своей жизни себя соблюдает.

Это брехня, что есть золотые руки у тех, кто пьющих, мол, талант — ну и позволяет он себе лишнее. А на сколько его хватит, пьющего? Если после похмелья руки дрожат, разве малую вибрацию резца почует? Нет. Значит, куда его? В подсобники. Вот те и золотые руки!

У нас прокатчики на крупносортом станке на десять минут к валкам становятся, а потом столько же передых. Труд тяжелый. Слиток — десятки тонн, а они их ворочают. А кто нам кубки в завод по спорту приносит по тяжелой атлетике? Они. Передохнут после смены — и на спортплощадку штанги поднимать, гири толкать. Думаешь, они только спортсмены-любители, из-за медалей стараются? Нет! Для работы им такое, прямо совпадает с их профессией. У кого переходящее Красное знамя навечно? В прокатном цеху! — Сказал обидчиво: — Если б у нас настоящая физкультура была, то я бы ее как развернул? С уклоном на все рабочие профессии. А то, кроме футбола, ничего в чести нет. Пинают ногами мяч, бегают, толкаются. А в какой цех таких брать, неизвестно. Хотя я сам болельщик. Но только из заводского патриотизма, а не для рабочей пользы.

Вздыхнул:

— Вообще, если по-честному сказать: процесс соскребаания материала с вращающейся заготовки был освоен еще

в начале первого тысячелетия до нашей эры. И сколько металла в стружку спустили! Сложить вместе — таких гор и в природе нет. Нерасчетливое расточительство! Надо чего другое придумать по науке. Я бы лично такому ученому за это предложил самый высокий памятник на земле поставить — заслуженно! Так ведь нет, канителиятся. И основательно, окончательно против стружки ничего пока нет. Обидно!

Григорий Петухов неотвязно сохранил с фронта армейские лексикон и выpravку.

— Разрешите обратиться? — спрашивал он, прежде чем начать разговор в цехе, на заводе, всюду, машинально опуская руки по швам и вздергивая подбородком.

— Вас понял! — говорил он и сводил пятки вместе, носки врозь после бесед на самые различные темы. Если полностью соглашался, произносил бравым тоном: — Так точно!

По телефону обращался не иначе как:

— Докладывает Петухов!

Здоровался:

— Здравия желаю! — И рука сама тянулась к виску с вытянутой лодочкой ладонью.

Выступая на собраниях, говорил рублеными фразами, с суровым, решительным выражением лица. Закончив, произносил:

— Все!

И однажды даже сорвалось:

— Можете быть свободны!

А в другой раз, когда его покритиковали, сказал:

— Виноват! Разрешите исполнять?

Впрочем, среди демобилизованных в этом он не был исключением.

Не все бывшие фронтовики легко и быстро приспособились к мирной жизни и не все на соответствующем уровне овладевали новыми профессиями.

Петухов прочно сохранял в своем сердце слова Конюхова о том, что высший долг армейских коммунистов — воспитать у всех людей армии наилучшие черты достоинства народа-победителя, побеждать не только на фронте, но и все трудности в жизни, где бы они ни были.

Партком не давал Петухову поручения вести отдельную работу с бывшими фронтовиками. Но получилось так, что в обеденный перерыв на перекуре в заводском дворе, там, где под навесом были сложены слитки для прокатного цеха, бывшие фронтовики собирались в кучу. И здесь обычно главенствовали не те, кто на заводе занимал руководящее положение: бригадиры, мастера, начальники пролетов, а те, кто имел на фронте повыше других военное звание.

И их слушали почтительно, не столько потому, что говорили они о чем-то интересном, значительном, а главным образом из уважения к старшему по армейскому званию. А возвращаясь в цех, они становились уже на то место, которое в соответствии с профессией, с должностью им теперь было положено. И младший по бывшему военному званию руководил старшим по званию так, как будто и не было этого перекура фронтовиков, на котором как бы восстанавливались права на власть в зависимости от бывших военных званий.

И военные заслуги соизмерялись только с трудовыми подвигами, с профессиональной сноровкой, новообретенным опытом труда. И отсюда уже складывалась устойчивая долговременная репутация человека, способного прочно состыковать свое минувшее с нынешним и грядущим в единое, неразрывное целое, выросшее в нечто качественно новое в самом человеке.

Слушая рассказы своих приятелей-фронтовиков о боевых эпизодах, Григорий Петухов вспоминал, как Конюхов, Лебедев и Пугачев рассуждали в землянке о том, с какой охотой и гордым восторгом воины предаются воспоминаниям об отчаянных боях и сражениях времен сорок первого года, благоговей перед теми, кто шел, не моргая, на смерть, бросаясь на танки с бутылками с КС и связками гранат.

Но почему-то, когда армия получила в изобилии новую совершенную технику, и способы ведения боя усложнились, и взаимодействие всех родов войск стало решающим в такой же мере, как и культура военных знаний, говорить о новом этапе войны на отдыхе было не принято. Отдыхая, считалось, следует рассуждать только о внеслужебном, вроде как для души.

Но эта самая «душа» должна жить не только вчерашним, а сегодняшним и даже завтрашним. Почему о деловом, главном, сегодня жизненно решающем говорить только на совещаниях, на учебных сборах или изучая

и прорабатывая инструкции о совершенстве воинского мастерства в новых условиях военных действий?

Конечно, как на фронте, так и здесь было много людей, подобных, скажем, Зубрикову, для которых их профессия, труд составляют истинное, главное и полное содержание жизни и главная тревога и страсть которых заключаются в том, чтобы ускоренно воплотилось в жизнь то, чего еще нет, но что должно быть, как движение к цели, в столь же высокой мере превосходящей сегодняшнее, как сегодняшнее превосходит вчерашнее.

Только оглядываться на победу в войне и единственной ее мерой соизмерять себя, и других, и всех, — значит, что же? Превращать ее лишь в памятник величия, подвига, для которого достойный постамент вся наша планета. А она, эта победа, должна вечно жить в людях и, как вечно живая, все возрастающая сила, толкать их, взывать к ним, помогать в приближении будущего и именно этим возвышать свое бессмертно живое величие, поднимающее людей на новые, еще небывалые свершения, на такие же, как она, эта победа, всемирно-исторические во всем.

Так примерно думал Петухов, беспокоясь, ища способа, как выразить свои мысли, или, точнее, стремясь, чтобы они вошли в те дела, которым были преданы сейчас люди завода.

19

В освобожденных от фашистов районах земля была не только искалеченной, одичавшей, истощенной, опустошенной. Она обросла буреломом, кустарником, была изрыта оползшими окопами. Дождями и ливнями вымыло из нее то, что вкладывали в нее для ее плодородия. Павшая, мертвая, она лежала, словно сраженная насмерть. Люди, приходя на пожарища, вселялись в землянки, строили шалаши, покрывая их дерном, и, первобытно впрягаясь в плуги, старались оживить землю. В деревенских кузнях ковали серпы, лемеха, косы, лопаты, потому что землю готовили к посеву лопатами. К лопатам с короткими черенками привязывали веревки и волокли их по борозде, словно малые лемеха. Из обгоревшего кровельного железа клепали ведра, чайники. И люди безропотны были к этой беде, их постигшей, испытывая одно всеобщее: на этой земле враг нашел себе погибель, — и ради этого свои стра-

дания умаляли, терпели во имя победы, во имя того, что им дано главное: вернуть обратно ту жизнь, которой они жили и без которой не мыслили жить.

Им помогала вся страна и завод, на котором работал Петухов, самым для них сейчас жизненно важным — сельскими машинами, ибо только машинами можно было ускорить возвращение и восстановление той прежней жизни, ради которой они не щадили своей собственной.

Но директор завода говорил правду. Завод не справлялся с заданием, не хватало рабочих рук, особенно квалифицированных, часть станочного парка простаивала.

Петухов по себе понимал, как трудно в скорое время полностью овладеть мастерством станочника, да и любой квалифицированной рабочей профессией, в той мере, в какой это было положено для получения квалификационного разряда. И хотя, как и в годы войны, кадровые опытные рабочие не уходили с завода, не отработав полторы-две смены и не выполнив трех и даже четырех сменных заданий, план не выполнялся.

И Петухов как-то спросил Зубрикова:

— Как вы думаете, если человека с улицы привести, за станок поставить и за неделю одной только операции, самой простейшей, обучить, сможет он или нет?

Зубриков задумался, сказал презрительно:

— Надрессировать и шимпанзе можно...

— Я серьезно!

— На одну, самую простейшую, мозгов и ловкости много не требуется.

Петухов оживился и сказал осмелев:

— У нас каждый квалифицированный всю комплексную обработку заготовки проводит — сдает готовое изделие.

— На то и квалификация, высокий разряд, всеумелость.

— А если расчленить пооперационно: простые одним отдать, а только самые сложные — квалифицированным, на окончательную отделку?

— Канитель, суету предлагаешь! — сердито сказал Зубриков. — Это что же получится? Таскать с одного станка на другой? Подсобников не оберешься.

— Транспортеры пустить! Я вот за три дня обдирку черновую наловчился, а бороздки протачивать, канавки — за восемь дней, зенковал уже через две недели.

— А после тебя кто доводил? Я. Тоже мне токарь-

пекарь, нашел чем хвастать! Не запарывал детали — и на том спасибо.

И Зубриков уже хотел было отойти от Петухова, но вдруг недоверчивое выражение его лица сменилось на другое, любопытное.

— Да ты к чему это все гнешь?

Пристально поглядел в глаза Петухову, словно пытаюсь в них нечто отгадать, присел у станка на табуретку, закурил, оглядел цех, уставился на пустующие станки. Помедлив, объявил:

— А что, дело! Для худого положения правильный выход. Смело на одну операцию ставить, ей только обучить. Кто надежды подаст, сам на дальнейшее выучится, а всех наилучших только на сложную окончательную поставить. Выход правильный. Схему транспортировки продумать. Систему расчета пооперационной оплаты, а не за изделие. Ну и самое серьезное — с технологами обсудить, какие операции простейшие и до какого предела их доводить, чтобы не запарывали, а так верно. Мастер, а ему поковку или литье в заготовке дадут, он ее с самого начала до конца самолично до изделия доводит. Высшей человек квалификации, а пока он до тонкой работы доберется, на низше-разрядной свое дорогое время расходует.

Спросил:

— Так как, на партком или рванем прямо к директору все вместе для массированного нажима? Хотя он мужик вообще-то смелый, начальствовать любит, но зато от прочего начальства страховку себе не спрашивает.

Спросил уже дружелюбно:

— Откуда это у тебя в башке такая идея завелась?

— С фронта, — сказал Петухов. — Приходят пополненьцы и только винтовку знают. А мне сегодня же пулеметчики нужны, станковые, ручные, минометчики, снайперы. Ну я что делал? Наскоро обучу, что к чему, и к ним вторыми номерами ставлю самых опытных, квалифицированных мастеров. Если в бою пополненец не справляется, его опытный боец сменяет. Справляется, — значит, стоит обучать дальше. Оставляю на обучение вторым номером. Тем, кто просто стрелки, говорил: вы мне за бой хоть два патрона, но только обязательно строго прицельно, остальные, как душа позволит, расходуйте.

— А почему не все патроны прицельно? — спросил Зубриков.

— Чтобы прицельно с ближней дистанции, надо сначала

ла такую выдержку в себе воспитать, которая только после многих боев приходит.

— А по уставу так вам разрешается?

— По уставу — нет, — ответил Петухов. — Но по правде боевой жизни, если каждый боец по одному патрону с попаданием израсходует, считай — твой бой.

— Значит, из боевой жизни такое предложил?

— Не только, — сказал Петухов. — Я же вам говорил: черновой обдирке через три дня уже наловчился, а посмотрел через плечо на вас, вы тоже черновой заняты. Зачем, думаю, высокий мастер время на такое тратит?

— А что я в конечном счете произвел, ты это видел?

— Ну, до такой работы мне годы нужны и еще кое-что к ним, в смысле дара.

— Ну, это ты загнул! — довольный, конфузясь, сказал Зубриков. — Я сложные конфигурации одолевать любитель, все равно как в шахматки сыграть с перворазрядником и заматовать публично...

20

Когда они оставались вдвоем, Соня подмечала на лице Петухова восхищенное, открыто жадное выражение, он смотрел на нее начинающими блеснуть глазами, и тогда она говорила с упреком, отодвигаясь и защищаясь локтем:

— Ты знаешь, Гриша, я тебе никогда не возражаю, но разве только в этом у нас с тобой самое главное?..

Петухов покорно, уныло садился на табуретку, неловко курил, спрашивая подавленно, глупо усмехаясь:

— А что?

— Но ведь я тебя полюбила на фронте не просто так, а за то, что ты не как все, а в чем-то мне особенным казался.

— А теперь не кажусь? — горестно осведомился Петухов. — И геройства нет, и по званию уже рядовой — рабочий.

— Почему рядовой? — возразила Соня. — Рядовой — это тот, кто ничего не старается достигнуть.

— Разряд-то у меня, как у выпускника из ремесленного, пока не выше, — напомнил безраздочно Петухов.

— Разрядом квалификацию определяют, а не человека меряют, — сказала Соня. — Я тебе не говорила, а все понимала. В мартеновском ты бы уже сейчас в сталевара выправился, а это, если на фронтовую мерку, командир

огневого расчета дальнобойного орудия большого калибра — РГК, не меньше, а вот приказали на раскладушки, пошел, все равно как с передовой в хоззвод.

— Не приказали, а по партийной линии попросили,— пояснил Петухов.

— Я помню, как ты меня стесняться стал после этого,— вздохнула Соня.— С мартеновского приходил весь потный, подпаленный, лицо от огня шелушится, глаза воспаленные, губы сухие трясутся, а сразу неумытым лез целоваться, хвастался, что до самостоятельного выпуска на шлаковую канву допустили, будто чего-то особенного достиг. «Сталевар,— говорил,— это бог всему. Сколько металла стране дает, столько она и весит». И как после боя, увидев меня, радостно хвастал, так и тут. Я только просила: «Гриша, у тебя труд тяжелый, тебе вредно, не отдохнув после работы».

Петухов сконфуженно улыбнулся, сказал тихо, застенчиво:

— Я ведь у печи тоже все время про тебя думал. Осел как-то свод. Чуть печь остудили, полез с печником ремонт на ходу делать, брови спалил, руки в волдырях. Хотели отмечать нас с печником после смены, люди собрались, а я ушел. Говорили потом — из скромности ушел. А я ведь почему? Побежал скорее к тебе, чтобы перед тобой похвастать. Ты мне важнее, чем все.

— Я тогда так и поняла,— зарделась Соня.— Поэтому занавески задернула и на тебе вся сразу повисла.— Произнесла задумчиво:— Вот когда такое — может, это и есть высшая любовь, если она от радости и радость дать хочется.

— А теперь что же получается?— взволнованно сказал Петухов.— Поставили на раскладушки, на ширпотреб. Кадры малоопытные, вроде пополненцев, зашиваемся. Как только орс откроют с промтоваром, хватают авоськи и туда очередь занимать. Я прихожу уговаривать. А они мне: «Ты чего от нас хочешь? Ширпотреб даем, а сами чтобы без него обходились? Нет уж!» А до меня, говорят, ничего подобного никогда не было. Сознательно себя вели. Пока смену не кончат, даже за продуктовым пайком не становились, хотя все натошак жили.

— Так тебе что больше обидно, что при тебе дисциплина упала и тебя не слушают, или то, что у людей такая нужда в ширпотребе — войны нет, и им больше невтерпеж себе во всем отказывать?

— Так они сами обязаны ширпотреб людям давать, а не в орс за ним кидаться, работу бросать.

— А они что — не люди? Значит, такая потребность у всех и всюду. Такое может везде случиться.

И Соня сказала, потупив глаза:

— Конечно, Гриша, может, и я должна была тебя пожалеть, приласкать, посочувствовать. Но не могла себя пересилить. Видела, ты угрюмый, злой, не в себе. Но почему? Хотела понять и не понимала. Приходишь и, не как всегда, о людях уважительно, а с насмешкой, с издевкой: хватают, что ни дают, без примерки, без выбора. Жадность только видел.

А как тут к ленинградцам блокадным деликатно, с чувством относились! Забыл, что нам рассказывали? В столовой все поедят, а рабочие-ленинградцы, которые до полусмерти голодали в блокаду, потихоньку недоедки со столов собирают, и в клеенчатые авоськи себе складывают, и потом под станками их прячут, и помаленьку достают из авосек и едят во время работы, хотя уже сытые, а все не наедаются. И в общежитии у них мухи и тараканы развелись. Стали выяснять, в чем дело? У каждого продукты припрятаны. Так разве кто-нибудь посмел это заметить? Учредили только в их общежитии специальный буфет. В других общежитиях буфетов нет, только для ленинградцев. И все обошлось постепенно, хотя некоторые и в буфет не верили, все равно продукты под койкой в чемодане держали, и всю одежду, какую можно, на базаре на продукты обменивали. Когда люди голодную смерть преодолели и, отощавшие, слабые, работали как все: один — за двоих, за троих, и даже злее, чем другие, — у них жадность на еду — это только как после смертельной болезни слабость, не сразу проходила.

— Так то еда, а не вещи, — хмуро сказал Петухов.

— А вещи что? — гневно спросила Соня. — Они же для нормальной жизни требуются. За войну столько вещей люди лишились, обносились, разорились, из чашек склеенных чай пьют, бутылки на стаканы резали, ложки сами делали, детям с себя все перешивали. А ты на обувь глядел? Женщины — в мужской, да и в одежде тоже мужской, мужчины из старой резины подошвы вырезают, а сколько на деревянных ходят! И на все про все — ватник. Фронтовики в гражданское переодеться не могут. Дома и на работе в одной и той же спецовке. А с бельем! Пока после стирки не высохнет, сидят, выйти наружу нельзя. Вот и хватают

в орсе промтовар без разбору не от жадности, а оттого, что отвыкли выбирать. И потом, когда все будет, ты что думаешь — сразу это пройдет? Тоже, как после болезни, не сразу отучатся бояться, что им не хватит... А ты по себе все свел. — Сказала, словно передразнивая Петухова: — Савторитетом парторга не считаются! Несознательные! Баракхольщики! — Произнесла мягко: — Нельзя так... Вот ты мне за это и не нравился. Раз людей не понял, значит, мог и меня разучиться знать.

— Так ты только от этого? — жалобно и радостно спросил Петухов. — А я думал, будто ты к Ключкову что-то стала испытывать.

— Не будто, а верно, испытываю, не любовь, конечно, а так, вроде благоговения, что ли, — тихо проговорила Соня. — Он знаешь, как правильно директору сказал: хороший руководитель должен не возвышать одного за счет унижения другого, а уметь каждому внушать веру в его возможности. Что, здорово?.. А нам он заметил: только в начале прошлого века часы снабдили секундной стрелкой. Так люди не ценили время. А время — это движение. И сейчас тысячная доля секунды для инженера-экспериментатора величина значительная. И заявил, что полностью согласен с Марксом в том, что всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени. И высшая производительность труда, основанная на совершенной технике, благодаря своей эффективной экономичности освободит людям максимально время для их гармонического совершенствования. Значит, талантливый инженер-конструктор — он тоже политический деятель, потому что делает то, к чему в конечном итоге сводятся цели, он сказал, таких великих ученых, как Ленин.

— Ленин не просто ученый, а вождь, — поправил Петухов. — Ученых до черта, а вождь — один на всех! Рассуждает как беспартийный, только и всего.

— Беспартийный! — рассердилась Соня. — Вот мы все ходили мимо бассейна, из которого завод технической водой снабжается, и все пугались, что его не хватит в летний период, очень сильно вода в нем испаряется. А Игнатий Степанович ходил возле бассейна, думал и предложил покрыть поверхность водоема жировой химической пленкой, чтобы пресечь испарение воды. Что, по-партийному это или как?

— Влюбилась, — мрачно заключил Петухов и посове-

товал: — Ты на себя в зеркало посмотри: глаза, как фонари, и вся сияешь при одном упоминании фамилии...

— Глупо, Гриша, и больше ничего, — обиделась Соня, потупилась. — И вообще. Вот я по поручению комсомола стала его уговаривать, чтобы он посмотрел проект вращающейся сцены в клубе, чтобы как в настоящем театре было. Он меня слушал-слушал, потом сказал обидчиво: «Я вот позвоню в милицию и скажу, что вы украли у меня сейчас большую ценность, пусть вас за это посадят. Время мое украли, вот что!» Ну, я повернулась и ушла.

— И наверное, специально для этого то платье надевала, которое на тебе такое узкое, тугое, что ты в нем выглядела, словно из воды вышла, вся им облепленная, и еще просвечиваешь, — угрюмо сказал Петухов. Заметил злорадно: — А он, выходит, тебя в этом платье не заметил, не заметил, что ты в нем все равно как без всего. Врезалась оттого, что считаешь — он гений.

— Дурак ты, Гриша, — сокрушенно заявила Соня. — Игнатий Степанович сразу всех предупреждает заранее: «Я вам не гений! Чтобы сразу хоп-шлеп! А трудяга, работой достигаю, трудом. У меня вот мозоли между пальцев от ручки. Переписываешь, перечеркиваешь по тысяче раз и лишь на тысяча первом набредешь на то, с чего следовало начинать работу, и делаешь ее опять так же заново, чтобы снова на тысяча первом варианте открыть, что, может быть, это не лучший вариант».

— Наизусть все его изречения помнишь, как раньше стихи запоминала, — сказал Петухов, криво усмехаясь. — А вот я помню, он при всех ляпнул: «Для человека будущего одно будет непостижимо — глупость нынешнего человечества, самоуничтожающего себя войнами». А сам он кто? Оружейный конструктор!

— Так, чтоб этого будущего достичь, нам надо еще сколько от империалистов отбиваться! Не мы же войны затеваем, а они, фашисты, — ехидно улыбаясь, парировала Соня.

— Значит, я тебе теперь, после Ключкова, лилипутом кажусь, — грустно констатировал Петухов.

Соня, загадочно улыбаясь, сообщила:

— Игнатий Степанович говорил: «Юпитер такой здоровенный, что из него можно было бы изготовить тысячу триста шаров, каждый из которых по объему равен Земле». Ну и что? Земля против него маленькая, но она самая лучшая, потому что — родная. Такой и ты мне.

— Ну уж! — недоверчиво произнес Петухов. — Будто я тебе теперь поверю. — И с надеждой посмотрел в глаза Соне.

— Так я тебе начистоту! — воскликнула Соня. Прижалась к нему. — Действительно, когда Ключков к себе вызовет, я сначала к зеркалу кинусь, а потом к нему в кабинет. И что? Он на меня внимательно посмотрел как-то и сказал: «У вас, очевидно, от правильного пищеварения цвет лица такой свежий? Почти как у моей супруги, но она вегетарианка». Сравнил со старухой! Ты подумай, а!

— Когда человек сильно любит, — сказал Петухов, — для него все женщины принципиально хуже, чем они есть на самом деле.

— А ты таким будешь, когда я старой стану, принципиальным?

— Ты для меня на всю жизнь всегда как новенькая, — вздохнул Петухов. — И если меня не задирать, голос твой мне кажется даже каким-то сверкающим, словно вижу голос, а не только слышу.

— Гриша! — шепотом произнесла Соня. — Закрой глаза, я за это сама тебя сейчас поцелую.

— Нет уж, — сказал Петухов упрямо. — Ни подаяний, ни взятки не беру.

— А авансы?

— Тоже!

— Но ты, Гриша, учти, — хитро улыбаясь, сказала Соня. — Когда на женщину вот так, как ты сейчас, сердятся, ей только от этого приятнее делается. Значит, любят! Такой мы делаем вывод.

— Так то женщины!

— А я тебе кто?

— Ну, конечно, — проямлил Петухов. — Но только ты для меня какой была, такая и есть, и чем в тебе бабского меньше, тем лучше.

— Но без обмундирования я поженственной стала.

— Ладно там, — сказал Петухов и попросил жалостливо: — Но ты это платье в обтяжку только дома при мне носи, а больше нигде. — Добавил умоляюще: — Ну пожалуйста, а?

— Все-таки ты хочешь быть хозяином жены, — улыбнулась Соня. — Деспотом!

— Ну и что! — сказал Петухов безнадежным тоном. — Хочу!

Почему-то на фронте, где столько мужчин и так мало женщин, Петухов меньше тревожился о Соне, чем теперь, когда женщин на заводе, пожалуй, было больше, чем мужчин. Но тогда на фронте он был фигурой — командир роты. Столько людей под его началом! И даже в дивизии ценили, знали. И он все твердо знал, что ему положено знать как командиру роты, и был всегда самоуверен, если матчасть в порядке, позиции инженерно оборудованы, за противником ведется четкое наблюдение, бойцы сыты, боезапас обеспечен, нарушений никаких нет. И даже перед боем боевым приказом предусмотрено, как действовать, какая задача и какими средствами ее решать. И дисциплина — согласно уставу. Приказал — должно быть выполнено!

А вот, к примеру, Золотухин. Работает он всегда со скорбным выражением, озабоченно поджав губу, — взгляд напряженный, как у снайпера. Дают ему на вечерний сеанс билет от завкома. А он отказывается, говорит брюзгливо: «Неприятностей у меня на работе и дома хватает, зачем же я на них еще буду в кино смотреть?» Обработает деталь, мерным инструментом ее проверит, а потом еще долго ощупывает ее внимательными, худыми, проворными пальцами, словно жаль с ней расставаться. И смотрит на нее умильно, и все поглаживает, словно кожей своей ладони дошлифовывает. Махорку он держит всегда в бутылке, чтобы не сырела. Просится всегда в ночную смену, говорит строго: «Ночью работается лучше, беспокойства мыслей по текущим личным жизненным делам нет». Отказывается надевать защитные очки, сердится: «У меня стружка не брызжет, стекает. Это у кого резец, как долото, так тем и проволочный намордник не поможет».

Как-то Алексей Сидорович Глухов остановился, чтобы полюбоваться его артистически-виртуозной работой. Золотухин оглянулся, спросил:

— Ты что, директор? Хорош! Если делать нечего, пошел бы хоть в «козла», хоть в шашки во дворе играть, а под руку зыркать мне нечего.

И Глухов, смущенно извинившись, отошел.

Золотухина спросили, кого бы он хотел к себе в сменщики. Тот буркнул:

— А я вам не кадровик, ставьте кого хотите, пускай станок ломают. А мне все равно, за кем его чинить. — Сказал сердито: — Была бы моя воля, никого бы за свой станок

не допускал. — Потом спросил: — А сколько он стоит? Ну, станок, понятно.

Узнав стоимость станка, вытирая руки о паклю, объявил:

— Могу внести не сразу, а по полполучки, в рассроч.

— Да ты что?

— Ничего! — оборвал Золотухин. — За полтанка в войну заплатил, взяли. А теперь что ж, за станок нельзя? Чтобы к нему никто после меня не касался.

Петухову он сказал как-то презрительно:

— Ты вот с фронта целым пришел. А мои трое не вернулись. Тебе не чета, мастера высшего класса. Не пьющие, не курящие. Всегда до начала смены свое рабочее место приберут, станок блестел, как только что с завода. А вот убили. Всегда вчетвером мы на завод шли и с завода тоже. А теперь один. И жена вот по ним болеет, слегла. А лечиться не хочет.

Вдруг прикрикнул грубо:

— Ну чего стоишь, руки как плети развесил? Давай калечь заготовку, раздалбливай станок! А я погляжу, какой ты громила, вредитель.

Две недели обучал Золотухин Петухова, потом вдруг так же внезапно грубо объявил:

— Ну хватит, кое-чего нахватался, а теперь сгинь насовсем. Нет в тебе дара, как у моих. — Пожевал усы. — Скажешь бригадир: на разряд тебя одобряю. А то, гляжу, сапоги совсем растоптаны. Возьми мой промтоварный талон на ботинки. Мои вечные, смены не потребуют.

Но вот двух местных девушек, прибывших из дальнего кишлака, застенчивых и плохо говорящих по-русски, Золотухин обласкал, взял на обучение, вселил к себе, обращался не иначе как со словом «дочки». С ними приходил и уходил с работы. Стирал их белье вместе с бельем жены. Уступив комнату, спал на кухне на раскладушке. Водил регулярно в клуб, хотя дремал как на кинокартинах, так и на спектаклях.

Но если кино было про войну, говорил сипло:

— Вы сидите, глядите, а я выйду наружу, покурю.

И ждал на улице, пока картина не кончится.

Найти подход к такому человеку, как Золотухин, Петухову было не просто, да и мало ли было подобных Золотухину трудных людей и в цехе и на заводе! Но вот когда Петухов на партийном собрании предложил, чтобы каждый рабочий-коммунист взял себе на обучение по одному из

новоприбывших из местной молодежи в порядке партийного поручения и все проголосовали за это предложение, Золотухин сказал с места сердито:

— А как быть с теми партияцами, которых самих учить еще надо? А то есть такие — только металл резцом колупают, глядеть на них тошно. Значит, не все в учителя годятся. И ты сам, Петухов, говорил складно и правильно, а по разряду ты не лейтенант, больше рядового не тянешь.

Конечно, услышать такое было обидно и неловко.

Хорошо, что Петухов нашелся и сказал, обращаясь к собранию:

— Правильно товарищ Золотухин заметил. Надо, чтобы каждый коммунист взял на себя задачу повысить свою квалификацию, и это тоже внести в резолюцию.

И это предложение тоже единогласно приняли.

Но Золотухин после собрания сказал Петухову:

— Ловко ты вывернулся, хваткий. — Пообещал зловеще: — Но гляди, через две недели я тебе такой закорючистой конфигурации заготовку дам! Не справишься — разнесу на партсобрании в клочья. — Пожевал ус, подумал: — Ладно, хрен с тобой. Моя Зульфия пока хворает, становись, буду дрючить, на смех перед Фатьмой выставять. Видал, малютка, пальчики, как у птички, тонюсенькие, а хваткие, аккуратненькие, в кишлаке дома ковры ткала, а за металл хорошо, твердо держится и по-женски ловко, бережно, не как вы, дуболемы.

— Спасибо, — сказал Петухов.

— А я не за спасибо тебя беру, — произнес Золотухин. — Надо бы этих моих: Зульфию — в комсомол, а Фатьму — в партию. Рекомендации собираю. Значит, дашь? — Добавил, конфузясь: — А жена-то моя обезноженная уже встает и даже ходит. Горе-то ее послабже стало, все ж таки не одни теперь, а вроде семейство, по материнской линии о них в заботе и ожила, воспрянула. — Сказал сердито: — А ты что думал, я только чтобы кадры растить? О себе тоже заботился.

Когда Золотухин увидел Петухова с Соней, спросил бесцеремонно:

— Твоя, что ли? Ничего оторвал — красивая. На фронте нашел? Ну, значит, трофей подходящий.

Произнес неожиданно ласково:

— Ну раз вас фашисты не убили, вы теперь уж живите хорошо, ладно, без грубостей, а то навидались в боях, как

людей убивают, теперь соображайте, как надо всякое человеческое оберегать, в себе возвышать.

Согнул ус, прикусил:

— И запомните — повторимых, заменимых людей нет, каждый сам по себе редкость...

Соня потом сказала протяжно:

— Какой хороший! И такой глубокомысленный!

Петухов промолчал, помня, как поносил его Золотухин за всякую ошибку и неловкость в работе.

А Соня продолжала говорить живо и увлеченно:

— Я как хорошего человека узнаю, так мне сразу хочется, чтобы у тебя тоже такое, как у него, было.

— Вот, — сказал Петухов, — выходит, все во мне для тебя недостаточно, у других я, что ли, занимать должен?

— А что тут плохого? Я же хочу, чтобы ты самый лучший из всех был.

— А мне вот тебя, какая ты есть, вполне на всю жизнь достаточно, — обиженно сказал Петухов, — и ни с какой самой наилучшей мне тебе советовать взять нечего. Вполне хватает.

— Ну и неправильно, — заявила Соня, — я вот все время думаю, как для тебя быть получше. А как — не всегда знаю.

— Надо бы курсы открыты совершенствования человеческих личностей, — усмехнулся Петухов. — И без вступительного экзамена не принимать.

В общем-то, Петухов не ожидал, что Соня займет такое большое место в его жизни, когда все: и дела свои, и помыслы, и тревоги, и мысли — он привык соотносить с мнением Сони и жил и работал как бы на нее, то есть все время думал — возвысится от этого он в глазах Сони или нет. Ее мнение стало главной мерой для него во всем.

Конечно, не всегда это было в радость. Уж очень Соня была как-то чрезмерно правдивой. Он сообщал с удовольствием:

— Прошло мое предложение на партсобрании насчет подготовки кадров.

— Что значит — твое? — спросила Соня. Пожимая плечами, произнесла укоризненно: — Если единогласно приняли, значит, каждый так думал. А ты только огласил то, что все думали.

— Но инициатива моя.

— Неправда! — рассердилась Соня. — Сам же говорил: Золотухин давно двух местных девушек на обучение взял. Только он учил их, а не говорил всюду, что учит. Он делом пример подал, а ты только словами.

— Что ж, по-твоему, слово — это только звук? Оно мысль.

— Но мысль твою тебе Золотухин своим делом подсказал. Ну вот по-честному и надо было сказать: «Поддержим пример товарища Золотухина». И все! А ты минут восемь говорил, и от себя только: «Предлагаю! Долг! Призываю!» Не надо так, Гриша, выставляться, коммунистов агитировать в том, что они коммунисты.

— Но ведь аплодировали!

— Не тебе, а тому, что единогласно проголосовали. Учить-то будут в нерабочее время. Значит, в партию делают добавочный взнос — своей рабочей жизнью за счет домашней. Обрадовались, что все на такую самоотверженность без разговоров согласились, по-партийному.

И вдруг, когда еще обида кипела в Петухове, Соня прижалась к нему и, снизу вверх заглядывая ему в глаза, призналась шепотом:

— Но мне, знаешь, было так приятно, гордо. Ты выступаешь, все на тебя смотрят, потом хлопают, согласны. Я даже не утерпела, толкнула соседку, сказала ей: «Это мой муж!» Она мне: «Ничего, подходящий, в точку клюнул». И я даже покраснела, засовестилась, что тобой расхвасталась. Но все равно приятно.

— А сама ругаешь!

— Я не ругаю, я обдумываю на дальнейшее, чтобы у тебя дальше получше получалось, а не так вот... Сказать то, что все думают, и считать — это твое!

Кадровые рабочие и те, кто усвоил рабочие обычаи, брали у кассира свою получку уважительно и даже с благоговейным достоинством, с оттенком заметной гордости, если денежная пачка была потолще, а купюры побольше, и медленно, не спеша пересчитывали, как рекомендовалось табличкой, «не отходя от кассы». А те, кто работал на заводе только по необходимости, а не по призванию души,

хотя и у таких бывали получки не меньше, забирали свою зарплату пренебрежительно, не считая, сгребая ее ладонью с кассовой полочки и, кривя губы, совали в карман, словно это была лишь бумага.

Конечно, деньги в ту пору имели скорей условную, относительную ценность. При нормированном распределении продуктов — карточной системе — существовало большое различие между низкими пайковыми ценами и высокими в так называемой коммерческой торговле, и еще выше цены были на колхозном рынке.

Поэтому рабочая карточка сама по себе составляла главную реальную ценность — обеспеченность трудящегося. А деньги, что ж, они скорее символизировали количество и качество затраченного труда, утратив свою возможность быть его эквивалентом.

Все, кто работал, как выдающиеся мастера, те, кто старался в меру своих сил, и те, кто только вытягивал норму, получали равное и главное вознаграждение — рабочую карточку. Она и была чем-то вроде твердой валюты, обеспечивающей жизнь. А сама денежная получка относилась, пожалуй, больше к моральной категории, чем материальной.

Но вопреки всем этим реальным обстоятельствам и даже пренебрегая ими, те, у кого было развито чувство рабочего достоинства, с праздничным удовлетворением брали свою получку и гордились тем, что она побольше, чем у других, как безусловным показателем своего трудового усердия и мастерства.

Петухов отвык от денег на фронте, там их и некуда было употребить. По своей рабочей карточке и по Сониной служащей он, как и на фронте, без заботы получал полное обеспечение и снабжение. Свою получку они спускали в коммерческом магазине в первый же день, приобретая то, без чего можно было жить. Но, получая в кассе свою не очень большую зарплату, Петухов как-то заметил на себе косой, пренебрежительный взгляд Золотухина, который тщательно и озабоченно пересчитывал на виду у всех купюры из своей толстой, рыхлой пачки, задерживая других у окна кассы, чтобы все видели, сколько заработал он, выдающийся мастер Золотухин. И потом, когда Зульфия и Фатьма стыдливо и смущенно хотели, не считая, поспешно взять свои получки и отойти от кассы, он остановил их и сам взялся, не торопясь, пересчитывать их деньги. Окончив считать, объявив сумму, сказал кассиру: «Все точно!»

Оглянувшись на ожидавших, сказал громко, во всеуслышание:

— Слыхали, сколько? — Выждал, произнес внушительно: — Кто классно работает, тот и есть рабочий класс. И у того соответственно дензнаками труд обозначен. — Потряс пачками. — Вот как оно фактически! А у кого тощевато, тот и работает, выходит, маловато. — Крякнул и повел своих учениц в промтоварный.

Такие, как Золотухин, Зубриков, составляли не только рабочий кадровый костяк завода. По существу, это был заводской начальствующий состав, как бы всеобщее руководство всеми здесь и всем здесь. Они были хозяевами завода и в прямом и в самом широком смысле. Начальствовали они тем, что в мастерстве своем обрели независимость. По тонкостям и обширности знания своего дела они стали настолько недосыгаемы, что им никто не мог ни скомандовать, ни приказать.

Изделия их всегда были для всех как бы укором, и цех подчиняли они своей молчаливой умелостью, тем, чего человек может достигнуть величайшей собранностью, сосредоточенностью, пожизненной, ясной и убежденной увлеченностью своим трудом. Именно от них исходили те нормы отношения к труду, которые составляли духовные черты достоинства рабочего. И каждый, видя их работу, рабочие повадки, всегда ощущал точно, чего он пока только достиг и чего можно достигнуть, поднявшись к вершинам мастерства, путь к которому — каждодневная отдача себя постижению в труде искусства труда.

Они были хозяевами завода, потому что, цenia свой труд, все рабочее время, не терпели хищения его. Поэтому заготовительные цехи — кузнечный, литейный, штамповочный, дающие им заготовки, — входили в сферу их рабочего интереса, как собственный станок. И они требовали от этих цехов такого же качества и рабочего ритма, какими полностью владели сами. Из уважения к безукоризненному труду рабочие выбирали таких изысканных мастеров на все уровни общественных, партийных руководителей. И, соединяя свое мастерство и понимание труда с доверием заводского коллектива, они были той заводской властью, перед которой робел сам директор завода Глухов, облеченный по закону военного времени обширным единовластием с правом входа на самый верх, но вынужденный подчинять себя не только самому верху, но и этой

рабочей власти, которая частенько брала верх в сложных, казалось, неразрешимых ситуациях, находя из них выход.

Когда «зашился» сборочный цех, станочники и инструментальщики после своей смены шли на сборку и справлялись не хуже, а даже лучше сборщиков, потому что испытывали удовольствие, собственноручно собирая из своих деталей готовое изделие, и, кроме того, разнообразие в новом труде содействовало преодолению усталости от привычного труда.

И именно мастера по своему рабочему дару, поняв затруднения производства, выручили завод.

Они, приметив работу электромагнита на складском дворе мартеновского цеха, использовали подобный этому электромагнит для сбора стружки в механических цехах, освободив несколько десятков подсобников, занятых уборкой стружки.

Своим мастерством они доказали, что существующие нормы припусков на заготовках — растрата металла, и снизили эти нормы так, что из сэкономленного металла завод дал сверхплановую продукцию фронту. А началось это с чего — с насмешливой иронии мастеров, постигших тонкости и смелость мастерства, с насмешек над теми, кто не чувствовал красоты и изящества, возможного даже при изготовлении грубой заготовки, где в наростах излишних наплывов исчезали очертания будущего изделия. Довести до минимального предела припуск — это ведь тоже лихое тонкое мастерство, и чем лучше мастер заготовки, тем в ней четче выступает облик будущего изделия, тем больше мастер сближает заготовку с будущим изделием, ощущая в его предварительной форме нечто окончательное, почти завершенное.

И когда лучшие мастера механических цехов, инструментального начали отмечать лучших мастеров заготовительных цехов, и публично, на собраниях, выражать им свою личную признательность за удовольствие работать именно над их заготовкой, и свой успех делить поровну с ними, — с этого, собственно, и началось движение по заводу за экономию металла, а по существу, это было выражением профессионального мастерства, рабочей требовательности каждого к каждому, глубокое понимание их взаимозависимости в отношении к труду.

Должность руководителя — это прежде всего власть не над людьми, а над... делом. И тот, кто сознает, что он зависит от людей, а не люди от него, только тот может двигать вперед порученное ему дело.

А идейность человека находит себе также выражение и в деловитости, в экономии, бережливости, смелости творческой мысли, как и в самоотверженности, и это все входит в слагаемые умственной, духовной, профессиональной культуры рабочего человека, творца и созидателя мощностей страны, ее всеилия...

Петухов пришел домой с получкой, которую обычно вручал жене, и Соня небрежно, почти не глядя, бросила деньги в коробку, где держала нитки, лоскутки, иголки, деревянный грибок для штопки чулок. Это не то что обидело Петухова, но поскольку он продолжал испытывать те чувства, которые пережил, стоя у окошечка кассира, то сказал ей строго:

— Продуктовые и промтоварные карточки небось в кошельке держишь, а деньгами швыряешься.

— Ты что? — спросила удивленно Соня.

— А то! — сказал внушительно Петухов. — На сто двадцать больше заработал.

— Подумаешь! — сказала Соня. — На базаре курица дороже стоит.

— Я тебе не для курицы, а для того, чтобы заметила. По полторы нормы стал давать — для этого.

— Ну дай я тебя поцелую, Гришенька, от меня в премию. — И Соня потянулась к нему своим теплым и нежным лицом с манящими полуоткрытыми губами.

Петухов повел плечом и отодвинулся.

— Ты что? — спросила, обижаясь, Соня.

Петухов посопел, повздыхал, потом сказал не совсем уверенно, словно размышляя вслух для себя только:

— Вот деньги! Они всегда все-таки деньги. Конечно, сейчас на них мало что купишь. Но свое обозначение, что они за труд, у них остается.

— Ну и что? — спросила Соня.

— Вот я подумал: когда-нибудь денег не станет, ну при полном коммунизме, а надобность в них все ж должна быть.

— Это зачем же, когда всем все будет? К чему деньги тогда?

— А как знаки! Кто больше и лучше других делает.

Одинаковых людей во всем все равно не будет, обязательно все разные останутся. Только получше нас, конечно. Надо же чем-то отмечать.

— Вот я тебе предлагала — чем, а ты не захотел, — улыbnулась Соня.

— Ты подожди, — жалобно попросил Петухов, — послушай. Вот деньги сейчас не в цене. А они не меньше для людей значат, чем когда они в цене были. Значит, заработал! Больше твоя получка, — значит, больше другого нарабатал.

— Иначе как же? — удивилась Соня.

— Я про что тебе? — раздражаясь, сказал Петухов. — Если деньги сейчас мало стоят, но для людей они много значат — если они получка, конечно, — то что получается? Коммунизма нет, а вот что-то от него в людях есть, раз они так к получке, как Золотухин, относятся, — с гордостью, что у него больше других, хотя, может, тоже только на дветри курицы.

— Ты прости меня, Гриша, — вострепенулась Соня, — я ведь совсем не подумала: раз получка чуть больше, значит, ты отличился, справился.

— Да не во мне дело! — досадливо произнес Петухов. — Я вообще... Сколько сейчас жулья, хапальщиков, спекулей всяких на базаре, а некоторые просто от лишений хватают все, жадничают. Но вот то хорошее есть в людях, о чем я тебе сказал. Ну хотел с тобой порадоваться, что такое есть в людях — главное.

— Если б не было так, не воевали бы героически, — наставительно заметила Соня. — На смерть шли без оглядки. А тут, подумаешь, получку уважают.

— Да не получку, — поморщился Петухов, — а то, что деньги сейчас, хоть и не очень деньги, и затраченному труду они не соответствуют, как ценности, на это люди внимания не обращают, а берут только по существу, как знаки за труд. Поняла наконец или нет?

— Так это потому, что всего не хватает, купить нечего. Только нормированное снабжение. Карточки сейчас дороже денег, а прибавится все, небось каждый рубль будут подсчитывать, и копейки, может, тоже, и с уважением, как обработанные заготовки после смены.

— Мелко думаешь! — презрительно сказал Петухов.

— Не мелко, а по жизни, — твердо заявила Соня. — Ты вот Зубриковым восхищаешься, а это что, правильно? Вот лучшие, как Зубриков, а одинаковые снабженческие кар-

точки получают с теми, кто еле-еле тянет. С таким уравнением немного нарешаешь!

— Значит, по-твоему, так надо с государством обращаться — я тебе дал, а ты мне за это все отдай, а то обижусь?

— Почему все? По обстановке. Во время войны не жаловались. После — другое дело. Жизнь-то надо облаживать. Терпят сейчас, потому что надо. Сознают, что надо. Только я так считаю: как не все одинаково на фронте воевали, так и не все одинаково работают.

— Орденами отмечают! Это что, тебе мало?

— Так это за героизм!

— А еще за что давать?

— Я же не про награды говорю, — строго сказала Соня, — а о правилах жизни. Чтобы за труд чутко каждого отмечали, не только выдающихся, а каждого. Чтобы каждый чувствовал все время, что он от труда своего зависит. Раньше людям не до себя было — только бы фашистов разбить. А теперь не по военному времени жизнь должна выстраиваться...

— А как?

— Я еще не знаю, — призналась Соня. — Но хотелось бы, чтобы те, кто лучше работает, лучше и жили.

24

Петухов привык в армии к равенству во фронтовом быту, к тому, что передовая — общежитие подразделения, и жизнь каждого проходит на виду у всех, и каждый озабочен каждым и взаимозависим. И командир — это тот, чьи приказы выполняют, но не обсуждают, а если и обсуждают, то в пределах того, как выполнить лучше полученный приказ.

И когда он пришел на завод, ему понравилось как раз то, что еще действовало тут по закону военного времени. Директор не кто-нибудь, а генерал-майор. И на совещаниях директор выступал как командующий, и в основных цехах люди по привычке еще оставались на казарменном положении. Поскольку не были еще отменены законы военного времени, ни прогулов, ни невыходов без основания на работу не было, и у всех равное питание, вещснабжение, как на фронте, только что по карточкам. И он чувствовал себя в этих условиях удобно, словно оставался на военной службе.

Выправкой, послушанием, всегдашней готовностью выполнить любой приказ старшего он вызвал к себе особое внимание руководителей цеха, но не душевное расположение коллектива, хотя все его уважали как фронтовика. И то, что он всегда брал сторону руководителей, считали только армейской привычкой к строгой субординации.

Трудности послевоенного времени, которые переживал завод, Петухов воспринимал лишь как трудности в связи с переходом с оборонного производства на мирное. А вот то, что стали говорить о трудностях и неустроенности быта рабочих, о жизнеустройстве послевоенном, Петухов считал только результатом неполадок по реорганизации производства, и от этого, как он полагал, и возникали всякие неправильные настроения. Поэтому он восхищался Зубриковым, терпеливо ютившимся с семьей за занавеской в общежитии, гордился такими, как Зубриков, и каждый раз, когда на собраниях кто-нибудь говорил о бытовых неполадках, угрюмо сидел молча. Но однажды он выступил и горячо заявил:

— Вот товарищ Зубриков, лучший наш производственник, живет, как — сами знаете. Спит с братом-инвалидом на полу между коек, сам себя обстирывает. На столе, где обед готовят, к занятиям в техникум готовится. А о чем он здесь говорил? О своем трудном быте? Нет! Как коммунист взял на себя обязательство двух станочников выучить. Вот что значит по-партийному болеть за производство! Вот у кого надо учиться правильно, делом, преодолевать трудности перестройки.

Собрание аплодировало, но не его выступлению, как думал Петухов, а тому, что все чтили Зубрикова. Его имени и аплодировали.

Зубриков вышел на трибуну, неприязненно посмотрел на Петухова, сказал:

— Я почему попросился по второму разу? Чтобы отвести от себя слова товарища Петухова. Как я нынче живу — это не пример, а отрицательный факт. И некрасиво, неправильно товарищ Петухов меня в пример взял. Знает ведь, я член парткома. Поэтому, чтобы не было личного, про свой быт я молчал. Но это дело не личное, а общее, и не просто бытовое, а и чисто производственное. Мы, кадровики, еще стерпим. А вот взял я молодых на работу, выучу, допустим, дам квалификацию, и с завода мы их упустим. Как поглядят на всякое неустройство, уйдут, где получше им будет. А вообще, суетиться с производственными трудностями

нечего, они выгладятся, но только вместе с налаживанием жизни...

Посмотрел сурово в глаза Глухову, сказал:

— Вы нам по реконструкции предприятия умно, хорошо доложили как директор, а вот как коммунист прошли мимо реконструкции жизни с военного времени на послевоенное. Товарищ Ленин велел коммунисту не только сегодняшним днем жить, но и завтрашним, будущее понимать, видеть и на него нацеливаться.

Помолчал, подумал, добавил сердито:

— На «ура» брать, как вот этот бывший лейтенант бойко кидаться без оглядки нам предложил, так можно и мимо людей проскочить, не заметить, как мимо интересов кровных пройдешь. Такое допустить нельзя.

Сел тихонько на свое место, спросил зло:

— Чего хлопаете? Не хлопать, думать всем надо, как по-умному и туда и сюда пороку-сил хватило бы.

Зубриков потом долго чуждался Петухова. И только после того, как Петухов начал работать в кроватном подсобном цехе, заходил, смотрел молча, как тот управляет на трубогибочном приспособлении, и однажды сказал:

— Заходи как-нибудь ко мне в цех. — Усмехнулся: — Вроде как к станковому пулемету поставлю — на пробу.

Хотя Соня работала чертежницей в конструкторском бюро, после избрания ее в завком — наверное, за то, что она бывшая фронтовичка, — она лучше Петухова стала знать жизнь заводских людей, и с самой трудной ее стороны, потому что на долю завкома и приходились эти самые трудные и многосложные заботы о жизнеустройстве людей.

Но даже доведенные до отчаяния жалобщики, узнав, что Соня фронтовичка, деликатно укрощали свое раздражение и уже говорили о своих бедах спокойнее, и, видя, как она хромает на раненую ногу, и слыша, как в разговоре привычно употребляет армейские слова и по-армейски строго себя держит, сами шли на добровольные уступки, считая, что их нынешние горести и трудности меньше, чем те, какие переживали люди на войне.

Вот именно эта готовность жалобщиков примириться с трудностями, их постигшими, во имя того, что на войне другим было тяжелее, и приводила Соню в ярость, когда она слышала от разного рода должностных лиц в ответ на ее запросы снисходительные слова:

— Страна все фронту отдавала и не в кредит, а ради победы. Вы же требуете так, словно обязаны вернуть задолженность. Бывшая военнослужащая, фронтовичка, а так странно рассуждаете!

Тучный человек в сани коменданта общежития сказал ей удивленно:

— Чего вы тут шумите? Сами сколько лет в окопах, землянках жили — и ничего. А тут что ж? Барак не отель.

— Перегородки поставить, убрать двухэтажные топчаны. Чтобы кухня, душ, красный уголок...

— А емкость? — спросил комендант. — Помещение по расписанию на восемьдесят душ.

— Но тридцать человек уехали. Места пустуют.

— Ну и что? Приказ никто не отменял — положено восемьдесят на площадь. Этого приказа и придерживаюсь.

— Такие, как вы, на фронте не в ту сторону в атаку бегали, — сказала сквозь зубы Соня.

— Обзываете дезертиром? Хорошо! — обрадовался комендант. — Так и доложу: при исполнении обязанностей получил словами по морде...

— Снять его не только можно, но и должно, — сказали Соне в завкоме. — Но где другого взять?

— Значит, что же? — спросила Соня. — Дуракам людей мучить, а ссылаться на послевоенные трудности?

Соня пришла в общежитие, собрала жильцов, спросила:

— Нужен вам такой комендант?

Выслушав много злых слов, предложила:

— Выбирайте сейчас любого вместо него.

— И выберем, — сказали ей.

Выбрали женщину, мать двоих детей, формовщицу.

Комендант заявил:

— Это незаконно. Приказом дирекции утвержден, приказом дирекции должен быть отвергнут.

— Вот протокол собрания, — сказала Соня. — Берите копию как приказ. Ясно?

Ей крикнули одобительно:

— Вот это по-военному! Правильно!

— Не по-военному, — поправила Соня, — а по-советски. Ваше общежитие, вы в нем хозяева. А завком директору не подчинен. Он сам только член завкома.

— Доложим! — сказал комендант, сощурясь.

Соня побывала у директора базара, бывшего фронтовика, инвалида. Спросила его:

— Почему ваш базар называется колхозным рынком? Разве колхозы спекуляцией занимаются?

— Да, тут колхозников не бывает,— согласился директор,— одни спекулянты.

— А вы свяжитесь с колхозами, пусть свои ларьки откроют по честным ценам.

— А что, можно! — сказал директор.

В бывшей бане размещалась экспресс-лаборатория за вода.

Соня пришла к заместителю директора завода, спросила:

— У вас разрешение горисполкома есть на занятие бани под лабораторию?

— Какое там разрешение! Война — даже школьные помещения под госпитали занимали.

— Так вот,— сказала Соня. — Или освободите баню, или мы привлечем вас к ответственности за то, что занимаемое помещение не оформлено по закону.

Заместитель директора вызвал юриста. Тот развел руками, сказал уныло:

— Вообще, что ж, товарищ Петухова права. Если строго по закону, могут привлечь.

— За что?

— Во время войны юридические нормы нарушались. Но сейчас оправдание могут и не принять во внимание в любой инстанции.

— Вы, что же, заводская и против завода действуете? — спросил заместитель директора. — Ну-ну...

На заседание завкома пришел сам Глухов. Его появление здесь было чрезвычайной редкостью. Сказал шутливо:

— Профсоюзы — школа коммунизма. Пришел подучиться маленько, а то до меня слухи доходят: считаете — недоучен партией.

Но в ходе заседания ссутулился, опустил глаза и все время торопливо записывал в блокнот, что тут говорили.

— К вам Мухина приходила, развелась с мужем,— сказала ему член месткома, пожилая работница. — Кобель, которых донжуанами прозывают. Просила ему в общежитии койку дать. А вы что на ходу сказали жилотдельцу? «Нашли время для разводов, пусть вместе живут. Не классовые враги, смирятся». Суд развел, принял все во внимание, а вы выше советского суда себя поставили. И что в итоге? Мухина в другой город уехала, а ведь какая раз-

метчица! Без завкома, самовластно решили, вот и нажглись! Хотя у вас по военному времени право было: без вашей резолюции ни метра жилья,— так теперь хоть такое единовластие себе не позволяйте.

С баней ясно. Могли бы и по суду вернуть людям.

Общежитие! Сами выступали, говорили, сколько эвакуированных уехало. Раз людей стало меньше, значит, кризиса острого с жильем поубавилось. Надо нормально расселять людей в улучшенных помещениях, а то и другие уедут.

Был в школе госпиталь. Военные освободили, а вы ее к себе прибрали по линии военного ведомства, поскольку завод оборонный. Контора там. Школу надо вернуть. В три смены дети больше учиться не будут.

— А контору, что же, в сквер, под тент? — огрызнулся директор.

— Потеснитесь в здании дирекции. Далее. Военпредов нет, а военпредовские квартиры заводские есть. Лучших ударников туда вселить.

— Мы еще военный заказ имеем,— напомнил директор.

— Ничего, на такой заказ могут из своего гарнизона принять!

— Значит, с армией поссоримся.

— Простят! За войну мы армии из всех сил служили... Еще детсад — первоочередная задача.

— Ну уж, — перебил директор, — всех паличествующих младенцев обеспечивали всю войну и первоочередно. Свой особняк, персонально мне выделенный, сдал под ясли. Живу, сами знаете, в двухкомнатной, тут критику не приемлю!

— Так о дальнейшем думаем! Война кончилась. Детей рожать стали больше, а судя по декретным отпускам, будет еще больше.

— Значит, доложить правительству, сколько у меня рожать собираются? — усмехнулся директор.

— А там такие же, как и мы, люди сидят, — сказал сухо председатель завкома. — Скажут: шутники в руководстве большим человеческим делом не требуются!

— Ну-ну, полегче! — прикрикнул директор. Произнес строго: — Вы вообще, товарищи, не зарывайтесь! А то вот снимаете работников без согласования с должности, утвержденной директором. За такое нарушение можно и к ответственности привлечь!

— Ну и привлекайте! — вскочила Соня. — Я вашего коменданта сняла, потому что он сволочь!

— Слышали? — спросил директор. — Ну и ну! Вот это профсоюзный деятель, воспитали, называется.

— А я своих слов обратно не возьму! — горячо заявила Соня. — Сволочь он!

— Против именованния такими словами бывшего коменданта я не возражаю, — сказал директор, насмешливо глядя на Соню. — Лично вы можете любыми словами кидаться по своему усмотрению. Но вы представляли не себя, а завком. А действовали как благородная налетчица, что ли, но все равно как налетчица. — Вздохнул. — В комендантах я виноват, назначал, исходя из административных соображений, чтобы только порядок был. Нет нарушений, — значит, сойдет. А то, что они там командовали, а не устраивали людей, инструкция тоже моя, виноват. С военной списал по положению казарменному. Так кто я, по-вашему, теперь? — спросил директор Соню, выждал, произнес со вздохом: — Перестраиваться нам, конечно, всем надо, чтобы по мирным возможностям обустроиться во всем.

Ну ладно, вот упрекаете — единовластно распоряжался, даже вот с этой Мухиной. Нехорошо! Согласен! Петухова... Хотя ее выходка с комендантом мне сильно не понравилась, даже больше чем не понравилась, но по-человечески скажу: то, что горячо взялась, — нравится! Но что плохо? У нас с вами получается: дыр много! Поищем — еще больше найдем. Но чем их латать, спрашивается? И только ли латками заниматься?

Сейчас бой на заводе идет, и трудный бой: с меньшим числом людей дать больше продукции. Войны нет, повоенному не прикажешь. Оборудования дополнительного сразу не получим. Тот завод, из которого мы здесь наружу вылупились, сейчас на своем старом месте заново на ноги становится, его оборудовать надо. Свое он здесь насовсем оставил. И по всей стране так: что с запада привезли, то на востоке осталось. По существу, двойной прирост промышленных мощностей. А что это значит? Значит, вышли из войны не слабее, а сильнее, чем мы были, гораздо сильнее.

Теперь еще что? Освобожденные, разоренные войной западные районы восстановить полностью надо, а как? Вернуть туда то, что вывезли? Переезжаиваться? Но ведь здесь на какую промышленную высоту вывезенными предприятиями жизнь подняли! Нельзя! Тришкин кафтан

получится! Значит, что? Единственное — дать быстро в должном количестве то, что произвести можем.

А если все будут давать, то будет откуда взять. На войну давали без отдачи, за одну победу. А смысл мирной жизни в том, что она на отдаче построена, чтобы победа по всем линиям — и в дом и в жизнь каждому во всем пришла. Значит, как было главное, так и есть — производство.

Но! — директор поднял палец. — Вот вы мне сейчас этим самым указали на все промахи и недостатки. Указывать — пальцев у всех нас не хватит на дыры. Будем собственноручно пока справляться. Сверху ничего пока не упадет. Давайте сначала на жилье нацелимся совместно. За ремонт сельхозтехники местное руководство должно нам помочь. Я уже договорился, чтобы своими силами нам сборочный цех поставили. Сельхозмашины габаритные — в старом тесно. От раскладушек есть сверхплановые накопления. Поставим четыре дома. Ордера вы будете выписывать только по производственным показателям. А сильно нуждающимся надо и в исполком стучаться. А то привыкли к моему военного времени единовластию — отвыкать надо, товарищи. Профсоюз — тоже власть народа, а вы все просите, как на бедность...

Конечно, произнес эту речь Глухов, понимая, что за самовластное решение построить по-хозяйски дома с него могут и взыскать по служебной линии. Но он понимал, что лучше ему получить взыскание, чем потерять уважение коллектива завода, без которого руководителю не устоять на своей должности.

25

Секретарь обкома Камиль Нуралиев был сухощав, по-армейски статен и с чрезмерно ранней для восточного человека его возраста сединой. На лице его почти всегда можно было увидеть улыбку со множеством самых различных оттенков. Он был страстно любопытен к людям и памятен на всех, кого когда-либо и где-либо встречал.

— Партийная работа, — любил говорить он, — это люди. Плохой организатор тот, кто не умеет открыть, зажечь в людях лучшее. Для того, кто не хочет, не умеет понимать людей, партийный билет, как для слепца фонарь, — только бремя.

Мечтательная улыбка долго оставалась на его лице

после встречи с человеком, который жил порученным ему делом и, докладывая, как у него идут дела, рассказывал не о себе, а о тех людях, которые смело, дерзко, умно, настойчиво ищут новое. Он сердито требовал, чтобы таким людям не мешали, и решительно заявлял: «А помогать я им буду сам. Не получится, с меня тогда спрашивайте».

Потирая руки, Камиль Нуралиев говорил увлеченно:

— Лев Толстой писал: «Спокойствие есть душевная подлость». — Спрашивал, сощурился, с улыбкой: — Что, резковато? Ему можно — гений! Но чрезмерно спокойные люди подобны покойникам, двигать живое дело не способны. А у нас есть такие живые покойники. Ходят в саване из бумаг, на все у них ответ — по бумаге. И говорят с людьми, читая по бумаге списанное с другой бумаги.

Когда после войны значительная часть эвакуированных стала разъезжаться с завода, в обкоме забили тревогу.

Нуралиев сказал на бюро:

— Прежде всего надо организовать торжественные проводы! Поблагодарить за то, что они нам подарили свой завод, опыт, знания, вырастили нам людей. Второе: подумать, может, мы не все сделали, для того чтобы они могли остаться здесь навсегда. И третье. Те, кто остался, прирос к другой земле, — это драгоценные для нас всех люди, и у них надо учиться тому, что для советского человека родина — это не только то место, где он родился и вырос, а вся страна...

Откровенно говоря, хотя Глухов и был растроган столь торжественными проводами уезжавших с завода, преодолеть тревоги, вызванной этими проводами, он не мог. Сказал уныло секретарю обкома:

— Конечно, благодарю, как говорится, за внимание к нашим бывшим работникам, за цветы и прочее. Но как бы другим тоже такие проводы не понравились! А с кем работать? Рабочих рук не хватает, а вы тем, кто уехал, — цветы!

— Вы считаете, повестки надо было вручить, вызвать в милицию, задержать?

— План-то может быть сорван, а у меня директива, — неопределенно ответил Глухов.

— У меня тоже эта директива в сейфе лежит, — сказал Нуралиев. — И я тоже, как и вы, отвечаю и беспокоюсь.

— Беспокойтесь, а вот отпустили. И еще с оркестром!

Нуралиев опустил глаза, загадочно улыбаясь, произнес:

— Завод оказывал помощь колхозам техникой, кадرا-

ми, его люди курсами сельских механизаторов руководили. Теперь колхозы окажут помощь заводу.

— С продснабжением у нас в норме, не жалуемся,— сказал Глухов.

— Свыше трехсот молодых механизаторов дали согласие пойти работать на завод, тем более что производство сельскохозяйственных машин отвечает полученным ими специальностям,— улыбаясь, объявил Нуралиев.

— Это дело! — прәсиял Глухов.

— Вот именно! — согласился Нуралиев. Сообщил достоверительно: — На бюро меня тоже, как и вы вначале, упрекнули было за эмоциональность в решении о проводах и за отсутствие делового подхода к этому вопросу. Но эмоции — это не только продукт чувства, но и мысли. Почему у нас такое высокое чувство благодарности к тем, кто уехал? Много сделали, многих выучили! Так? Так! Это эмоции. А мысли? Мысль простая и ясная. Ученики должны стать на место учителей, и быть достойны их, и доказать, чему они у рабочего класса завода научились. Отсюда наше обращение к молодым сельским механизаторам: завод — вам, вы — заводу.

— Камиль Нуралиевич! А я ведь каждый станок оплакивал, который в МТС давал,— чистосердечно признался Глухов.— А про кадры и говорить нечего — рыдал! Фронт требует, а мне еще хомут повесили — деревню обслуживать.

— Знаю! — сказал Нуралиев.— С кровью, с мясом отрывали. Нам, обкомовцам, стыдно было просить, и все же просили. Но главное — народ колхозный понимал, как заводу трудно, как фронту нужно оружие, но без хлеба, без хлопка тоже воевать нельзя.

Потер задумчиво лоб ладонью:

— Война исторически ускорила рост сознания общенационального единства всех советских народов как на фронте, так и в тылу. Наши люди породнились навечно советским строем. Но рост этого единства ускорился в войне, упрочился в войне, испытан в войне. И это историческая революционная победа в духовном мире людей, самая решающая победа. Поэтому провода отъезжающих рабочих завода — это не просто долг вежливости, обычай.

Конечно, те товарищи правы, которые говорили, что с отъездом эвакуированных на заводе возникнут новые трудности с кадрами. Практически это так. И здесь я вас понимаю и разделяю ваше опасение. Но вот мы сказали

уезжавшим все слова благодарности, какие они заслужили, поставив здесь своими руками завод, которого у нас никогда не было, вырастив в своем коллективе из наших людей мастеров рабочего класса, которых у нас не было, и мы вместе с ними здесь давали оружие для победы, а не только хлеб, хлопок, — такие слова и такие проводы отвечают чувствам и мыслям наших людей. Поэтому с такой готовностью пошла наша сельская молодежь на завод. Они не просто провожали, а пришли, как рабочая смена рабочей смены. Вот как я оцениваю эти проводы.

Сейчас вся проблема в том, чтобы оставшиеся товарищи помогли быстрее нашим молодым механизаторам овладеть новым для нас делом. А будет больше сельскохозяйственных машин, — значит, будет больше сельских механизаторов.

— Машины мы должны в первую очередь дать освобожденным, разоренным после войны районам, — напомнил Глухов.

— Знаю, — сказал Нуралиев. — Именно об этом мы говорили в кишлаках, призывая молодежь на завод. Там, где сражались их отцы, как памятник, вечно живой, их подвигу, — машины, сделанные руками сыновей и дочерей, теперь посеют хлеб, взойдут нивы, вернется красота и сила земли. А на нашей земле еще работают машины, которые были сделаны тем заводом, который теперь стоит здесь и давал оружие фронту, а сейчас снова будет строить машины. Диалектика, а? — улыбнулся Нуралиев.

— Диалектика! — согласился Глухов. — Но вот с жильем плоховато, клуб тесный. Бытовые учреждения сильно от потребностей отстают. Культобслуживание тоже. Стадион не достроен, фондов не хватило. А мне надо завод расширять. Оборудование изнашивается. Вообще трудностей хватает... Завком за горло взял — давай, а где взять?

— На местную казну целитесь! — усмехнулся Нуралиев.

— Так ведь сами же говорили: мы — вам, вы — нам. По-братски!

— С вами, хозяйственниками, не пофилософствуешь. Сразу на практику сворачиваете.

— Так уж жизнью обучены, — притворно скорбно вздохнул Глухов.

На завод прибыла группа военных специалистов-вооруженцев во главе с генералом. И, как это всегда бывает, чем значительнее миссия, тем меньше говорят о ней. И тем большее волнение испытывал Алексей Сидорович Глухов, мечтательно предполагая, что, возможно, этот визит связан с тем, что завод будет возвращен на прежнюю стезю.

И он уже опасливо думал о том, чтобы это решение попозже дошло до обкома партии и он, Глухов, успел бы освоить и присвоить все то, что было выделено из местных ресурсов для нужд завода, почти все, что он просил. Но если завод станет снова оборонным, то тогда он всецело перейдет на иждивение ведомства, которому будет строго подчинен, а при таких условиях обращаться непосредственно за помощью к местным руководителям более чем не рекомендуется.

Глухов уже прикидывал, как потактичнее и половчее исключить из своей информации ту помощь, которую он получил от обкома, с тем чтобы, перечисляя трудности, не забыть и те из них, о которых докладывал в обкоме, и при составлении нового бюджета получить средства, соответствующие нуждам завода.

И эти свои хитрые помыслы он оправдывал тем, что в конце концов чем мощнее и культурнее развернется завод, какому бы он ведомству ни принадлежал, тем больше будет его отдача местным людям, потому что завод не только дает продукцию, но является высшей школой рабочего мастерства, университетом рабочего класса, при заводе уже существует техникум, а теперь следовало бы открыть филиал института.

Составив памятку планов и предложений, Глухов терпеливо ждал, когда выскажутся прибывшие военные, скрывая от них до поры свои мечтательные помыслы, чтобы они не подумали, будто он рад возвращению на прежний профиль, а, напротив, даже огорчен, расстроен, потому что без солидных новых капиталовложений невозможно перестроить уже полностью налаженное производство сельскохозяйственных машин, хотя оно до конца и не было еще налажено. Но ему надо будет доказать им, что оно налажено именно полностью.

И он очень был доволен тем, что военные согласились отдохнуть несколько дней на берегу солончакового озера, где по требованию завкома были поставлены щитовые

коттеджи, оборудована грязелечебница и где сейчас отдыхал по требованию супруги Игнатий Степанович Ключков.

Собственно, идея отдыха на берегу озера родилась после того, как генерал выразил желание повстречаться с Ключковым, и это подкрепило предположение Глухова о том, что завод будет возвращен к прежнему производству. Пока военные будут отсутствовать, он примет все меры, для того чтобы доказать им, что завод уже полностью освоил производство новой продукции, и, значит, переналадка его потребует значительных затрат.

Все эти дни Глухов не выходил из цехов. Бодрое, радостное настроение директора заразительно передавалось людям. Тем более что благодаря помощи обкома уже кое-что удалось сделать по благоустройству. Уточнить же, кто содействовал этому, Глухов почему-то не удосужился.

Кроме того, торжественные проводы уехавших как бы приподняли у оставшихся чувство своего достоинства, своей значительности и, главное, ответственности, потому что во всеуслышание первым секретарем Камилем Нуралиевым было сказано, что они здесь — носители братства советских народов и творцы этого братства. Пополняя ряды рабочего класса и выращивая людей рабочего класса из хлопкоробов, колхозников, содействовали этим самым новой сильной социальной структуре населения республики.

Хотя за обучение новичков рабочим, мастерам не по должности, а по тонкости овладения своей профессией причитались кое-какие деньги, они, не сговариваясь, основали из этих средств, отпущенных на персональное обучение, премиальный фонд лучшим ученикам. И обучающие ревниво, негласно соревновались, чей ученик окажется лучше, чтобы этим самым доказать превосходство постижения своего мастерства над другими мастерами, но уже руками своих учеников.

К удовольствию Глухова, в цехах более или менее все шло нормально, а там, где существовали узкие места, он поднажал на кого-то, пошумел, погрозил, расщедрился премиями, приказами с благодарностью. Машины, предназначенные к сдаче, приказал извлечь из-под навесов склада готовой продукции, расположенного вдоль железнодорожного пути, и выстроить их на заводском дворе для полной ясности.

Солончаковое озеро выглядело сказочно. Ветви кустарника, погруженные в его воды, обросли солью и были как кораллы; побережье озера, выстланное стеклянкой скорлупой соли, блестело и переливалось многоцветно под лучами солнца, как бы отделанное алмазами, и вода его была розоватого оттенка, словно само солнце растворилось в нем.

Загорелый, тощий, долговязый, с головой, обвязанной полотенцем, как чалмой, сидя на циновке, по-восточному скрестив ноги, Игнатий Степанович Ключков походил на факира.

Почти у самых его ног возлежал генерал, блаженно широко раскинув руки и ноги и плотно зажмурившись от лучей палящего солнца.

Внимательно оглядев мощную белотелую генеральскую фигуру, Ключков спросил:

— И не щиплет?

— Кто?

— Вода.

— А почему?

— Уж очень вы основательно расписаны ранениями, кожа на шрамах должна быть особо чувствительна.

— Ничего, замозолились,— сказал генерал. Подрыгал ногой и укороченной ступней, сказал: — Только здесь маленько чувствительно. Но, говорят, полезно.

— Смотрите, спалитесь.

— Шкура на мне прочная, не облезет.

— Хоть голову прикройте.

— А на мне шевелюра лучше всякой шляпы.

— Здесь уток много. Вы не охотник?

— Не переносу вида крови, сразу тошнота, да и всего живого жалко.

— Для военного такая сентиментальность не очень, знаете ли.

— Ничего, пока войны нет, недостаток терпимый.

— А может быть?

— Что?

— Война.

— Так войны начинаются с чего обычно? Переоценивают свою мощь и недооценивают противостоящую.

— А если есть реальное превосходство?

— У кого?

— Ну вот в ядерном оружии?

— Если вы имеете в виду их, то еще надо иметь, чем его добросить.

— Авиацией?

— Дальний стратегический бомбардировщик — громоздкая штука. Если вы охотник, то поймете, — он пока как гусь против ястреба: истребитель его сшибет и с земли огнестрельным достать можно. Как говорят хозяйственники, нерентабельно.

— Может, еще и шапкой сшибить можно? — иронически осведомился Ключков.

— Шапкой ударной волны от ракетной боеголовки — вполне.

Генерал сел и пристально поглядел в глаза Ключкову:

— А вы что, за сеялками и веялками свою последнюю систему совсем забросили?

— С сеялкой я, собственно, потерпел неудачу, — уклончиво ответил Ключков.

— Чего же так? Вы для нас бог-создатель, и вдруг такое творение не удалось!

— Из абстрактных решений исходил, аграрного опыта нет, ну и сфантазировал, как правильно кто-то сказал, беспочвенно!

— Бывает, — сказал генерал. Предложил: — Искупаемся?

Лежа в тугой воде, словно в гамаке, они колыхались рядом, зажмурив глаза, чтобы не попадала в них соль.

Генерал, не открывая глаз, сказал:

— Игнатий Степанович, а ведь я прибыл к вам как искушитель-соблазнитель.

— Что вы имеете в виду? — не раскрывая глаз, сонно и безразлично спросил Ключков.

— Да вот насчет гусей. Сегодня он пока гусь, а завтра может быть чем-нибудь более хищным и такое яйцо обронит, что на том месте жареной яичницы не останется — пепел.

— А говорили — гусь!

— Так все совершенствуется в природе. Бегали мы когда-то волосатые, на четвереньках. А теперь в вертикальном положении передвигаемся. Не хотелось бы снова на четвереньки становиться.

— Вы это к чему?

— А к тому, что был у человечества такой понедельник, после того, как в конце второй мировой войны прошел праздничный день — воскресенье, девятого мая. Понедель-

ник, шестое августа 1945 года! Такую черную дату знаете? Так вот, в сей день, или, точнее, в восемь часов утра и пятнадцать минут этого дня самолет, пилотируемый летчиком Клодом Изерли, достиг японского города Хиросима. Ну а дальше вы сами знаете.

— Да, совершилось подлое преступление! — воскликнул Ключков, в волнении забыв, что он в воде, хотел встать и погрузился в воду.

Генерал вежливо подождал, пока Ключков отплевывался, отфыркивался, тер глаза, потом сказал насмешливо:

— В ответ на угрозу ядерной войны наше бесстрашное население бросилось запасаться спичками, мылом, солью, керосином — так сказать, есть у кого брать уроки реалистического оптимизма.

— То есть? — сердито спросил Ключков. — Что вы имеете в виду?

— Вас, — беспечно заявил генерал.

— А чем, по-вашему, я запасался? Тоже этим самым? Извините, но я не привык.

— Да вы не обижайтесь, — простодушно сказал генерал. — Системка-то ваша жить просится, а вы ее под сукно! А мы ее, хоть и в одном первичном экземпляре, еще на фронте возлюбили.

— Откуда вы ее знаете?

— Пулял, дозволили, — усмехнулся генерал. — Нужно, знаете ли, приспособление, весьма дальнобойное, разрушительное и устрашающее. Дым, пламя, как все равно извержение под ногами. Это у самой установки, а в конечном ее соприкосновении с целью — эффект бесподобный.

Ключков сказал, несколько польщенный, но все-таки сердито:

— Это весьма крупный ее недостаток — чрезмерная огневая вспышка при посыле и недостаточная точность в наведении. Но, по существу, это был только зародыш идеи.

— А в младенчика он не подрос?

— До некоторой степени.

— Познакомите, а? — жалобно попросил генерал.

— С кем, собственно?

— С младенчиком! Может, подрастим и вроде сына полка возьмем на армейский кошт.

— Это в каком смысле?

— В обыкновенном. Возглавите научно-исследователь-

ское конструкторское бюро с полигончиком в отдаленной местности и воспитывайте, растите нам всем, армейским, на случай от всевозможных превратностей и всяких непрошенных залетных предметов в наше небесное пространство.

— А почему вы так странно со мной разговариваете? Я привык, знаете ли, к соответствующему уровню, когда говорят о предмете моих познаний в определенной области.

— Так ведь это я нарочно,— признался генерал,— чтобы вы сразу поняли. С нашей стороны никакого вмешательства. Вам полный карт-бланш. Что хотите, как хотите, когда хотите. Мы только к вашим услугам.

— Из деликатности?

— Из хитрости,— сказал генерал.— Чтобы сразу стало ясно: мы вам — все, а вы нам, как получится.— Произнес с лукавинкой: — Кое-чем подходящим мы уже располагаем. Поспешать особо нечего. Но рыбка ищет, где глубже, а человек — где лучше. А путь к совершенствованию безграничен. Так как? — спросил генерал.

— Что как?

— Значит, договорились?

— А почему вдруг такая стремительность и нетерпеливость?

— Так ведь командировочные идут, а загорать — я на курорте не загорал, и здесь тоже не пристанет. Только если из-за вас опалюсь, слезет шкура, соберу в конверт — и вам на память презент.

— Все-таки почему вы такой искромсанный? — спросил Ключков, не желая отвечать на прямо поставленный вопрос.

— А все по этому самому, из-за вас лично,— усмехнулся генерал.— Выпустили бы с самого начала войны свою шутовину серийно, а не под конец, был бы я парень весь целенький, гладенький.

— Ну уж,— сказал Ключков.

— Абсолютно так. Как новая усовершенствованная боевая техника приходит, мы сейчас санбатам команду — сворачивайте часть коек. Потерь будет значительно меньше, чем по прежней технике было подсчитано.

— Шутите!

— Шучу, но со смыслом,— сказал генерал.— В наших руках сильное оружие — это не только средство нанесения удара. Но сам факт его существования может предотвратить необходимость применения оружия, потому что предполагаемый противник не дурак, чтобы с шальной головой,

не подумав, во что ему это обойдется, на нас кидаться. — Спросил развязно: — Понимэ? — Пояснил смущенно: — Это мой командир огневого взвода так любил выражаться, обращению с сорокапяткой. Шлепнет по фашистскому танку снарядом, обернется, спрашивает: «Теперь понимаэ?»

— Ну если ваш взводный при таких обстоятельствах подобным выражением пользовался, такой термин принимаю, — согласился уже было обидевшийся Ключков и добавил благосклонно: — А вы мне нравиться живостью характера.

— Не столько от противника принимал страдания на фронте, сколько вот от такого характера, как вы ему диагноз поставили: сангвиник! Но ведь это лучше, чем холерик или меланхолик.

— Лучше! — твердо сказал Ключков. — Гораздо лучше! И я, позвольте вам сообщить, сам сангвиник и крайне несдержанный при некоторых обстоятельствах бываю... Холерик.

— Ну, чего там? Поладим, — проговорил генерал. — Лишь бы не меланхолик. Вот кого не люблю, так не люблю.

Вернулись на берег и, не обсыхая, не обтираясь, пошли под навес и сели за стол.

Потягивая кумыс, генерал сказал:

— Очень одобряю этот напиток — и полезный, и, если сильно им напuzиться, — как сто грамм, фронтовая норма.

Склонился, доверительно спросил:

— А супругу вашу тоже надо агитировать? А то я для этой цели свою привез — она умеет.

— Позвольте, но еще нет моего окончательного решения.

— Значит, предварительное имеем. Все! Вполне удовлетворен, — сияя, генерал стал озираясь, объявил: — Хотел бы тостик двинуть, коньячок прихватил. Может, сбежать?

— Нет уж, пожалуйста, кумысом! — попросил Ключков, хоть в этом не уступив настойчивой наступательной энергии генерала...

Вечером они вышли погулять при луне, и озеро серебристо светилось все, как расплавленная луна, от берега до берега. Генерал сказал поспешно:

— Природа — всегда красота.

И, не отрывая глаз от лица Ключкова, изменившимся сухим и отчетливым голосом точно, ясно стал докладывать

об оборудовании научно-исследовательского конструкторского бюро, проявив такие тонкие и обширные технические познания, что в конце концов Ключков развел руками и спросил:

— А вы сами инженерным творчеством не занимаетесь?

— Ну что вы! — с какой-то даже досадой сказал генерал. — В пределах обязательного ныне по должности и званию смыслу, а дальше ни-ни. Серое вещество лимитирует. Если повысят, дополнительно, что положено, одолею. Сейчас в армии такой уклон — в инженерию и высшую технику. Если демобилизуют, вполне можно и по гражданской линии начальником цеха или даже дальше продвигнуться. В армии будущего, твердо считаю, без высшего образования даже младшим офицером не удержаться. И главный задел для будущего — знания. Чем полнее и совершеннее они будут, тем армия будет подготовленнее. Такой задел у нас и совершается. Нас не тронь, и мы не тронем. Лозунг самый надежный и устойчивый.

— Но ядерного оружия у нас пока нет.

— А кто его знает, кто над чем у нас работает? — усмехаясь, на известный мотив пропел генерал. — Мое дело, я вам доложил, преодолевать любые дальние расстояния в наикратчайшее время способами, и вами примененными в вашей установке, и иными, еще разрабатываемыми и уже опробованными довольно-таки эффектно. Так что арена для соревнования весьма широкая. Надеюсь, ваша фирма будет и на наивысшей высоте, и на наивысшей дальности.

— Скажите откровенно: вы сомневаетесь в устойчивости мира на земле?

— Отнюдь, — сказал генерал. — А мы-то с вами для чего? Для безопасности. На всякий пожарный случай. — Показал рукой на коттеджи. — Вон! Видали? Для чего-то огнетушители повесили, хоть и вода рядом. Вот и мы с вами должны их иметь в полном комплекте.

— Позвольте, а как же завод? Я же возглавляю конструкторское бюро.

— А со мной полковник Гарбузов прибыл, вооруженец. Раньше на Сельмаше конструктором работал. Скинет мундир, с вашего разрешения, и в партикулярном облики приступит ко всему тому, что он на Сельмаше делал. Завод знаменитый. Высокая марка!

— Но, позвольте, Алексей Сидорович Глухов для моей

установки специальный участок в инструментальном цехе выделил, и лучшие, изумительные мастера, с которыми я сюда прибыл, уже над ней работают. Как же так — сразу брошу?

— Ох этот Глухов! Как был оруженцем, так и прилип и отлипнуть не желает, — досадливо произнес генерал. — Ну ладно, на месте посмотримся, поторгуемся с ним — может, кого из людей уступит.

— Но предприятие понесло уже определенные затраты.

— Ого, хорошо деньги считаете, — одобрил генерал. — А то ведь мы все какие? Любим, чтобы подешевле да получше. А вы, конструкторы, обычно денег не считаете — мол, это дело бухгалтера, давай, и все.

— Но если вы собираетесь лимитировать? — заторопился Клочков.

— Поторгуемся, — сказал генерал, — как цыгане. Вы миллион потребуете, мы — половину. Хоп-шлеп по ладошкам — и сладим.

— Миллион? Из каких же расчетов такая сумма складывается? — деловито осведомился Клочков.

— Ну, раз о деньгах заговорили, значит, окончательно договорились. Руку, — потребовал генерал.

Но Клочков не решался протянуть руку, сказал строго:

— Но все-таки вы еще раз расскажите мне подробно об оборудовании.

— Реестр привез, инвентарную опись. Кроме мебели, все записано! — объявил генерал самодовольно. — Человек без инструмента что может? Ничего. С инструмента и человек начался. Так в антропологии, по слухам, написано.

Генерал всю ночь не мог уснуть от ломоты в переломах, от зуда в рубцах и швах. Одевшись, он вышел к озеру и, прихрамывая на укороченную ступню, побрел по тропинке, кольцевавшей озеро. Глаза его запали от боли, от сановитой стати и выправки не осталось и следа. Он брел, спотыкаясь, ссутулясь, кряхтя и поеживаясь.

Потом он сел на бревно, густо присыпанное соленой чешуей, и стал покорно и печально глядеть на озеро. Часть его окрасилась розоватой полоской рассвета, другая, еще голубая, в звездах, лежала, как кусок светящегося ночного неба. На отмелях бродили цапли, нырки, и в отдалении

величаво плыла лебединая пара, словно белые паруса, движимые ветром. Лебеди бесстрашно приблизились и, заплетаясь шеями, стали оглаживать друг друга клювами, желто-розоватыми, словно слепленными из воска.

Глядя на них, генерал заулыбался, поцокал губами.

Лебеди вскинули тревожно шеи, прислушались, потом стали снова нежно прибирать друг друга, оглаживая друг друга оперение. И, прерывая это занятие, оглядывали себя, словно любуясь собой и друг другом. И пушинки, падающие с них, плавали на воде, словно крохотные, малюсенькие лебедята.

И хотя стояли тишина, безмолвие, в движении этой лебединой пары генерал увидел музыку. Пришла она зрительно и потом возникла в нем самом.

Но, поскольку генерал считал себя чуждым всякой сентиментальности, он тряхнул головой и сказал вслух, удивленно:

— Вот, поди ж ты, мерещится! Как все равно ненормальный!

И музыка исчезла. И тут генерал вспомнил другого генерала, которого он знал генералом, когда сам был только комбатом. И тот генерал как-то сказал ему:

— Музыка возвышает человека. Формирует его эмоциональную культуру, делает тоньше, восприимчивей.

На что генерал, будучи тогда комбатом, бодро ответил:

— Так точно. Но я больше люблю, когда дивизионная артиллерия своим огнем мой батальон сопровождает. Лучше такого оркестра нет.— И спросил: — Могу рассчитывать завтра на такую музыку?

Генерал упрекнул его:

— Не надо ничем бравировать в жизни. Война может ожесточить, но не оглупить. А ни то, ни другое к нам не применимо.

...А сейчас нате вам! В безмолвной тишине, в мерном движении лебедей сначала увидел, а потом услышал музыку. Такого от себя генерал не ожидал. И даже потрогал ладонью лоб, не поднялась ли температура, что обычно сопровождало его недомогание, когда он пренебрегал своим здоровьем, как пренебрег сегодня.

Он сидел на обсоленном бревне и смотрел то на небо, истекающее светом, то себе на грудь под распахнутой пижамой, где виднелся сизый рубец с нежными точечками швов. Когда он получил эту осколочную рану, она была глубокой, страшной. И он подумал, какое здесь солнце,

подобное своей яркостью гигантской операционной лампе, и вспомнил хирурга Ивана Яковлевича, который, ткнув пальцем ему в пупок, спросил:

— Это пулевая скважина или так всегда было? — Потом заявил, словно обижаясь: — Вы не обязаны смеяться каждой моей остроте. Но даже не улыбаться? Простите, но это хамство.

И в этот момент что-то холодное, твердое коснулось его в глубине раны. Он вздохнул, чтобы обругать хирурга за боль, вздохнул через марлевую маску и очнулся, снова увидел склоненное лицо Ивана Яковлевича, который говорил ему насмешливо:

— Привет Лазарю! — Потом произнес на ухо: — У вас сверхъестественно красивая супруга, а вы все под огонь лезете. Я обещал ей ничего лишнего у вас не удалять. Но предупреждаю последний раз. — Заметил деловито: — Кстати, вы третий раз на стол ко мне лезете. Таким образом, выходит, выражаете свою привязанность ко мне?

И, говоря все это, быстрыми, приткими пальцами ощупывал ему шейные позвонки, спину, голову... И видно было, как Иван Яковлевич утомлен. Под ввалившимися глазами темные пятна, словно тени от темных очков. Но стекла в его очках были светлые.

И он, оглядывая его тело, говорил, как всегда иронически, задиристо:

— В человеческом организме всего-навсего содержится три — пять граммов железа. Но для солидности, для возможного, как и у меня, генеральского чина я вам оставил кое-что для служебного веса — зарастет тканью, беспокойства не будет, просто сувениры для памяти.

И он, генерал, никогда не чувствовал в себе этих осколков. И только видел их на рентгеновских снимках, присланных ему однажды от Ивана Яковлевича с шутливой надписью: «Если вам такая начинка не нравится, заходите, возьму обратно и без очереди. Ваш И. Я.».

Иван Яковлевич умер от инфаркта после того, как он оперировал летчика-испытателя в течение пяти часов, борясь за его жизнь, собирая, сшивая разломанное, разорванное его тело.

Он вышел из операционной, шатаясь, бессильно опустился на стул. Спросил сестру:

— Вы видели фильм ужасов, как сумасшедший хирург создает из мертвых кусков трупа живого человека? Нет? Так вот сегодня это сделал я! — Слабо вздохнул, охнул

с виноватой улыбкой и сполз на изразцовые плитки пола предоперационной...

Но воскресить Ивана Яковлевича, как он воскресил летчика, уже никто не мог.

На фронте Петухову проще было угадывать характеры людей — и потому, что все всегда вместе, и потому, что в бою ярко вспыхивает все скрытое, не замеченное доселе в человеке. В бою — все наружу: и низкое, и высокое, и такое высокое, чему нет меры.

Вплотную, один на один, со смертью в человеке гибнет любое притворство, и он становится таким, каким себя даже не знал, и другие тоже его таким не знали.

Мера человека была — поведение в бою.

А здесь, на заводе, на первый взгляд все было каждодневно, однообразно, как и сам труд.

После работы у людей начиналась другая, своя жизнь — дома, малоизвестная Петухову. Приходя домой, оставаясь вдвоем с Соней, он всегда ощущал жизнь как ежедневный праздник — быть с Соней.

И бытовые трудности, которые испытывали все семейные, проходили мимо Петухова и казались не трудностями, а вполне нормальными условиями жизни, потому что другой жизни он не знал, кроме армейской, и сравнивать мог только с армейской, где властвовал равноправный порядок, нарушаемый только боевой обстановкой. Но вот что стал замечать Петухов. Приходя в цех, самые сварливые и строптивые, раздраженно высказывающие всяческие, справедливые и несправедливые, неудовольствия и во время перекура ядовито поносящие заводские не порядки и ближайшее свое начальство, — эти люди, как только становились к станку или к слесарному верстаку, делались совсем иными. Лица обретали умиротворенное выражение и то самоуглубленное, сосредоточенное спокойствие, исполненное воли, решительности, которое обычно ищут скульпторы, чтобы запечатлеть самовластное величие творца, присущее какому-нибудь великому деятелю, а если оно не присуще, то стремятся придать ему таковое, чтобы убедить людей в его исключительности.

Но это было всеобщим в процессе работы выражением людей труда, тонко владеющих своей профессией, открыва-

ющих в ней своим мастерством столько потаенного, что всех их следовало считать личностями незаурядными. И поэтому, как бы ни были они неудобны своими колючими характерами, относились к ним всегда терпеливо и даже с некоторым благоговением из уважительности к их мастерству.

Когда они собирались кучкой вместе, вся колючесть, строптивость исчезала бесследно.

Они становились чрезвычайно благовоспитанными, необыкновенно вежливыми, взаимопочтительными. О политике рассуждали серьезно — как политики. О неполадках заводских и жизненных судили соразмерно с теми трудностями, которые переживала в послевоенное время страна. И в таких беседах равных с равными считалось неприличным сетовать на собственные неурядицы.

Инженерно-технический руководящий состав они делили на две категории. Одни хорошо разбираются в технике, любят и понимают ее, но слабо знают людей и плохо их организуют. Другие, напротив, и организаторы, и с людьми в контакте, но не любопытны к технике и боятся ее трогать чем-нибудь новым, лишь бы она работала согласно приложенной заводом, ее изготовителем, инструкции.

Поэтому кадровые рабочие хорошо знали, о чем следует толково говорить и что спрашивать с того или иного руководителя цеха.

И, зная их плюсы и минусы, могли того руководителя, который хуже разбирается в технике, поставить своими вопросами в тупик, а того, кто хорошо разбирается только в технике, но не в людях, справедливо упрекнуть в неправильной расстановке рабочей силы, в неумении подметить вовремя, что тот или иной уже превосходит работой свой сегодняшний разряд.

И чтобы войти в доверие к таким высоким мастерам, нужно было на их уровне постигнуть свое дело.

Петухов слышал, как однажды Ключков сказал молодому конструктору:

— Важнейшее свойство внимания — концентрация и устойчивость, способность отключить сознание от всего несущественного и сосредоточить на главном.

Вот это свойство внимания он видел воплощенным в работе таких мастеров, как Зубриков, Золотухин, и других, им подобных.

Когда их застигал в работе обеденный перерыв или даже конец смены, умиротворенное, самоуглубленное вы-

ражение сменялось другим. Словно очнувшись, они сначала озирались недовольно и недоумевающе: чем, мол, вызвана машинная тишина, почему суета в цехе, разговоры? Подобное недовольство Петухов замечал в клубе, если спектакль был хороший, увлекший людей, и вдруг — антракт.

Отходили от станков не сразу. Чего-то прибирали, а перед самым уходом быстрым ласкающим движением ладоней касались обработанных деталей, не то пересчитывая их, не то испытывая странную жалость, расставаясь с ними.

Такое же недовольное выражение лиц он видел у них, когда подсобники забирали готовые изделия.

Приносили заготовку сложного профиля и к ней чертежи, и сам технолог, зябко поеживаясь, говорил сердито:

— Конструкторы навывдумывают черт знает какую конфигурацию, а как ее резцом взять, на нас взваливают.

— Ладно, — заявлял Золотухин, — поколдую! — Долго смотрел на чертежи, говорил решительно: — Бумага! — И, медленно ворочая деталь, ощупывал ее пальцами внимательно, чутко, словно слепец. Собирал инструменты заново, по-своему затачивал. Долго налаживал станок. Потом снова щупал деталь, и на лице его при этом сменялось множество выражений: горечи, недоумения, подозрительности, радости, сомнения и, наконец, высокомерной самоуверенности, после чего он устанавливал деталь. Впервые осторожно касался ее режущей кромкой специально выбранного инструмента. Такую же быструю и богатую смену чувств и мыслей Петухов запомнил на лице хирурга Ивана Яковлевича Селезнева, когда тот тщательно обследовал рану, прежде чем приказать сестре подать нужный инструмент.

Когда Золотухину поручали обработку сложной и ответственной детали, обедал он наскоро. С озабоченным выражением лица поспешно возвращался в цех, ни с кем по пути не разговаривал, становился нелюдимым. Прежде чем встать к станку, с такой же тщательностью, как хирург Иван Яковлевич, мыл руки, и весь станок его был особенно чисто прибран.

И каждый раз после перерыва он вынимал уже полуобработанную деталь, снова ее ощупывал и закреплял заново, будто кто-то в его отсутствие мог потревожить ее центровку.

И если закуривал, то не у станка во время работы.

Остановив станок, отходил в сторону, курил, глядел на станок и на блестящую в нем деталь и все думал о ней, жадно куря.

Закончив обработку, он не позволял забирать деталь, а сам после смены относил ее в кладовую и тревожно следил, как кладовщик кладет ее на стеллаж, предупреждал: «Я тебе ее стукну!» — и показывал увесистый кулак. После этого лицо его обретало потерянное, унылое, скучающее выражение, словно кто-то его обидел или кто-то из близких уехал из дому, а он о нем тоскует.

И никакие похвалы и обещания премии за исполненную работу не могли его сразу вывести из такого удрученного состояния, потому что никто, кроме него самого, не мог понять, сколько душевного тшания он отдал этому изделию. Но когда равные ему по мастерству замечали кратко: «Глядели твой кроссворд, хитро справился», — скулы Золотухина розовели, поперхнувшись, он долго откашливался, замечал смущенно:

— Помудровал маленько! — И чтобы сделать приятное похвалившему, протягивал кисет, предлагал: — Из моего сверни, сам из листа нарезал. А то от махры глаза щиплет. При тонкой работе глаз и без того от напряжения слезой заливают. Курю тогда такой, который помягче.

— А ты чего сегодня не в сапогах, а в тапочках?

— Ногам упорнее.

— А в майке? Не лето же?

— В спецовке рукава длинные, широкие, подвернул, манжет получился толстый, рукам свободы нет.

— Со своим мылом ходишь?

— Казенным вымоешь, а рука все равно сальная. Цепкость не та.

— Это правильно.

Получая потом рядовую работу, Золотухин долго не расставался со скучающим выражением на лице. Он никогда не вносил по надлежащей официальной форме свои рационализаторские предложения, но новых приспособлений придумал немало. Говорил небрежно тем, кто в таком приспособлении нуждался:

— Возьми у меня из шкафчика шутовинку, вставишь — кромку разом обрежешь и канавку проточишь, — и отходил, будто так, между прочим, только закурить предложил из своей пачки.

Петухову он объяснил довольно своеобразно, почему рабочий человек должен не только тем, что для него придумал

мали, пользоваться, но и по-своему, по-рабочему свое придумывать.

— Технолог, он в целом процесс мыслит — по правилам науки и техники и их возможностей. А лишний труд кто любит? Только дурак бессмысленный. Если ты не дурак бессмысленный, избавляйся от лишнего труда, когда свой труд чтешь, уважаешь. А как? Если ты на работе каждое свое шевеление осмысливаешь, значит, дойдешь — зачем тебе лишний раз резец сменять, когда можно их несколько в оправку вставить? Повернул — и все. И мерный инструмент — какой способней? Такой, конечно, которым можно деталь в процессе обработки замерить сразу по нескольким параметрам, — комбинированный. Вот ты и время выигрываешь, и свое спокойствие сберегаешь, что лишней поверхности не снимешь, на тонкой бояться не будешь, что запорешь, и лишний, зряшний раз не утруждаешься. Каждым новым станком инженер чего хочет? Старый превзойти. А человек за станком чего хочет? Себя сберечь на самое нужное, а ненужное своей придумкой устранить. Только и всего.

Добавил наставительно:

— Если каждый день на работе про свою работу думаешь, то они, эти дни, получаются пестрые, разные, если, конечно, что-нибудь эдакое от себя в них присунешь, свое собственное, тогда интерес, азарт. — Помедлил. — И других тоже приятно обставить. Работа, конечно, — это тебе не физкультура. Труд! Но тоже можно себя показать, на что ты способен каждый день, а не по праздникам.

Сказал задумчиво:

— В годы войны на всех горе висело. И сейчас тоже немало осиротевших. Войдут в цех, лица нет, губы обкусанные, глаза, как ямы, проваленные. А встанут к станкам, как в забытье окупутся, вникают, как все. Кончится смена, еле ноги волокут, понурые, снова в горе свое кидаются.

Для настоящего рабочего труд — это, конечно, не развлекательное удовольствие. Но полное удовлетворение — чувствовать себя на земле существенным человеком, без которого ничего не будет, только одно запустение. И что на ней — твое собственноручное изделие и всех таких, как ты, которые есть и которые были. — Заметил строго: — И на войне без рабочего умения, сознания, мастерства тоже много не навоюешь. Кидали вам технику, понимали — кому даем, старались, чтобы было получше, безотказнее, прочнее, вкладывали ей ума...

Петухов помнил, как на приданной его батальону батарее бойцы орудийных расчетов, получив новые системы, тщательно обследовали их, восхищались меньшим весом, но при этом увеличенной дальностью и полуавтоматическими заряжающими устройствами.

— Вот это нам угодили! — ликовали солдаты. — С такими воевать — красота, удобство, сила! Совсем безотказная пушечка. Бей, как из винтовки, с одного прицела, очередями. А ведь — орудие! Поглядишь со стороны — любованье!

И когда на этой батарее сначала разбомбили стоявшие в капонирах тягачи, а потом на нее пошли танки, сопровождаемые автоматчиками, Петухов повел свою роту на выручку и в страшном рукопашном бою отбил батарею. Полуживые, израненные, истекающие кровью артиллеристы, обессиленные, изнемогающие, переругивались слабыми голосами с санинструкторами, подползали к орудиям, чтобы осмотреть повреждения, и сердито осведомлялись:

— Где орудийный мастер? Почему не привели? А то отвезут на ремонтный завод — и жди, когда свое обратно получишь. Могут и в другую часть сдать. Надо бы «летучку» вызвать, чтобы на месте восстановить.

А то, что подорвали два фашистских танка и они почти нависли над огневой позицией, — этот свой подвиг они не считали особым подвигом. Их волновало, что у одного из орудий ствол почернел, окраска спеклась. Было видно, как раскаленный ствол источает прозрачные струи горячего воздуха, и, хотя замок был открыт для охлаждения и на стволе висели, как мокрые тряпки, облитые водой гимнастерки, солдаты беспокоились, не повредился ли орудийный ствол из-за чрезмерного количества выпущенных за столь короткое время снарядов, и виновато объясняли:

— Позабылись, уж очень удобно было с полуавтоматом заряжающего устройства работать. Лупим и лупим! А может, по инструкции так нельзя, без передыха? Любой металл, он тоже строгую возможность имеет.

И говорили, горячася, о таких тонкостях, которые доступны лишь пониманию тех, кто мог сам сделать такое оружие, и, значит, в подобном рабочем мастерстве они были сами достаточно сильны еще до войны...

Понятие овеществленного труда у кадровых рабочих жило глубоко и широкоохватно. Они уважали в металле не только сработанные из него собственноручно изделия, но

и сам металл как таковой, весь тот изначальный труд, вложенный в него добытчиками, доменщиками, сталеварами, прокатчиками, литейщиками, кузнецами, штамповщиками и всем множеством людей разных профессий, имеющих соприкосновение с металлом.

Тяжесть металла они ощущали как весомость вложенного в него труда. Беря заготовку, считали себя как бы доверенными восприемниками всех тех, кто вложил в заготовки долю своего труда и, значит, какую-то частицу своей жизни. И вовсе не потому, что плакаты и газеты призывали к бережливости, к экономии металла, просто они были благоговейно скаредны на каждый излишний расход его.

Они уважали и ценили металл как нечто очеловеченное, как вещество, исполненное тяжести труда, в него вложенного. И новоприбывшие на завод не сразу постигали, почему пожилой, солидный рабочий высшей квалификации, увенчанный орденами, вдруг багровеет до синевы и орет в гневе и ярости на новоприбывшего, который, заповров копеечную заготовку, чтобы не подвергаться сраму, исподтишка забрасывает ее под инструментальный шкафчик.

Кадровые рабочие не брезговали копаться в металлоломе для мартенов, как мусорщики. Обнаружив еще годную шестеренку, втулку, обломок легированной стали, приносили в цех и отдавали ремонтникам, чтобы те по своему усмотрению приспособили найденное.

Они вели давнишний бой с излишними припусками в заготовках. Собирая стружку после обработки детали в бумажный сверток, клали его на весы против обработанной детали, вызывали технолога, конструктора, спрашивали злоуще:

— У вас совесть есть? Вот выписать бы вам всем только полполучки, чтобы почувствовали, если по-другому не доходит.

Обучающимся внушали рыдающими голосами:

— Ты заготовку не грызи, не долби резцом, а стругай ее, ну как карандашиком ножичком затачивают. Не дери стружку, а снимай ее осторожно, не на силу бери, а от души. Чувствуй поверхность, как кожу свою чувствуешь. Металл, он на грубость, на силу не поддается. Он отвечает на мягкое обращение с пониманием.

Хорошие мастера, получив в кладовой режущий инструмент, заново, по-своему его затачивали, доводя углы до

той геометрической точности, которая подвластна только лекальщикам.

После тягостных сомнений, подобрав наконец себе сменщика, такой мастер не только привередливо принимал после работы у него станок, но и, задерживаясь после своей смены, искося, мнительно откуда-нибудь со стороны наблюдал, как сменщик справляется.

Движение скоростников, поддержанное администрацией завода, было вначале холодно встречено самими опытными мастерами. Зубриков говорил:

— Если с умением — можно, а без умения, на одном энтузиазме, — это только станки раздолбать. Значит, что? Прежде чем на публике обязательство брать, под хлопки ладошками, докажи сначала, что умеешь. Тогда поверю, что можешь. Допускать на скоростную обработку надо после проверки на устойчивое понимание техники. А то за месяц такой рабочий весь сок из себя выжмет. Удивит сверхнормами, а потом спикнет. Станок, допустим, выдержит. А ты при нем выдержишь? Своя пружина не ослабнет? Вызывающий должен соображать: если берем повышенный темп, значит, не как на временную пробежку. На все время себе такую скорость заказываем, как узаконенную норму. А не просто — порыв, не «ура».

И опытные мастера добились, чтобы переходу на скоростные методы обработки предшествовали и сопутствовали курсы повышения квалификации, руководимые практиками.

Это были самые влиятельные люди на заводе. Избранники заводского коллектива не только на почетные места разного рода президиумов, но и на ответственное положение в партийных, общественных и государственных организациях. По существу, это была власть завода, хотя и без персональных кабинетов, без табличек с указанием звания и высокой должности. Потому что должность оставалась при всех обстоятельствах неизменной — рабочий.

Если Игнатий Степанович Ключков, создав новую конструкцию и получив одобрение сверху, терзался тревожным беспокойством до тех пор, пока знатоки своего дела не разберутся с рабочими чертежами нового изделия и не проверят, не испытают в металле и не одобрят их, то Алек-

сей Сидорович Глухов, получив сверху категорическую директиву на быстрейшее и сверхсрочное увеличение выпуска той или иной продукции, прежде чем обнародовать столь же категорический приказ об этом уже за своей подписью, строго поодиночке расспрашивал лучших мастеров об их собственных соображениях по этому поводу.

Вооружившись такими высказанными ему соображениями, Глухов выступал на общезаводском совещании самоуверенно, властно, уже не опасаясь того, что его обстреляют разного рода сомнениями и критическими замечаниями. И он мог сам неотразимо критиковать других, опираясь на критические замечания, предварительно высказанные ему в интимных, как будто так, между прочим, возникших беседах с глазу на глаз.

Этот метод упрочения своего авторитета Глухов никому не раскрывал, но постоянно пользовался им. Вслух приписывал благотворные его результаты якобы особым качествам своей личности, себе как руководителю и не прочь был иногда именовать рабочий коллектив массой.

Что касается самих рабочих-советчиков, то они не обладали авторским самолюбием, и когда Глухов пересказывал их советы директивным тоном, придавая им форму приказующую, от своего имени, рабочие одобряли и директора, и грозный, повелительно командующий его голос, потому что считали, что это полезно для внушения всем и каждому и, значит, для безоговорочного исполнения.

Они знали, что дисциплина в труде — это как правдивость в человеческом характере: составляет основу его прочности, надежности, и поэтому считали, что повелительность руководителя необходима для упрочения коллектива, словно металла под высоким давлением, не подозревая того, что, когда они сами казнили презрением недисциплинированных, подвергнуться такой ковке на летучках люди опасались больше, чем любых приказов администрации о взысканиях.

Ответственность возвышает человека, а так как они на заводе чувствовали себя ответственными за все, были его костяком, опорой. Тем, что в архитектуре называют несущими колоннами.

О человеке они в первую очередь судили по его работе. Поэтому Петухов вначале чувствовал себя в цехе как пополонец среди обстрелянных, опытных фронтовиков.

Во всяком случае, ему легче давались знания на заочном отделении института, чем безграничные тонкости

профессионального рабочего мастерства, которым нет предела.

Он с большим удовольствием показывал Соне зачетную книжку с отличными отметками, чем трудовую книжку, в которой стояло: слесарь второго разряда.

Саид Нугманов, сияя глазами цвета бронзы, рассказывал Петухову:

— Пришел с фронта, спрашивают: «Кем был?» — «Старший сержант в огневом взводе противотанковой батареи». — «Иди тогда в горячий цех». — «Почему?» — «Туда все фронтовики идут». Пришел, понимаешь, — страшно. Все равно как на огнемет со штыком. — Спросил Петухова: — У тебя национальное чувство есть? Мы что тут производили — хлопок, рис, хлеб, фрукты. И еще скотоводством занимались. А тут — сталь! Было когда-нибудь? Не было. Ты русский, ты этого не понимаешь. Приезжаю домой, на том месте, где я баранов пас, — завод! Был чабаном, стал сталеваром. Это как у вас такое чувство называется?

— Ну, стал рабочим, — сказал Петухов.

— Не «ну»! У нас сталеваров не было. Такого завода не было. Там, где я со своим отцом овец пас, завод стоит. Понимаешь теперь мои чувства?

Свод печи как-то осел. Получился выброс металла. Это все равно как по тебе прямой наводкой — огонь! Я растерялся, обмер. Старший сталевар Сережа Попов с разбегу меня отшвырнул от печи. Его расплавленным металлом задело, а меня нет.

Вернулся он из больницы. Пришел к нему с женой, детьми, родственниками — благодарить, на плов звать, чтобы уже при всех соседях, на виду у всей улицы еще раз поблагодарить. А что мне Сережа сказал? «Ты, Саид, не суетись. Ничего такого особенного не было. Вот если б я, как старший сталевар, зазевался, то на всю б свою жизнь рабочую человеческую честь потерял. Ты с этой стороны к случаю подойди, потому что под твоим началом тоже малоспытные работать будут, и ты за них обязан своим здоровьем отвечать, пока не научатся».

А почему он со своей, лучшей печи на другую ушел? Мне место уступил! «Зачем, — говорю, — Сережа, бригаду на меня бросаешь? Я еще несамостоятельный».

«Так будешь! — он сказал и объяснил, почему надо: — Мы, русские, сталь давно варим, еще с тех пор, как вы плов начали варить, — значит, надо вам быстрее обзаводиться

своими мастерами-сталеварами. Как без плова сытым не будешь, так и без стали — сильным. Котел-то у нас во всем всеобщий. Ну вот и надо, чтобы со всех сторон сталь в него текла».

И он мне нашим же старым изречением свету прибавил. «У вас, — сказал он, — в народе говорят: люди, соединившие судьбу, — это крылья одной птицы. Если оба крыла одинаково сильны, птица может летать высоко. — Потом улыбнулся. — Ну как, прозрел, каким способом нам всем в гору идти?»

Саид помолчал, произнес задумчиво:

— А улыбаться ему было больно, лицо не зажило после ожогов, когда металл из печи выбросило, а он улыбался, довольный, что я старшим сталеваром на его печи станю. Ты меня понимаешь? Как я должен работать!

— А чего тут такого? — сказал Петухов. — И на фронте взаимная выручка была, и тоже на командирские должности за способности выдвигали. А кто из каких мест, какой национальности, только для наградного листа или для «похоронки» выясняли. Главное — кто как воевал, а теперь — кто как работает. По этому и место человеку определяется.

— Ты хладнокровный, — заметил Саид. — Весь мой род — чабаны, а я первый из всех — сталевар!

— Мой отец тоже до завода коров пас, — сказал Петухов. — А я, возможно, инженером буду. И ничего тут особенного. Был молодым рабочим, стану пожилым инженером.

Саида жаловалась Соне:

— Саид на войне воевал, ночи не спала. Теперь тоже не сплю, была у него в цехе, очень там страшно. Я ему говорю: «Учись на бухгалтера, будь отцом своим детям». А он в металлургический техникум поступил, чтобы больше стали варить. Опять со страшным огнем возиться будет. Приходит домой, весь железом пахнет, на спецовке дыры прсжженные. Ночью я его к себе зову, а он учебник учит. Разве от этого дети будут?

— Но ведь у вас и так трое.

— Моя мать двенадцать вырастила, и только две девочки. А у меня одни девочки. У нас же родных много, надо и с их мнением считаться. А он шутит: «Теперь надо не количеством детей гордиться, а их качеством». Говорит, что на фронте целый авиаполк из девушек был, и почти все Героев получили. Это правда?

— Правда,— сказала Соня.

— Значит, по-твоему, женщина должна еще и летать, и воевать, как мужчина?

— Было такое время на земле — «матриархат» называется, когда мы над мужчинами властвовали.

— А почему кончилось?

— Они все наши женские слабости изучили, ими воспользовались и верх над нами взяли. И мы можем теперь про них говорить — обабились! — рассмеялась Соня. — Теперь же мы их недостатки и слабости изучим и над ними власть заберем обратно.

— Не надо! — сказала Саида. — Пусть такими, какие они есть, живут. Зачем пугать? Им и так достается от другого начальства.

Когда Соня рассказала Петухову об этом разговоре с Саидой, Петухов встревожился.

— Тебе, что же, захотелось надо мной старшей быть, командовать? — спросил он обидчиво.

— А я и так команду, только тактично, не так, как ты мной.

На фронте Петухов пребывал в двух разных плоскостях в своих армейских взаимоотношениях. Одна плоскость: он старший над подчиненными ему. Умнее он их или глупее, хуже или лучше по всем статьям человеческим, но он обязан во что бы то ни стало при всех обстоятельствах всегда и во всем высоко тянуться, чтобы оправдано было его командирское звание.

Поэтому он никогда не имел права давать волю своим чувствам, мыслям, терять контроль над собой, помня о том, как четко у подчиненного складывается облик начальника, рождается доверие, уважение и как можно это утратить небрежностью, роняя самого себя даже в мелочах.

И, поступая так или иначе, он обязан был прежде всего думать не о том, лучше ему от этого или хуже, а о том, как такое будет воспринято его подчиненными. Уронит это его в их глазах или поднимет. А поскольку командирское звание уже само по себе ставит начальствующего над подчиненным, то, для того чтобы пользоваться им полноправно, чтобы соответствовать своему высокому званию, командир должен зорко следить за собой, не давая себе душевного отдыха.

Допустим: стужа, и все солдаты зябко ежатся, скорчившись, но ты, хоть и застыл до костей, должен сдвинуть ушанку на затылок, руки не держать в карманах или за

пазухой, ходить статно и улыбаться, хоть ты и чувствуешь, как от этого мороженная кожа скрипит на скулах и словно трескается. Можно и пошутить, что раны, мол, на морозе никогда не гноятся, значит, воевать в мороз гигиеничнее, лучше, не так опасно для жизни. А если начнется рукопашный, тогда жарко всем станет. Можно также перед боем, как будто между прочим, взять у какого-нибудь солдата винтовку, вынуть из нее затвор, разобрать, протереть, сложить заново, но так, чтобы это выглядело не проверкой солдата, а будто проверкой качества масла для смазки в зимних условиях, хотя пальцы от этого у тебя деревенеют и болят от соприкосновения с леденяще обжигающим металлом.

И на марше, хоть такое в ногах, словно ты ступаешь на обнаженные свои кости, нужно идти то в голове колонны, то вернуться в конец ее, то снова появиться во главе,— таким образом, нашагаешься вдвое больше, чем солдат, но обязан выглядеть бодрее его и отбивать свой шаг четко, хоть и испытываешь при этом такое, будто тебя ударяют по ступням палкой при каждом соприкосновении с землей.

И на привале не ложиться, как все, в изнеможении, а снова ходить между солдатами, спрашивать, как они себя чувствуют. Всем своим видом подчеркивать, что самочувствие должно быть у всех непременно хорошее, как у тебя самого, у командира.

И с каким бы вопросом ни обратился к тебе солдат, ты должен быть на высоте. Не знаешь, как сразу ответить, скажи — некогда, но потом, обдумав, обязательно найди этого солдата, напomini, о чем он спрашивал, и разговорись уже «на полную катушку». В этом твое уважение к подчиненному, и подчиненный будет тебя уважать. Бывает, что ты и моложе подчиненного по возрасту и по делам жизни не имеешь такого, как он, опыта,— все равно вникай проникновенно в то, что он тебе рассказывает, не отмахивайся от того, что тебе чуждо и не постигнуто твоей жизнью, слушая, переживай, как будто то или иное с тобой лично случилось. Не поможешь советом, так облегчишь сочувствием.

Тогда солдат ближе к тебе становится, и человеческое к тебе его доверие оборачивается в бою солдатским рвением, уверенностью в том, что командир о нем в бою по-человечески тоже помнит и ему сочувствует.

Словом, все твои помыслы, все поведение должно быть

подчинено солдатам, только тогда они ответно с полной осознанностью подчинятся твоей воле командира.

Другая плоскость армейских взаимоотношений — это когда Петухов сам был подчиненным у старшего по званию и ощущал, как лучшее в командире укрепляло его уверенность и тайной жаждой походить на него. И подчинение воле такого командира было вовсе не покорностью, а страстным желанием выполнить наилучшим образом его приказ.

И армейский закон о том, что приказы не обсуждают, а выполняют, зиждился на полной вере в командира. И чем крепче была эта вера, тем инициативней и неотвратимей выполнялся приказ при любых условиях, даже тогда, когда, казалось, не было возможности его выполнить.

Поэтому Петухов, пренебрегая некоторыми сторонами характера комбата Пугачева, так жадно и благоговейно схватывал его лучшие черты командира.

Каждый бой неповторим. И как бы тщательно ни планировался он по минутам, ни укладывался в уставные правила и инструкции, согласно военной науке каждый бой — поединок, идущий с переменным успехом. И исход его решает не только огневой перевес, но и самоощущение бойца в бою. И здесь пронизательное видение командира в должный момент способно открыть в суматохе боя ту долгожданную точку его, где обозначается доля успеха, и дерзновенно, слаженно, массированно сосредоточить тут все силы и совершить прорыв, то есть выиграть бой.

Пугачев, обладая поразительной выдержкой, выработал в себе железную волю. Наблюдая со своего НП за ходом боя, он тактично не вмешивался в то, как руководят своими подразделениями командиры, давал им полную самостоятельность. Этим невмешательством он вселял в них уверенность в своих силах. Наблюдал, словно посторонний, только иногда досадливо морщась или просветленно улыбаясь. И только на лбу у него от скрытого переживания выступали капли пота, которые он смахивал ладонью. И курил беспрестанно, одну папиросу за другой.

Во время боя Пугачев словно раздваивался, как бы со стороны противника руководя боем немецких подразделений. И когда тактика их действий совпадала с тем, что он мысленно им приказывал, лицо его обретало властное, самоуверенное, торжествующее выражение. И только уверившись в том, что раскрыл и понимает замыслы противника, он рассылал связанных с приказаниями командирам

подразделений и брался за полевой телефон, то есть уже вмешивался во все дальнейшие этапы руководства боем.

Он верно и точно угадывал критический момент, наступивший в ходе боя. И тогда группировал огонь и солдат в направлении наметившейся скважины в обороне врага и бросался туда с бойцами на прорыв.

И благодаря этому сочетанию дерзостной личной отваги с хитростью, продуманной терпеливостью, как бы временным отстранением себя от руководства боем, с точной угаданностью того момента, когда он своим присутствием должен внушить людям, что победа уже в руках, хотя исход боя еще не предreshен, и достаточно незначительного перевеса, чтобы одолеть врага, обнаружив ту точку, где противник ослабел именно в данный момент, Пугачев никогда не упускал такого момента.

И хотя кое-кому позерство Пугачева не нравилось, Петухов понимал, что в этом внешнем, показном — тщательный расчет комбата тактики поведения в бою и руководства боем. И вовсе это не показное, не для начальства, — в этом проявляется уверенность Пугачева в своих командирах, а в том, что он вначале не вмешивался в их руководство подразделениями, выражается то необходимое доверие, без которого командиры не способны проявить свою собственную инициативу, смекалку.

В то же время, когда Пугачев в критический момент брал все на себя, это и было воплощением того высокого единоначалия и единоподчинения воле одного, которое не должно суетно на всех и всегда распространяться, а как бережно хранимая, решающая и объединяющая сила вступать полностью именно в решающий момент.

В перерывах между боями Пугачев старался не делать солдатам замечаний о всякого рода нарушениях, но строго спрашивал с командиров, обнаруживая при этом привередливую мелочность и даже строптивость.

Он говорил:

— У хорошего командира все солдаты хорошие. У плохого — он сам себе только хорош. За проступок солдата, если по правде говорить, надо взыскивать не только с солдата, но и с его командира, причем с командира в первую очередь. — Повторял сердите: — Только у плохого командира солдат нехорош. Хороший командир не собой хвалится, а своим солдатом.

Вместе с тем Пугачев как-то щепетильно-затаенно относился к своей славе отважного, умелого командира.

И когда старшие военачальники отмечали его лично, он выкидывал что-нибудь недозволенное.

Вручают орден. Поблагодарит по форме, потом нагло ухмыльнется, спросит:

— Это что, один на всех? Разрешите тогда носить его всем бойцам моего батальона поочередно.

Как-то на разбор удачно сложившегося боя своего батальона Пугачев явился в штаб дивизии в сопровождении сержанта Лазарева — командира противотанкового орудия. Когда дали слово Пугачеву, он приказал Лазареву:

— Доложи. — И пояснил: — Сержант Лазарев три танка подбил лично. Этот бой и выиграли. А я в бинокль глядел — как зритель!

За все эти выходки Пугачев кое у кого из военачальников более чем не пользовался почетом. Но комдив Лядов, хотя и неоднократно взыскивал с него за подобное, угадал в нем для многих еще скрытое дарование, заметив искры командирского таланта, умение смело находить и применять всегда новые приемы боя именно в тот момент, когда они решали исход. И он, неведомо для Пугачева, поддерживал его вопреки мнению некоторых военачальников.

И у Петухова на всю жизнь остались в памяти сердца слова Пугачева:

— Я старше тебя по званию и должности, и ты мне подчиненный, так же как в твоей роте все тебе подчиняется. Но как ты от бойцов своей роты зависишь, так и я от тебя, старший командир, завишу. Какие у нас люди, такие и мы. Оторвешься от такого сознания, припишешь хоть чуть себе лично от бойцов героизм, как командиру тебе крышка. Не ты людей собой возвышаешь, а они тебя собой возвышают. Наше дело содействовать во всем их возвышению, тогда ты как командир на высоте. Значит, на виду у всех, со всех сторон, во всем заметен! Для примера, допустим, пуговица у тебя одна на гимнастерке не застегнута, а у бойца заметишь — вся грудь нараспашку. Станешь замечание делать, а он на твою пуговицу смотрит. И не уважает. Так во всем может быть. Поэтому и сказал тебе про пуговку, что такое для нас, командиров, опасно, — и, с ухмылкой протянув руку, застегнул клапан кармашка на гимнастерке Петухова. А потом все же опустил глаза и опасливо осмотрел и свою гимнастерку.

Может, в этом стыдно и неловко признаться, но на фронте Петухов при всем другом главном для него с Соней, хоть и втайне, но снисходительно создавал свое превосход-

ство в том, что кроме всего прочего он все-таки офицер, а она — рядовой боец второго эшелона. Он каждодневно подвергается смертельной опасности, а она — нет. И во время каждого боя она о нем тревожится, а не он о ней. И в ее словах любви к нему всегда была доля волнения за него и гордость им, когда он отличался в бою.

И сама смерть уже не казалась ему такой страшной. И в бою он уже думал не только о том, как видят его солдаты, он как бы чувствовал присутствие Сони. Старался позаметнее выделиться там, где всего опаснее, хотя не всегда в этом была строгая необходимость. Но в расчете, что кто-нибудь об этом скажет Соне, он стал, как пренебрежительно говорил Пугачев, «выпендриваться». И когда Соня потом жалобно упрекала его, что он, не щадя себя, не щадит ее самое, он выслушивал такие слова с удовольствием, видя в этом душевную зависимость Сони от него.

После войны все это отпало, исчезло. Петухов должен был как бы заново, с нуля, начинать обосновывать соотношение своего «я» с Сониным. И тут все было уже не так ясно и просто, как фронте. Понадобилось выучиваться в мирной жизни тому, от чего на фронте он был избавлен, и он совсем не был осведомлен, что нужно для жизни вдвоем и без чего она может не получиться.

Убедившись в бытовой беспомощности Петухова и даже растерянности, Соня властно взялась за их жизнеустройство, обнаружив в этом волю, ум, энергию, споровку.

Петухов стал ее подчиненным, причем малоспособным.

— Тебя твоя мать избаловала! — упрекала Соня. — Ничего не умеешь!

Поскольку это было справедливо, Петухов покорялся приказаниям Сони, чувствуя в ее семейных заботах нечто такое, что нисходило на него раньше, дома, от матери.

И в любви к Соне у него прибавилось то, что испытывал благоговейно к своей матери.

И Соня, оставаясь Соней, приобрела новое во власти над ним, более глубокое, сильное, цельное, нераздельное: она вобрала его в свою жизнь, ставшую его жизнью, в той поглощающей полноте, когда сознание его все больше наполнялось тем, что было присуще и Сониному самосознанию.

Все более проникательно и полно узнавая друг друга, дивясь своим открытиям, радуясь, а иногда и огорчаясь

ими, они познавали в себе то, что доселе для них самих было скрыто или казалось незначительным, но в совместной жизни оказалось очень важным.

Они прилаживались друг к другу своими характерами, вкусами не бесконфликтно, но взгляды и привычки у них давно были одинаковые.

30

Человек уверен в том, что он лично сам пережил.

Заводскую технику Петухов знал еще недостаточно. Но, беседуя с фронтовиками, он уловил то, что жило и в его мыслях.

В последние годы войны армия получала не только все больше и больше техники. Но и техника эта становилась все лучше, совершеннее, мощнее.

Что касается бронетанковых сил, авиации, то с получением новых, все более совершенных образцов экипажам надо было периодически проходить вроде бы курсы повышения квалификации, чтобы полностью овладеть новшествами.

Техника мощно и всесторонне вторгалась в армию.

Хромированные каналы стволов стрелкового оружия значительно облегчали их чистку после боя.

Электроминоискатели, вместо шомпольных щупов, позволяли быстрее, легче и на большей площади за меньшее время обезвреживать минные полосы. С помощью сложных звукометрических и радиометрических устройств стало возможным мгновенно засекал орудийные позиции противника.

На высокий уровень поднялась инженерная обеспеченность войск.

Вся армия стала на колеса. Маневренность обрела такую скорость, что целые соединения перемещались за день на такие расстояния, преодолеть которые раньше можно было лишь за многие сутки пути. Плотность огня достигла такой мощи, что после артиллерийского и авиационного наступления пехота передвигалась по развалинам, по горячей взрытой земле, усеянной осколками, так что казалось — люди идут по земле, покрытой металлической раскаленной щебенкой.

И всю эту совершенную технику давал тыл невероятным трудом, равным воинскому подвигу.

Но тот самый оборонный завод, который в изобилии производил новейшую военную технику, переключившись на мирную, выпускал ее нынче такой же, какой она была до войны. И они, бывшие фронтовики, участвуя в ее производстве, зная по войне, как превосходство в технике решает исход боя, давали сейчас стране продукцию не лучшую, чем до войны.

Конечно, станки изнашивались, квалифицированных рабочих не хватало, завод перестраивался на производство мирной продукции, и многим приходилось переучиваться, а другим вообще надо было еще только овладевать рабочей профессией.

Когда люди работали, чтобы победить в войне, их самоотверженность и одержимость, пренебрежение своими горестями, бедами, трудностями не знали предела. И это было самой высокой и повелительной мерой отношения человека к человеку.

Сейчас же к трудовому подвигу должно было взывать иное, то, что могло также высоко поднять трудовое рвение людей. Но говорить о том, что это должно быть, бывшие фронтовики стеснялись. И конечно, Петухов тоже.

Мирная жизнь казалась ему прекрасной!

Прежде всего потому, что никто никого не убивает. Что касается быта — скажем, жилья, — то тем, кто жил столько времени в окопах, в землянках, общежитие и койка казались чертогом и шикарным ложем. Обмундирование не изношено, значит, еще можно в нем походить. Семейным возвращение отца, сына, брата с фронта — высшее счастье, радость, перед которыми меркнут все жизненные лишения. Питание? Вещснабжение? Так все по карточкам, пайки, почти как по армейской норме. Жить можно!

Поэтому бывшим фронтовикам было неловко говорить о послевоенной трудности жизни.

А то, что на заводе некоторые стали слабее работать и уже не та дисциплина, относили к неумению гражданской администрации твердо, властно командовать. Но вместе с тем не поддерживали тех, кто по методу вчерашнего дня грозно отдавал приказы, щедр был на взыскания, скуп на похвалы, сообразуясь только с сегодняшним днем и не чувствуя, каким он должен быть, день завтрашний.

К сожалению, и секретарь обкома Камиль Нуралиев, хотя и любил говорить: «Партийная работа — это люди», вынужден был преимущественно заниматься всеми хозяйственными, промышленными делами в таком объеме, слов-

но работал по совместительству содиректором множества предприятий и отвечал, как тогда водилось, наравне с директорами больше за их производственные планы, чем за жизнеустройство, настроение коллективов людей, выполняющих или не выполняющих эти планы.

Глухов высоко ценил партийную организацию своего завода за то, что она всегда выручала его, и он все больше беззастенчиво пользовался ее силой, взваливая на нее значительную часть того бремени, которое должны нести хозяйственники, администраторы, отнимая у партийной организации время и силы от работы с людьми, прося, например, чтобы коммунисты взяли на себя заботу о хорошем освещении рабочих мест, но забывая то, что коммунисты должны освещать людям и все рабочее пространство страны, чтобы все всегда ясно чувствовали, понимали, как их работа сливается с деяниями народа, направленными на всеобщую цель, и что кроме дня текущего есть еще и день грядущий.

А между тем историческое самосознание народа-победителя, потребность его духа жаждали начертаний дня грядущего и точной меры исторической весомости дня текущего.

Трудности завода были понятны всем. Солдату, вернувшемуся с фронта, нужно было и в труде показать себя по прежней своей специальности, и семье дома жизнь наладить, то есть делать то, чем занималась сейчас вся страна.

Но некоторые администраторы неохотно расставались с упрощенными способами управления военных лет, подобными армейским, целесообразными для военного времени и не отвечающими задачам послевоенного.

Получить приказ свыше и отдать приказ о его выполнении вовсе не означает, что только таким способом можно его выполнить.

Директор завода Алексей Сидорович Глухов, если так можно выразиться, метался сегодня между днем вчерашним и днем завтрашним.

С одной стороны, ему не хотелось расставаться с привычно сложившимися методами руководства: не случайно же ему дали звание генерал-майора. С другой стороны, он начинал чувствовать, что пьедестал, воздвигнутый ему в годы войны, сейчас уже не служит средством возвышения над людьми.

Но люди сознавали историческую весомость текущего дня, то есть то, что все они сейчас, как и Советская Армия,

принесшая освобождение народам Европы и Азии, совершают своим трудом такой же подвиг, способствуя становлению там социалистического строя, и, значит, соучаствуют в революционном преобразовании, как прежде отцы, деды участвовали в революционном преобразовании на одной шестой земного шара, свершив Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

И ныне наша страна обретает социалистическое братство многих стран мира. Значит, наша победа в войне ознаменовалась и победой свободы, справедливости в ряде стран мира. И благодаря трудовой помощи нашей страны этим странам капитализм отбрасывается дальше на запад с освоенной им арены.

Поэтому подвиг советского рабочего класса, крестьянства не только в том, чтобы в короткие сроки восстановить все разрушенное войной на своей земле, но также и в том, чтобы помочь в этом своим новым братьям по социализму.

И если в первые годы Советской власти империалистические страны пытались задуть нашу революцию интервенцией, так и теперь они будут пытаться задуть новый строй в странах, ставших на путь социализма.

И если бы не наша непреоборимая военная мощь, империалисты сразу же попытались бы это сделать. Значит, нужен такой трудовой подвиг, благодаря которому наша страна быстрейшим образом приобретет новое всесилие, нацеленное на благо людей.

Наш народ-победитель готов был перетерпеть свои собственные нужды, но, как всегда, во имя ясных и великих целей.

И он сознавал эти цели.

31

После фронта условия жизни, в которых оказались Петуховы, представлялись им исключительно благополучными и благоприятными. В армии они привыкли всегда и везде быть со всеми. И в штатской жизни вначале пугались своего одиночества. Но, оставшись вдвоем, открывали друг в друге новое, неизведанное, все более привлекательное и неожиданное; и иногда им казалось, что их не двое, а много — они сами, но все время разные, потому что все время обнаруживали друг в друге различные грани характеров, оттенки чувств и множество всяческих мыслей по

существенному поводу и без всяких поводов, мыслей, в которых важно и интересно было разбираться.

И поскольку их взгляды, вкусы, опыт жизни сложились на фронте, все, ныне окружающее их, они соотносили с прежней своей фронтовой жизнью.

Поэтому частенько многотрудности послевоенной жизни ускользали от их понимания.

Теперь Петухов никем не командовал. Здесь, на заводе, он, как и в армии, начал путь с рядового, необученного. И если на фронте последние годы чувствовал себя вполне зрелым, многоопытным и дольше других прожившим, то на заводе он как бы вернулся к своему послешкольному положению. Надо было самостоятельно осваивать жизнь и находить в ней свое место, в то время как заводские, те, кто моложе его, уже занимают прочные командные места.

В армии, для того чтобы тебя приметили, достаточно первого боя, ибо в бою человек выявляется полностью.

Повседневность рабочего труда, постижение всех его тонкостей требует от человека терпеливого, тщательного, последовательного накопления опыта, овладения не только рабочими приемами, навыками, знаниями, но и своей волей, вниманием, душевным настроем, потом он обретает увлеченность своим трудом и со временем так овладевает им, что сам властно вносит в способы и приемы труда нечто новое, первооткрытое.

Именно тогда человек в неизменном звании рабочего обретает почтительность к себе, громкое имя. Возникают целые рабочие дивизии последователей его мастерства, приемы которого называются по всей стране его именем.

С благословения и при опеке Золотухина Петухов получил разрешение несколько увеличить режим резания при обработке втулки. И чтобы дать возможность Петухову, как выразился Золотухин, насобачиться на этой простейшей детали, он забрал у других наряды на нее и отдал их Петухову, вручив ему также запас своих резцов, самолично заточенных, и подготовив для этого весь инструментарий, положенный Петухову, а также дал несколько своих хитроумных оправок, значительно облегчавших и ускорявших операции по смене инструмента.

И получилось так, что Петухов своим усердием не только оправдал доверие Золотухина. В конце одной из смен вдруг обнаружилось, что он за смену выполнил два плановых задания. Поскольку завод не всегда укладывался в план по производству продукции, это, конечно, волновало

и удручало всех. Хотя втулки и не лимитировали производства и их имелся изрядный запас, директор завода, исходя, как он выразился, из принципиальных соображений, придал данному факту не только общезаводское значение.

Выходя из цеха, Петухов ошеломленно увидел свою увеличенную до огромных размеров физиономию на фотографии, вывешенной на заводской Доске почета. Затем о нем напечатали в многотиражке, а вслед за ней в городской и областной газетах. К нему стали обращаться с просьбами поделиться своим новаторским опытом. Его фамилию стали называть, когда избирался состав президиума разного рода собраний.

Петухов вначале совестился всего этого, говорил Золотухину, конфузясь:

— Ну чего они, в самом деле? Это же все не мое, а от вас нахватали — ваше!

На что Золотухин отвечал пренебрежительно:

— Ты меня со втулками не касайся и даже не упоминай. Шимпанзе за сахар такому обучить можно, не то что человека. — Советовал: — А ты пока терпи — воодушевляйся! Овладевай простой работой, на ней постепенно набирайся ума на более ответственную заготовку. Это тебе пока все равно: будто в лес с ружьем пошел, а вместо зверя и дичи в лукошко грибы собираешь. Пока ружьем не овладел, грибы брать — тоже правильно и полезно.

Соня сказала сияя:

— Я уже думаю, не пойти ли нам с тобой снова в загс?

— Это зачем? — встревожился Петухов.

— Ну, когда мы с тобой регистрировались, я свою фамилию оставила, думала — «Петухова» смешно звучит. А сейчас: «Петухов! Петухов! Выдающийся ударник! Заводская слава!» — Добавила смущенно: — Даже в клубе, узнали, что я Петухова, сменили билет на первый ряд, где сидят все лучшие.

Прижимаясь, водя своими теплыми губами по его лицу, с полузакрытыми глазами, с манящими тенями от ресниц, она говорила шепотом:

— Я так рада! Ты теперь снова не просто так, а как раньше — лейтенант, а я самая рядовая, и ты меня любишь, хоть я и рядовая.

Петухов спросил обеспокоенно:

— Так ты что?.. И на фронте только за то, что я лейтенант был? За это?

— Когда я не жена была, кто ты был, не имело значе-

ния, а вот жена — это совсем другое. Все, что в тебе есть, мое тоже. Понимаешь?

Но когда Соня пылливо и увлеченно расспрашивала, как он сумел работать лучше всех, Петухов мямлил, бормотал что-то невразумительное.

И Соня воспринимала это как проявление скромности, застенчивости, нежелание говорить о сокровенном, как это бывало на фронте, после боя, когда он уклонялся рассказывать о пережитом им лично, но охотно хвалился своими бойцами.

Но вот получилось так, что обработанных Петуховым втулок хватило для многомесячного запаса и больше нарядов на них не поступало.

Золотухин дал Петухову другие заготовки, более усложненной конфигурации, сообщил с удовольствием:

— Ну, Григорий, теперь шевели мозгой! Штуковина хоть с малой загадкой, но все-таки для работы приятная.

Петухов с трудом вытянул за смену норму, а две заготовки запорол. И дальше у него шло не лучше.

Известно, что изготовить деталь в абсолютно точном соответствии с чертежом практически невозможно. Точность ее изготовления характеризуется тем, насколько каждый действительный размер отличается от расчетного. Поэтому существуют нормы допустимых отклонений действительных размеров деталей от указанных на чертеже, при которых обеспечиваются взаимозаменяемость и нормальная работа деталей в машине. В пределах этих допустимых отклонений и надо изготовлять детали.

Значит, точность их обработки в какой-то степени бывает выше или ниже по приближению к расчетной.

ОТК принимает, завод оплачивает изготовленную деталь в пределах допустимых норм. Но в тонкости и точности ее обработки и выражается в высшей степени не только мастерство ее изготовившего, но и все высокие духовные, нравственные качества, присущие ее создателю.

И в степени приближения к недостигаемому абсолюту точности явственно выступает бескорыстие, воодушевление своим трудом человека, покоряющего самое изощренно сложное, трудное и рискованное во имя торжества рабочего искусства и даже упоения им.

Вообще же, когда в сборочном цехе обнаруживался дефицит какой-нибудь детали и начиналась за ней гонка, ОТК ослаблял к ней свою требовательность, и сборщики в интересах дела брали на себя доводку ее, подгонку и даже

сами дополнительно обрабатывали ее, доводя параметры до должного типа-размера. В такой обстановке не осуждали, что изготовлены эти детали в пределах низших норм точности, а не высших.

Поэтому Петухов не слышал ни от кого укоризненных слов.

Обрабатываемая им деталь была дефицитной, и он избегался этим от риска в последних проходках резцом приближаться к той границе, за малейшим пределом которой деталь могла оказаться запоротой.

И если на фронте он прочно научился преодолевать боязнь, трусость, то здесь, у станка, испытывал и то и другое по мере того, как резец приближался к заповедной поверхности, за тончайшими пределами которой таилось его поражение — брак.

У Петухова от волнения потели ноги, багровели уши и, самое скверное, увлажнялись руки. Мерный инструмент скользил в пальцах, а риски на нем зловеще предупреждали о той опасности, которой он подвергает деталь, приближаясь к еще далекому и непостижимому абсолюту точности, недостижаемому для его рук.

Хотя Петухов и сошел со своих высоких показателей на втулках, он одержимо пытался достичь хороших показателей на новой, несколько усложненной детали. И пока в ней был дефицит, справлялся с нормативами, не отставал. Но уходил после работы обессиленный не тяжестью ее, а своим нервным перенапряжением, сопровождаемым изнуряющим страхом и волнением — как бы не запороть деталь — и чувством неудовлетворенности от своей работы, отчетливо сознавая, что преодолеть барьер на пути к высокой точности ему пока не вмоготу.

Золотухин, чутко понимая душевное состояние своего подопечного, говорил так, словно такому его состоянию радовался:

— Это в тебе, Григорий, рабочая косточка лезет, как зуб мудрости. Вначале болит, но что это означает? Зрелость! Сознаешь: не на ОТК работаешь. Он-то пропустит. Но своя совесть строже! Значит, доходит! На себя работаешь. На удовольствие, чтобы достичь того, что и по учебнику считается недостижимым! Отсюда льгота — допуски. А если ты их преодолел? Что значит? Высоту взял! Машине долголетие обеспечил. Во всех случаях детали, тобой сработанной, нет износу. Значит, твоя работа дольше других живет в этой самой детали.

Качественный человек чем приятный? Он, конечно, своей работой болеет. Сам болеет. Но другим от его труда удовольствие! Болеть от расстройства плохой вещью не будут. Вот как оно получается, если по всей дальности рассуждать. Хорошо сработанное изделие всех людей воспитывает. Тянет других хорошо самим работать, а плохое на плохой труд поощряет. Прощает им их плохой труд. Вред от плохого изделия большой. Развращает людей, я так прямо заявляю. Губит в людях уважение к труду и на свой труд с малой меркой смотреть позволяет. И нет такого рубля, чтобы им измерить, где ты от себя ту стружку снял, которая тебя самого к самому недосягаемому приблизила.

Признался доверительно:

— Когда меня впервые поставили на обработку канала ствола скорострельного авиационного орудия, я стопками валерьянку пил, успокоительные порошки в медпункте выпросил. Сплю дома, а канал ствола снится. Будто он весь от моей фрезы в бороздах, и я в него, как лилипут, влез и воровато шабровкой борозды снимаю, а наверху, как на заводской трубе, люди стоят и на меня сверху с презрением взирают.

Переживал? А как же без этого? Начинал свою жизнь, как и ты, со втулки, а до чего дошел — до самого высшего, нарезки канала оружейного ствола. Это, если считать по-рабочему, вершина, — значит, достиг! А вот дают новую заготовку, и не так чтобы очень сверхсложную, всегда волнуясь, чтобы поинтересней ее сработать, половчее, по-новому. Я биографию одного актера читал: признается, тысячу раз выходит на публику, а все равно волнуется, переживает. А мы не на публику выходим, а на весь народ. Как же не переживать такое? Пошибче, чем этот артист, переживаем. Только ему сразу в ладошки хлопают, а мы чем обходимся? Признал тебя коллектив, доверяет, — значит, самые понимающие тебя ценят, а не просто публика, которая не все тонкости в актерском деле смыслит, а все равно хлопает, особо если у артиста имя громкое...

Соня пытливо заметила происшедшую в Петухове перемену. Он стал как бы стесняться, когда она расспрашивала его о работе. Портрет Петухова, однако, не снимали с Доски почета, но не по забывчивости. Неоднократно Глухов сердито и раздраженно упрекал руководителей цеха в том, что они не умеют и якобы не хотят создать должную обстановку для передовика.

— Это даже политическое недомыслие! — гневался

Глухов. — На заводе трудности. Была возможность примером доказать: нет таких трудностей, которых бы не мог преодолеть передовик труда!

— Он по своему разряду потолка только на втулках достиг, на новой детали едва тянет.

— Упрощаете вопрос! — рассердился директор. — Не успели ударника поднять, как мы его в глазах общественности роняем. В интересах завода, чтобы передовик был передовиком, примером! Прошу вас этим руководствоваться и доложить мне лично, какими оргмероприятиями можно обеспечить труд рабочего, имя которого стало известно и за пределами завода.

Соня чутко и страдальчески улавливала тревожное беспокойство в бегающих глазах Петухова, когда заговаривала с ним о заводских делах, и то, что он стал плохо спать, сторониться Саида Нугманова, когда тот сообщал ему радостно, как его бригада одолевает скоростные тяжело-весные плавки по методу, заимствованному из опыта сталеплавильщиков Магнитки.

И когда однажды Соня сказала, что, соскучившись, специально идет на заводской двор, чтобы посмотреть на портрет Петухова на Доске почета, он ответил ей резко и брюзгливо:

— Значит, тебе только мой парадный портрет нравится, а не обычная моя физиономия, какой я есть на самом деле?

И в ответ на скорбное восклицание Сони понуро признался, как ему сейчас трудно.

— Понимаешь, — сипло говорил Петухов, — зашел в сборочный, а там мои детали доводят до норматива. Никто не говорил, не упрекал, а вот получается, вроде я их тайный иждивенец, что ли. А мастер их даже похвалил.

«Молодец, — говорит. — Фронтвик, опыта у тебя нет, а справляешься».

— Откуда он знает, что ты фронтвик?

— Так газета... — проямлил Петухов. — Пришел из редакции парень. Чего ему про втулки рассказывать? «Ремесленники, — говорю, — не хуже выполняют, работа простая, ума большого не требует». Ну он спросил про войну, я думал, для своего личного интереса. А он все это в газету, да со всякими словами красивыми! Прочел, так неловко себя чувствовал, будто своровал.

— Так там все правда, — заметила Соня.

— Нет, не правда! — возмутился Петухов. — Получается, будто я один такой, а не все. Из моей же роты были

получше, а он ни Лазарева, ни Сквородникова, ни Атыка Кегамова не упомянул. Вот и вышла брехня, самохвальство. — Сказал потерянно и жалобно: — Но ведь я такого не хотел.

— Знаю, — сказала Соня. — Я тебя такого, какой ты есть на самом деле, на фронте полюбила и сейчас люблю, и лучше всех я тебя знаю, какой ты вовсе не хвастливый, а даже очень правдивый.

— А ты больше меня правдивая. Я иногда не решаюсь тебе какую-нибудь нехорошую правду о себе сказать, — признался Петухов, — а ты всегда о себе говоришь мне все сразу.

— Чего же мне бояться? — рассудительно заявила Соня. — Мне даже нравится: я скажу о себе плохое, а ты радуешься, что я тебе такое без твоего спроса скажу. Тогда никаких тайн у нас с тобой друг о друге нет. — Произнесла даже вызывающе: — Когда ничего про себя не стыдишься сказать, как самой себе, тебе признаюсь, и даже получается, что от этого ты мне еще ближе, что ты такой единственный, который про меня все знает, что я сама знаю, переживаю, чувствую. — Сказала задумчиво: — Я даже не думала, что такой откровенной с тобой стану. — Спросила тревожно: — А может, это неправильно, что я такая сейчас? И ты все плохое во мне запомнишь, а все хорошее когда-нибудь позабудешь?

— Нет уж! — возразил Петухов решительно. — Если по-честному, так вот это в тебе такое, что, может быть, превыше всего! — Помолчал, буркнул: — И самое в тебе красивое.

— Значит, сама по себе я тебе уже не очень? — лукаво осведомилась Соня.

32

Однажды, когда Петухов пришел в цех, начальник пролета отвел его к новому станку-полуавтомату, предназначенному для обработки сложных деталей. Сказал: «Вот, осваивай».

Несколько дней он сам обучал Петухова обращению со сложным станком. Но когда Петухов смог самостоятельно справляться, ему дали чугунные муфты, по простоте обработки не отличающиеся от втулок.

В этот станок можно было закладывать для одновре-

менной проходки сразу несколько таких муфт, и Петухов снова начал превышать нормы, существовавшие для таких деталей на обычных станках. И снова его имя зашумело. На его примере начали призывать, указывать, как надо работать и перевыполнять нормы.

Золотухин ни разу не подошел к Петухову, когда он работал за этим станком, и вообще стал избегать его.

Станок был оборудован различными контрольными автоматическими устройствами, в том числе мерительными, поэтому Петухов быстро достиг и высокого класса точности обработки деталей. В институте преподаватели помогли ему разобраться во всех тонкостях механики станка, в его автоматике, и Петухов уже сознательно и безбоязненно переходил на предельные скоростные режимы, получив ко всему прочему набор самозатачивающихся резцов, созданных новатором, московским токарем-скоростником Павлом Быковым. Но когда Петухов просил дать ему наряд на более сложные детали, начальник пролета говорил:

— Обожди! Ты, может, станок и освоил, но ему надо дать время для обкатки, для притирки — для обживания, словом.

И поспешно уходил от Петухова.

И вот, когда его имя опять зашумело, Петухов стал ощущать вокруг себя какую-то пустоту в цехе. И хотя ему никто даже и намеком не высказывал причину такого от него отстранения, постепенно он понял, отчего это произошло.

Сначала он с горечью и обидой жаловался Соне, пытаясь объяснить это даже завистью, но не встретил у Сони сочувствия. Она не спрашивала, а, как казалось Петухову, пытливо допрашивала его, грустно напоминала, что, когда рота получила первое противотанковое орудие с полуавтоматическим заряжающим устройством, он, Петухов, долго и тщательно выспрашивал огневиков, кого бы они сами считали подходящими для расчета к этому орудью. И когда все единодушно называли Лазарева, он обрадовался, потому что сам так думал. И Лазарев, получив приказание командовать расчетом новой пушки, сказал не как положено при этом: «Служу Советскому Союзу!», а, обведя всех счастливыми глазами, объявил сдавленным от волнения голосом:

— Ну, спасибо за такое доберие ко мне. За то, что так наградили!

И все считали, что такое орудие артиллеристу равно высшей награде.

Петухов сказал тогда Лазареву:

— Ты не забудь на орудийный щит звезды перерисовать со старой пушки — сколько танков врага всего уничтожил.

— Зачем же? — обидчиво отозвался Лазарев. — То ее добыча. Зачем я с нее, со старой, брать буду? Я на новую соберу, еще и побольше. Она сама себя покажет!

И об этом напомнила сейчас Соня, не забыв, как Петухов тогда радовался Лазареву, его бойцовой высокой щепетильной чести.

Соня, потупив глаза, словно пряча их от Петухова, вполголоса сказала:

— Если станок такой уж очень хороший, значит, им тоже награждают за что-нибудь особенное. А ты сам говорил — муфты обрабатываешь, а они вроде втулок. Значит, это все равно что из противотанкового орудия по пехоте кумулятивным снарядом стрелять. Неправильно!

Она подняла глаза, посмотрела пристально на Петухова, спросила сочувственно:

— Может, тут какая-нибудь неправда есть? Ты вдумайся! Я знаю, ты, как больной, сейчас переживаешь. Мы ведь неправды между собой не боимся, зачем же перед другими ее бояться?

— Отказаться, значит? — спросил Петухов.

— Если уверен — полноправно дали, тогда не надо. Сомневаешься — откажись!..

— Ты же новую технику компрометируешь, — упрекнул начальник цеха, — движение скоростников марашь. Как люди тебя поймут?

— Поймут правильно, — сказал Петухов.

— Ну-ну, валяй в самоотставку!

И поставил Петухова к старому, изношенному станку, назначенному к списанию.

Петухов промучился на нем всю смену, норму не выполнил. Но когда он пришел на следующий день, то увидел, что за его станком копошатся Золотухин и Зубриков. Они прогнали наладчика и собственноручно занялись наладкой станка.

И когда Петухов стал работать, Золотухин и Зубриков частенько подходили к нему, давали советы с той прежней

своей озабоченностью, какой он давно не чувствовал. И снова они, как прежде, говорили с ним о самом сокровенном, что постигли в своем труде, и уже не как старшие с младшим, как с равным себе, понимающим душой все тонкости дела, которые доступны только тому, кто способен постигать их, эти тонкости, как самую главную цель своей жизни, как призвание, как радость открытия тайн мастерства.

Петухов приходил теперь домой бодрый, хотя портрет его с Доски почета убрали. Но высшей радостью для него в эти дни было то, что из цеха сборки пришел мастер и сказал:

— Вот что, Петухов, признаюсь тебе. Приволокли после тебя детали. Ну, я говорю, как всегда, ребятам: «Замеряй!» Стали замерять, а это вовсе и не требовалось. Все тютелька в тютельку, без доводки, притирки, как птенчики в гнезде, в полном аккурате вмещаются. — Твердо пожал руку, произнес почтительно: — Спасибо за внимательность к нам. — Развел руками. — А то сам знаешь: шабришь-шабришь, а дело стоит. Не сборка получается, а одна доводка. Бежать в механический с вами, станочниками, ругаться, время на такое тратить жалко. Все внутри кипит, но собственноручно дотягиваешь до законного параметра. А вот когда деталь сама ложится, словно ее магнитом в положенное ей место из твоих рук втягивает, настрой души — хоть пой, хоть пляши. Не работа — музыка! Все как по нотам получается!..

Директор вызвал к себе Петухова, посмотрел на него, щурясь, словно сквозь прицельную рамку, спросил:

— Ну?

Петухов молчал, ожидая дальнейшего.

— Все вы народ штучный, — сказал со вздохом директор, — экземпляры! — Махнул сердито рукой, не давая ответить. — Таких, как ты, на заводе больше чем половина. Вот и надо им внушить надежду, уверенность на твоём примере! Схитрил, думаешь? Ну и схитрил! Конечно, такие, как Золотухин, Зубриков, все могут! Но это же уникамы, профессора своего дела! Какое же движение на их примере может получиться, раз они — уникамы? Не будет массовости. Это все равно что чемпиона мира привести на заводской стадион и сказать нашим физкультурникам: «Вот вам! Делайте теперь все, как он! И все у вас получится!» — Пожевал губами. — Хотя ты меня и подвел, но факт получился, в общем, полезный для воспитательных целей.

Выходит, я с администрировал. И осекся! — Спросил сердито: — Чего молчишь?

— А я с вами согласен, — сказал, защищаясь добродушной улыбкой, Петухов.

33

Дома Соня сказала озабоченно:

— Золотухины нас на вечеринку позвали. Брюки твои глаженные на столе лежат, не трогай. Я чемодан на попа поставила, на нем поешь. Только смотри, немного, в гости же пойдем.

Соня, чтобы не мять новое платье, ходила по комнате в одних трусах и лифчике, но уже причесанная, напудренная, наодеколоненная.

Петухов осторожно поцеловал Соню сначала в шею, где виднелся белесый шрам, потом в щеку, но когда стал искать губами ее губы, она только вздрогнула, попросила жалобно и покорно гаснущим голосом:

— Не приставай!

Вдруг рассердилась и сильно отшлепала его по рукам.

Когда Соня стала завязывать на Петухове галстук, он закрыл глаза и принял позу как бы приговоренного к казни через повешение. Открыл глаза, оглядел Соню, сказал огорченно:

— Не платье на тебе, а просто как купальный костюм, все заметно!

Соня усмехнулась и ничего не ответила.

— Интересно, — сказал Петухов, — почему ты, уходя из дому, пудришься, а приходя домой, не пудришься, если считаешь — напудренная лучше? Так почему для меня не пудришься?

— Ты у меня умненький, — сказала Соня. — Все глубоко осмысливаешь!

Глядя на туфли на высоких каблуках, красиво и статно приподнявшие Соню, Петухов мрачно заметил:

— Тоже обманное приспособление. И чулки для чего такие? Чтобы конечности как голые выглядели?

Соня внимательно и недоверчиво разглядывала себя в зеркало, которое держала перед собой в левой руке, посылывая палец, разгладила брови, облизнула подмазанные губы, чтобы помада легла ровно, и удовлетворенно сказала:

— Ну пошли, феодал!

— Идем, — покорно подчинился Петухов, стараясь не смотреть на Соню.

Она была обольстительна, и Петухов всему на свете предпочел бы остаться с ней сейчас вдвоем дома.

Он плелся за ней по улице. И когда прохожие оглядывались на Соню, он тоже свирепо оглядывался на них.

Золотухин встречал гостей у калитки. Он был при полном параде, в орденах, в черной тройке, светлом галстуке. Кивая на красивую, несколько полноватую женщину со строгим, гордым лицом, говорил почтительно:

— Моя персональная супруга!

И та его осаживала:

— Тоже мне, остряк!

Гости чопорно и благовоспитанно толпились подальше от накрытых во дворе столов.

От летней кухни доносились упоительные ароматы борща, шашлыка, плова.

Петухов не сразу узнавал заводских: приодетые, они выглядели все как высокое начальство.

Пожилой мастер сборочного цеха Голиков, бывший ленинградец, говорил степенно:

— А что Трумэн? Он их старую жвачку, как верблюд, жует и обратно отрыгивает. Президент Вудро Вильсон еще в 1902 году заявлял: Америка в силах управлять экономическими судьбами мира. А как начался мировой кризис, стали с небоскребов вниз башкой кидаться. Мало, что ли, безработных тогда приехало к нам работу искать? На «Большевики» я с американцами работал, рабочий человек он и есть рабочий.

— И я с немцами в это же время на Донбассе работал, а вот полезли же! — подхватил сталевар Гарбузов.

— В эту войну, — продолжал Голиков, приглаживая ладонью волосы, зачесанные поперек лысины, — не только фашистская Германия поражение потерпела, но и капитализм в целом, поскольку из его системы отпало столько стран.

— Значит, он теперь злее будет, — заявил Гарбузов.

— Не отрицаю, — вежливо согласился Голиков. — Поэтому такой курьез. Бывший наш союзник по войне бывших своих противников на войне обнадеживает, что они могут стать теперь его союзниками.

— А пока он их обирает, — ухмыльнулся Гарбузов.

— Государства побежденные — да! — сказал Голи-

ков. — А частный капитал они не трогают. Тем более что у них со многими фирмами общий пай.

— Свой интернационал, значит.

— А как же — капиталистический.

Бывший летчик, фрезеровщик Алимов, с лицом, слепленным, словно мозаика, из кусочков кожи, заявил раздраженно и гневно:

— Армия наша наступала по Европе — мы населенные пункты не бомбим, а союзники по заводским, по рабочим районам все свои бомбы сваливали!

— В этом их свой классовый расчет с рабочим классом! — сказал Голиков.

Поскольку разговор шел о том, о чем и так все знали, для разгона в веселье формовщик Бутиков, бывший фронтовик, спросил бодро

— Вы лучше мне скажите, почему в цивилизованных странах крышки гробов на шурупах, а у нас на гвоздях? Это что — отсталость?

— Ну вот, еще не хватало, про покойников заговорил! — запротестовала супруга Бутикова.

— Тогда вот случай! — не смущаясь, продолжал Бутиков. — Поставили меня, по ранению, лагерь военнопленных сторожить. Комиссар нашего лагеря выявил и обличил пленного немецкого генерала в том, что тот скрывает свое звание и для такой маскировки поселился в солдатском бараке. Так что вы думаете? Генерал признался в обмане, но потребовал выплатить ему за все время разницу между содержанием генерала и солдата!

И все рассмеялись не столько по поводу рассказанного, сколько из понимания того, что Бутиков старается настроить гостей более легкомысленно, что и на дипломатических приемах воспринимается благосклонно, как находчивость собеседника.

Ах какая это была ночь! Великолепная, в мягком и теплом мраке. Какая обширность самоосвещенного небесного пространства, благоустроенного луной и звездным миром, свидетельствующим о том, что кроме нас самих существует еще довольно-таки порядочная вселенная, где каждая планета для нас пока только приятный осветительный прибор.

И все эти бесчисленные планеты вселенной вращаются, движутся в бесконечном пространстве согласно строгим повелительным законам механики, открытым человеком,

законам, в которых разбирались собравшиеся здесь, во дворе, под звездным небом, люди, считавшие механику главной своей наукой, ибо они сами создавали разного рода механизмы, машины, расчеты движения, которые исходили из той же подчиненности законам механики, по которым работает и весь механизм вселенной.

Но сейчас вселенная служила лишь украшением небесного пространства, была его убранством, создавала своей красотой приятное настроение гостям Золотухина. Каждый из них любовался звездным чистым небом. Впрочем, в своих разговорах они озабоченно и деловито касались и тех вопросов, которые были и не совсем чужды «небесной механике».

Бутиков говорил убежденно, держа перед собой вытянутый указательный палец, словно свечу:

— А отчего раковины, пузырьки в металле и, значит, в литье — брак? — Заявил требовательно: — Вот ты мне металл в вакууме выдай, вроде из центрифуги герметической, подвергни его вращению, дай высокее давление при разливке, и я тебе за это выдам заготовки по расчетным параметрам, тютельница в тютелюку. Никакой потом холодной обработки не потребуется, одна только нежная шлифовка, притирка на пасте.

Механизируй мне литейную, чтобы я свою толкушку выбросил и формы набивал, штамповал на станке. Чтобы я со своего места не сходил. Бункерами педалью командовал, сколько в какую форму отсыпать, и сушил струей из приспособленных шлангов. Вот брак и сгинет. И люди обнаружатся лишние в литейном, и у вас в механическом, и заготовка обретет повышенную точность, согласно заказанной по чертежу. — Сказал обидчиво: — А то всегда на литейную кидаетесь, когда у нас еще первобытного труда много.

Проговорил сердито:

— Тут археологи обрадовались, раскопали стоянку дикого человека, а он оказался не дикий, а культурный, из бронзы литье производил. Но что мне обидно стало — такую, как у меня самого, толкушку обнаружили для уплотнения набивки формы. Я их просил, археологов, чтобы подарили мне эту толкушку для срама, как критическую улику нам. Не дали: говорят, реликвия, историческая ценность. Я им говорю, мне нужно доказывать для критики, ведь у меня подобные толкушки в цехе еще в полном ходу.

— Чего приbedняешься? У тебя же не ручная трамбовка, на сжатом воздухе работает, нажал — она как пулемет.

— На крупногабаритную деталь — вполне, на мелкие — как конь топчет. Тут должна быть штамповка механическая, без касательства руки. Нажал — готово!

— Руками шевелить неохота?

— А весь ум у человека отчего? — живо сказал Бутиков. — От этого самого: чем больше машине, приспособлению ума дать, тем рукам станет легче. Человек — существо соображающее, от этого мы все, после обезьяны, в люди вышли.

Петухов из братских чувств поддержал Бутикова как бывшего фронтовика.

— Вот почему по количеству живой силы состав нашей дивизии стал численно меньше дивизии противника, а по огневой мощи его превосходил? Все поэтому. Боевая техника получше, и побольше ее, чем у него. Скорострельность от автоматических устройств возросла, — значит, из одного ствола за меньшее время большее количество снарядов.

— Опять про войну! — прервала Петухова молоденькая и кокетливая супруга Бутикова. — Хватит этих ужасов, дома о них от Петьки наслушалась.

— Никаких особых ужасов на фронте не было, — обижаясь, что его прервали, сказал Петухов. — Если бой правильно, дальновидно организован, все точно рассчитано, продумано, тогда и потери меньше.

Наладчик Гусев, учившийся вместе с Петуховым в заочном, значительно моложе его, но имеющий уже немало изобретений и множество осуществленных рацпредложений, по вечерам занимающийся в группе, которой руководил Клочков, сказал:

— В принципе уже сейчас возможно построить такую автоматическую линию, в которую вложил заготовку, и на выходе она выдаст готовое изделие и даже упакует его.

— Без ОТК?

— Мерительные приборы на каждой операции будут свой контроль держать и саморегулировать станки, входящие в линию.

— А нас тогда куда?

— На курсы повышения квалификации!

— Так в чем дело? Давай такую линию.

— Это линия нашей технической политики, — наставительно заявил Гусев. — В эту сторону мы и идем.

— Вы в конструкторском сочиняете, — сердито сказал Бутиков, — а пока до литейной дойдете, меня в психбольницу отправят! Думаешь, как мы это переживаем? Станочник деталь всю смену обрабатывает, начнет к концу чистовую прогонку, бац — раковина! И он куда с такой заготовкой идет — к нам, в литейную. А мы не автоматы, люди — расстраиваемся! — Махнул рукой. — Выдали в механический сорокантишпиндельный вертикально-сверлильный новый станок, заменил он вам четыреста универсальных, триста расточников высвободил. Вас, станочников, облагодетельствовали такой техникой. А нам за все про все — трамбовку... У нас в литейной молодежь не задерживается, а к вам в механический лезет. Увидят многошпиндельный агрегатный станок, на котором до ста операций можно одновременно производить, — обомлеют. А у нас и жара, и пыль, и все мы в саже.

— Иди в станочники!

— Нет уж! Без нас вы кто? Не дать вам литья, заготовок, веселые нищие вы — вот кто. Забыли, как мы вам из высококачественного чугуна заготовки выдавали, которые превосходили качеством даже кованую сталь? А какая с этого экономия стране, бережливость! Это вы как гнали металл в стружку, так и до сих пор его в стружку бросаете. И в патронном производстве черный металл и биметалл взамен латуни пошел, а кто наловчился? Мы, литейщики.

Голиков вмешался:

— Это что же, внутриклассовая борьба началась? Не по-марксистски это, а еще в гостях.

— Вот вы, товарищ Голиков, когда еще в дистрофиках по нашему заводу ходили, литейной обещали пресс-формами содействовать. А где они? — едко спросил Бутиков.

— Разбомбили эшелон с оборудованием.

Жена Бутикова ущипнула супруга за руку. Тот сердито обернулся, но тут же присмирел, вспомнив, что в этом эшелоне с оборудованием погибла и семья Голикова.

За стол усаживались чинно, торжественно, неспешно, и каждый занимал место соответственно не служебному положению, а тому уважению, которым он пользовался в заводском коллективе по весьма многосложным своим человеческим достоинствам.

И когда прибыли Глухов и Клочков, их сначала наказали штрафной стопкой, а затем усадили, несколько потеснившись, но не во главе стола, где сидели Золотухин и его супруга.

После торжественного ритуала, тостов и первого насыщения стол зашумел и стал расчленяться на группы собеседников.

Зубриков кричал Глухову:

— Ты, Алексей Сидорович, поймей в виду, мы сейчас после войны не латаемся, а разбег берем. Но ведь что получается — оружие производили лучше, чем у немцев, — а уж каким мастером немец всегда почитался! — а вот перешли на мирную, народ обижается — не тот товар! Купил супруге туфли в гости ходить, надела — гвозди торчат, стельки — клеенка отстает, футор — ветошь. Разве так можно?

— У меня не сапожная фабрика, а завод машиностроительный, — отрезал Глухов. — Слова не по адресу!

— А на тебя колхозы обижаются, рекламации пишут. С ботинком и потерпеть можно, а с машиной плохой и закусь нечем будет — без хлеба.

— Материальное снабжение отстает!

— Во время войны ты сразу на всех, кто подводил, через вертушку кидался, на самый верх. А теперь в руки ее брать боишься — как бы самого не взгрели!

— А ты бы на моем месте посидел! — огрызнулся Глухов. — Тогда бы и говорил.

— А ты бы на моем попробовал! — парировал Зубриков. — Жду заготовку, а ее нет. Простаиваю!

— Металл всей стране нужен, не хватает!

— А если я ответственную деталь не из той марки стали точу, это как назвать? На износ ее давать?

— Трудность временная!

— Нет, — кричал Зубриков, — ты от меня не отвертись! Ничего временного не должно быть. Было такое — Временное правительство, так мы его в семнадцатом году погнали. Наша власть на все времена установилась, и никаких при ней временок нет и быть не должно, и каждое изделие должно свою полную прочность и долговечность иметь.

— Из твоих золотых рук так всегда и бывает, — примирительно сказал Глухов, вытирая пот с лица.

Бутиков, склонившись к Ключкову, говорил наставительно:

— Вы, Игнатий Степанович, для всех нас должны быть как самодержец в смысле науки. От вас указ исходит, и вы должны машину назначать на новое ее царство, чтобы она самоуправлялась, как Гусев тут хвастал, что она может

самостоятельно управляться посредством автоматов. Вы ее бесстрашно придумывайте, а мы с ней сладим, будьте уверены. Я на фронт кем пошел? Рядовым, необученным, а кем вышел? Командовал реактивной установкой — «ка-тüşей».

— Чего тебе? — отозвалась жена Бутикова.

— Видали? — улыбнулся Бутиков. — И жену себе взял только из-за ее имени!

— Ну чего врешь? — перебила жена. — Ты меня своей вежливостью сразил. Только из-за этого за тебя вышла. Майор сватался, а не такой младший, как ты.

— Женщины! — печально произнес Бутиков. — Они в погонах разбираются, а не в людях. Майор-то был интендантской службы!

Махоткина говорила Соне:

— Сватается тут один, из моего же цеха. Давно сватается, даже похудел с тоски по мне. И понимаю, что вдвоем и лучше, и легче жить, и женское во мне тоже еще не усохло. Но приду домой, вижу, как ребята мои меня обожают, и понимаю, за что: за то, что я покойному верная! И вся к тому, этому самому, который сватается, холодею. Дети-то у меня — радость, и не хулиганы, и учатся хорошо, и на заводе с честью работают. Старшего как на Доску почета два года назад вывесили, стриженного, так он и до сих пор таким висит. А сейчас у него прическа, девчата заглядываются. А на Доске почета — стриженный. Матери он завсегда милый, а посторонний взглянет: нехорошо, как детдомовский выглядит.

— Они чего, не соображают? — кричал Бутиков. — На кого бомбой своей замахиваются? Чего они в войне понимают? Прижали их фрицы в Арденнах, завопили: спасай и выручай. Нас никоим образом трогать нельзя. Кого пугают? Да у нас санинструкторша нашла мину, а чека в ударнике проржавела, дохни на нее — развалится и ахнет. Так она спокойненько из прически шпильку вынула, ударник двумя пальцами попридержала и вместо чеки шпильку вставила. Видали! Какой народ от войны — без страха стал! И уж ежели чего, так я, как специалист на реактивной установке, прямо скажу...

— А ты не болтай лишнего! — посоветовал Зубриков.

— А что? Тут все свои! — смутился Бутиков.

Завели патефон, и начались танцы.

Когда приглашали Соню, Петухов отворачивался и мучился. Потом смотрел на танцевавшего с Соней враждебны-

ми, злыми глазами, пытаюсь все-таки снисходительно улыбаться перекошенными губами.

— Нравится, что тебя обнимают при всех легально оттого, что танец? — бормотал он Соне сердито. — И почему со своей женой не танцует, а обязательно с чужой?

— Ты же меня не приглашаешь!

— Мне разминаться для пищеварения не надо, — грубо ответил Петухов. — И обнимать тебя при всех не желаю!

На самом деле Петухов страдал оттого, что танцевать не умел, а пробовать стеснялся.

Махоткина говорила:

— Вот! Женщина-станочница в аккуратности куда способнее мужчин! И брак боится допустить, и прогулов не допускает.

— Правильно! — поддержал ее Гусев. — Наукой доказано: существует сто десять тысяч запахов, и женщина их лучше мужчины различает, обоняние у ней тоньше: не пьет, не курит, и вся чувствительность у нее больше развита.

Махоткина вздохнула:

— Побудешь вдовой, так и выпить, и закурить хочется, когда горе гложет.

Гарбузов сообщил сияя:

— Дети у меня подходящие растут! Я своего Кольку за то, что он из радиоприемника все внутренности вытащил, чтобы самому разобраться, что там к чему, хотел, значит, за ухо, а он меня осадил: «Вы, — говорит, — нас, детей, за людей не считаете, а потом из нас ученые вырастают». Видали, какой! Ну, я ему...

— И напрасно! — заметил Ключков. — Стремление к высшему — это самое лучшее в человеке. — Потом, обратившись к Глухову, сказал: — Телеграфный аппарат изобрел Морзе — живописец. Телефон — Александр Белл. Пароход — подмастерье ювелира Фултон. Прядильную машину — Родион Глинка. В основе всегда наблюдательность, ассоциативность мышления, его целеустремленность. Один из изобретателей сверхскорострельного пулемета долго мучился с ударным бойком, любой прочности металл ломался от перегрузки. Совсем зашел в тупик. Но однажды заметил, как, прогибаясь, доска не сломалась под колесами грузовика. Осенило — упругость! Использовал сплав бериллиевой бронзы — и такой из нее боек вышел, выдержал все испытания.

Пояснил:

— Но осеняет только тогда, когда все твое сознание длительно подчинено искомому, то есть труду мысли, никогда, ни при каких обстоятельствах не гаснущей мысли, всепоглощающей тебя, как цель жизни.

Золотухин, кивнув на Петухова, сказал Глухову, что парень оказался толковым, не поддался на засахаривание. Сообразил, что в передовики надо продираться, как все равно к расчетному параметру, без льготных допусков и припусков, на полной чистоте.

— Так я же как лучше хотел! — сказал Глухов.

— Кому лучше, тебе или ему? Со скороспелой славой люди только страдают, потом — тебе шумиха, а нам — разговоры в цехе неприятные. — Пообещал значительно: — Он еще себя покажет! На этом деле он в главном выявился. Рабочая совесть, она свою вершину всегда возьмет, одолевает.

Провожая расходящихся гостей, супруги Золотухины каждому вручали пакеты с теми яствами, которые были на столе.

Говорили строго:

— Согласно местному правильному обычаю, чтобы гость потом приятно откусал и приятно вспомнил хозяев! Уж вы возьмите, пожалуйста, — и оглядывались на Зульфию и Фатьму, которые кланялись гостям, стесняясь подавать им руку...

Возвращаясь, Соня сказала вздохнув:

— Вот мы с тобой семейные, а ни разу так вот в гости никого не звали.

— Позовем! — бодро сказал Петухов. — У меня получка теперь побольше. Купим барана и позовем на плов. Нугмановы помогут сготовить.

— Гриша, — тихо спросила Соня, — а может, это несолидно, — столько времени живем, а все одни?

— То есть как это одни? Мы с тобой всегда вместе!

— А может, мне тебя одного мало?

— Дотанцевалась! Соображаешь, что мне сейчас в глаза сказала? — возмутился Петухов.

— Я про ребеночка! — жалобно произнесла Соня.

— Ну что ж, можно! — степенно разрешил Петухов. — Как у всех, так и у нас, вполне возможно.

Соня сказала шепотом:

— Я, кажется, уже...

Петухов остановился, ошеломленный, но тут же деловито заявил:

— Завтра подам заявление на площадь, а то у Нугманных тесновато нам втроем будет.

Соня проговорила неуверенно:

— Еще неизвестно, что у меня получится. Правда, опытные женщины говорили: раз не тошнит,— может быть, девочка.

— А почему не тошнит? — насторожился Петухов.— В самолете же говорила: слабая на тошноту.

— От высоты только.

— А ты ешь побольше для здоровья и вообще...— посоветовал Петухов.

— Ты что? Мальчика вздумал заказывать, а девочку не хочешь? — обиделась Соня.

— Мне хоть лягушку, хоть зверюшку, как у той царицы, лишь бы твое, то есть наше с тобой! — воскликнул Петухов и прижал, уже осторожно, к себе Соню, заметив при этом: — Может, танцевать тебе не следовало.— Поправился: — Я же не из ревности говорю, а по соображению, что ему там могло повредить...

На следующий день, обуваясь, чтобы идти на работу, Соня спросила, разглядывая свой ботинок:

— Гриша, ты чего это тут понаделал?

— Шипы набил,— сказал Петухов,— как на футбольных бутсах, чтобы не поскользнулась. А то упадешь, ушибешь...

Они ушли на завод, преисполненные тем новым, что сделало их существование на земле как-то особо значительным и ответственным за все, что на ней есть и что будет.

Глухов водил по заводу военных во главе с генералом так, как это умеют делать все опытные директора — зигзагами.

В первом и втором механических и инструментальном, самом любимом своем цехе, он шел с печальным лицом, чистосердечно каясь в мелких упущениях и недостатках, но подолгу останавливался у новых агрегатных многошпиндельных станков, сверкающих и величественных, словно алтари в храмах. То у него в этом месте развязывался шнурок на ботинке, то он именно здесь вынужден был давать пространные и малозначительные указания руководителям цеха, предоставляя полную возможность военным

товарищам любоваться станками. Или брал в руки изготовленную деталь сложной конфигурации, сияющую, словно замысловатое, крупногабаритное ювелирное изделие, призванное служить лишь украшением, и задумчиво разглядывал ее, словно видел и не понимал ее назначения, вздыхал протяжно, говорил почтительно, словно совершая открытие, поражающее его самого:

— Это же выставочный предмет! И подумать только — наладили как поточное производство!

Про модифицированные своими силами станки говорил глубокомысленно:

— Вот техника достигла! Самое себя омолаживает. А медицина это самое с человеком не может... А хорошо бы: зашел в больницу и заказал: «Скиньте мне, будьте любезны, годков десять». И — вполне!

Литейную он обошел с таким мастерством, какого достигали армейские в военном оперативном искусстве, решая стратегические задачи прорыва: не задерживаться на опорных пунктах противника, а смело и решительно обходить их.

Недостатки в литейном производстве пока были неодолимы, и он благоразумно и ловко миновал литейную.

Зато в мартеновском цехе, где выдавали скоростную тяжеловесную плавку, надолго задержался, и военные полюбовались спорой, ловкой работой сталеваров, укрощающих вулканическую ярость металла, покорно изливающегося в гигантские ковши. Глухов заметил:

— Вот самое полезное для страны — очень сильно росту и силе ее содействует!

Что касается бытовых, столовой, жилья, согласился:

— Тыловая служба еще отстает от потребностей.

В кабинете директора был устроен для гостей завтрак.

И именно здесь, за завтраком, Глухов и начал развлекаться для разведки. Сказал генералу расстроено и печально:

— Вот, не успели наладиться на новое производство, как снова придется переналаживаться. — Заявил решительно: — Но я, как солдат: что прикажут, подчиняюсь беспрекословно!

Поглядел пристально на генерала, нахмурился:

— Но уж если переходить на военное довольство, то все, что положено, должно быть обеспечено. Так? — И уставился уже строгим взглядом на генерала.

Тот ухмыльнулся:

— На гражданке все же вольготнее. И слава! Даете сельхозмашины, газеты про вас пишут. А у нас все скромненько, бесшумно и безгласно. Все равно что футбол без допуска зрителей. Тебе гол забили или ты забил, только команда знает.

— Так я за войну к безгласности привык, — скромно, но и с оттенком гордости напомнил Глухов, — тоже не на трибуны работали.

— Зато теперь полный простор! — сказал генерал.

— Ну, как заводик наш? — спросил, щурясь, Глухов.

— Вполне — для мирного производства, кое-что подтянете, конечно, и пойдет как положено!

— Замечания есть?

— В сельскохозяйственных машинах не осведомлен!

— Я имею в виду, — сердито сказал Глухов, — если вы захотите себе его обратно прибрать!

— А зачем? — спросил генерал. — Не требуется!

— То есть как это не требуется? — раздраженно воскликнул Глухов. — Вы что же, международной обстановкой пренебрегаете?

— Обстановка нормальная! Они нас пугают, а мы не пугаемся!

— Значит, прочно стоите за прочный мир? — иронически осведомился Глухов.

— Именно! — согласился генерал.

— И ничего вам не требуется?

— А как же — вот сельхозмашины!

— Выходит, вместо военной психологии — колхозная!

— Почему «вместо»? Такой сплав неделим.

— Вы, случайно, в движении сторонников мира не участвуете?

— Военным не положено!

— Ну?! — едко удивился Глухов. — А я думал, судя по вашим словам, в армии голубятни теперь положены.

— Вы, собственно, почему зритель? — благодушно спросил генерал.

— Ну как же, думал, вы по делу, а вы, что же, как экскурсанты прибыли.

— Дело есть. Прибыли к вам челом бить. Товарищу Ключкову и его установке хотим на дальнейшее соответствующие условия предоставить, так что придется вам уступить!

— И это все?

— Ну, людей по его выбору позаимствуем тоже.

— А расходы? — встрепенулся Глухов.

— Какие именно?

— Установку проектировали, экспериментировали, у меня целый участок под нее отведен!

— Позвольте, но это по линии военного ведомства.

— Извиняюсь, — ухмыльнулся Глухов. — Как мы в гражданское ведомство перешли, то все уже врозь.

— Но установка боевая, военного назначения!

— Откуда я знаю, — нахально сказал Глухов, — куда она, что она? Конструкторское бюро просило, я из любезности разрешил! У нас таких, вроде левых, заказов бывает достаточно: то городские власти подсобить им просят, то еще кто-нибудь. Хозяйственнику надо со всеми уметь ладить. Желаете установку получить? Пожалуйста! Дам указание в бухгалтерию, все расходы наши подсчитают, включают накладной также расход — оплатите!

— Хотите армию обирать?

— Так я — гражданское ведомство, вы — военное. У каждого свой бюджет.

— Мужичок вы ловкий!

— Не то время, когда все — вам, все для фронта!

— Сами же говорили — международная обстановка!

— Но вы же меня утешили, успокоили авторитетно. Даже не знаю, зачем вам теперь такая установка.

— Видали! — Генерал оглянулся на своих армейских спутников. — Обиделся, что завод его на оборонную продукцию обратно не ставят. Теперь с нас готов шинели содрать за установку.

— Шинели не надо, а сукна шинельного попросил бы. Или даже б. у. согласен, для спецовок в горячих цехах.

— Может, танками возьмете?

— Грузовичков несколько можно было б. Ну и, если на материальную часть скупитесь, дайте стройбат. Новый цех ставлю. Сколько мы рабочих часов по установке израсходовали, столько стройбатов вернете по справедливости.

— А если ничего не дадим?

— Позову юриста, посоветуюсь, в суд подадим!

— С армией судиться? Хорош!..

— И еще, — строго и непреклонно заявил Глухов. — Людей просите. Человек — против человека, давайте демобилизованных и с подходящими для нас специальностями.

— Ну что я вам говорил — жила! — расхохотался генерал. Произнес сурово: — Алексей Сидорович! Время-то не

терпит, нужна новая перспективная боевая техника. Мы же не за сегодня хлопочем, а за будущее спокойствие.

— Чтобы не было войны?

— Именно!

— А я так рассуждаю, — ухмыльнулся Глухов. — Они нас пугают, чтобы нарушить нам ритм нормального экономического развития. А я не пугаюсь. Даю сельхозмашины. Вам чего-то от меня надо — платите, не нарушайте бюджета завода.

— Я вас с министром обороны соединю!

— А зачем он мне? Надо мной главк стоит.

— А если главк прикажет?

— Из своего кармана платить станут.

— Товарищ Глухов, — сказал инженер-полковник, — ведь новое оружие ведет к изменениям в тактике, оперативном искусстве и стратегии, наконец.

— А я что, возражаю? Я вот перестроился на новое производство, и вы тоже перестраивайтесь. Но не за мой счет.

— Так ты же генерал! — сказал Глухову с возмущением генерал.

— А вот побудь на производственных совещаниях, постой у трибуны, как при команде «Смирно», когда вопросами о недостатках простреливают, узнаешь, что чин генеральский — это не броня. — Спросил: — Видали, в пиджаке стал ходить? А почему? Не очень нагенеральствуешь, когда критикуют.

— Сочувствую! — сказал генерал.

— Тогда, может, со стройматериалами поддержите? С жильем — беда...

— Коммерсант!

— Экономически мысля. Мог бы еще за патент запросить. Да ладно уж, так берите, — сказал Глухов милостиво. — Мозгами не торгуем!

Уже после деловых разговоров, связанных с приемом документации, рабочих чертежей и прочего, генерал благодушно спросил Глухова:

— Ну что? Щемит?

— А как же, все ж таки столько лет оружейник!

— Но завод у тебя для такого дела все-таки старомодный.

— Это как так? — встрепнулся обидчиво Глухов.

Генерал, лукаво улыбаясь, сказал:

— Эталончики мы эталонным заводиком обеспечиваем.

Нам много не надо. Живем экономно, по нормам мирного времени. Но так, чтобы быть впереди нынешней техники. Только и всего. Мы тихие, скромные, только поддерживаем Вооруженные Силы в высокой степени готовности, чтобы этим самым исключить внезапность нападения с любой стороны или даже вкуче.

— Ну и валяйте! — мрачно сказал Глухов, потом сердито заявил: — Но передний край сейчас где? У меня!

— Согласен! На земле стоим и от земли кормимся.

— Тогда чего же жмотничаете?

— А у нас в Министерстве обороны те же самые деньги — советские. — Но тут же генерал поспешно добавил: — Ладно, что положено — заплатим. Но лишнего — ни копейки. У нас в бухгалтерии генералы сидят. Соображают не хуже вашего. Каждый целковый сторожат!

Прощаясь с военными, Глухов сказал с унынием генералу:

— Чует мое сердце, сейчас большой разворот будет назначен моему заводу по линии его спецификации сельхозмашин, а я, что ж, в предпенсионном возрасте, переучиваться с запозданием трудновато. Может, не на генеральскую должность, но поближе к моему делу, я бы справился.

Генерал усмехнулся и сказал с улыбкой:

— Дорогой мой, я сам всю войну воевал, а вот нынче такая техника прет, учусь, тянусь, чуть отстанешь — в гражданское сразу и переоденут.

— Значит, и вам приходится?

— А как же! Это тебе не комбайны.

— Комбайны мы не производим, — сказал задумчиво Глухов, — но вот хлопкоуборочная машина — это штука головомомная.

— Вот и одолевайте такую технику! — Генерал обнял, потискал Глухова, сказал растроганно: — Ну, спасибо за все...

Когда Петухова по-приятельски спрашивали: «Ну как твоя личная жизнь?», он недоумевал, обижался, но, чтобы не конфликтовать, отвечал односложно: «Нормально!»

Недоумевал, потому что никакой такой особенной личной жизни за собой не знал, и чем она отличается вообще от всей его жизни в целом, не представлял, а обижался, счи-

тая, что личная жизнь — это то, о чем говорят меж собой холостяки, хихикая. Что касается жизни его и Сони, то она была взаимозависима.

Хорошо Соне — и ему хорошо, плохо ему — ей тоже. По делам завода они мерили свои жизненные перспективы и дальнейшие свои возможности.

Заводские люди были для них целым человеческим миром, где они познавали себя, исходя из той меры уважения, которую воздавали там не только по производственным, но и по чрезвычайно многосложным человеческим показателям. И конечно же, Петухову хотелось походить на тех, кто пользовался прочным и долговременным уважением всего коллектива.

Но теперь у Петухова завелась своя особая личная жизнь перед появлением от него лично новой человеческой жизни, носительницей которой стала Соня, обретая ныне над ним уже сдвоенную власть — свою собственную и того существа, которое теперь будет властвовать уже над ними обоими.

До сих пор для Петухова Соня была во всем второй его совестью, а вот с нынешней поры, еще не появившись на свет, уже оказывает на него свое взыскательное влияние тот, будущий человек, для которого он и берет на себя всю полноту ответственности за общежизненную обстановку, где этому будущему человеку предстоит жить, расти и развиваться.

И, вспоминая, каким высшим и самым лучшим человеком был для него его отец, Петухов тревожился, сможет ли он стать во всем таким, каким был его отец в его собственном сыновнем сознании и чувствах.

Мечты бывают всякие: на куцее нацеленные или на нечто значительное, долговременное; в пределах только личного благополучия или благополучия многих; возвышенные, но беспочвенные; высокие и тщательно делом обоснованные; в надежде на везение или с дерзкой расчетливой настойчивостью — одолевать неодолимое.

Когда Петухов готовил на фронте плановую операцию будущего боя, исходя из условий местности, наличия огневых средств, настроения, готовности солдат и из данных разведки, учитывая все эти слагаемые, он принимал решение, где и когда ему быть в бою.

Резервируя в своих мыслях всевозможнейшие варианты новых решений, которых потребует меняющаяся обстановка боя, он заранее должен был все изменения предуга-

дать, чтобы не оказаться во власти стихии боя, а властно этой стихией управлять.

Вот так же стал планировать Петухов свою жизнь, поскольку подчиненных у него теперь не было и он у себя находился в подчинении.

В институтской библиотеке он жадно поглощал книги по холодной обработке металла, механике не только для того, чтобы сдать зачет, но и выдержать свой жизненный экзамен, к которому он готовился.

В конструкторском бюро ознакомился с проектами новых машин, еще не запущенных в производство, выписал для себя чертежи тех деталей, которые, возможно, ему придется обрабатывать, советовался с инженером-металлургом, какие стали будут идти на них.

Приходя с работы домой, прикидывал расчеты режима, обсчитывал по формулам, разрабатывая технологию пока в тетрадке.

Придумал за это время специальную резцедержательную головку, приладил индикаторное приспособление для настройки резцов на размер. Показал Золотухину; тот одобрил.

И Петухов стал устойчиво давать три нормы в смену. Мог и больше, но во время работы он отвлекался, так как помогал и другим станочникам сделать такие же головки резцедержателей; и его волновало уже авторское самолюбие, чтобы другие давали не меньше, чем он.

По утонченному мастерству, в познании сокровенных тайн изысканного мастерства он по-прежнему уступал Золотухину и Зубрикову. Но Петухову коллектив даровал нечто от того уважения, каким издавна пользовались самые прославленные мастера. Его уже не называли только по имени или по фамилии, но величали полностью — Григорий Саввич, что для него было необычайно приятно, как для будущего отца.

Петухову дали обтачивать тонкие валки. Операция несложная, но крайне медленная. Нельзя было применять резцы с победитом, они крошились, а обыкновенные быстро тупились.

Петухов ночи не спал, думал, и наконец понял — вибрация! Вибрирует вал во время обработки и разрушает победит, вот в чем дело!

Ему же летчики еще на фронте жаловались — не от всякого попадания гибнет самолет, но попадание повреждает обтекаемость машины, возникает вибрация, и машина

саморазрушается, разваливается на куски, такая это сила — вибрация.

Значит, надо устранить вибрацию валков.

Два месяца пробовал, как шальной, все способы крепления, и ни один не давал результата.

Соня жаловалась:

— Во сне ты дрожишь. Простыл? Или, может, малярия?

Наконец сконструировал жесткое крепление. Стал испытывать — нет вибрации, держится победитовый резец.

Но тут он решил подвергнуть свое приспособление самому рискованному испытанию. Переменил шестерни у станка, чтобы увеличить обороты, запустил его на таких высоких оборотах, на каких не только валы не обрабатывали, но и вообще в токарном деле не применяли. Решил: пусть несколько минут станок на таком режиме идет, только для испытания крепления. Душа замерла. Вдруг крепление не выдержит, и все от скорости, как от взрывной волны, разлетится с силой осколков снаряда?

Станок работал как часы.

И не от того он полноту счастья узнал, что приспособление выдержало. Другое его поразило. Скорость! Значит, может станок на высоких оборотах работать, и такой режим может быть постоянным. Не своей гордостью был взволнован, а тем, что это может всему заводу дать.

Все, что причиталось по линии славы, почестей, премий, Петухову было выдано полностью, но лишь ему персонально. То, что все ограничилось только возданием ему как выдающемуся скоростнику, а не возможностям нового метода, огорчало Петухова.

Технологи решительно возражали против распространения почина Петухова, исходя из следующих соображений. Может возникнуть сверхнормативная амортизация оборудования, — значит, внеплановый ремонт. Потом — к чему можно допустить образованного рабочего-студента, заочника института, с тем не справится другой рабочий. Пример вдохновляющий — это вообще! Но технология утверждена нормативами главка.

А тут еще происшествие. Обучая своего последователя, Петухов не проверил, как тот закрепил заготовку, и на высокой скорости она вылетела из крепления. Петухов успел оттолкнуть обучающегося, а сам получил ранение.

На фронте он не раз оставался в строю, получая травматическое повреждение, но здесь его силой повалили на

носилки, доставили в медпункт. Примчался директор, начальник охраны труда.

Для Петухова главным в этот момент было одно — чтобы, узнав о его травме, не волновалась Соня. И даже, пожалуй, не столько Соня, сколько будущий человек в ней. Поэтому он капитулянтски пообещал больше не экспериментировать, если его отпустят из медпункта домой, а не оставят надолго в больнице.

Директор согласился, но повез его сам на своей персональной машине. Не доезжая до дому, Петухов потребовал остановить машину, угрожая выскочить на ходу, вылез и доплелся до дому самостоятельно. Преодолевая боль, слабость, он так старательно бодрился перед Соней, что она быстро разгадала причину его состояния, потребовала, чтобы он показал ей ранение, и поскольку навидалась на фронте всякого, осмотрела рану как знаток, перебинтовала его сызнова и под своим конвоем снова отвела в больницу.

Вылежавшись, Петухов вернулся на завод, полагая, что его отказ от подобных экспериментов администрация получила незаконным способом, не опровергнув расчетными доказательствами, а только воспользовавшись случайностью, оставив в забвении интересы общей необходимости перехода на скоростные методы обработки.

Высококвалифицированные токари револьверный станок не уважают: операционно он очень ограничен. Но Петухов решил переделать его полностью. И смог теперь производить на нем все операции, как на токарном станке. Поставил сильный мотор, укрепил фундамент станка, бетонировал его так, что всякие вибрации полностью исключались. Сделал много дополнительных приспособлений и применил новые резцы с отрицательным углом, что придавало им максимальную стойкость.

Поскольку Петухов ушел из больницы до официальной выписки, но пообещал регулярно посещать поликлинику, у него был непогашенный бюллетень, и он мог спокойно, не привлекая к себе особого внимания администрации, заниматься переоборудованием станка, пользуясь помощью своих друзей по цеху.

Но когда он стал работать за этим станком и баснословно перевыполнять нормы, так что получалось — в год он сможет выполнить то, что рассчитано на два, и еженедельные проверки деталей станка не показали и признаков их износа, тут уже это стало событием общезаводского мас-

штаба, и даже больше, и Петухова стали приглашать на другие заводы делиться своим передовым опытом.

Но он настойчиво требовал: ездить на другие заводы делиться опытом надо не одному, а с Золотухиным или Зубриковым. Говорил строго:

— Это будет неправильно, если я один. Я что могу сказать: если знаешь технику, то можешь из нее больше выжать. Продемонстрирую расчетами, чертежами, новыми приспособлениями, новым инструментом, а вот Золотухин или Зубриков расскажут о главном — как в труде обозначаются все человеческие черты рабочего человека, как они сами воспитались в том, чтобы все в них лучшее, человеческое в труде выражалось полностью и весь настрой душевный был в том, ладится работа или нет. И к работе они готовятся не перед тем, как запустить станок, а всем предшествующим временем, и здоровье свое берегут, и нервы, чтобы в работе ничто не утруждало. — Спрашивал внушительно и внушительно отвечал: — Вот почему те, кто с высшей квалификацией мастера, даже когда неполадки во время работы в цехе, не горячатся, не шумят, не позволяют себе грубостей? Потому что берегут нервную систему, умственную энергию для своей работы, знают: взволнованному не так работается. А ведь на собраниях они тигры. Дома себя соблюдают, и вся семья так же воспитана: чтобы все вежливые были, охранялись взаимно от горячности по пустякам, чтобы не растрачивать нервы. И поэтому в семьях у них бывает приятно.

— Так тебя приглашают производственники по обмену производственным опытом, а не школьные учителя по вопросам, как кого воспитывать, — возражали Петухову.

Но он решительно говорил:

— Чем лучше техника, тем она лучшего человека требует по всем статьям. — И, усмехаясь, добавлял, вспомнив слова Золотухина: — Обучить гайки крутить и шимпанзе можно, а понимать, к чему гайку крутишь, тут человек нужен!

В одну из поездок по другим заводам Петухов простыл, занемог, перенесенная почти на ногах травма сказалась на прежних его фронтовых ранениях. И его отправили на соленое озеро исцеляться в заводском санатории, а в завком прибыло медицинское заключение о возможной дальнейшей нетрудоспособности Петухова на работе, связанной с физическим трудом.

В санатории Петухов худел, тощал, тоскуя о Соне;

и хотя ей было до декретного отпуска еще далеко, Глухов отдал приказ отправить ее на отдых, принимая во внимание заслуги перед заводом ее супруга, которому недавно торжественно был вручен орден Трудового Красного Знамени — к его такому же боевому ордену, полученному на фронте.

Пожалуй, Петухов никогда не испытывал подобного счастья, когда ему с Соней предоставили полные права быть все время вдвоем. И хотя им обоим было совестно и непривычно ничего не делать, или, как Петухов выражался, жить паразитами, это были слова только от смущения, оттого, что они стеснялись пользоваться таким счастьем. Но пользовались им в полную меру.

Любуясь Соней в купальнике, он говорил сияя:

— На болоте я тебя не разглядел. И всегда ты свет гашишь... А теперь, сколько хочу, на тебя смотрю, до чего ты вся красивая, складная — просто как фея. Или лучше, как та статуя, только ты с руками.

Соня вытягивала укороченную после ранения ногу, говорила:

— А вот смотри, уродина!

— Ну уж нет, — решительно возражал Петухов. — Я ее больше другой люблю.

Соня сыпала горячий песок на рубцы, швы на теле Петухова, спрашивала озабоченно:

— Шекотно или больно?

— Приятно, — ежился Петухов.

И он терпел, когда соленая вода едко обжигала следы былых ранений, и, лежа на упругой воде рядом с Соней, говорил самодовольно:

— И ему тоже полезна такая вода!

— Кому? — спрашивала кокетливо Соня.

— Ну, ясно кому! Тому, кто от нас с тобой будет. — Интересовался: — Ты как думаешь, он понимает, что ты сейчас с ним вместе купаешься, загораешь? — Говорил убежденно: — Ему же от этого должно быть, как и тебе, приятно.

Глухов приехал проводить Петухова и отправился с ним на озеро купаться. Натягивая трусы на довольно-таки внушительное свое брюшко и завистливо оглядывая отошавшего Петухова, он сказал, как бы оправдываясь:

— На руководящей работе главное — не допускать, чтобы серое вещество в башке жирело, а так, с лишним весом для авторитетности своей фигуры, жить можно!

Потом, лежа на песке, стал, как всегда, хитро советовать:

— Тебе, Петухов, с твоим умом и способностями надо на очное отделение института переходить. Разве вприпрыжку между заводом и институтом как следует выучишься? И что это значит? — Произнес протяжно и презрительно: — Заочник! Не тот коленкор! — Деловито добавил: — Мы бы к стипендии от завода доплачивали.

— Ну что вы! — улыбнулся Петухов. — С завода я никак. Хватит того, что из армии демобилизовали.

— А вот я твою супругу уговорю!

— Не выйдет! — уверенно сказал Петухов. — Мы с заводом сроднились, как в своей дивизии все равно.

Соня не поддалась на уговоры Глухова. Сказать же ей истинную причину Глухов не решился. Только твердо, без улыбки заявил:

— Если Петухов за это время меньше пяти килограммов прибавит, на работу в цех я его обратно не допущу. Дам сидячую должность, на которой полнеют. Как вот я сам, — чтобы смягчить твердость своих слов, добавил директор.

Но Соня усмотрела в этом только доброе желание Глухова повысить ее мужа, поэтому за состояние его здоровья не встревожилась.

И они продолжали упиваться своим счастьем, наслаждаясь бездельем, тем более что Петухов считал это состояние крайне полезным для спокойного созревания в Соне будущего нового человека. И он говорил:

— Ну что? Поведем его купать! — Или: — Может, хватит ему загорать? — Или приказывал повелительно: — Он кумыс пить хочет. Это ему очень полезно!

Когда Соня брезгливо говорила, что ее тошнит от одного кислого запаха кумыса, Петухов обрадованно, с надеждой произносил:

— Значит, мальчик!

И чтобы опровергнуть Петухова, Соня, не морщась, выпивала кумыс, говорила торжествующе:

— Вот, пожалуйста! И ничего! Значит, девочка!

К генералу Пугачеву пришел тоже уже генерал Лебедев. Но после войны он предпочитал ходить в штатском. О его генеральском звании знали лишь сослуживцы по тому ведомству, где он работал.

Потискав, охлопав друг друга, они сели, радостно глядя друг на друга.

Пугачев ликовал безудержно. Лебедев, как и всегда во всем, был сдержан.

— Где же ты пропадал? — осведомился Пугачев.

Лебедев сообщил равнодушно:

— В плену был.

— Чего врешь? — возмутился Пугачев. — Я же тебя еще накануне Берлинской операции видел.

— Вот тогда и угодил в плен к союзникам.

— Да как они посмели?! — вскипел Пугачев.

— Все законно, — усмехнулся Лебедев. — Взяли как офицера СД.

— Ты что, ошалел?!

— Любознательность, любопытство... Профессиональные качества исследователя.

— Так ты что, себя за фашиста выдал?

— Отпирался, конечно, сколько мог, на допросах.

— Зачем же отпирался, если захотел выдавать себя за фашиста?

— Для убедительности, для правдоподобия.

— Что же, без документов, в одном ихнем трофейном обмундировании объявился?

— Зачем? Часть документов довольно-таки неловко пытался уничтожить, нашли обрывки — уличили.

— А ты бы их проглотил, сжевал.

— Тогда не было бы улики.

— Да ты не темни, говори, как все было. Выкладывай. Зачем все-таки в плен полез?

— Ну что же, — сказал Лебедев, опуская глаза и потирая ладонью колено. — По некоторым данным стали обнаруживаться сведения о некоторой, так сказать, перекантовке разведывательных органов союзников, которые стали искать себе сотрудников из ведомства Гиммлера. Надо было проверить достоверность таких сведений, ну я и проверял.

— Это что же? Таким рискованным способом? Очертя голову в одну петлю заодно с фашистскими военными преступниками? Ведь могли казнить! А?

— Но я же не признавался, что могу быть отнесен к разряду их военных преступников! Изводил следователей до того, что они успокоительные таблетки принимали. Изворачивался, отпирался и даже, представь, оправдательно философствовал: мол, Гитлер виноват, а мы, его верно-

подданные, здесь ни при чем. Вообще, задача упрощалась тем, что я английским языком владел, а в моем личном деле, которое они разыскивали, было написано: «Английским не владеет».

— Так как же к ним твое личное дело попало?

— Да не мое, а того, за кого я себя выдавал.

— Ну и работенка у тебя! — покачал головой Пугачев. — Значит, изучил, подготовился и сактерил. — Съязвил завистливо: — Может, тебе с твоими способностями следовало во МХАТ идти. Стал бы заслуженным или народным. Каждый вечер аплодисменты!

— Театр я люблю! — мечтательно произнес Лебедев.

— Ну и как дальше твой спектакль шел?

— Допрашивали по двое. Один обязательно грубиянил, пугал, другой интеллектуала изображал, на предельной вежливости, деликатности. — Вздохнул: — Шаблон, ничего нового. Допрашивали. Потом началось самое существенное собеседование, при полной благосклонности с их стороны.

— А затем могли бы и приговорить!

— Но ведь я с другими заключенными фашистами общался — советовались, делились впечатлениями, прогнозировали. С помощью коллективного разума и ряда фактов пришли к выводу, что ничто здесь подчиненным Гимmlера не угрожает, а даже, напротив, сулит некоторые перспективы. Не тюрьма, а отель. Охраняемый, конечно.

— Значит, устроился?

— Вполне.

— Ну это все так, — сказал деловито Пугачев. — Но они же из тебя выкачивали то, что их интересовало по линии особой тайной деятельности СД. Это же для них важно!

— Не очень! — возразил сухо Лебедев. — Во-первых, они все уже основательно выкачали от лиц покрупнее и поосведомленнее, чем значилось обо мне в том послужном списке. А во-вторых, их интересовало другое.

— Что же?

— Почему гитлеровские разведывательные органы терпели провалы в Советском Союзе? Тут они требовали доскональных и детальных сведений.

— Это зачем же?

— Вот именно — зачем?! Это и побудило меня пользоваться их харчем, — сказал Лебедев.

— И сколько же времени ты на их довольствии находился?

— Несколько недель.

— Ну а дальше что было?

— Потом предложили работу. Говорили, что образованному офицеру СД предоставят соответствующую его ценности высокооплачиваемую должность. Поручили для начала составить конспект по трофейным документам психологической лаборатории имперского военного министерства как руководящую инструкцию для подобных же ведомств у них. Ничего посоветовать не мог.

— Как же ты все это мог выдержать?

— Да не все выдержал,— поежился Лебедев.— Набился мне там в приятели гестаовец с весьма значительным чином, тоже получил приглашение работать у них. Он о таком со мной откровенничал, что нервы у меня не выдержали, погорячился, ну и того, перед самым своим уходом... Пошли гулять по набережной, туман, дождь, никого нет, а он мне излагает подробности медицинских экспериментов, которые они производили в спецблоках лагерей.— Брезгливо осмотрел свои руки и стал тереть их о колени, словно выпачканные.

— Ну и ну...— сказал задумчиво Пугачев.— Тут не нервы, а тросы стальные и те полопаются.

— Да,— встрепенулся после тягостного молчания Лебедев,— ты помнишь Красовскую?

— Э... не пойдет,— спохватился Пугачев.— Никого не помню, никого не знал. Так моей супруге и твержу стойко.

— Да ты брось, я серьезно!

— Ну была у нас такая связистка. Но я ни-ни.

— Теперь она жена Петухова, нашего ротного.

— Ну и что! Пускай, как я теперь, в неволе живет!

— Я ее мать нашел там и вывез.

— Значит, будет у Петухова теща!

— Ты слушай! Ее в Крыму немцы взяли. Держали в Равенсбрюке — специальном центральном женском концлагере. Потом узнали, что она жена изобретателя управляемого взрывателя Бориса Красовского. Стали подвергать длительным пыткам, чтобы она сообщила технические данные, но она ничего не знала. Довели истязаниями до полупомешательства. Затем сдали в спецблок. Там еще подвергли медицинским экспериментам: извлекали костный мозг, подвергали замораживанию... Ну, словом, не хочу дальше говорить...

— И не надо,— сипло сказал Пугачев, вздрагивающей рукой поднося спичку к папиросе.

— Словом, — хрипло сказал Лебедев, — я ее вывез. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Поселил в городе, где она родилась. Надеюсь, что воспоминания детства помогут восстановить разум. Но она все о дочери говорит, ее требует. Искал Красовскую, а нашел жену Петухова. Так вот, они работают на том заводе, где ты недавно побывал. Не встречал там ротного Петухова?

— Смотри-ка, своего однополчанина не навестил и даже не вспомнил, — горестно признался Пугачев.

— Значит, не встречал? — нетерпеливо прервал Лебедев. — Придется тогда мне самому туда ехать.

— По заданию?

— Не по заданию, а в счет отпуска, как по личному делу, — сказал сухо Лебедев. — Мы этому Красовскому многим обязаны, да и вообще, по человеческой совести. — Добавил сердито: — Кроме того, был такой блуждающий мерзавец — бывший зондерфюрер. Он в спецблоке работал, прибыл теперь как подданный почтенной державы, конечно, после косметической операции. Предоставили ему сейчас соответствующее помещение в связи с его чрезмерным интересом к нашим военным объектам. Красовскую он самолично истязал в спецблоке. Если присутствие дочери поможет вернуть ей сознание и врачи разрешат — свидетель обвинения.

— Значит, все-таки задание, — сказал Пугачев.

— Нет, — опять сердито возразил Лебедев. — Если состоянию ее здоровья выступление в суде может повредить, она не будет свидетелем обвинения. Это пока мое, чисто личное, не касающееся служебных обязанностей. И тут у меня к тебе просьба. Супруга твоя, насколько я помню, девица обаятельная.

— Дама, — поправил Пугачев.

— Тебе виднее, — съехидничал Лебедев. — Так вот, пускай поедет к жене Красовского, о дочери ее, как о своей подруге, расскажет, подготовит несколько, чтобы не вызвать чрезмерно сильного душевного потрясения. Ясно? Вот тебе адрес.

— Приказываешь?!

— Прошу, как фронтового товарища, об услуге.

— Хитер ты! — ухмыльнулся Пугачев. — А как на фронте меня воспитывал! — И Пугачев погрузился в воспоминания, всегда столь дорогие и волнующие.

Лебедев талантливо умел изображать напряженное и даже возбужденное внимание, оставаясь при этом спокой-

ным и даже равнодушным к тому, что в данный момент было для него несущественно.

Он слушал Пугачева и думал: странно, почему Пугачев не спрашивает о жене его, Ольге Кошелевой, ныне Лебедевой, которая была для Сони Красовской больше подруга, чем Нелли Коровушкина, ныне Пугачева, и он с тревогой подумал, что, возможно, Нелли уже осведомлена о состоянии Ольги, но отбросил эту мысль, зная открытость бурного характера Пугачева и его обычную незамедлительную готовность оказать услугу любому своему однополчанину. И он улыбнулся Пугачеву, который с упоением вспоминал, как однажды разорвалась рядом с ним мина. Полы шинели были разодраны в клочья, осколок рассек брючный пояс.

— А я, — восторженно говорил Пугачев, — бегу целенький, невредименький, неприличный, в лохмотьях, одной рукой бриджи на себе поддерживаю, а другой палю из пистолета. Во была картина!

Лебедев улыбнулся Пугачеву, не столько его рассказу, сколько ему самому, его столь симпатичной неизменчивости, хотя Лебедев никогда не был охотником улыбаться, тем более сейчас, когда Ольга лежала в глазной больнице и врачи предупредили, что спасти ей зрение, по всей вероятности, не удастся.

Лебедев, как всегда при всех опасностях, горестях, сосредоточенно и обдуманно готовился и к этому постигшему его и Ольгу несчастью. Он стал регулярно посещать отделение Общества слепых, договорился с педагогами, обучающими чтению на ощупь, прочел специальные по этим вопросам книги психологов, предупредил командование о своем решении уйти на пенсию, чтобы всей своей дальнейшей жизнью служить Ольге.

Он рассказал жене о том, как нашел мать Сони Красовской, и Ольга, взволнованная, взяла с него слово, что он сделает все, что возможно, для ее фронтовой подруги, и пообещала, что согласится на новую глазную операцию, если он разыщет Соню.

Сухощавый, тощий, с сединой, как всегда, подтянутый, собранный, Лебедев слушал Пугачева с мастерски изображенной на жестком лице полуулыбкой, словно вызванной увлеченностью повествованием Пугачева, а сам тем временем напряженно соображал, кому из сотрудников следует передать на время своего отсутствия дела, и мысленно перебирал характеры, способности, навыки каждого из них. Попутно он поймал себя на том, что, рассказывая Пугачеву

о тех допросах, которым он подвергался в плену у союзников, и точно цитируя свои ответы, не вызывающие возмущения у допрашивающих его разведчиков, а напротив, деловой одобрительный интерес, все более возрастающий, он забыл упомянуть, что все-таки один молодой американский общевойсковой офицер, который доставлял его на эти допросы, дал ему однажды по физиономии. Это было воспринято Лебедевым не как унижающее оскорбление действием, а даже как утешительное свидетельство того, что те из американцев, кто воевал с фашистами, относятся к ним, как к фашистам. Но говорить Пугачеву о том, что он там получил по морде, не захотел — это было выше понимания Пугачева. Как такое, да еще с удовольствием, можно стерпеть!

Прощаясь с Пугачевым, Лебедев осведомился:

— Ты, кажется, реактивной техникой стал заниматься? — И добавил, чтобы чуть-чуть поддразнить: — Еще у Петра, кажется, подразделение ракетного огня имелось в войсках.

— А что! — сказал Пугачев. — Он мужик способный, хотя и царем служил!

— Значит, ты вроде пиротехника?

— Это почему же? — обиделся Пугачев.

— Ну как же! Ракеты пускаешь! Хоть для салютов они сойдут?

— Ладно, — сказал Пугачев, — сам знаешь, что к чему... — Обнял, стиснул: — Обрадовал, что пришел! А ничего мы ребята были? Подходящие!

37

После того как Лебедев представился Глухову и показал внушительное удостоверение личности, тот, указав на кресло, сказал:

— Прощу! — И с каменным лицом произнес: — Я вас слушаю!

— У вас на заводе работает Петухов Григорий Саввич?

— Да вы что?! — возмутился Глухов и, побагровев, заявил: — Да я за него чем угодно ручаюсь!

— Я тоже! — сказал Лебедев и пояснил: — Сослуживцы по фронту.

— Ну?! — просил Глухов. — Чрезвычайно приятно. Вот обрадуется!

Лебедев приехал в заводской санаторий под вечер и, когда первые восторги встречи миновали, пошел с Петуховым перед сном прогуляться.

О своем пребывании в плену у союзников Лебедев рассказал Петухову несколько иначе, чем об этом же говорил Пугачеву:

— Ленин указывал на то, как важно вскрывать те тайны, в которых зарождаются войны.

Одна из таких тайн — тайная война против стран социализма, ведущаяся империалистическими разведывательными организациями.

Выяснить, какие методы тайной войны они изберут сразу после окончания войны, и изберут ли, было целью моего исследования. Вам понятно?

Я и работал как исследователь, с той научной объективностью, которая в моем деле строго обязательна.

При весьма затруднительных допросах-беседах с очень компетентными сотрудниками разведок что было любопытно? Когда речь заходила о том, как разведка СД пыталась получать сведения об экономическом потенциале СССР, организовывать диверсии, идеологические провокации, эта сторона вызывала повышенный и деловой интерес у допрашивавших меня как сотрудника СД. Здесь они требовали рекомендаций, передачи опыта и, конечно, анализа тех просчетов, которые допустила фашистская Германия, недооценив советскую мощь, сплоченность народа.

— Ну что вы такое говорите! — смутился Петухов. — Даже слушать неприятно: вы — и такое!..

— А что поделаешь, работа, — развел руками Лебедев. И то ли желая пощадить Петухова, то ли для того, чтобы перейти быстрее к главному, сообщил: — При всем старании моя разработка не показалась им достаточно ценной. И, как более достойный образец, они мне показали другую разработку, в составлении которой, как я потом выяснил у совместно со мной заключенных гитлеровцев, принимал участие сотрудник гестапо, ныне подданный, как мы выражаемся, одной державы, где он стал агентом ее разведки и сейчас находится у нас под соответствующей опекой.

— Вот это хорошо, что поймали такую сволочь! — одобрил Петухов, потом, помедлив, произнес, словно упрекая, обижаясь на Лебедева: — И как вы могли там из себя такого разыгрывать, просто удивляюсь!

— А что поделаешь? Научное исследование требует

доказательств посредством эксперимента,— сказал Лебедев.

— Но все-таки это геройство!

— Психотехника! — сыронизировал Лебедев.

О главном он решил сказать только на следующий день, когда было яркое солнце, палящий зной и все выглядело сказочно. Как тонкий психолог, Лебедев обладал способностью учитывать все обстоятельства, благоприятствующие поставленной цели.

Как он и предполагал, супруги Петуховы восприняли его главный разговор только как счастливое известие о внезапной радости и оставили в забвении то, на какие сложные переживания он обрекает Соню, ломает их сложившееся здесь жизнеустройство, чтобы начать новую жизнь на новом месте, когда сами Петуховы больше всего нуждались сейчас именно в спокойном жизнесуществовании.

Соня сияла. И только беспрестанно благодарила Лебедева как вестника ее полного счастья и торопила с отъездом.

Лебедев всегда готовился к своим служебным заданиям скрупулезно, педантично, тщательно, дальновидно, предусматривая всевозможные мелочи, так и здесь, с перемещением Петуховых, он сделал предварительно все, что мог.

Петухову он устроил перевод на вечерний факультет машиностроительного института и должность начальника цеха ортопедической мастерской при госпитальной клинике, чтобы там Петухов сам находился под медицинским наблюдением и проходил курс лечения, как говорится, без отрыва от производства.

Соню устроил на работу к архитектору при горисполкоме.

Жилье хоть и на окраине, но зато в том доме, где родилась Сониная мать и прошло ее детство, чтобы Красовская после больницы в памятной ей обстановке и рядом с дочерью смогла быстрее преодолеть свое тяжкое душевное заболевание.

Поэтому, когда Петуховы прибыли на новое местожительство, все уже было для них обеспечено Лебедевым.

При первой встрече с душевнобольной матерью, плоско висящей на костылях, с блуждающим взглядом и отсутствующим, мертвенным выражением костлявого старческого лица, Соне довелось пережить все муки как бы совершенного при ней самой убийства.

И Петуховы все то время, которое прежде было их

общей жизнью, отдавали теперь матери Сони, как бы пытаясь вернуть жизнь смертельно раненному человеку, находящемуся между жизнью и смертью и обреченному существовать длительно в таком состоянии, вывести из которого могло только словно бы переливание их душевных сил в опустошенную душу, длящееся бесконечно и мучительно для них самих.

Из всего бесчисленного множества человеческих подвигов этот подвиг, исполненный самопожертвования, самоотреченности, самозабвения — медленно, кротко, терпеливо, не предаваясь отчаянию и безнадежности, в живом труп пробуждать по крохам чувство жизни, самосознания и оберегать сохранившиеся инстинкты живого существа, вызывать их к жизни,— можно отнести к вершинам духовного подвига.

И постепенно к Красовской возвращалось то, что своими жизненными силами пробуждали в ней Петуховы. Но какой ценой!..

Рождение девочки уже не было тем баснословным счастьем, которого ждали Петуховы.

Соня, находясь в родильном доме, тревожилась за мать. Вернувшись, она металась между матерью и младенцем.

Петухов, в одной руке держа свою спеленатую дочь, другой кормил мать Сони и повторял с ней задания согласно составленному врачом-психиатром расписанию. Он должен был неустанно заниматься с ней по весьма сложной программе узнавания ею себя в жизни.

Зарплата в ортопедической мастерской была значительно меньше, чем на заводе, и Петухов подрабатывал в мебельной кустарной мастерской артели инвалидов, куда его позвал бывший разведчик Бобров, которого он встретил, когда тот примерял сложный ножной протез, изготовленный ортопедической мастерской, где работал теперь Петухов.

И то, что дома жила мать Сони, доведенная пытками в спецблоке концлагеря до помешательства, и то, что он в ортопедической мастерской делал людям, искалеченным фашистами, протезы, и то, что город этот, переживший ужасы и разорение фашистской оккупации, только-только поднимался из развалин, и то, что ребенок его, будущий человек, рожденный для будущего, сейчас бремя для Сони и она мечется между своей дочерью и своей матерью, изнемогая от душевной усталости,— все это удручало Петухова, вгоняло в тоску, в безнадежность.

А тут еще инвалид Бобров со своей неизбывной скорбью о павшей Нюре Хохловой, со своей обидой за то, что его обошли наградой за подвиг в крепости-монастыре, где он потерял ногу.

Но высветились сразу две радости. Красовская стала называть ребенка по имени дочери и, обращаясь к девочке, заговорила так, словно это была маленькая Соня. За этим пробуждением сознания последовали и дальнейшие.

И потом, в ответ на письмо Петухова Лебедеву о Боброве, в городской военкомат была направлена выписка о давнем награждении Боброва орденом Отечественной войны I степени.

Это так воодушевило Боброва, что он потребовал от Петухова стать вместо него заведующим кустарной мебельной мастерской, где зарплата значительно выше, чем в ортопедической, а развернуть дело по-настоящему возможностей гораздо больше.

— Нужда в протезах проходит, — шумел Бобров, — а в мебели по мере улучшения жизни нужда захлестывает.

Он водил Петухова по своим знакомым, кричал, словно радуясь нищете их быта:

— Видал? Что могло гореть, в печах пожгли для согревания организмов. От бомбежек вся обстановка в домах сокрушалась. Вот дом новый выстроили, а на чем сидят, на чем едят? На пустой таре. А спят, гляди, на досках, положили на козлы — это разве спанье?

Бобров приволок на «левом» грузовике добытые со склада металлолома деревообделочные станки, а также списанные за изношенностью, пообещал гордо:

— Рабочую силу для их ремонта я тебе добуду со стороны наших заказчиков. Желаеть табуретку, стол, стул получить — будь любезен, пособи машину наладить нам, инвалидам Отечественной войны, как значится на вывеске.

Добыв наряд на ремонт парт в ремесленном училище, он оговорил, чтобы наставники-мастера отработали за это, восстанавливая оборудование для мебельной мастерской.

Поскольку Петухову открылась возможность налаживать станочное оборудование, он дал согласие Боброву. А тот уже сделал комбинацию. В городе некогда была мебельная фабрика, теперь от нее остались лишь обгоревшие развалины, а в титульном списке горисполкома значилось восстановление мебельной фабрики. Бобров объявил мебельную мастерскую временным местоположением будущего мебельного комбината и на заседании гориспол-

кома заявил, что Петухов является исполняющим обязанности директора мебельной фабрики во временном ее пребывании пока в качестве мастерской.

Поскольку оборудование мастерской в инвентарном станочном исчислении показалось в этих условиях внушительным, горисполком принял решение утвердить Петухова в качестве и. о. при условии, что, как только начнутся работы по строительству мебельной фабрики, он там по совместительству обязан будет проявить себя и в качестве помощника прораба по технической части.

— Товарищ Григорий Саввич Петухов лучшей ротой нашей дивизии командовал, без пяти минут инженер. Выдающийся передовик оборонного завода! — хвастал Бобров в горисполкоме. — И вдруг взялся за мебель, я даже не ожидал его согласия. Такой человек — и мебель!

И уже сами горисполкомовцы говорили Петухову:

— Сейчас плотник на вес золота. Ведь отстраиваемся! Столяры все на учете. Двери, рамы — без них дома нет, одна коробка. А вы вот наладили станок под производство столярки. Вы уж, пожалуйста! Мы вам пока бывший пивоваренный завод отдадим, точнее, то, что от него осталось, кое-что пособерем из оборудования станочного, а вы уж с домостроительной столяркой помогите. Мебель мебелью, а без крыши куда ее ставить? Не на улицу же.

И Петухова захватила эта возможность механизировать производство столярки, хотя бы приближенно к той степени организации производства, которую он помнил и чтит на своем бывшем заводе.

Согласившись принять сан и. о. директора пока еще не существующей мебельной фабрики, местоположение которой напоминало узел обороны, подвергшийся длительному ураганному огню и затем взорванный при отступлении, Петухов испытывал чувство смутения. Кроме того, он считал, что для города, поднимающегося из развалин, для людей его, терпящих всевозможные лишения, мебель — это далеко не первоочередное в их безотлагательных и самых насущных нуждах.

Но он ошибся в своих опасениях.

Конюхов оказался прав, когда говорил на фронте, что победа в войне для советских людей означает не только воинскую победу, но и величайшую победу всего того, в чем заключается дух, всеобщая цель народа, его убежденность. И она породит новую воодушевленность и уверенность народа в своей созидательной силе, наполнит его сознание

еще большим историческим достоинством, энерготворчеством во всех областях жизни. И слова «советский человек» будут произноситься на многих языках мира как высокий и многозначительный титул человеческой личности.

Народная поговорка, уместная в трудные моменты жизни: «Не до жиру, быть бы живу», не была забыта, но по поводу того, что в городе восстанавливается мебельная фабрика, никто не счел нужным напомнить об этой вполне разумной в данной ситуации поговорке.

Конечно, никто и не считал, что мебель — это первая необходимость, когда не хватает жилья, когда идет восстановление электростанции, водопровода, хлебозавода — словом, всего того, из чего состоит жизнеосновательный организм города, искалеченного войной, и без чего он не может обрести вновь свою полную жизнеспособность.

Но в советском человеке в равной мере развито как деловое понимание задач дня текущего, так и вполне реалистическое осознание и дня грядущего.

И чем больше человек преисполнен ощущением грядущего, с тем большим азартом и воодушевлением он осуществляет дела дня сегодняшнего.

Эта духовная закономерность выявилась и в отношении к строительству мебельной фабрики.

Сюда приходили после работы. Приходили те, у кого пока еще не было своего жилья, те, кто жил в тесноте; приходили бывшие партизаны, хорошо обученные бездомному скитанию в лесных чащах, в болотных топях, бывшие фронтовики, тоже отвыкшие от домашнего убранства, вернувшиеся после эвакуации, и те, кто пережил здесь все тяготы фашистской оккупации.

И вот что ставило в трудное положение Петухова. К нему обращались не только с вопросами об инженерно-строительных указаниях, но и с вопросами: когда, какую и почему он будет производить мебель.

С одной стороны, эта уверенность людей в будущем внушала Петухову воодушевление тем делом, за которое он взялся. С другой стороны, эта людская уверенность вызывала опасение, сумеет ли он справиться с порученным ему мебельным делом.

Когда на совещаниях руководители работ на важнейших и главных городских объектах говорили о своих нуждах, первостепенной и безотлагательной надобности, их речи звучали мощно, внушительно, как речи государ-

ственно мыслящих личностей. А что мог требовать Петухов? Подумаешь — мебельное производство.

Естественно, что слово на таких совещаниях Петухов получал последним, когда все уже уставали в спорах и ресурсы на главное уже были распределены, а тут он — со своими мебельными проблемами. Но он все-таки бесстрашно выходил на трибуну, словно в рост во время атаки. И от снисходительных ехидных реплик отбивался репликами.

Прорабу хлебозавода он сказал:

— По-вашему, люди, как кони, должны есть стоя. А по-нашему, люди должны есть ваш хлеб за нашими обеденными столами, сидя на наших стульях.

Другому прорабу заявил:

— Вы не жилую тару должны выдавать, а жилища. Без мебели дом — ночлежка.

Третьему заметил:

— Вы рассуждаете как реставратор старья, а не как созидатель нового. Мы не латки накладываем на бедствия, причиненные войной. Мы должны дальнобойно, прицельно выстраивать все, и не только как было до войны, но и брать новый, более высокий рубеж жизни.

На реплику, что он, фронтовик, пренебрегает таким понятием, как сосредоточение главного удара на главном направлении, Петухов ответил:

— Без обеспеченного тыла не может быть победы как на войне, так и в мирных условиях. Даже при строительстве оборонительных укреплений положено предусматривать все, что необходимо солдату.

Так он «выбивал» цемент, арматурное железо, лесоматериалы крохами у тех, кто имел на это первоочередное и неоспоримое право.

И если его не сгоняли с трибуны решительными напоминаниями о регламенте, Петухов говорил взволнованно и воодушевленно о том, что строительство мебельной фабрики само по себе означает внимательную заботу государства о людях, свидетельствующую о том, что дальнейшим, главным направлением будет всеобщее улучшение жизни народа. И поэтому с такой самоотверженностью люди работают сейчас на восстановлении тех важных объектов, которые прямо не относятся в данный момент к их не устроенному еще жизнесуществованию.

Хотя кое-чего Петухов и добивался на таких совещаниях, но при этом нес и существенные личные потери. Так, например, на него чувствительно падали такие упреки, как

злоупотребление демагогическими приемами, попытки игнорировать реальность, противопоставление бытовых предприятий промышленным и склонность к отвлеченной риторике, чуждой деловитому хозяйственнику.

Пожалуй, в чем-то эти упреки были справедливы.

Но Петухов еще от Конюхова воспринял обычай перед боем говорить с солдатами не столько о предстоящем бое, сколько о том, ради чего каждый должен выказать себя с лучшей стороны в этом бою, — ради той всеобщей хорошей жизни, во имя которой каждый боец не щадил своей собственной. И поэтому на совещаниях он говорил не столько о конкретных нуждах своей стройки, сколько о том, каким жизненным нуждам людей она назначена служить.

Но когда обсуждаются действительно главные строительные объекты города, без которых город — инвалид, и дотошно высчитывается каждый килограмм цемента, каждый арматурный прут, кубометр теса, метр стекла и всякого прочего стройматериала, слушать отвлеченные размышления молодого прораба, терять на это драгоценное деловое время многим казалось слишком расточительным. Поэтому Петухов не пользовался у многих крупных хозяйственников деловым доверием. Но если кое в чем и шли ему навстречу, то только потому, что знали: Петухов может, не пощадив себя, полезть на рожон на любом совещании, хотя при этом ему самому не только от ведущего совещание придется выслушать немало резких замечаний и даже предупреждений о том, что он зарывается, говорит не по существу и еще не достиг должной зрелости, необходимой для руководителя.

Как всякий человек, Петухов потом, долго, мнительно и мучительно вспоминая эти упреки, переживал, пытался обучить себя большей выдержке, мысленно репетировал правильное поведение на совещаниях и каждый раз почему-то нарушал выработанную им самим разумную и четкую программу своего поведения и способа изложения своих соображений в рамках строгой деловитости.

Когда он жалобно рассказывал Соне о своих неудачах, она сострадательно сочувствовала ему. Но когда он изложил ей продуманный им правильный способ поведения, о котором повествовал увлеченно, обстоятельно, с учетом всех тонкостей заседательского обихода, и уверенно ожидал одобрения своему умственному труду в этом направлении, Соня осуждающе, сердито сказала:

— Зачем же притворяться таким, когда ты совсем не такой? Это же обман!

— Но раз я хозяйственник, значит, должен вести себя, как подобает хозяйственнику, — возразил Петухов и вдруг произнес слова бывшего своего комбата Пугачева: — А не выпендриваться!

— Нет! — сказала Соня, понимая по-своему слово «выпендриваться». — Ты должен быть таким, какой ты есть. И если не годишься, пускай об этом сразу узнают, что ты не годишься. И чем откровенней ты будешь выпендриваться, тем полезней тебе будет. Справишься, победишь, что в тебе плохое, потом это будет гораздо труднее.

— Так каким я должен, по-твоему, быть? — спросил вызывающе Петухов. — Чтобы всегда меня критиковали? Да?

— Тебя же критикуют не за то, чего ты добиваешься, а за то, как ты добиваешься. Будто ты один главный заботчик о людях, а другие — нет. На словах, может, это и красиво, а на самом деле — некрасиво. Это все равно что во время боя уходить в тыл, сопровождая раненого, и потом упрекать бойцов, что они бесчеловечны.

— Значит, я с этим мебельным делом, по-твоему, в тылу окопался? — зло осведомился Петухов.

— Дело не в тебе, а в тех, кому твоя продукция назначена, — в людях. Ты им служишь, а не они тебе. А что главное и первоочередное, они сами решили, как в первые пятилетки, так и сейчас этого же придерживаются. А тебе неловко, что тебя на мебель поставили, а не машины производить, вот ты, выходит, ради своего самооправдания на других кидаешься.

Хотя слушать такое от Сони было очень неприятно, как это часто уже бывало, она точно разгадала потаенное в Петухове и, зная, что обидит его этой отгадкой, не колеблясь, сказала ту правду, которая сейчас была ему полезна. Потому что в борьбе за мебельную фабрику не избежал недозволенных приемов в средствах убеждения, или, как говорили артиллеристы, ударил запоздало по тому рубежу, который уже успели победно захватить свои.

Салютами первой категории, двадцатью четырьмя залпами из трехсот двадцати четырех орудий, страна отмечала одержанные в годы Отечественной войны победы в вели-

чайших сражениях. Менее величественные военные победы также сопровождались соответствующей категорией салютами, на всю жизнь запечатлевшимися в сердцах людей как предвестники всемирно-исторической победы нашего народа.

Что касается успешных боев местного значения, то они даже иногда попадали в сводки Совинформбюро. А вот послевоенное непрерывное, длящееся днями и ночами двухлетнее гигантское трудовое, восстановительное, созидательное сражение советского народа на решающих победных этапах его, имеющих также мировое значение, почему-то не отмечалось торжественными салютами ни первой, ни второй, ни даже третьей категории, хотя эта величайшая трудовая победа нашего народа равноправно достойна быть вписана во всемирную историю, как вписана всемирно-историческая ратная победа в годы Великой Отечественной войны.

Город, в котором поселились Петуховы, очень часто упоминался во фронтовых сводках как оборонительный узел. На подступах к нему и в самом городе велись жесточайшие бои, имеющие тактическое, иногда оперативное, но не решающее стратегическое значение.

Кончилась война, и, хотя город этот уже никто теперь не называл по-армейски просто населенным пунктом и ему было возвращено его прежнее мирное имя, ничем особенно не примечательное в довоенном прошлом, он обрел ныне историческое право на ту часть героической славы, которую боевым подвигом утвердили здесь те, кто сражался за него.

Поэтому жители этого города, разрушенного войной, отдавали свои силы не только тому, чтобы вернуть ему из развалин прежнюю внешность, но и тому, чтобы он обрел облик, в котором запечатлелась бы окрыленность народа-победителя, уверенно утверждающего и возможности грядущего.

Как всем городам-воинам страна оказывала помощь в их восстановлении, так и этому известному по фронтовым сводкам населенному пункту.

Руководители города всех рангов и уровней испытывали в самих себе и со стороны общественности сложные и противоречивые влияния. С одной стороны, существовала неотложная необходимость скоростными способами преодолеть все бедствия, разруху и, прямо надо сказать, нищету, причиненные войной; с другой стороны, с не мень-

шей настойчивостью люди требовали, чтобы их город, отстраиваясь, стал значительно лучше, чем он был до войны, и в облике его капитально, красиво запечатлелось бы величие той победы, которую одержал народ ради жизни, во имя торжества всего того, что вдохновляло людей в годичную военных испытаний.

Нет нужды рассказывать о заседательских и совещательных сражениях, когда в деловых обсуждениях сталкивались и тесно сплетались обе эти задачи, так трудно совместимые в данных, как говорится, конкретно-исторических условиях. Важно отметить одно: не обессиленными, не удрученными горестями, не подавленными трудностями в мирную, еще далеко не слаженную жизнь вошли наши люди, а с неугасимым огоньком извечного горения, убежденности в том, что не вчерашний, довоенный день должен стать прообразом их созидательных усилий, а день послевоенный, еще не изведанный. Завтрашний, грядущий — во имя этого победного для они и претерпевали нынешние лишения, как в годы войны во имя Дня Победы.

Именно в силу этих обстоятельств и получил Петухов некоторую посильную поддержку в строительстве мебельной фабрики, одновременно исполняя должность заведующего кустарной мебельной мастерской, куда заказчики приносили для ремонта старый, искалеченный хлам, чтобы было на чем сидеть, на чем обедать, на чем спать.

В сущности, деятельность Петухова была такой же, как и всех людей, занятых восстановлением города, разница была только в масштабах. Одни разбирали полностью разрушенные здания, чтобы пригодный кирпич использовать для восстановления не полностью разрушенных зданий, другие рыли котлованы под фундаменты зданий, таких, которых никогда не было в городе, но которые должны были придать ему новый, величавый облик.

Оборудование бывшего завода, изготавливавшего прежде метизы для областного потребления, разместили в нижних этажах жилых зданий, бывшие его цехи стали просто слесарными мастерскими, обслуживающими неотложные нужды городского хозяйства, в то время как на строительной площадке была уже вывеска с названием этого завода, только именовался он не метизным, а машиностроительным, с назначением производить такие изделия, которых во время войны не было.

Вокруг строительной площадки огромное пространство занимали огороды жителей города, с которых они под-

кармливались дополнительно к пайкам, а некоторые участки были даже засеяны пшеницей. Такие же огороды были во дворах домов, и даже палисадники были засеяны гречихой, просом, горохом, засажены картошкой.

Ночами, хотя уже работала электростанция, город был темен. Не хватало стекла, и много оконных рам еще было сделано фанерой.

Не было и деревянных тротуаров, так как доски их пошли в свое время на топливо. На домах — жестяные кровли в дощатых заплатах, так как кровельная жечь пошла на ведра, чайники, кружки, бадейки для стирки, когда вместо мыла использовалась печная зола.

Шаги жителей города были отчетливо слышны издали, так как ходили на деревянных подошвах, а наиболее удачливые мастерили себе подошвы из старых автомобильных шин, те ступали мягче и даже неслышно.

Часть жителей заняла под жилье бывшие оборонительные укрепления, землянки, блиндажи, доты.

В городе был разрушен вокзал, но вся территория, примыкающая к путям, представляла собой огромное складское хозяйство со штабелями стройматериалов, и здесь выгружались эшелоны со всех краев страны и уходили обратно пустыми, потому что городу пока нечего было в них грузить.

Как руководитель-хозяйственник Петухов не имел ни практического, ни психологически-тактического опыта. Единственно, чем он располагал, — это только фронтовым и, конечно, заводским опытом. Как на фронте и на заводе, так и здесь он в равной степени испытывал всегда ему сопутствующее уважение к людям умелым; и чем тяжелее были условия для проявления умелости, тем больше росло в нем восхищение ими, и именно эта его душевная черта и привлекала к нему людей.

Его способность огорчаться или радоваться людям служила прощающим обстоятельством, когда он как руководитель допускал те или иные ошибки, потому что, как и на фронте, привык прежде всего взыскивать с самого себя, соизмерять, как бы он поступил сам в подобных обстоятельствах, прежде чем делать замечания об упущениях другому. Эта его фронтовая привычка понять другого, как самого себя, выявить сначала причину и только после этого судить о последствиях, с одной стороны, роняла частенько его административный авторитет, но с другой — он обретал самое важное для любого руководителя — доверие к себе,

уверенность в том, что он по-человечески умеет разбираться в каждом.

Как по фронтовому обычаю офицер, приходя командовать новым подразделением, кратко рассказывает о себе, в каких боях и как он участвовал, так и Петухов доложил о себе и в ремонтной мастерской, и на строительной площадке фабрики, чем сначала удивил людей и даже вызвал недоумение, но получилось так, что этим своим представлением себя он как бы разделил между ними все то, чего ему пока не доставало как руководителю и что они должны были восполнить теперь вместе с ним.

Петухов считал себя удачливым человеком. Воевал, а живой, и даже не сильно поврежденный. У него Соня и чудесная дочь. Доверили ответственную работу, зачеты сдает в вечернем нормально — скоро инженер, поэтому он к людям относился всегда несколько стеснительно, полагая, что ему хорошо, а им вот еще плохо; и когда к нему обращались с разного рода просьбами, даже если и не всегда обоснованными, Петухов, теряя много в глазах руководства, досаждал ему в этих случаях настойчивостью в удовлетворении таких просьб.

В жизни Петуховых никогда не возникали моменты, которых, по их мнению, они не могли бы преодолеть сами, и поэтому полагали, что если кто кого-нибудь о чем-нибудь просит, — значит, это та крайность, обойти которую невозможно.

Жили они на окраине города скудно, тесно, не замечая всего этого, поглощенные своими перворадостями: у Зоси Владимировны, матери Сони, все больше и отчетливее пробуждается сознание, и дочь Катя уже произносит весьма внятно: «Папа, мама, баба». Сам Петухов даже в сырые, промозглые ночи почти высылался, не испытывая тех мук от ранений, какие испытывал совсем недавно, скрывая от жены, притворяясь спящим и всю ночь лежа бессонно, с плотно сжатыми веками и стиснутыми зубами; и весь рабочий день он чувствовал тогда изнеможение, которое перебарывал, словно беспрестанно переплывая огромное водное пространство, когда нет сил и тянет на дно.

Соня, работая у городского архитектора, приносила домой эскизы будущих зданий, красивых, величественных, и развешивала их на бревенчатые, с отвалившейся штукатуркой стены комнаты; и когда Петуховы рассматривали эти эскизы, обсуждали их, у них было такое ощущение, что

вот он, их новый город, уже существует, хотя за окнами немощная дорога, развалины, нет даже уличного освещения.

Вначале Соню огорчало то, что она не повидала Нелли Коровушкину, которая приезжала в больницу к ее, Сониной, матери и уехала, как ей сказали, расстроенная, и красивое лицо ее было сильно исцарапано руками матери Сони, которая почему-то возненавидела Нелли и всегда страшно кричала, когда та приближалась к ней. Но потом Зоя Владимировна с трудом, как тяжкий сон, вспоминая, говорила о том, что, когда ее подвергали экспериментальным медицинским истязаниям в лагерном спецблоке, от фашистки-медсестры, ассистирующей палачу-хирургу, всегда сильно пахло духами, и запах их сливался с теми муками, которые она испытывала. Соня вспоминала о Нелли, которая даже на фронте любила сильно душиться и, очевидно, теперь тоже была надушена. Запах ее духов у душевнобольной матери вызывал приступы отчаяния и ярости, когда к ней в больнице приближалась Нелли. Это же самое чувство вызывали у нее все люди в белых халатах, когда она находилась на излечении.

В лагерных спецблоках фашистские медики полностью соблюдали чопорный торжественный ритуал почтительности и благовоспитанности, принятый во взаимоотношениях медицинского персонала в самых знаменитых клиниках Германии, где они получили профессиональное образование. Латынь была чужда и даже политически противопоказана истинным арийцам, но, поскольку имперское управление пропаганды еще не успело германизировать медицинскую терминологию, они, как и все медики, пользовались латынью, деликатно лишаящей пациента возможности быть в курсе того, в каком состоянии находится его здоровье.

Готовясь к своим бесчеловечным операциям и производя их, они механически следовали тем правилам, которые предписывались учебниками для соблюдения личной гигиены медика.

Особо тщательная подготовка, прежде чем войти в операционную в стерильно белых халатах, глубокомысленные, озабоченные предварительные размышления вслух о приемах ведения операции, подобные консилиумам, опять же латынь были вызваны сознанием того, что они свершают нечто новое в медицине, даруя ей иное, более существенное, более важное для империи назначение, чем цель продле-

вать и спасать человеческие жизни, превращая медицину в средство массового и наиболее экономического уничтожения человеческих жизней.

Хотя операционное помещение спецблока по своему санитарному состоянию не соответствовало требованиям даже сельского ветеринарного пункта, это не смущало фашистских врачей, ибо зверские опыты, которые они проводили здесь над людьми, доселе никто не осмеливался проводить даже над животными. Воздействие разного рода экономичных поражающих средств на те или иные участки человеческого организма и было целью их палаческих исследований, имеющих военно-практическое значение. После взятия определенных доз костного мозга у Зоси Владимировны фашистские медики поставили себе задачу — продлить оперированной жизнь, чтобы узнать донорские пределы данного объекта в подобных операциях, и Красовскую некоторое время лечили в спецблоке по всем принятым правилам.

Потом в нашей больнице для душевнобольных ее состояние не улучшалось, а ухудшалось, потому что ее продолжали преследовать ужасающие видения фашистских палачей в белых халатах. Лебедев понял это и настоял на том, чтобы лечение ее началось со встречи с близкими в иной, не больничной обстановке.

Когда Лебедев подвергался допросам разведок как офицер СД, он не мог понять, почему его так подробно расспрашивают об эффективности действия сгущенного бензина, впервые примененного в фашистских бомбах при бомбежке Ленинграда и впоследствии получившего название напалма.

На теле Зоси Владимировны Красовской имелись бурые сморщенные глубокие впадины от опытных применений доз напалма и фосфора, идущих на начинку этих бомб. Но так как после извлечения костного мозга она была еще слаба, ее подвергли испытаниям лишь малыми дозами этих веществ.

Лебедев полагал, что во время допросов деятели разведок хотят получить от него сведения об опытах с напалмом и фосфором над заключенными в спецблоках как улики в предстоящем процессе над фашистскими преступниками. Смущало лишь то, что следователей больше интересовали чисто технические результаты применения этих веществ, чем сама бесчеловечность их использования.

Что касается взятия костного мозга у заключенных

спецблока, то Лебедев понимал, что «технический интерес» следователей вызван прежде всего тем обстоятельством, что при работах над созданием ядерного оружия в США пострадавшим от чрезмерных доз облучения делали пересадки костного мозга, применяя это как средство лечения. В фашистской Германии костный мозг стали добывать в спецблоках от заключенных. Поскольку, как это следовало из личного дела того офицера СД, за которого выдавал себя Лебедев, этот офицер не имел прямого отношения к данным работам, от Лебедева и не ожидали в этой сфере ценных и полезных сведений, но других сотрудников СД, находящихся в совместном с Лебедевым заключении, имевших прямое отношение к медицинским исследованиям в спецблоках, допрашивали долго, обстоятельно, требуя сообщить все практические и технические подробности и аналитические результаты эффективности применения подобных средств.

Посетив вскоре семейство Петуховых на новом месте их жительства и узнав, что Зоя Владимировна Красовская успешно поправляется, Лебедев, как это ни странно, уклонился от всяких разговоров о деловой цели своего приезда.

Особое внимание он уделил Соне. Уединяясь с ней, подолгу беседуя, пытливо и со всеми подробностями расспрашивал ее об уходе за новорожденным младенцем. Он вел себя как следователь, был очень серьезен и методичен, что было свойственно ему и вообще, и как человеку определенной профессии. И когда Соня обиделась за слишком интимные подробности, интересовавшие Лебедева, он сказал, как всегда, сухо, если вопрос касался его лично:

— Дело в том, что Ольга скоро станет матерью, но поскольку врачи обещали после операции сохранить ей зрение только на непродолжительное время, я должен быть в курсе всех материнских забот, чтобы взять на себя большую их часть. — Потирая руки, объявил: — Рождение ребенка для меня радость, а для Ольги спасение от того горя, которое она будет испытывать с утратой зрения.

— Какой ужас!.. — в отчаянии воскликнула Соня.

— Повторяю, — сухо произнес Лебедев, — мы с Олей счастливы. И к своему несчастью подготовились настолько, что будем вполне счастливы, когда нас будет уже не двое, а трое. — Продолжал задумчиво и опечаленно: — Конечно, очень хотелось бы, чтобы Оленька смогла подольше видеть своего ребенка. Но это покажет время. В сущности, все главное для счастья у нас теперь уже есть.

Вместе с Петуховым Лебедев зашел в его ремонтную мебельную мастерскую, где хозяйничал Бобров. Передал Боброву фотографию памятника на могиле Нюры Хохловой, где в камне была запечатлена статная девушка, мало похожая фигурой на Нюру, но приподнятое лицо, полуоткрытые ждущие губы были ее, Нюрины.

Бобров трудно и тяжело дышал, держа в руке фотографию, потом сказал сипло:

— Пойду очки надену, так плохо видно.

Ушел и больше не вернулся...

Побывали и на стройке мебельной фабрики. Но поговорить здесь не удалось. Петухову, как всегда, пришлось сразу же решать множество текущих дел, и Лебедев терпеливо ждал, пока он освободится от самых неотложных.

Когда возвращались обратно, Лебедев как бы в раздумье сказал:

— В связи с выходом книги американского инженера Тейлора Ленин написал о науке управления, о том, что руководителю помимо ума, образования, специальных знаний нужно обладать тактом, энергией, решительностью, честностью, рассудительностью, здравым смыслом и крепким здоровьем.

— Со здоровьем-то у меня пока ничего, нормально, — вздохнул Петухов.

— А остальное?

— Овладеваю, как могу. — Признался горестно: — Конечно, со срывами.

Лебедев в свою очередь также признался:

— Для нас ведь тоже, как и в твоём деле, способность предвидеть, организовывать, согласовывать, контролировать, рассудительность, смелость, чувство ответственности, высокий уровень общей культуры, точность, самообладание, чувство справедливости — качества всенепременные.

— И как? — спросил Петухов.

— Также овладеваю. Всю жизнь, — сказал Лебедев и тут же деловито заявил: — Зосю Владимировну я решил не приглашать в качестве свидетельницы обвинения. Во-первых, по соображениям сохранности ее душевного спокойствия. Во-вторых, этот тип на перекрестном допросе с ему подобными во всем признался. И в-третьих, я не помню, говорил тебе или нет, там, у них, один американский офицер дал мне, как фашисту, весьма ощутительно оплеуху. Потом он служил в американской военной комендатуре в Берлине, и я решил с ним встретиться уже как

советский офицер. Как говорится, поделились впечатлениями. Оказался, как я и предполагал, порядочным человеком, хотя и далеким от каких-либо левых взглядов, честный, прямой... Выпустил там у себя, дома, вернувшись из армии, не то что книгу, а так, нечто вроде брошюры, воспоминания о своей службе, ну и изложил много правдивого и существенного для мира. Там он и упоминает о Красовской, которую не хотели отпускать на Родину. Вот, собственно, и все... Так что мой приезд внеслужебный. Главное — доложить Оле, как вы тут все живете. — Произнес вполголоса, как бы только для себя: — Она ведь очень хорошая, всегда не о себе, а о других и обо мне тоже. Учится быть слепой уже давно, скрывая от меня. — Заявил гордо: — Так что с женой мне сильно повезло. На всю жизнь.

Понимая, как трудно Лебедеву говорить об Ольге, Петухов спросил:

— Но ведь вас могли обличить бывшие сослуживцы того фашиста, за которого вы себя выдавали?

— Конечно, — равнодушно ответил Лебедев. — Один такой нашелся. Доказывал на допросе, что я не тот, за кого меня принимает.

— Ну и как же?

— Очень просто. Каждый профессиональный следователь знает «этику» преступников. Я на допросе тоже упорно утверждал, что знать его не знаю. И заявил, что готов давать любые показания, за исключением тех, которые могут послужить материалом для обвинения моих сослуживцев. Сочли нас обоих только стойкими, преданными друг другу фашистами. — И чтобы избежать этой темы, Лебедев сказал с обычной своей осторожной улыбкой: — А батальонный-то ваш Пугачев — теперь генерал, ворочает новой техникой. Но характер остался прежний, лихой... Как-то во время стрельб забрела в запретную зону корова, он на мотоцикле помчался, вилляя между разрывами, к корове и из зоны ее, как тореадор все равно, изгнал. Потом отшучивался: «Корова колхозная, еще в суд на армию подадут. Вот и принял экстренные меры».

— Как с фашистским тягачом, которым они хотели утащить к себе подбитый танк, — вспомнил Петухов.

— Именно, — согласился Лебедев, но тут же строго заметил: — Генерал Пугачев сейчас в небесном пространстве таких бугаев гоняет, встреча с которыми весьма и весьма, я бы сказал, никому не рекомендуется...

— Это что же такое? — спросил Петухов.

— Так, предметы, обеспечивающие нам полную возможность заниматься и мебельным производством, — уклончиво ответил Лебедев.

Председатель горисполкома Порфирий Игнатьевич Вычугов длительное время работал в солидном финансовом учреждении, где выучился своеобразной категорической манере отдавать разного рода приказы и распоряжения, затем некоторое время спустя строгойше запрашивать об их исполнении.

Если происходили заминки, срывы, то он повелительно требовал от виновников письменных объяснений и по ним судил о личности провинившегося и об обстоятельствах, вызвавших срывы и заминки. Затем составлял по этим объяснениям краткую докладную и направлял ее по инстанциям.

Все документы, которые он мастерски создавал, как мозаику, из цифр, фактов, выбирая из набора типовых служебных приказующих выражений наиболее подходящие для окончательного вывода, выглядели при прочтении убедительными и исчерпывающими. Но иногда получалось так, что провинившиеся в свою очередь присылали объяснения, не менее мастерски составленные, чем запрос Вычугова, и их мозаика оборонительных цифр и фактов оказывалась более стойкой при прочтении, чем атакующий разносный запрос Вычугова.

И тут же происходили встречные бои-переписки, где каждая из сторон стремилась одержать победу над другой, удерживая позиции вокруг приказов, отданных разного рода инстанциями в разные времена, не всегда соответствующих задачам сегодняшнего дня, тем более затрашного. Но поскольку приказов было много, из них при известном опыте можно было выбрать именно те, которые нужны были для подтверждения твоей правоты и опровержения возражающей стороны, которая в этой борьбе пользовалась такими же приемами.

При всем этом нужно отметить, что Вычугов работал самоотверженно дено и ночно, приходил в свое учреждение первым, покидал его последним. Не пользовался служебной машиной, питался в учрежденческой столовой

вместе со всеми служащими. При деловых беседах избегал говорить «я», а говорил «мы» по соображениям скромности.

Но вот однажды он получил вызов в высокое учреждение, к товарищу Минину по, казалось бы, незначительному вопросу.

Вычугов взял с собой все необходимые бумаги, составил предварительно по ним тезисную докладную: зная, как государственно дорога каждая минута служебного времени товарища Минина, хотел изложить все предельно кратко и четко.

Минин радушно принял его в своем огромном кабинете, заставленном книжными шкафами, извинившись за то, что он без пиджака и без галстука, с расстегнутым воротничком сорочки, — для удобства в работе. Усадил Вычугова за отдельный столик, угостил чаем, а сам только с наслаждением беспрестанно курил, с аппетитом причмокивал, глотая дым и разглядывал Вычугова выпуклыми любопытными глазами. Выслушав краткую, четкую и мастерски составленную Вычуговым докладную, Минин похвалил его за все эти качества информации. Отметил, что он даже завидует такому умению кратко излагать дело по существу, но потом стал расспрашивать Вычугова о тех людях, которые должны были выполнять эти приказы и распоряжения, расспрашивать так, словно они были близкие родственники Вычугова и он обязан был знать о них все: как они живут, какие у них характеры, их склонности, стремления и даже переживания. И когда Вычугов, пользуясь материалами отдела кадров, стал отвечать Минину в пределах анкетных сведений и служебных характеристик на должностных лиц, Минин сокрушенно развел руками и сказал нахмурясь:

— Так это, дорогой мой, бумажные сведения, а мне хотелось бы знать ваше собственное, личное о них мнение. — И стал рассказывать о тех людях, которых Вычугов знал только по взаимной переписке, такое, словно они были его, Минина, родственниками, — одни вполне достойными, а другие недостойными. Одними он хвалился, на других сетовал так, словно искал себе сочувствия и поддержки у Вычугова и просил помочь сделать так, чтобы они стали лучше.

— Вот видите, с кем нам приходится работать, — говорил увлеченно Минин. — Одни больше той должности, которую занимают, другие — меньше. Одних нужно, выхо-

дит, приподнять, а других подтянуть. А вы — что же получается? Рулеткой из бумажной ленты рост и дела каждого меряете. Разве это правильно? Должностное звание должно соответствовать знаниям. Профессиональным, конечно. Но без человекопонимания не то что людьми, а сам собой не поруководишь. Вот у Энгельса, помните? Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает. Я вот вас за краткость докладной похвалил, хорошо составлена, четко, ясно. Но ведь дела у нас и люди сложные, а все можно упростить до такой крайности, что это важнейшее для нас — кто и как — выпадет. — Задумался, жадно глотая дым и потирая грудь ладонью под сорочкой так, словно ему душно было в просторном кабинете с настежь открытыми окнами, спросил: — Не обиделись?

Спустя некоторое время после этой встречи Вычугов выехал в составе комиссии по восстановлению разрушенного войной освобожденного района и остался там сначала в качестве начальника материального снабжения, а затем был избран председателем городского исполкома.

Обладая строгой и стройной логикой делового мышления, Вычугов частенько ставил Петухова в трудное положение на заседаниях исполкома, требуя от него четкого, согласованного хозяйственного расчета в каждом вносимом им предложении.

Когда предложения Петухова не поддерживались, Вычугов просиживал с ним ночи, обучая его всем тем сложностям, из которых складывается деятельность хозяйственника во множественных взаимоотношениях с ведомствами, другими хозяйственниками и учреждениями. Но привычка сановно держаться с подчиненными не покидала Вычугова, и он не был расположен к беседам помимо дела. Коренастый, лысоватый, с малоподвижным лицом, он постоянно бывал хмур и озабочен. В гражданскую войну служил в Волжской флотилии боцманом на бронекатере, а затем за хозяйскую умелость и твердый характер был назначен членом правления банка, учился на финансовых курсах. Словом, как он однажды сказал о себе неприязненно: «Был водоплавающим, а теперь на суше служащий, вместо штурвала кручу ручку арифмометра, плаваю в бумагах».

Как птице от природы присуще штурманское чутье, так и Вычугов обладал прозорливым, терпеливым умением определять главный курс в многосложном течении

поступающих и исходящих бумаг и неуклонно следовать ему.

Но при всех обстоятельствах он незыблемо стоял стражем установленного законами государства правопорядка. И поэтому к документам, распоряжениям, изложенным на разного рода бумагах, относился с таким же почтительным усердием, как прежде ко всем командам, отдаваемым капитаном его бронекатера.

Как-то проникшие на бронекатер анархистствующие элементы пытались захватить над командой политическую власть, провозгласить безвластие. Вычугов вступил в борьбу с ними, как большевик и как боцман, преданный строгому распорядку флотской службы, и его пытались повесить на мачте, «как цепного пса, охранителя этого распорядка».

С тех пор в нем жила ненависть, а затем неприязнь к каждому, кто под тем или иным предлогом пытался принизить или обойти законы и правила советской службы, ибо в их незыблемости он всегда ощущал повелительную команду той Советской власти, за которую он, архангельский мужик-моряк, воевал и которую отстаивал на многих фронтах гражданской войны.

Петухов не знал всего этого, но, хотя и не проникался душевной симпатией в Вычугову, испытывал к нему уважение.

В рассуждениях, советах и указаниях Вычугова он прежде всего почувствовал нечто такое, что свойственно в известной степени работникам штаба, которые планируют боевую операцию и всесторонне обеспечивают ее, исходя из множества самых противоречивых данных, придают для осуществления ее строго необходимые средства и не поддаются настояниям выделить лишние стволы.

Этому штабному умению мыслить не только действиями своего подразделения, а всей совокупностью взаимодействий войсковых подразделений разного рода войск, составляющих армейский организм как единое целое, и обучал Вычугов Петухова, только с той разницей, что это были не войсковые части и подразделения, а взаимодействующие предприятия, хозяйства, ведомства, учреждения, заводы и фабрики, транспорт, организации, призванные осуществлять во взаимосвязанном единстве и то, чему предназначен был сам Петухов как и. о. директора будущей мебельной фабрики.

— По-партийному — значит по-государственному, — строго говорил Вычугов, — а по-государственному — значит по народному интересу. А он, этот интерес, и ближний и дальний — у каждой задачи своя дистанция. А то либо отстанешь, либо оторвешься, забежишь вскачь вперед. Если говорить по-флотски, курс тебе дан, но надо все рассчитать для прохождения курса: и расход топлива, и запас провианта, и всякое непредвиденное. Встречный ветер, шторм, — значит, перерасход топлива, потеря скорости хода, а прийти ты должен к назначенному пункту точно в срок, то есть по плану. А план — это закон! Приказ Советской власти, как ходовое расписание, нарушил — слезай с мостика! Любая наша здесь стройка — все равно что транспортник. Он еще в плавании, а на земле его груз ждут в точно назначенное время. Лес, цемент, железо, любые его грузы имеют свое строгое и незамедлительное назначение, все должно пойти в дело сразу после доставки. Получатель — народ, Советская власть!

Вздохнув, Вычугов заявил:

— Вот, значит, какая механика нашей работы. — Предупредил сурово: — И чтобы это слово презрительное «бумаги» я от вас больше не слышал! Документ! Это правильное слово. Это ответственно! Поставил свою подпись, — значит, присягнул к исполнению. Ты служащий не кому-нибудь, а Советской власти. И служебная наша дисциплина, как и армейская, содействует исполнению долга, а вовсе не для подчеркивания того, кто какую должность занимает. Это преданность делу, а вовсе не личностям. Я так считаю.

Когда на заседании горисполкома возникла дискуссия, что следует восстановить в первую очередь: городской театр или вокзал, Вычугов сказал хмуро:

— Вообще-то я не любитель спектаклей. Но вот знакомился с материалами архива довоенного. Число ежедневных посетителей театра было значительно больше, чем количество приезжающих и отъезжающих по железной дороге. Исходя из этих цифровых данных, считаю — театр!

Хотя такой статистический подход к решению задачи многим показался слишком упрощенным, все же то, что председатель исполкома стал изучать городские архивы и по ним вроде бы научно определять первоочередные нужды, вызвало уважение.

Так он настоял, чтобы бани строили не на прежних

местах, а в тех районах, где больше всего жителей было занято на промышленных предприятиях. Заявил строго:

— Физический труд есть физический труд. Баня — тут и необходимость, и перворадость телесная. Раньше в городе было мало промышленных предприятий, а теперь будет много. Значит, их тыловое обслуживание надо приблизить к объектам. И тут я с генпланом не согласен!

Так же резко он выступил против строительных организаций, которые, восстанавливая старые здания, их подвальные и полуподвальные помещения отделявали под квартиры. Сказал с негодованием:

— Первый лозунг Советской власти какой был? Переселить трудящихся из подвалов. А вы что делаете? Обратное вселять? Не позволим!

И хотя такое решение грозило срывом плана сдаваемой жилой площади и, значит, дурными для самого Вычугова последствиями, он настоял на том, чтобы подвалы и полуподвалы относились к складским, служебным, производственным или торговым помещениям.

Так же он потребовал на местах разрушенных начисто зданий не возводить всюду новые, а оставлять площадки для скверов и садилов.

— Прибавить в новых по этажу — вот вам и экономия земельной городской площади, — сказал Вычугов. Добавил, хмурясь: — До революции здесь у каждого купца за каменным забором свой сад был. А мы обязаны такие сады на улицы беззаборно вынести. Кстати, все оставшиеся кирпичные заборы надо разобрать, а кирпич пустить в дело.

Изучая архивные материалы старой городской управы, Вычугов нашел там заявку на разработку гончарных глин и предложил кирпичному заводу наладить из них производство черепицы, так как кровельного железа не хватало, а здание древнего костела было покрыто черепицей из местной глины, изготовленной некогда купеческим кирпичным заводом. И тут же он изложил экономические выгоды такого производства, учтя стоимость железа, его периодическую ремонтную окраску, недолговечность, опять же оперируя бюджетом двух довоенных домоуправлений. Здание одного было покрыто кровельным железом, а другого — заграничным шифером.

И постепенно Петухов постигал хозяйственные методы Вычугова, вдумчивые и обоснованные способы доказательства их целесообразности, вытекающей из тщательного

предварительного изучения, расчетливого обдумывания и при этом терпеливого и уважительного согласования со всеми сторонами, причастными к решению подобных вопросов, он старался переносить их дело, ему порученное, и осваивать их.

Хотя мебельная фабрика находилась еще в стадии строительства, первые ее цехи уже были заняты производством, но не мебельным, а домостроительных материалов.

— Товарищ Петухов! — говорил Вычугов, плотно сидя в массивном старинном кресле. — Вы на мне возможности громкости своих голосовых связок не испытывайте. Отсутствием слышимости не страдаю. — И, нежно оглаживая толстыми ладонями мощные ручки кресла, объявил одобрительно: — Вот вещь на века! На всю эпоху! — И, хитро сощурясь, спросил: — А почему? Дерево выдержанное. Годами в штабелях лежало, вялилось, сохло, обезвлаживалось. Выходит, капитализм желал себя в такой прочной мебели увековечить! А ты что же, желасшь нам ее из сырых досок сколачивать? — Поднял величественно руку, останавливая таким жестом протестующий возглас Петухова, сказал: — Сушилки я обустроил. Материал там уже сложен. Значит, выжидаю. А ты на меня, как на глухого, кричишь, волнуешь. Заметь, если на производстве будешь так — грубость на психику действует, снижает производительную способность. Понял? — Спросил недоверчиво, опять ласкающе поглаживая ручки кресла: — Вот если бы ты такие долговечные предметы мог производить, тогда бы тебе почет и уважение.

— Если вы такой любитель старины, — сердито и обидчиво сказал Петухов, — так вам следовало бы тогда жениться на старухе. А нам такие изделия — все равно что шпоры танкисту!

— Смотрел я ваши эскизы, — неуязвимо-спокойно сказал Вычугов. — Нет в них ни внушительности, ни солидности. Но! — поднял он указательный палец. — Одобрил! Почему одобрил? Ум в них есть. Экопомичность, древесная фактура без подделки подо что-нибудь иное. Честная мебель. Я бы сказал, без претензий, чтобы в ней выразить памятник эпохе, как вот, скажем, в этом кресле, капиталистическая запечатлена: дуб, а сделано все под бронзу, и сидеть в нем хорошо, как монументу.

— Нравится?

— Кресло внушительное. А вот место в нем — зависимо от того, как человек служит делу. С умом или с од-

ной только прытью. Значит, моя резолюция на твоих эскизах такая: небогато, но чтобы красиво и прочно. Ясно? Далее информирую. Первые, пробные модели я отправил в общежитие ремесленников. Белел коменданту: не препятствовать ребятам баловаться на них. Если через месяц-два не поломают, не искорежат, значит, испытание, считай, прошли. И только после этого будет моя окончательная резолюция.

Как оружие на полигоне испытывают, так я мебель в общежитии ремесленном сейчас испытываю. Устоит — пойдет. Не устоит — устраняй обнаруженные недостатки: крепления, клей, лаки, фурнитуры и прочее. — Побарабанил толстыми, как песты, пальцами по клеенчатой обивке стола, сказал с упреком: — То, что вы сейчас домостроительную столярку гоните, это не только экономическая первоочередная необходимость, но и переходная стадия на более тонкое и сложное производство — и коллектив отшлифуется, и методика производства, и у тебя ума и опыта прибавится. — Сказал задумчиво: — Мы во всем обязаны освобождать человека от излишнего малопочтенного труда. Вот, скажем, это кресло! Ведь уборщица, став на коленки, все его завитки, загогулины тряпкой протирает от пыли. А за что я ваши эскизы одобрил? Простота конструкции, противопыльные плоскости, махнул — и все блестит... Потом — вещь человека воспитывает. Она должна не возвышаться над ним, а служить ему, его добротности.

— Почему же вы тогда так это свое кресло хвалили?

— За глупость. За то, что оно увековечило нам то, что нам вовсе не надо. Чтобы человек дорогой вещь над другим возвышался. Понял, на чем я тебя ловил? Вы там инкрустацию себе позволили, так я ее вычеркнул, исходя из этого самого, что сейчас сказал!

— А в здании городского театра колонны, портики, лепка, вход как триумфальная арка... Перерасход средств и стройматериалов допустили? — спросил Петухов.

— Допустил! — сказал Вычугов. — Театр для чего служит? Чтобы человека на возвышенное, на хорошее настроить. Поэтому он должен внушать своим видом что-то особенное, значительное. Это не просто дом: вошел, побыл, поглядел про жизнь и, как из дома, вышел и пошел к себе домой. Общественное здание — это полноправное украшение города и, значит, всем как украшение города служит. Торжественно театр выглядит? Торжественно!

Что же, по-твоему, мы после такой победы не имеем права на торжественность?! — Помялся, произнес задумчиво: — Конечно, эти полые внутри колонны никакой тяжести на себе не держат и гипсовая лепка пылиться будет. Но ведь другого ничего пока нет, чтобы торжественность в архитектуре обозначить. Пока сойдет, главное — люди понимают: хотим красоты и на красоту, когда она для всех, не жмотничаем.

Какие бы авторитетные ведомственные организации ни обращались в исполком со своими надобностями, Вычуров заявлял категорически:

— Будьте любезны, сначала водопровод, канализацию, дорогу, тротуары, а потом возводите, что хотите!

И когда ему возражали, что в отведенном районе все это имеется, он сурово осведомлялся:

— А люди, которые у вас будут работать? Ведь не все проживают в данном районе. Вот, значит, сначала обеспечьте таким же количеством подземных коммуникаций, которые вы от города получаете готовенькими.

Он с нетерпеливым воодушевлением мечтал о постройке мусоросжигательной станции, отапливающей котельную теплоцентрали.

Говорил пламенно:

— Мы не только восстанавливаем город, а перестраиваем его капитально, согласно генплану всей нашей дальнейшей жизни, а не только по плану, представленному нам городским архитектором. Нам важно не только, как он будет выглядеть снаружи, но как он будет обустроен изнутри всеми коммунальными благами, а они и составляют фундамент благополучия, хотя и по капрасходам требуют затрат не меньших, чем поверхностное сооружение.

Но в этой борьбе частенько побеждали ведомства, а не исполком.

И тогда Вычуров мрачно признавался Петухову:

— Когда я после флота из военморов обыкновенным гражданским служащим заделался, наган все-таки носил для устрашения, и если не вразумлял словом, на всякий случай руку на кобуру клал, вроде революционного аргумента, но меня свои же основательно отучили от этого и крепко другому обхождению обучили: сначала пойми взаимодействие всех порядков, установленных Советской властью, а потом действуй только в соответствии с этими порядками. — Произнес со вздохом: — Конечно, наш городишко в боевой флотилии крупных промышленных горо-

дов — так, вроде вспомогательного суденышка, но тоже хотелось бы ему скорость хода прибавить. Курс-то у всех один — на улучшенную жизнь!..

То, что мебельная фабрика производила пока столярку для нужд домостроения, позволило Петухову организовать производство по системе, принятой на машиностроительном заводе. Столяры и плотники овладели станками, налачился поток. На фабрике работали бывшие фронтовики и партизаны, люди, вернувшиеся после эвакуации, и те, кто пережил здесь фашистскую неволю.

И пожалуй, то, что сейчас фабрика производила только домостроительную столярку, а не мебель, хотя на производстве мебели зарабатывали бы больше, сознание своего соучастия в самом насущном и неотложном устройстве жизни вселяло в людей чувство азарта. И хотя Петухов и трусил соревноваться с уже полностью пущенным новеньким машиностроительным заводом, такой вызов коллективом фабрики был брошен и принят машиностроительным заводом с некоторой снисходительностью.

40

В середине текущего столетия у хозяйственников были свои неотвратимые трудности, как, возможно, они имеются даже теперь и у нынешних. Бывало, Петухов в отчаянии и горести приходил домой ночью и, усаживаясь за стол, намыливал щеки и начинал бриться, чтобы соскоблить многодневную щетину и в благопристойном виде явиться утром в инстанцию для получения очередного выговора и предупреждения о возможном снятии с работы.

— Что, опять? — вставая с постели, сонно спрашивала Соня.

Как-то в котельной прорвало трубы. Петухов, придя домой, сипло сказал:

— Ремонту суток на пять, план снова повис. Силовая стоит, работают самозванно вручную, фуганками, рубанками, как в пещерный век.

— Могут снять? — спросила Соня.

— Обязательно! — авторитетно ответил Петухов. — Трубы отчего прорвало? Новых не дали, и я приказал снять со старого паровозного котла и поставить. Сначала выдержали, а затем сдали. Моя вина, — заявил Петухов твердо, — моя была инициатива.

Соня подошла, тепло прижалась к нему, обняла, сказала на ухо, щекоча губами:

— Снимут,— значит, будем больше вместе, а то ведь тебя никогда дома нет. Пойдешь на машиностроительный мастером. Ведь возьмут, а?

— Пожалуй, возьмут,— неохотно согласился Петухов и вдруг, бодрясь, объявил: — Но я, хоть и снимут, все равно буду требовать, чтоб на мебелиной новый котел был.

— Правильно,— сказала Соня.— Зачем же новому директору после тебя мучиться? Говори: со снятием согласен, а чтобы котел был!

Оставшись на должности после очередного «последнего» предупреждения, Петухов выслушивал:

— Руководитель — это воспитатель. Мало знать производство, технологию, экономику, нужна еще и этика руководителя. А вы? Вместе с ремонтниками занялись переоборудованием станков, вступали с ними в перебранку. В кабинете вас нет. Все свалили на заместителей. Так нельзя.

— Так я же на подобных станках на машиностроительном работал,— взмолился Петухов,— а ремонтники их первый раз видят. По квалификации они кто? Водопроводчики, сантехники. А это же станки! Я эти станки чуть не на коленях выпрашивал. Сам выгружал, сам доставлял, сам их и налаживать должен.

— Обратились бы!

— А чего обращаться, если есть квалифицированный механик?

— Поручили бы ему.

— Вот я и поручил самому себе, поскольку он — это я!

И было еще — явились к нему из солидного учреждения с заказом на мебельные гарнитуры. Петухов небрежно заявил:

— В плане такого типа роскошных изделий нет. Обратитесь в главк со своей заявкой, пусть там для следующего года ее рассмотрят.

— То есть? — снисходительно осведомился представитель.

— Значит, отказываюсь! — заявил Петухов.

Вскоре во время производственного совещания в кабинете Петухова раздался телефонный звонок. Петухов поднял трубку. Маленький человек, занимавший большую должность, обладал громким, зычным голосом.

Петухов все дальше отстранял от своего уха телефонную трубку, она рычала на него, трещала, бранила, а он

только все сильнее стискивал ее побелевшими пальцами. Затем, наклонившись, сказал тихо, но внятно:

— Да, мы не поставщики, а производители предметов широкого и равного для всех людей назначения!

Дунул в трубку, как на горячее, и аккуратно положил ее на рычажки.

Был у него зам по хозяйственной части, перед ловкой деловитостью и проворностью которого Петухов преклонялся, поскольку сам не обладал этими качествами.

Было партийное собрание. Выдвинули на голосование в состав бюро кандидатуру Петухова. Он ссутулился, съежился, опустил голову, испытывая глубокое и почтительное волнение. А вот когда стали голосовать, оставить ли в списке кандидатуру его зама по хозяйственной части, которого неоднократно и всенародно хвалил Петухов за те качества, которыми сам не обладал, тот самоуверенно поднялся с места, встал, повернулся лицом к партсобранию, чтобы видеть и запомнить тех, кто будет голосовать против. И Петухов, заметив это, спустя несколько дней отдал приказ о снятии с должности своего заместителя, столь нужного ему за те качества, которыми он сам не обладал.

Петухову влетело за такое скоростное администрирование. И еще долго страдал он от своего зама, оставленного на работе инстанциями. Хотя возмущение поступком зама на партийном собрании разделяли многие, это не могло, однако, стать мотивом для освобождения от работы.

И зам, обладая ловкостью и пронырливостью, еще длительное время неоднократно ставил Петухова в критические положения, будучи сам неуличимым благодаря присутствию ему качествам.

Петухов заслужил признание коллектива не только тем, что постиг сложности производства, хорошо знал технологию, обрел и экономические познания, с увлечением смело добивался организации процессов по-новому, главное в нем было — уважение к человеку, любопытство к каждому.

Поэтому для него каждый был не только представителем той или иной профессии, а человеком, с которым он вместе работает на одном деле, только по разным специальностям, и оба они одержимы общим интересом.

Поэтому он расстраивался из-за того, что человек, скажем, допустил брак или прогулял без уважительной причины, анализировал, почему он это сделал, какие причи-

ны для этого были. И, огорченный, доискавшись таких причин, говорил с виновным, причем не столько о его вине, сколько о жизненных обстоятельствах.

Чтобы устранить такие причины, он бывал у рабочих дома, толковал с их женами, родственниками. А затем на заседаниях горисполкома высказывал Вычугову свою готовность, используя директорский фонд, соучаствовать в разного рода бытоустройствах, бывать в милиции, в школах-интернатах, магазинах, на городской автобусной станции, ибо часто причины душевного расстройства людей были вызваны отдельными неблагоприятиями в их жизни.

И как на фронте, он считал, что солдаты его роты должны быть обеспечены всем, что им положено как солдатам по всем линиям, а не только боеприпасом и огнем приданных средств, так и здесь, в фабричном коллективе, он придерживался этого фронтового командирского правила.

Подчиненному не столько следует объяснять перед боем, как надо вести себя в бою, сколько разъяснить, что этот выигранный бой значит для всеобщей победы и для самого солдата лично.

Поэтому Петухов обычно не указывал, как надо работать, а рассказывал о человеческом значении вещей, которые изготавливает фабрика. Принесут ли они радость и удовольствие людям или горечь и раздражение.

- Человека обижает плохо сделанное изделие, а он тоже трудящийся. Придет на работу обиженный, расстроенный, при таком настроении производительность его труда пострадает. Значит, что? В итоге и мы все недополучим тех изделий, которые он сам производит. Значит, что? — повторял Петухов твердо. — Все мы взаимозависимы. Что плохо сделаем, то плохим в чем-нибудь другом для нас же и обернется. Значит, качество — это не ОТК, не ГОСТ, а твоя собственная воля делать лучше и получать от другого тоже лучше

То есть Петухов говорил о том, что внушали ему некогда его учителя-мастера, такие, как Золотухин и Зубриков, уча его рабочей совести, но не задумываясь о том, что это же самое неотъемлемо и от поста директорского, о чем Петухов, конечно, никогда не помышлял, стараясь только набираться лучшего от людей, которые хотели, чтобы он стал лучше.

И вот в один из летних дней второй половины нашего двадцатого века, в полдень, по солнечной стороне планеты летел турбореактивный самолет с куцыми, короткими, скошенными лезвиями плоскостей, подобный стальному наконечнику копья, ибо в очертаниях его утрачено птицеподобие. Он летел, как снаряд, гонимый собственной метательной мощностью, заключенной в его остроконечной, небесно-голубой металлической оболочке. Исторгаемая им звуковая волна отбрасывалась с такой силой, что казалось, она волоклась где-то далеко позади пронзаемого самолетом пространства, бессильная догнать своей звуковой скоростью скорость этого небесного создания, летящего так стремительно, что полет его казался таким беззвучным, как парение птицы.

Внутри же самолет был подобен узко и длинно вытянутому автобусу. Поскольку самолет летел над облачной, будто снежной, равниной, смотреть на эту снежную рыхлую равнину было никому не интересно, а сознание того, что под самолетом все время таится гигантская пропасть, облетанным пассажирам, очевидно, было чуждо.

Почти перед самым взлетом к трапу подкатил цуг автомашин, из них вышли военные и почтительно распрощались с молодцеватым генерал-лейтенантом, еще не близким к осеннему возрасту, хотя несколько и прихрамывающим, возможно, для солидности.

Генерал этот, еще не расставшись с благодушной, но вместе с тем сдержанной по отношению к подчиненным улыбкой, вошел в самолет в сопровождении стюардессы, которой он начал улыбаться уже несколько иначе, чем сопровождающим его лицам, и когда он уже важно и неторопливо шагал по проходу между кресел, лицо его вдруг расплылось в наискраслившей улыбке, и он зычно возгласил на весь пассажирский салон:

— Вот это номер!

И почтенный мужчина и с ним такая же почтенная дама рванулись, словно толчком выброшенные из кресел, встали, вытянулись, и мужчина, держа руки по швам, с выпученными от напряжения глазами, произнес на одном дыхании:

— Здравия желаю! — Сощурился, поглядел на погоны, добавил уже несколько легче, свободнее: — Значит, уже генерал-лейтенант! Поздравляю!

А дама добавила с милой улыбкой:

— И как это вы нас узнали в гражданском, товарищ комбат?

И смутилась от допущенной оплошности в звании.

Генерал попросил одного из пассажиров поменяться с ним местами, объяснив:

— Понимаете, фронтовики, однополчане, такая встреча, уж вы извините!

Усаживаясь между Петуховым и его супругой, разглядывая обоих так, словно от созерцания их испытывал наивысшее наслаждение, бесцеремонно обнимая их за плечи, говорил с упоением:

— Ну ребята! Ну и выросли вы! Гляжу — и глазам не верю! Такие оба представительные. — Произнес с сожалением: — Пожалуй, теперь вами не покомандуешь. По команде «Смирно» не поставишь. — Произнес сурово: — Сержант Красовская, а это что за декольте? Почему верхняя пуговица на вороте гимнастерки не застегнута? Вы где: у папы и у мамы или на военной службе?

И громогласно захохотал, заметив, как супруга Петухова машинально и поспешно потянулась рукой к воротничку своей блузки. Хлопая сильной ладонью по колену Петухова, спросил:

— Ну как ты, где, как служишь?

— Да вот директорствую на фабрике, — сказал Петухов.

— Директорствуешь! Значит, в гражданском генеральском звании, — одобрил Пугачев. — А чего производишь?

— Да вот, — Петухов опустил глаза, произнес вполголоса: — Мебель делаем.

— Мебель? — спросил с некоторым удивлением Пугачев, но, заметив смущение на лице Петухова, добавил благосклонно: — Мебель так мебель. Важно только, чтобы твои изделия под задами не разваливались. — Пожаловался: — Заседаем много. Будь моя власть, я бы только чурбаки ставил или трибуны с люком в полу: как оратор время положенное перебирает, нажал кнопку, бац — вниз. — Осведомился задорно: — На дрова хоть твои изделия годятся?

— Почему же на дрова? — обиделся Петухов. — Нам вот даже знамя за успехи вручили.

Соня тут же внесла поправку:

— Завод машиностроительный, с которым мебельная

фабрика соревнуется, знамя получил на вечное хранение, а Гриша — только переходящее.

— Ну это закононо! — возгласил Пугачев. — Сравнили тоже: машиностроительный и мебельная. Нашли с кем тягаться, даже смешно!

— Уровень механизации труда у меня не ниже их! — вспыхнул Петухов. — Если б капиталовложения...

— Ну, ты это брось! — рассердился Пугачев. — Тоже мне, на вас капиталовложения тратить, на мебельщиков. Еще чего хотите!

Объявил решительно:

— Зазнался ты, Петухов! — Похлопал по ручке кресла. — Вот такие изделия я уважаю: удобно и строго по назначению. А всякую домашнюю чепуху признаю только как необходимый минимум.

— А Нелли? — хитро осведомилась Соня.

— Поймала! — смутился Пугачев и тут же переменял тему разговора. Спросил: — Откуда следуете?

— Да вот, — сказал Петухов. — Отпуск у нас. Решили посетить места, где воевали. — Кивнул на Соню: — Она Нюре Хохловой цветы отнесла.

— А я в тех местах на военных учениях был, — вздохнул Пугачев. — Думал, каждую пядь знаю, а что получается? Танкам негде развернуться, куда ни сунься — нельзя! — Произнес внушительно: — Это вам не как на фронте — жми напропалую! Кругом обходы. Настроили, застроили, засадили, вспахали. Солдату что? На цыпочках ходить, чтобы чего-нибудь не задеть, не помять. Никакого удобства в смысле свободного пространства. Совсем нас зажали. — Потом, опустив голову, сказал задумчиво: — Нюра-то хорошо стоит, красиво, и купол парашюта у ног, как цветок из камня.

— А Оля Кошелева, как ее здоровье? — спросила Соня.

Пугачев сказал хмуро:

— Мы вот все Лебедева железным считали, про личное не спрашивали, а Конюхов, хоть он сейчас и большой работник партии, приехал к ним на весь свой отпуск и от Оли не отходил, внушал ей бодрость... Окончила заочный институт. Сейчас преподает, диссертацию защитила. А самого Лебедева с работы на пенсию не отпустили, тоже преподает по своей линии.

Петухов, поглядев на белый эмалевый ромбик на ките-ле Пугачева, сказал одобрительно:

— Академию окончили!

— Что значит — окончил? — почему-то обиделся Пугачев. — Разве ее когда-нибудь окончишь? Учим и учимся без передыха, такая наша армейская доля. — Усмехнулся: — Это тебе не табуретки строгать, а такая техника, которая на фронте нам и во сне не снилась. — Посмотрел на часы, сказал недовольно: — Чего он, как грузовик, тянет? На гражданском летишь — считай, час, а то и больше времени потеряно.

Улыбнулся ласково Соне, сказал:

— Значит, извлек вас лейтенант Петухов из болота и присвоил.

— На всю жизнь, — добавил Петухов.

— А болота того больше нет, — заметила Соня. — Высушили.

— Знаю! — сказал Пугачев сердито. — Приказал на учениях амфибиями атаковать. А следовало бы бронетранспортерами. Вот тебе и знакомая по минувшим боям местность.

Петухов показал фотографию дочери, заявил самоуверенно:

— Вылитая — я!

Пугачев внимательно оглядел фотографию, потом Соню, сказал по-генеральски повелительно:

— Чего врешь! Она — Соня, только в миниатюрном исполнении. — Сказал со вздохом: — Имею четверых парней, и все в меня. — Спросил Петухова: — Как считаешь? Терпеть меня на фронте можно было? Конюхов прямо говорил: нельзя! А вот исправился. Даже Конюхов за тот разведбой хвалил, помнишь? Да где тебе все помнить, когда в башне тогда стропилами тебя пришибло!

— Нет, я помню! — сказал Петухов. — Все помню!

— Ничего нам забывать нельзя, — строго заявил Пугачев. — По всех нас у молодых складывается представление о тех годах и на будущую их жизнь. Воевали-то мы и ради них всех и для их жизни...

Самолет летел над белой облачной равниной, освещенной ярким, чистым всеобъемлющим светом, источаемым солнечным слитком.

Петухов вспоминал пыльное, дымное, иссекаемое осколками поле боя, по которому величественно, в рост шагал в накинутах на плечи плащ-палатке, как в мантии, батальонный Пугачев и, озираясь восторженными, бешеными глазами, кричал озорно и яростно:

— А ну, по планете — бегом! За мной, бессмертные!

И казалось, что сама земля с гулом извергает из себя грохот и скрежещущий дребезг рвущихся в стальные клочья снарядов, и по содрогающейся под ногами земле они бежали туда, где бушевал смертоносный ураган...

Пугачев, откинув на спинку кресла голову, полузакрыв глаза, вспоминал, как тощий юноша с лейтенантскими кубарями в петлицах, по фамилии Петухов, во время атаки фашистских танков говорил вежливо и просительно наводчику сорокапятки, пожилому солдату:

— Пожалуйста, Иван Степанович, не спешите. Пусть головной подойдет ближе, и тогда по борту.

И при этом тщательно вытирал потные ладони о полы шинели, прежде чем взять в руки тяжелую противотанковую гранату и поползти навстречу сминающей проволочные заграждения, блещущей лезвиями траков скалистой громадине мчащегося танка.

А Соня, глядя на снежные облачные поля, думала о Нюре Хохловой, которая всегда огорченно признавалась, разглядывая себя в крохотном зеркальце, что она — не очень... Теперь Нюра стояла навечно на каменном постаменте в летящей позе, устремленная ввысь, в небо, откуда она так часто спускалась с парашютом...

Летучая машина вошла в облачную толщу, прорезала ее, и открылось земное пространство, огромное, бескрайнее, омытое светом неба, та часть нашей планеты, которую достойно и гордо, не щадя своих жизней для жизни всех, отстояли, выстроили и продолжают ее преобразование во имя человека, для человека на земле и те, кто летел сейчас над ней в летучей машине цвета неба, и земля приближалась к ним городами, полями, реками, лесами, согретая солнцем, любимая, как сама жизнь.

[1972]

СОДЕРЖАНИЕ

В ПОЛДЕНЬ НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

Часть первая	7
Часть вторая	158
Часть третья	242

Кожевников В.

К58 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 8. В полдень на солнечной стороне: Роман.— Худож. лит., 1987.— 463 с.

Ратный и трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период — таково содержание романа «В полдень на солнечной стороне».

К 4702010200-332
028 (01)-87 **подписное**

ББК 84Р7

Вадим Михайлович

КОЖЕВНИКОВ

Собрание сочинений

Том 8

Редактор Т. Х а л и л о в а

Художественный редактор Т. С а м и г у л и н

Технический редактор В. К у л а г и н а

Корректоры Т. С и д о р о в а и Н. З а м я т и н а

ИБ № 4834

Сдано в набор 07.01.87. Подписано к печати 12.08.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,36. Уч.-изд. л. 26,31. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-2705. Заказ № 726. Цена 2 р. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Scan Kreyder - 08.03.2018 - STERLITAMAK

